ISSN 0130-1616 Знамя. 1990. № 4. 1—240.

ЗНАМЯ 4 1990

ISSN 0130-1616



1990

Апрель

МЕМУАРЫ
Андрея Дмитриевича
САХАРОВА

будут опубликованы в журнале «Знамя» в конце 1990-го и в 1991 году:

Книга первая. «Воспоминания» (окончена 15 февраля 1983 г.)

Книга вторая. «Горький—Москва, далее везде» (заканчивается рассказом о работе I Съезда народных депутатов СССР)



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

4

АПРЕЛЬ 1990

Москва
Издательство «Правда»

Содержание

Леонид Мартынов

СТИХОТВОРЕНИЯ

●

Хотят
Обратно повернуть:
— Авось удастся! —
Направленный в обратный путь
Корабль затрясся.

Как будто
Новый курс берет,
Но в самом деле
Он движется кормой вперед
Все к той же цели.

И дело тут
Не в парусах
И не в моторе,
Не в черных штурманских усах
На Черном море,

А в урагане —
Вот в чем суть! —
Ревущем грозно.
...Хотят обратно повернуть,
Но поздно, поздно!

Породы обнажаются

Породы
Обнажаются?
Основа их видна?
Я вижу:
Приближаются
Такие времена,
Что слизь и тина смоются.
И ясно, до конца,
Тогда черты откроются
И нашего лица,
Чтоб знать, что недосказано
За целые века
Про Пугача и Разина,
И просто Ермака,
Что рвался на привольице
С невзгодами в борьбе.
Во что все это выльется?

Наперекор судьбе
Не выберу я в праотцы
Любого, кто мне нравится,
Но явственней проявится.
Что мне дала глаголица и что дала кириллица,
И что я сам себе!

●

Дни прибывали
Или убывали,
Но, люди добрые, вы день за днем
О Боге никогда не забывали:
Греша, трусливо помнили о нем!
Такое утверждение едва ли
Вам нравится. Ну, так перевернем:
О Боге иногда вы забывали —
Трусливые, не помнили о нем!

И, как бы это вы ни называли,
Ваш дымный мир охвачен был огнем!

●

О, страхи
Прошлых лет,
Прошел мороз по коже!

Но ты, мудрец-поэт,
На свет явился позже.

Развенчан древний бред,
Развеян вздор примет...

Галлюцинаций нет,
Иллюзий — тоже.

Публикация Г. Суховой-Мартыновой

Юрий Домбровский

ЗАПИСКИ МЕЛКОГО ХУЛИГАНА

1966 год. Юрий Домбровский пишет роман «Факультет ненужных вещей», тема которого, по словам писателя, «право и юридическая наука в жизни нашего общества во всех моральных, философских и чисто правовых аспектах». Ему 57 лет. Два года назад, в 1964 году, в «Новом мире» Твардовского опубликован его роман «Хранитель древностей», принесший ему известность на родине и за рубежом. И тут снова — донос, клевета, судья, тюремный коридор и камера, в которой почти нет виноватых.

Он успел сунуть случайному нарочному записку «на волю», что все началось сначала и его опять взяли. То, что теперь это десять суток ареста за мелкое хулиганство, не снизило его потрясения, хотя «что десять суток, мне, просидевшему двадцать пять лет»?

Когда он был освобожден и вернулся домой, он написал в Секретариат Союза писателей докладную записку о том, что с ним случилось и как было попрано право. Суд и подсудимый поменялись местами: «...по одну сторону судейского стола сидел закон, а по другую стоял я — нарушитель. А если все не так, если нарушитель сидел именно за судейским столом — если я считаю правым себя, а не его?.. Если после эдакого суда я потеряю уважение и к суду вообще, и к закону, то чем это может быть искуплено?»

Позже Домбровский даст этой докладной название — «Записки мелкого хулигана». В том, что с ним происходило, он умел различать печать истории и художественный сюжет. Историком и художником он оставался всегда и неразъединенно. В «Записках» быт и случай обретают историческую глубину и документ превращается в явление искусства.

«... я стал одним из сейчас уже не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской веры»,— писал Домбровский, объясняя свою поглощенность эпохой 37-го года. «Записки мелкого хулигана» написаны о времени, когда трагедия, казалось, уже миновала. Но в новый недолгий тюремный срок, на нарах Краснопресненской пересылки, когда в художественном воображении писателя действительность вдруг «расслаивается и начинает делаться сквозной», он видит, как взаимодействует разрушаемое право с обыденным сознанием на новом витке истории общества. Этим прозрением «Записки» и рождены. Не случайно докладная записка в Секретариат Союза писателей становится со временем одним из шести Приложений к «Факультету ненужных вещей». Приложение № 1 «Суд синедриона» — комментарий Домбровского к Евангелию, к главам суда над Христом. Написанные в разное время, в разных жанрах и по разным поводам каждое из приложений к «Факультету» — это всякий раз сюжет попрания права, в совокупности,— это драма кромешного правосознания, развертывается ли она в недрах коммунальных трущоб или в ла-

биринтах высшей государственной власти. Эпоха 37-го года — по ходу ее исследования—соотносилась с той текущей действительностью, в которой роман создавался и которая была жизнью Домбровского как таковой. Судьба художника вместе с его искусством всегда воспринималась им как единая художественная реальность, и Приложения, подобно дневнику, об этой реальности свидетельствуют.

В «Записках мелкого хулигана» определяются коллизии права в шестидесятых годах вместе с движением и развитием этих коллизий в годы последующие. «Первая трещина в сознании — от отсутствия государственной совести» — таков диагноз. «Каждое несправедливое осуждение не только покрывает собой невыявленного преступника, но и родит еще нового, уже не верящего ни во что, и скоро мы задохнемся от открытого дневного бандитизма». А это еще только 1966 год, до наших дней — еще четверть века.

Была у Домбровского любимая мысль, которую он повторял постоянно: «Совесть — орудие производства писателя». Однажды он ее развернул: «Совесть — орудие производства питателя. Нет у него этого орудия — и ничего у него нет. Вся художественная ткань крошится и сыплется при первом прикосновении».

В «Записках мелкого хулигана» Домбровский эту мысль перефразировал: «Совесть—орудие производства судьи». Он пишет о том, как «крошится и сыплется при первом прикосновении» ткань жизни, когда изымается совесть. «Отсутствие государственной совести» из эпизода его частной жизни превращается в народную драму.

И. БОРИСОВА

В СЕКРЕТАРИАТ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

от члена Союза
Ю. О. ДОМБРОВСКОГО
(членский билет 0275)
Москва, К-92, Б. Сухаревский,
д. 15, кв. 30. Б-3-40-47.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Начну с самого конца: 10 мая меня вновь повесткой вызвали в тот самый нарсуд на улице Чехова, где за месяц до этого я получил десять суток ареста за мелкое хулиганство. Перед тем, как пойти туда, я зашел в Союз и попросил, чтобы мне дали юрисконсульта. Юрисконсульта мне дали, она была со мной, была в суде, была во время разговора с нарсудьей Кочетовой, была, когда я, наконец-то, первый раз! (тогда, перед судом и осуждением,' мне эту возможность не дали) знакомился со своим делом.

Разговор с нарсудьей Кочетовой оказался очень странным.

Судья Кочетова *(читая больничную справку о моем состоянии).* И вы, такой больной человек, полезли в эту историю. Как же вы могли?

Я. Гражданин народный судья, все это я заработал у вас и из-за вас. Все четыре болезни. А насчет дела разрешите мне в конце концов разъяснить, что же было...

Редакция благодарит Д. Е. Казанчиева (Уфа), оказавшего помощь в организации этого материала.

Кочетова *(перебивает).* Я ничего не хочу слушать. Решение уже вынесено.

Я. А если решение это неправильное, неправомерное, не отвечающее существу дела, если оно какое хотите, но только не справедливое, тогда что?.. Я спас женщину от ножа! Ее резали, ей рвали рот, понимаете вы это?!

Кочетова. Решение уже вынесено.

Я. У нее был разорван рот, понимаете? Пальцем! Я видел, как это делается, и на Колыме, и в Тайшете, в карцерах. А на губе у нее был порез — полоснули ножом.

Кочетова. Приговор вынесен.

Я. Комната была залита кровью, и в крови валялся финский нож.

Кочетова *(радостно — наконец-то она поймала меня на противоречии).* То вы говорили, что брали ее в домработницы, то, что...

Я. А разве это одно другому мешает? Если женщину один берет в домработницы, то другой ее может резать? Я заявил об этом милиционеру, я сказал — пойдите вниз, там засела шайка картежников, там вся комната в крови, там...

Кочетова *(кончает разговор).* Приговор уже вынесен. Я ничего сейчас не могу сделать. *(Я жму плечами — что говорить дальше?)* Но так как вы больны, то я заменю арест штрафом. Это единственное, что в моих возможностях. Вы согласны?

После этого мы знакомимся с делом. Моему адвокату его дают на просмотр. Сидим рядом и читаем. Оно уже пухлое, законченное, обросшее постановлениями, запросами, ответами, аккуратно подшитое. Начинаем читать с конца, с того, что мы в некий период именовали «доносы», о чем мне еще придется много говорить. Аккуратнейший чертежный почерк, буковка к буковке. Писал ответственный съемщик. Внизу тем же полупечатным почерком выведены фамилии жильцов. Он — она, он — она, он — она; пропуск: вот здесь надо расписываться. О, как я знаю эти старательно выведенные, стандартные буквы, этот стиль — патриотический, велеречивый, подлый и неграмотный; сколько я видел таких бумаг в своих делах, в делах моих товарищей, они откуда-то выплывали в период реабилитации. Творчество этого человека я знаю особенно хорошо. Еще бы! Это его четвертый донос, который я читаю. И в тех были те же тщательно вырисованные фамилии с местом для росчерка, те же туманные, но очень страшные формулы. «Разлагает...», «нарушает моральный кодекс...», «антиморально...», «антиобщественно».

Все это я, повторяю, читаю уже четвертый раз.

Первый раз, когда писалось про первого мужа жилицы справа.

Второй — когда он писал о муже жилицы слева.

Третий раз — когда просили дать возможность сыну жилицы справа после отбытия наказания прописаться по прежнему месту жительства. Это было доброе дело. Но есть люди, которые, как бы им этого ни хотелось, добра сделать не могут. Не дано оно им. Мне кажется, что и автор всех трех этих бумаг такой же. Общий смысл этого заявления был такой: мы, жильцы квартиры 30, просим помиловать Юрия Касаткина; отец Юрия — пьяница и распутник, он бросил жену, заведовал столовой и пьянствовал сутками. На нем уже висит несколько партийных взысканий (на Касаткине ничего не висит, он партиец почти с сорокалетним стажем). Так что же ждать хорошего от сына подобного разложенца? Яблочко от яблони ведь недалеко падает. Помилуйте сына!

Но этот потешный документ был хотя бы лишен того, чем два предыдущих и четвертый (заявление на меня) оканчивались,— «просим изолировать».

В этом слове «изолировать» и был смысл всех трех документов. Еще тогда, на заре наших отношений, читая первый из них, я подумал: да сколько же подобных просьб было написано и подано этой рукой в предыдущие года: года 37-й и 39-й? Года 40-й и 53-й? И какая часть из них была уважена — двадцать пять процентов, пятьдесят, сто? Конечно, тогда действовали в одиночку, в темноте, на соседа не собирались подписи, не выводились чертежным почерком фамилии, не оставлялись места для росчерка. Но и те три документа не состоялись просто потому, что тот первый, к которому «автор» обратился за подписью, достаточно ясно высказал ему это.

Но все это, так сказать, заметки на полях, вопрос, на который не может быть ответа. Он просто невольно приходит в голову, когда читаешь вот такую бумагу. И, конечно, она была заготовлена впрок давно. Но дана жильцам только после моего ареста: *он* — она, *он* — она.

Таков первый документ, который мы просматриваем. Второй документ — мое объяснение; третий документ — тоже мое объяснение. О них я буду говорить дальше. Затем заявление двух соседок: краткий, но исчерпывающий смысл его таков:

«Домбровский в нетрезвом состоянии привел к себе в комнату неизвестную нетрезвую женщину. Он хотел ее оставить одну в комнате и уйти. Когда мы стали протестовать, он обругал нас нецензурно, сказал, что он писатель и что ему все дозволено. Поэтому — мы просим...»

Последнее — постановление милиции на форменном, так сказать, фирменном бланке. Это бланк о применении закона от 19 декабря 1956 года.

Заключение: «Зам. нач. отд. Доставить дело в суд вместе с личностью Домбровского». И, наконец, бланк и в нем — «10 суток».

Адвокат закрывает дело.

«Писать, конечно, можно,— говорит она,— но, по-моему, Юрий Осипович, у вас вряд ли что выйдет».

Что ж, может быть, и верно, вряд ли что выйдет. Но писать я обязан.

* * *

Женщину, которую я привел к себе в комнату, жильцы нашего дома знают уже лет двадцать. Едва я лет восемь тому назад приехал в этот дом и поселился в этой квартире (откуда чуть не буквально сбежал мой предшественник — поэт Сидоренко), как мне рассказали: в нашем подвале притон, там живет преступная женщина. Она вечно пьяна. У нее двое детей. Было четверо, но двоих из них она не то подбросила, не то придушила. В общем, пропали дети. В подвале пьют, скандалят, убивают. На пожарной лестнице недавно повесился какой-то мужчина. Ее рук дело! И не повесился он, а его повесили. В общем, не баба, а черт. Так мне рассказали соседи. В своей жизни чертей я видел уже предостаточно; мест, «где вечно пляшут и поют»,— тоже. Поэтому даже интереса эта «соблазнительница» и ее притон у меня не вызвали. Познакомился с ней лет через пять и совершенно случайно: около нашего парадного постоянно играли две девочки, и каждый раз, проходя, я давал им то гривенник, то конфетку, то печенье, то иллюстрированный журнал, то детскую книгу с картинками. Ведь они с такой радостью бежали мне навстречу и кричали: «Здравствуйте, дядя Юра!» Конечно, не всем детям можно что-то давать на улице, не каждой бы матери, верно, это понравилось бы. Но этим детям нужно было все: и печенье, и гривенник, и книжка Пушкина, и даже просто ласковое слово, когда у меня не было с собой ничего. Я понял это сразу. Сколько лет было этим девочкам? Ну, наверно, пять одной и четыре другой. Когда им исполнилось лет десять, я как-то узнал (мы почему-то никогда с ними о жизни не разговаривали), что они и есть дети той страшной женщины, которой боятся жильцы и избегают «порядочные». Узнал я и ее фамилию — Валентина Арутюньян. А потом она меня вдруг сама остановила на улице.

Я увидел немолодую, низенькую женщину, хромую, плохо одетую, истощенную и бледную (помните «Прачек» Архипова? Ту фигуру на переднем плане?), которой иногда даже и по улице пройти трудно, так она хромает. Это было так разительно, что я уже заинтересовался по-настоящему, и отсюда началось мое грехопадение: я спустился в подвал к «неприкасаемым».

То был поистине страшный подвал. Страшный не своей нищетой и ветхостью, а каменным холодом. Все текло и сочилось. Не было даже отопления. Как можно жить зимой здесь — я так не понимаю и до сих пор. Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать эту женщину, но все страшное оказалось ложью: и убитые дети, и повешенный, и разбой, и даже, как ни странно, притон. Пьют здесь не больше, чем везде в подвалах, то есть все-таки порядочно. Заходят сюда тоже многие, либо товарищи ее сожителя (или мужа, как хотите, я что-то вконец запутался в этих различиях), либо подруги самой Валентины Арутюньян (подруг у нее достаточно), либо друзья и подруги ее соседа. Когда-то Арутюньян жила в хорошей благоустроенной квартире, у нее был отец, работник ответственный и даже страшный (так называемые «старые чекисты», наверное, помнят и сейчас Никанорова Ивана Николаевича), была хорошая обстановка и хорошая жизнь. Одна вещь в этой низенькой, постоянно темной комнате (срезали даже электричество!) напоминает мне об этой поре: это то ли шкаф, то ли сервант — старинный, дубовый, дорогой, с двумя медалями на обеих створках (по-моему, Франциск II и Мария Стюарт). По словам Арутюньян (и это подтвердила старуха, которой лет 80 и которая присутствовала при ее рождении), они въехали в квартиру Дзержинского, и отец хорошо знал Суслова. «Я постоянно сидела у него на коленях». Так это или не так — опять не знаю. Но твердо я усвоил одно: вот была благополучная счастливая жизнь самой обыкновенной девушки, не особенно хорошей и не особенно плохой, а потом посыпались несчастья за несчастьем: смерть отца, война, смерть мужа, лагерь, первый ребенок (выпустили, но мать не захотела прописать ее в своей квартире после отбытия наказания) и затем вот этот подвал и мужья... один, второй, третий.

Я не судья, не следователь, не милицейский работник, не социолог, а в данном случае я даже и не писатель. Я только жилец третьего этажа, который однажды счел себя вправе спуститься в подвал. Все это и было оскорблением всей квартиры № 30. Несмываемым!

Квартира в подвале имеет две комнаты: одна комната была на замке. Потом мне как-то раз удалось заглянуть туда. Уверяю вас, в то время это была еще настоящая квартира среднего служащего — стоял шифоньер, был дешевенький фарфор, тахта, ковер, еще что-то такое. Так вот, когда я зашел впервые, эта комната была замкнута, в нее Арутюньян не пускали. В ней числился какой-то директор магазина. Но легально (днем то есть) он спускался сюда раза два в год. А потом вдруг замок исчез, и комната опустела. Владелец сбежал, фарфор исчез, ковер содрали — пришла жена и все унесла. Но бежать-то директор сбежал, а друзья-то его (ночные) остались. У таких людей друзей сколько угодно — друзей на выпивку, на девочку, на преферанс, на развеселую ночку — всего этого я не застал и никогда не видел. Но вот с дружками этого исчезнувшего жильца мне вдруг пришлось столкнуться и очень больно. Вот так это вышло.

Из Пятигорска ко мне приехал мой знакомый, мы были с ним

у Арутюньян — для разговора, к сожалению, с некоторых пор моя квартира малоудобна (но об этом после). На второй день нашей встречи мы шли по улице, и меня позвали девочки: «Дядя Юра, вас мама зовет». О том, что мы увидели, следовало бы, по всей вероятности, писать словами милицейского протокола. Мой слог с этим не справится.

«Комната оказалась залитой кровью. На кровати лежала женщина, зажимая лицо платком, платок был в крови. Лицо женщины было разбито. При входе нашем в комнату она вскочила с кровати и истерически крикнула: «В той комнате играют в карты — меня убивают, спрячь меня, пожалуйста!» Так я написал бы, если бы был милиционером. А теперь вот от себя.

Я увел женщину к себе в квартиру. По дороге она мне объяснила, что ее избили друзья бывшего жильца. Сказала, что жилец где-то скрывается, а друзья его ходят и требуют комнату на ночь, стол, чтобы резаться в карты, постель для девочек, а главное, чтобы не было посторонних — и детей вон, вон, вон! — так она мне рассказала.

Вероятно, Арутюньян выполняла эти требования очень долго. Но вот в этот день она почему-то отказалась. Опять-таки, почему — не знаю. И благородных мотивов у ней предполагать я не вправе. Но разбушевавшаяся кодла (выражаясь по-лагерному, но иначе и не скажешь) решила ее проучить по тому же самому тюремному шакальему кодексу. «Ах не пустишь, стерва!..» Били ногами на кровати, свалили на пол и били там, саданули стамеской, резанули ножом. В общем, когда я и товарищ привели Арутюньян ко мне, кровь капала с нее, как из треснутой банки вишневое варенье. Сознаюсь, в первую минуту я просто растерялся, мы стояли с товарищем и смотрели, как женщина лежит на диване и хлюпает, а кровь у нее пузырится из носа. Потом я сказал товарищу: «Ну вот что! Ты побудь с ней, а я сбегаю за угол за скобками в аптеку». (Что-что, а сшивать такие раны я умею — Колыма научила). Но когда я отворил дверь в коридор, то увидел перед своей комнатой мяукающую и орущую массу женщин. Собрались все, кто были: портниха, жена шофера, дочка жены шофера. Я привел в их квартиру женщину из подвала. Неприкасаемую! Зачем? Как я смел?

— Но ее же убьют,— сказал я.

— Ну и пусть убивают,— ответили мне,— туда ей и дорога.

— Но я так не думаю,— сказал я.

— Ах, не думаешь,— завизжала женщина.

И тогда пришла милиция.

Я ко многому привык и многое узнал за восемь лет, живя здесь. Я узнал, что такое коммунальная квартира, я отлично теперь знаю, что значит, в понимании моих соседей, «мой дом — моя крепость». Стоит только посмотреть на запоры этой крепости, ее крючки, крюки, замки, перевернутые так и эдак, запертые просто и поставленные на ребро, так, чтобы их нельзя было открыть после десяти часов ни одним ключом (воров такие замки не остановят). Привык я и к крикам о том, что в квартиру (ко мне то есть) приходят неизвестные, а кто их знает, что за люди, что у меня кроме книг и картин воровать нечего (какому дураку нужны книги и картины, да еще старые?). А у них и новые платья, и горка хрусталя, и три чайных сервиза, и два сервиза обеденных. Так что реакция квартиры, вопли ее у дверей (а иначе, чем воплями их не назовешь) и даже самый приход милиции меня не удивил. Раз нажато «02», издан вопль «SOS!» — милиция обязана садиться и мчаться.

Удивило и потрясло меня совершенно другое. Когда пришли милиционеры и увидели в комнате двух совершенно трезвых растерянных мужчин и хлюпающую, как говорят, кровью умывающуюся женщину, то они не заинтересовались ни избитой и порезанной, ни тем, кто ее резал, бил и истязал, ни заявлением ее о том, что в подвале режутся в карты и на полу валяется финский нож, а совсем другим: жилец привел неизвестную, а сам собирается куда-то уходить. Объяснить я ничего не мог — не слушали.

Разговор милиция начала в таком тоне:

— Что? Бьют? Да тебя давно убить надо.

— Убивают? Ну что ж? Похороним!

— В карты играют? Ладно, ладно, сама приважила, а теперь плачешь.

— Финский нож? Да на тебя и топора мало.

В таком тоне и велся весь разговор. Тон благодушных подвыпивших парней, «заводящих» пьяного; разговор санитара с сумасшедшим о его миллионах. Ох, эта непробиваемая броня служителей порядка. Эта смешливость, которая вдруг нападает на работников милиции, когда их просят о помощи. Сколько я ее видел и слышал! Сунуться опасно, говорить не о чем, вот начинают смеяться. А потом еще эпатация: обалделый обыватель отваливается сразу. Он уже ничего понять не может. Напишу только о последнем случае из ряда очень-очень многих, которые мне пришлось наблюдать.

Раз на нас — а нас было четверо, из них две женщины — набросились двое развеселых парней с гитарой и ножами. Это было не на окраине, а напротив Бразильского посольства, то есть у самых-присамых дверей Дома литераторов. Было, повторяю, нас четверо — жена поэта Наровчатова, редактор и парторг Гослитиздата, художник-декоратор и я. Я с Галиной Наровчатовой шел впереди, поэтому, как и из-за чего возникло столкновение, я так и не знаю — то ли пьяный толкнул кого-нибудь из нас, а тот огрызнулся, то ли вид был у женщин не тот (шляпки, блузки), то ли фамилия у редактора — Коган, в общем, повторяю, я этого так и не узнал. Но просто-напросто один из парней взял Когана за грудку да и тряхнул его об решетку. Когда я бросился на помощь, оба парня с радостью переключились на меня. Тут был весь уголовный антураж, не воров, а тех, кого в лагере зовут «сявками»,— руки в карман, кулак к носу и двое вооруженных против двоих безоружных. Женщин попросту отбросили. Я справился со всем один: и с матом, и с ножом, и с пальцами рогаткой в глаза: «Ты что, падло, в лоб захотел?» — и еще кое с чем. В течение трех минут мы стояли друг перед другом, матерились и орали на весь квартал. Но в эти три минуты — великое время для жизни и смерти человека! — Галина Наровчатова успела добежать до милиционера и стала звать его на помощь. И угадайте, что ей сказал милиционер? «Знаешь что?.. Сама с ними пила, а теперь их сдать хочешь?! А ну, иди отсюда!» За точность слов, конечно, поручиться не могу, но смысл передаю совершенно точно. А я ведь знаю, что для того, чтобы превратить человека в черепаху, достаточно десяти секунд; чтобы зарезать и пырнуть под сердце или в горло,— и трех секунд, пожалуй, много, а чтобы добежать и оказать помощь — и минуты хватит. А у милиционера три минуты ушло на то, чтобы поглумиться над испуганной и совершенно трезвой женщиной. Просто он ржанул, повернулся и пошел в сторону, противоположную опасности.

Я уже подал в Секретариат эту докладную, когда прочел в «Литературной России» что-то совершенно подобное. Вбегает к ответственному секретарю газеты сотрудник: «Любопытное происшествие! Интереснейший факт! Понимаешь, один участковый милиционер шел вместе с дружинниками по улице. Вдруг шум скандала. Дружинники ринулись на шум, а милиционер рванул... в противоположную сторону. «Да ну,— говорит,— из-за пустяков мне еще нервы бередить...»

За этим случаем наши коллеги просмотрели целую систему ошибок местной, да и не только местной милиции». Просмотрели, ох как они все просмотрели! (№ 29 от 15 июля 1966 г.).

Так было и в этом случае. Передаю опять почти протокольно.

Я. Убивают же!

Старший уполномоченный. Ну и пусть — плакать не будем, у нас с ней столько хлопот.

Женщина *(визгливо)*. Он ее все время таскает в нашу квартиру. То супом накормит, то детей ее притащит конфетами оделять, а сколько вещей он ей передавал. Режут, да все не зарежут, небось, свой законный муж режет, это — дело семейное.

Другой милиционер. У ней столько мужей, так если за каждым бегать...

Общий вопль. И пусть убивают, и пусть убивают.

Оперуполномоченный *(нравоучительно)*. А вы вот скандалите, а еще писатель.

Я. Товарищ начальник, да вы что слушаете этих шкур, да разберитесь, что здесь происходит. Это же шкуры, понимаете, шкуры.

Старший. Стоп! Это почему вы так выражаетесь?

Я. Потому что, кроме своей шкуры, их ничего не интересует: режут — пусть зарежут, убивают — пусть добьют. А подвал и третий этаж не встречаются.

Старший *(обращаясь к жилице)*. Он вас назвал шкурой, мы это слышали. Пишите заявление! Вот я вам скажу, с чего надо начать: «Проживающий в нашей квартире гр. Домбровский, в нетрезвом виде...»

Я. Это я-то нетрезвый?

Старший. Молчи, пока не спросят! «...В нетрезвом виде привел неизвестную...»

Я. Да какая же она неизвестная, когда...

Неизвестная. Товарищ милиционер, я в этом доме двадцать лет живу. Меня все знают, и они знают, и вы знаете.

Милиционер. Молчи, Арутюньян, я не с тобой... «...в нетрезвом виде привел неизвестную женщину и хотел уходить».

Я. Я шел в аптеку за скобками.

Старший. Молчи, Домбровский, до тебя дело еще не дошло. Так вот, значит, нетрезвый привел неизвестную. Хотел уйти неизвестно куда, оставить неизвестную одну.

Мой товарищ Саркисов *(он до сих пор стоял и молчал)*. То есть позвольте, а я? Меня вы что же, за человека не считаете? Он мне специально сказал: побудь с ней.

Старший. Что он вам сказал — нам неизвестно, и кто вы такой — нам тоже неизвестно.

Саркисов. Так вот мои документы.

Старший. Мы у вас их требовать не имеем права. Вы тоже неизвестный. И вообще уходите. Вы здесь ни при чем. Так, значит, ясно, товарищи жильцы, оставил неизвестную, уходил неизвестно куда и зачем, а когда вы стали возражать, обозвал вас нецензурно. Нетрезвый.

Второй милиционер *(подсказывает)*. И милицию тоже.

Старший. Да, да, и милицию, конечно, тоже. Вот так! Чтоб через полчаса бумага была. Пошли, Домбровский. Пошли, пошли, Арутюньян. А вы, товарищ, куда? Нам вы не нужны *(это уже на улице)*.

Я. Но он мне нужен, он же свидетель.

Старший. Свидетелей вам не полагается. А ты, Арутюньян, убирайся, убирайся. И если я тебя еще увижу здесь...

Я. Но загляните хотя бы на минуту в подвал, там ведь весь пол в крови.

Старший. Ты, Домбровский, задержанный и не учи милицию. А ты, Арутюньян, поворачивайся быстрее, если не хочешь неприятностей. Знаешь, что бывает за сопротивление властям? Да и вы бы, товарищ, тоже шли.

Но товарищ пошел со мной в милицию.

Милиция. 18-е отделение. Последний переулок. Начальник — тов. Смирнов. Мне пришлось ждать его порядком, без него, оказывается, никто ни в чем разобраться не может. Много народу. То, что я заступился за Валентину Арутюньян, вызывает неудержимое веселье у окружающих. В словах и выражениях здесь не стесняются. Смешон сам факт: резали? Кого? Резали? За что? Резали? Который раз? Само слово «резали» — один из самых страшных глаголов в мире — здесь, кроме смеха, ничего не вызывает. Приходит и наш участковый Богданов. И меня, и Арутюньян, и мое отношение к семье Арутюньян он знает и понимает сразу все, что здесь происходит. Вся улица его уважает. Это серьезный, молчаливый, строгий, справедливый человек. Но как сказать что-то свое, противоречащее общему мнению? И вот он тоже говорит о лишении Арутюньян прав материнства и о том, что совсем тебе, Домбровский, не нужно бы туда ходить. Ты же писатель, и лет тебе много. Богданов человек изумительной хладнокровной храбрости и выдержки. О нем писали в газете. Но тут храбростью не возьмешь. Он понимает это и уходит. Мне предлагают написать объяснение. Я сажусь и пишу. Почерк у меня и вообще, скромно сказать, очень неважный (пальцы отморожены на Колыме). А тут еще и волнуюсь, и с точки зрения канцелярской мои каракули действительно стоят немногого. Кроме того, и сам я весь дрожу и с трудом справляюсь с дурнотой. Она напала на меня еще в подвале.

Дежурный берет мои объяснения, смотрит и говорит с удовлетворением:

— Вот, а еще утверждаете, что не пьяный. Ты посмотри-ка, что он накарякал...

Отвечаю — уж такой у меня почерк.

Кто-то, кто меня знает, подтверждает: да он всегда пишет так.

— А еще писатель *(прячет бумагу)*. Напишите вторично.

Значит, хочет поймать на противоречиях.

Пишу вторично. Получается почти то же самое. Рука дрожит все больше и больше. Но стараюсь изложить все ясно и четко. Женщина была изранена, в крови. На полу, когда я вошел, валялся финский нож. Мы привели женщину ко мне в комнату. Я оставил ее с товарищем и пошел за скобками. Здесь на меня и накинулась эта мяукающая вопящая прорва. (Конечно, я слова «прорва» не пишу.) Ни оскорблений, ни ругани не было. И нетрезвым я тоже не был. Подаю объяснение и говорю: «Теперь просьба — подвергните меня медицинской экспертизе. Пусть будет акт об опьянении».

Саркисов. И у меня просьба: я был при всем этом и полностью все подтверждаю. Я сам видел: кровь, израненную женщину, как Домбровский был взволнован, как он хотел бежать в аптеку. Снимите, пожалуйста, с меня показания.

Дежурный. Обойдемся и без ваших показаний. И акта не будет. Вот придет начальник...

Но начальника все нет. И только одного мне удается добиться: на одном из моих объяснений товарищ ставит и свою подпись. А на другом пишет: «Полностью подтверждаю» — и подписывает свой точный адрес.

В эту минуту приходит начальник.

Я и вправду и до сих пор считаю его порядочным человеком и хорошим работником: скромный, тихий, спокойный капитан в милицейской форме. У него мягкие манеры и усталое лицо. Дело его не особенно заинтересовало. Арутюньян он знает хорошо. А меня вспоминает по другому случаю и говорит: «А ведь Тарасов тогда о вас замечательно отозвался». О Тарасове разговор еще впереди. И поэтому я привожу только слова капитана. Затем капитан читает мое объяснение.

— А где Саркисов? — спрашивает он, оглядываясь.

Я говорю, что он только что ушел, ему предложили подождать на улице.

— Пойду поговорю с ним *(качает головой)*. Да, эта самая Арутюньян... Беда!

Уходит. Возвращается минут через десять, вздыхает.

— Ну что ж, идите домой, товарищ Домбровский. Вот только мне надо будет вас завтра увидеть. Подпишитесь, пожалуйста, на этой повестке.

Подписываюсь.

Уходим.

Конец вечера проводим в Доме литераторов. Там я давно не был и попадаю в торжественный момент. У Юрия Полухина родился сын. Выпиваем за его здоровье. Рассказываю товарищам о том, в какую идиотскую историю я чуть не попал: защитил женщину и мог бы оказаться мелким хулиганом. Ее же прогнали обратно к тем, кто ее избивал: в общем, иди, и пусть тебя добьют. На меня составили протокол. Хорошо, что попался умный начальник.

— Слушай, Юрий, да уезжай ты оттуда,— говорит мне Полухин.— Я твоих жильцов вот как знаю. От них без оглядки бежать надо! Что, неплохие люди? Пусть неплохие, но жить они дадут только себе, а не тебе. Дверь запирай в десять часов. После десяти не приходи! Гостей не води! Все женщины у тебя — проститутки. Все мужчины — пьяницы. Порядочные люди ходят только к ним. Уезжай ты за ради бога. Неужели это так сложно?

Домой пришел в полночь. В подвал и не заглянул. Начальник мне сказал, что пошлет туда людей. Я приду утром, и тогда мы поговорим обо всем.

Наступает утро.

Поднимаюсь рано, как говорят, чуть заря. Трамваи еще не ходят. Надо очень много еще сделать до вечера: вечером из Пятигорска ко мне приезжает друг. Мы не виделись с ним уже года три. То он в командировке, то я в отъезде, то еще что-нибудь такое. И вот я прибираю комнату, выкладываю на стул чистое постельное белье, покрываю его газетой. Друг будет жить тут у меня, других адресов у него нет; накануне мы обо всем договорились по телефону. А днем нужно писать, писать. АПН заказало большую статью для Америки. Хоть умри, но сдай вовремя. Статья историческая и требует раскопок. Вот сижу, читаю и выписываю.

В десять часов приходит Саркисов. Я встречаю его с ручкой в руках.

— Ну что, старик, ты готов? Пойдем,— говорит он.— Просили пораньше.

Заходим в милицию. Поднимаемся наверх. Кабинет начальника заперт. Где ж он? Никто не знает. «Справьтесь в дежурной части»,— советует уборщица.

Спускаемся в подвал. За барьером сидит дежурный и что-то пишет. На скамейках, позевывая, переговариваясь, сидят несколько милиционеров. Видно, что смена только что кончилась. Спрашиваю о начальнике. Он поднимает на меня глаза: «А что?» Я говорю, что, и сразу все меняется: смех и гогот — все то, что я уже слышал вчера. Произошло что-то очень смешное. Рыжий, что ли, прямо в парике ввалился в дежурку, пьяного ли за руки и за ноги притащили и бросили:

— Пришел? Пришел! Ну теперь садись жди — скоро поедем!

— Да мне ждать-то долго нельзя,— объясняю я.— Мне еще в Ленинскую надо. Если начальник занят, так я, может быть, потом зайду.

Опять смеются. Дежурный говорит:

— Да нет, зачем позже? Позже ты уж не зайдешь... Позже мы тебя сами в хорошее место свезем. На машине! Видишь, какой почет тебе, Домбровский!

И опять что-то пишет.

Я смотрю на товарища. Произошло что-то не то и, кажется, что-то очень плохое.

И Саркисов тоже смотрит на меня.

— Ты хотел утром звонить своему секретарю,— говорит он.— Звонил?

Я машу рукой. Секретарю я звонил. Разговаривал даже с его женой. Секретарь спал. Жена попросила позвонить попозже. А я так ушел в работу, что все позабыл. Да потом что бы я ему стал говорить? Какие у меня соседи? Так он знает это отлично. Был у меня неоднократно. Как они себя ведут — он знает тоже. Что ж я бы стал ему объяснять?

Проходит еще минут десять, потом пятнадцать, потом полчаса. Оба сидим и ждем.

— А зря,— говорит вдруг товарищ.— Зря ты к нему не дозвонился. Надо бы обязательно дозвониться.

— Слушай,— говорю я.— Вот тебе ключ. Ко мне будут звонить из редакции. Скажи, пожалуйста, что я запоздаю.

Снова смех.

Дежурный поднимает голову.

— Запоздает, запоздает! — жизнерадостно объясняет он.— Обязательно запоздает! Иди, иди, звони, скажи, что он запоздает!

Товарищ уходит. Еще через десять минут приходит зам. начальника. Проходит за барьер и садится за стол.

Ему подают мою повестку.

— А где он? — спрашивает зам. начальника.

— А вот, сидит на лавочке, ждет.

Зам. начальника поднимает голову.

— Ждет? — повторяет он насмешливо.— Ну, и пусть ждет.— Берет дело и переворачивает лист-другой, читает, хмыкает. Все написанное ему очень нравится: ругал милицию, так, так! Привел неизвестную? Отлично! А всего лучше другое. Он встает.

— Помните, как мы месяц назад говорили с вами по телефону? — спрашивает он торжествующе.

Отлично помню тот разговор хотя бы потому, что он совершенно не походит на этот. История эта, конечно, неприятная. У меня в комнате подрались два человека, которые увидели друг друга в этот день впервые. Дело получилось так. Ко мне со стихами ходил один из начинающих. Школьник 11-го класса. Его мать, знакомая моего хорошего знакомого, просила посмотреть стихи и оценить. Вот он ходил и читал, а я слушал. Но слушать-то я слушал, а сказать ничего не мог, т. е. в общем-то стихи мне нравились и даже не то что, пожалуй,

нравились, а просто я подумал, что из парня может получиться толк, но в стихах такого рода — с очень приблизительными ассонансами, с рваными строками, скачущим ритмом — я понимаю немного. А сказать надо было что-то очень весомое, ясное. Вот я и позвонил одному поэту и попросил его зайти. Мы были хорошо знакомы. Его книга только что вышла и имела успех, а за год до этого я отвез целый цикл стихов поэта в «Простор». Паренек был тоже из Алма-Аты, так что получилось так, что отчасти как будто встречались земляки. Поэт пришел ко мне с алмаатинкой, студенткой какого-то московского института. Она читала мой последний роман и хотела со мной познакомиться. И такое тоже иногда бывает. Сидели, слушали стихи, пили чай да пиво (больше на столе ничего не было: пареньку не исполнилось и 18). И все бы окончилось так же хорошо, как и началось, но, на беду, в этот день (и надо же случиться такому!) ко мне забрел товарищ. Я знал его лет сорок (вместе учились), а не видел года три. Вот этот уж был пьян. Да пьян-то был как — зло, агрессивно и запальчиво-обиженно. И второе совпадение: он три года воздерживался, а сегодня как раз его и прорвало. Во-первых, кончились какие-то сроки и зароки, а во-вторых, приезжала дочка, которую он не видел бог знает сколько времени. Вот он и завелся.

Пока мы слушали стихи, и все было в порядке. Я знал беспокойный характер моего друга и отсадил его подальше от девушки в самый-самый угол, ибо он уже начал придираться. Но вот пришлось мне на минутку выйти из комнаты. Ровно на минутку, но, вернувшись, я застал что-то совершенно невероятное. Тарасов (так звали товарища) сидел в коридоре на стуле около телефона и вызывал милицию. Из носа у него текло, и он обтирался ладошкой. Вокруг стояли жильцы и кричали о разбое. Я вышел с чайником, и все набросились на меня: «У тебя в комнате...» А я ровно ничего не понимал. Только что было все тихо, мирно — и вдруг... Словом, я так был сбит с толку, что и сказать ничего не мог. Только потом в милиции обозначились контуры происшедшего. Но именно контуры. В общем, когда я вышел, этот мой старый товарищ, который «завязал на три года» и вдруг напился сегодня, полез сначала к девушке, а потом и к поэту. Лезет он всегда с «приемами». Тот и оттолкнул его ладонью и расквасил ему нос. Другая версия: он полез, его толкнули, он и приложился носом об угол шифоньера или стола. Что вернее — не знаю, потому что ровно ничего не видел. Пришел участковый Богданов и увел всех в отделение. Заставили писать объяснение. Тарасов пошел перевязываться и написал показания там отдельно. И так как я вообще ничего не писал и не видел, а все остальные (в том числе и обиженный) показали согласно, что все произошло мгновенно, вспышкой, в отсутствие хозяина, то этим все и кончилось. Ни протокола не составили, ни постановления не вынесли. Да и то сказать, разбитый нос не слишком большое дело, если его обладатель пьян и ничего объяснить не может, а все остальные трезвы. Да и с чего бы ударили совершенно незнакомого человека не где-нибудь, а в гостях? И не кто-нибудь, а другой гость! И все было бы в порядке, потому что даже в лупу в этом печальном столкновении не увидишь хулиганства, если бы не зам. начальника. Он вдруг позвонил в Союз. Попал на секретаря Правления и рассказал ему о драке. Тот спросил:

— Ну, а какая же в этом роль Домбровского?

Пришлось сказать, что роли-то ровно никакой и нет.

— Тогда какая же его вина? — спросил он.

И опять пришлось сказать, что и вины тоже как будто нет.

— Ну, тогда что же?

— Но ведь столкновение-то произошло в его комнате,— сказал милиционер...

— Знаете, мне некогда заниматься глупостями,— ответил милиционеру секретарь.— Сейчас у нас проходит съезд, мы готовимся к конференции, а вы хотите поднять шум бог знает из-за чего. Эти двое сами взрослые люди. Пусть и разбираются. Чего третьего-то мешать? Ведь он не видел даже ничего.

Вот после этого разговора и позвонил мне этот самый зам. начальника. «Зайдите в милицию для разговора». Но у меня в это время сидел мой переводчик, и я просил разрешения зайти не сию минуту, а примерно через полчаса.

— Мне было бы очень неприятно,— сказал я,— вдруг оставить моего гостя одного. Что б он подумал?

Наступило минутное молчание.

— Ладно,— ответили мне наконец.— Тогда давайте поговорим по телефону. Вот вы знаете, что у вас несколько дней тому назад произошло в комнате...

— Знаю и очень жалею,— ответил я.— И ту неизвестную молодую девушку жалею, и паренька, который пришел читать стихи, тоже жалею. Не надо было им видеть этакое. А Тарасову, пожалуй, поделом — не лезь! Я его знаю! Но раз это произошло у меня, то и я виноват тоже, конечно.

— Так вот,— сказал зам.— Я бы очень просил вас, чтобы больше этого не повторялось. Тут нужно иметь дело с настоящими преступниками, а отвлекаешься на какую-то чепуху.

Голос был мягкий, даже вибрирующий. Человек говорил вежливо, деловито, да и я сам понимал, что призошло черт знает что. «Какие же хорошие люди попадаются в милиции»,— вот что я подумал тогда.

— Товарищ начальник,— ответил я.— Практически, конечно, я могу поручиться вам чем угодно, что ничего подобного у меня больше не повторится. За мои 57 лет гости в моей комнате подрались впервые. Но, говоря чисто юридически, какую я могу вам дать гарантию, какие меры тут принимать? Ведь вспомните, я даже как свидетель вам не пригодился. Они взрослые люди, члены творческих Союзов и каждый в конце концов отвечает только за себя. Позвоните в их организации, и вы точно установите долю вины каждого.

— Да я звонил,— ответил мне начальник невнятно.— До свидания.

Так вот, этот самый человек и сидел теперь передо мной. Т. е. сидел-то теперь совершенно иной человек, насмешливый, всесильный, довольный тем, что наконец-то пришла и его очередь.

— Я покажу вашему Союзу! — сказал он.— Если секретарь опять мне так ответит, я и его привлеку. Хулиган! Вот вы кто такой.

Я так ошалел, что только и сумел повторить:

— Хулиган?

Он поднялся из-за стола. Он очень грозно поднялся из-за стола и стоял теперь передо мной, отделенный барьером, и я сразу понял все: по ту сторону барьера карающая рука закона и сам закон, т. е. он, а по другую — преступление и наказание, т. е. я.

«Хулиган». Он «покажет». Сколько лет я уже не слышал подобного! Я вспомнил все и почувствовал, что задыхаюсь. И поскорее отошел от него.

— Ну ладно, я хулиган, а тот, что резал женщин, тот кто?

Он фыркнул.

— Кого не надо, того не режут,— ответил он.— Что, проституцию разводить вздумали? В подвал бегать? Баб водить?

Тут я пришел наконец в себя. Нет, я не подошел к барьеру, я как стоял, так и остался стоять у стены.

— Знаете что? — сказал я.— Вот сейчас на вас ваш мундир и вы за барьером. Вы, как говорится,— при исполнении. Но когда-нибудь я вас встречу без мундира и не при исполнении, тогда я вам на все отвечу по-мужски: и на хулигана, и на проституцию, и на это «баб водить». И вы этот разговор на всю жизнь запомните. Уверяю вас, что запомните, гражданин хороший!

Потом мне говорили, что все это я сказал почти шепотом. А мне тогда казалось, что я ору на всю дежурку, но, наверно, кто-то словно сдавил мне горло и поэтому я говорил тихо-тихо. Сказал и сел. Кто-то сзади осторожно тронул меня за плечо. Оглянулся — Саркисов. И тот, за барьером, тоже потерялся.

— Вы свидетель! — говорит он.— Вы слышали, как он разговаривает со мной?

Тогда Саркисову в праве быть свидетелем отказали, а сейчас ему эту роль навязывают силком. Он растерянно улыбается. Я сижу на лавке. Меня не трясет. Нет, я весь застыл, окаменел в какой-то злобной судороге, как тогда, в 38-м году, перед орущей и кривляющейся мартышкой в майорском мундире. Я уже больше не могу ни говорить, ни кричать. Мне остается только сидеть и ждать, когда это схлынет. Надо мной наклоняется товарищ и что-то говорит, но я еще ничего не воспринимаю. Так проходит с полчаса. Потом подходит милиционер, заглядывает мне в лицо.

— Ну как? — спрашивает он.

— Ничего,— отвечаю я.

— Ну вставай. Поедем.

В руках его папка. До меня еще не все доходит.

— Куда поедем-то?

— В суд. Закон от 19 декабря. Мелкое хулиганство, штраф десятка,— объясняет милиционер.

Тут наконец сознание возвращается ко мне полностью, и я встаю. Хорошенькое дело, объясняйся с судьей, потом административная комиссия, потом бумажка в Союз, потом разговор в секции, рассказывай всюду и везде об одном и том же. Да и кто поверит во все это?!

И вот суд. Большая комната — зал судебных заседаний. В нем все, как полагается,— возвышение, гербы, стол, судейские кресла, скамья подсудимых, лавки. Мы сидим на этих лавках и ждем. Мы — это несколько милиционеров, тройка или четверо сочувствующих и глазеющих и примерно с десяток очень помятых, растерянных личностей в жеваных костюмах. Их привезли прямо из отделения, а ночь на полу или на скамейке и короля английского превратит в пугало, в особенности если соседство попадется подходящее. Привели меня двое милиционеров. Один из них вышел с моим делом и через минуту возвратился сияющий. Он ходил к кому-то на доклад и показывал мои бумаги.

— Домбровский,— кричит он мне радостно.— Судью Милютину знаешь? Ну, десять суток обеспечено.

«Да,— соображаю я,— если Милютина, тогда все возможно».

Эту даму я знаю хорошо. Это воистину тот судья, который сомнений не имеет. Гражданин у нее всегда виноват. Любое учреждение для нее — государство, советская власть. Доказательства всех этих истин не существует. Но о ней я напишу особо в конце. Она стоит разговора. А сейчас мне надо передать темп, в котором все завертелось,— ать-два, ать-два! Сидим друг другу в затылок. Дверь открывается и закрывается. Следующего, следующего, следующего!.. Человек вылетает с 10—15 сутками через каждые три минуты.

Как-то у Охлопкова я смотрел «Бравого солдата Швейка», сцену медосмотра новобранцев. «Дышите — не дышите. Покажите язык. Годен». Пять слов — 20 секунд — лети! Честное слово, и сейчас я вспомнил Охлопкова и Швейка!

Подошла и моя очередь. Вхожу в комнату: нет, не Милютина, это какая-то другая дама. Значит, Милютина сосчитывается со мной через нее. Женщина говорит по телефону. Вхожу и сажусь, потому что разговор у нее долгий и развеселый. Судья Кочетова — это она — общительный и, видно, прекрасный человек. Звонят ей много, разговоры веселые и дружеские. Речь идет о встречах, о поездках, о выходном дне, о том, что «мы вас ждали-ждали, а вы...» Подсудимые стоят и слушают. Из тех трех минут верные две уходят на разговоры. Трубка положена. Я поднимаюсь. Кочетова листает первый лист дела и смотрит на его последние строчки. «Выражался нецензурно»,— читаю я за ней. Привычным движением она придвигает к себе бланк, берет ручку, нацеливается. В это время телефон звонит снова. Она слушает и вдруг широко улыбается. Это опять приятный разговор о поездках, о том, кто пришел, а кто не пришел, о том, что «мы ждали-ждали...» У меня все время ломит ногти и позвонок, это предвестники нервного припадка, и я опускаюсь было опять.

— Стойте, стойте,— приказывает она мне быстрым, суеверным шепотом и продолжает улыбаться, упрекать, оправдываться, приглашать, сговариваться.

Это звонил какой-то, очевидно, очень хороший знакомый, потому что она и секретарше сообщает — звонил, мол, вот кто,— и та тоже улыбается. Я стою перед ней навытяжку и слушаю. Она кладет трубку, лицо ее скучнеет — это значит, суд не прерывался ни на секунду и телефонный разговор — это тоже часть процедуры.

— Хулиганили, выражались нецензурно? — спрашивает она.

Я отвечаю ей, стараясь говорить ровно и тихо, хотя мне это плохо удается, что не дрался и не хулиганил, а просто спрятал женщину, которую били. Она опять вслух читает мне последние строчки полицейского рапорта. Мои слова ее никак не задевают, не интересуют и не настораживают. То есть происходит то же самое, что и в милиции, только здесь даже и не смеются. А я боюсь, что ей опять позвонят и пригласят куда-нибудь, и поэтому быстро выпаливаю все. Она слушает и не слушает, смотрит на меня и не смотрит, потом тихо подвигает к себе бланк. Страшные слова «рвали рот, били по лицу, резанули ножом» ее не трогают совершенно. Ей все ясно.

— Но вот две женщины подписали,— говорит она.

Я объясняю, что одна женщина прибирала мою комнату, иногда готовила, потом по разным причинам мне пришлось с ней распрощаться. Тогда я (единственный раз) обратился вот к этой «неизвестной» Арутюньян, и она мне помыла полы. Таково первое зерно скандала.

Я говорю, а у нее в руках самописка, и ничего ее больше не интересует. Она вписывает мою фамилию и задерживается перед профессией.

— Так вы что? Писатель? — спрашивает она смешливо.

Никогда в жизни никому с таким отвращением я, наверно, не отвечал: «Да!»

— Что ж вы написали?

Я молчу. Я не в силах с ней дальше говорить.

— Не слыхала, не слыхала,— говорит она.— Не слыхала такого. Вот есть Шолохов, Федин, Фадеев, Симонов...— и голос у нее поет. Потом она резко одергивает себя.— Так вот. Десять суток,— и нравоучительно: — Постарайтесь из этого сделать для себя выводы.

Я глубоко вздыхаю. Слова не идут уже у меня из горла. Что десять суток мне, просидевшему двадцать пять лет? Разве в них дело?

— Похоже, из этого сделаете вывод вы, гражданка,— говорю я.— Я постараюсь об этом.

— Э-э,— отвечает она и откладывает постановление в сторону.— Э-э!

Хулиганством называется неуважение личности, сопряженное с озорными действиями. Злостным хулиганством называются те же действия, но совершенные с крайним цинизмом. Большего неуважения к личности и большего цинизма, чем этот телефон на столе перед судьей и ее разговоры о прогулках и встречах во время вынесения приговора, перед вытянувшимся в ожидании своей участи человеком, я поистине не знаю. Это, конечно, не хулиганство, может быть, это даже и не надругательство над человеком (на него просто плевать, и все), но это, пожалуй, даже хуже. Это — унижение закона. Его величия. Это — сведение роли судьи к дамочке, тарабанящей по дачному автомату. Какое уважение к себе может внушить такой суд и такая судья? Гражданка Кочетова, я почти уверен, что вы неплохой человек, но кто же вам вбил в голову, что можно трепаться во время суда о встречах?!

Итак, тюрьма. На этот раз Краснопресненская пересылка. В начале всего душ и машинка. Бреют догола. В этом глубокий воспитательный смысл. Пусть тебя, такого-то, увидят в той квартире, из которой увели. Смеху-то, смеху-то сколько будет. Ну, а смех, думает, по-видимому, автор этой неумной затеи (впрочем, авторов несколько — от прокурора до начальника санитарной службы города Москвы) — тоже воспитательный фактор. Но ведь можно сделать и еще смешнее, так что окружающие кататься будут, можно остричь еще и полголовы, стричь полосами и выстригать кружок на темени! Смеху тогда будет еще больше.

Бреет один из заключенных. Делает он это умело и споро: раз, два — и готово.

— Слушай,— говорю я ему, садясь,— а ведь это же, пожалуй, издевательство, а?

Он поднимает на меня неожиданно умные и серьезные глаза и отвечает очень просто.

— А как же? Конечно.

— И давно они этим занимаются?

— С нового года ввели. В камере прочтешь.

— Гуляют,— вздыхает около меня пожилой крепкий мужчина лет шестидесяти.— Ох и гуляют.

После этого нас ведут в камеру. Ведет старшина — добродушный и посмеивающийся сверхсрочник. «Декабристы» для него что-то очень несерьезное и потешное, и в самом деле, что значит сутки, когда в соседнем коридоре сидят люди со сроками восемь, десять и более лет. Ведь тюрьма-то пересыльная. Кроме того, ему и забот с нами никаких. На оправку выводить не надо, прогулка нам не положена, на работу не выводят, а стеречь — да кого же стеречь, кто побежит? Но камера-то настоящая: железная дверь, в ней кормушка, двойные решетки на окнах, железные затворы, нары. Привел нас надзиратель, сказал «размещайтесь», щелкнул замком и ушел. Лезу на верхние нары, устраиваюсь, перевожу дыхание и оглядываюсь. Да, таких камер я еще не видел. Все полным-полно. Плюнуть негде. В 39-м и 49-м годах приводили нас иногда и в такие камеры, но часа на два-три, много-много — на сутки. А здесь находятся по полмесяцу. Это значит, что пятнадцать суток ты здесь просидишь или пролежишь, но ходить ты не будешь, даже ноги размять негде. Крошечное пространство между нарами забито столом, прогулка не положена, оправка исключена, умываются над унитазом, свежий воздух поступает через чуть-чуть приоткрытую фрамугу. Все эти невозможности: невозможность двигаться, дышать, гулять, курить не в камере, а на воздухе — искупаются, по мысли законодателя, тем, что люди большую часть дня проводят вне камеры — работают. Но в том-то и дело, что здесь никого никуда не выводят. Просто не нужна наша работа. Дай бог, если вызовут за сутки двух-трех человек во двор или по коридору. Хозяйственники отлично уже знают, что такое труд заключенного, и пересылку обходят за десять верст. Во всяком случае, при мне вызвали один раз двух человек, в другой раз — трех. Одних часа на полтора, других — на два. Оба раза для работ по коридору.

Сижу на нарах и думаю: а как же здесь спать? Ведь ни матраца, ни подушки, ни одеяла нет. В монастырях такие вещи называются эпитимией, послушанием и преследуют совершенно определенную цель — умерщвление плоти. Здесь же, по мысли законодателя, все должно воспитывать. Выйдешь отсюда бритый, будешь шататься, засыпать на ходу (шутка ли —пятнадцать суток проваляться на голых досках), второй раз не попадешь. Надо мной висят правила, и я читаю их по нескольку раз в день (другого чтения нет).

Вот читаю: «Все арестованные проходят санобработку и стригутся в обязательном порядке. Примечание: женщин бреют только по указанию санитарной комиссии».

Гражданин законодатель, изобретатель вот этой мухоловки — камеры без оправок, прогулок, постелей, почему вы все же непоследовательны? Брейте и женщин! Брейте их догола. Что вас останавливает? Ведь делали же это во время фестиваля 1957 года. Пускай хулиганки, алкоголички, аморалки пройдут по улицам остриженными наголо, с синеватыми черепами. Вот будет, над чем посмеяться, вот уж кому придумают по двору всякие клички! А ведь ошельмование, надругательство — это, по-вашему, профилактика преступления! Непоследовательность губит всех благодетелей человечества, гр. законодатель, прокурор или санитарный врач города,— так стригите же, брейте, болваньте, шельмуйте женщин. Помечайте их так, чтоб над ними грохотали все газовые плиты, все кастрюли и комнаты коммунальной квартиры. Доводите наш моральный кодекс до полного всеобщего понимания. Женщин вы не стрижете, что за нелепость?!

Читаю дальше: «Каждому арестованному предоставляется спальное место без постели». Выражение очень сильное. Что место без постели может быть спальным — не думали ни Ягода, ни Ежов, ни Берия. Пук соломы в мешке да горсть сена в наволоке они давали всегда. Режим вокзальной свалки в течение полумесяца — это действительно что-то совершенно новое в истории пенитенциарных систем. Впрочем, тогда у Берии, соображаю я, от человека что-то требовали: подследственный должен был отвечать на вопросы, помогать следователю в сочинении так называемого «романа», называть фамилии и т. д. Осужденный работал. Дел было много. Пытка бессонницей применялась именно как пытка, то есть только тогда, когда имело место какое-то вымогательство: подпиши показание, подтверди на очной ставке то-то и то-то, обличи такого-то. «Помоги следствию». Когда же бедный мавр, доведенный до чертиков, делал свое дело — в кого-то там тыкал пальцем, что-то там подмахивал,— его душу отпускали на покаяние — отдохни до лагеря (или до расстрела). А в лагере постели были уже настоящие, иногда даже с простыней. Не выспишься — не поработаешь, это наши начальники усвоили себе железно.

Каждый бы из них счел бы сумасшедшим своего соседа, если бы он вывесил вот это правило: «Спальное место без постели».

Тут могут, пожалуй, возразить: но ведь там и сроки были иные, пятнадцать лет и пятнадцать суток — есть разница! Ах, какая чепуха! Самое-самое страшное это именно и есть не года, а десять — пятнадцать суток. Ведь только длительность переходов — одиночка (с постелью все-таки), допросы, пересылки — одним словом, полугодовой срок переподготовки свободного человека в ЗК, в номер такой-то, и давали этому номеру силы и моральные, и физические. Они воспитывали его. Иммунизировали. С этой позиции даже следствие с его матом и кулаками имело свой благодетельный смысл. Стащи человека с постели и брось его сразу в лагерь, он и трех дней не выдюжит, а, переходя из одного круга ада в другой, люди выносили и такое, что после им самим казалось фантастикой. Один замечательный, но безымянный поэт в одном из своих стихотворений очень кстати вспомнил, что последний, девятый, круг ада — мороз и лед. Так вот в этом девятом круге мы жили годами и даже стихи там писали. Потому и жили, что до этого времени прошли все восемь кругов по порядку. А вот если б порядок изменился, если б сразу с первого круга нас кинули в пятый или в шестой, тогда бы, конечно, была катастрофа и смерть.

Всю ночь я не спал, то есть находился в том полубредовом, полубодрствующем состоянии, когда действительность расслаивается и начинает делаться сквозной, через желтую лампочку, доски, стены проступала моя улица, моя комната, книги, которые я должен был прочесть до завтра, работа, которую я не закончил. Так же спали или не спали все. Лежали, смотрели на окно — скоро ли оно побелеет, закуривали, слезали, сидели, почесывая желтые, обритые головы. В шесть часов подъем. Но подъем тут — это, конечно, понятие условное. Просто в шесть часов раздача хлеба. А есть здесь никто не хочет. Вялость, духота, неподвижность, скученность — она перебьет всякий голод. В первые дни, во всяком случае.

Меня все время одолевает дурнота. Она началась еще вчера, когда я впервые увидел кровь, чуть не накатила на суде и накрыла меня с головой, когда я сидел и ждал отправки в тюрьму. Она и сейчас не оставляет меня — то нахлынет, то спадет. Слезаю с нар, чтобы выпить воды. Над раковиной умывается тот пожилой, шестидесятилетний, с которым мы стояли в очередь к парикмахеру. Это тогда он сказал «гуляют». Сейчас я с удовольствием смотрю на то, как он умывается. Истово трет лицо, потом каким-то обмылком до пены мылит голову, смывает водой, вынимает из кармана чистый платок и вытирается досуха. Общим полотенцем не пользуется. Все делает солидно и основательно. И одет солидно: крепкие рабочие сапоги, грубошерстные брюки, пиджак. Кряжистый, большой, неторопливый человек. Вымылся, вытерся, повесил платок на край нар (просушиваться), потом поднял на меня глаза и слегка подмигнул.

— Ну как?—спросил он.

Это он о том, какие у меня были волосы.

— Что ж, сейчас лето,— отвечаю,— так будет легче.

— Это так,— охотно согласился он.— Я, когда был моложе, всегда брился догола.

Он идет на свое место и садится. Я, подождав немного, подхожу к нему. Он подвигается и дает мне место.

— И на много вас?

— Пустяки, всего на пятнадцать суток,— отвечает он.— Вот видишь, как хорошо гостей встретил.

Расспрашивать в тюрьме не полагается, но он как будто вызывает на разговор.

— Вы что ж, выпивши были?

— Ну! Я ее и в рот не беру.

— А?..

— А вот так! — И он рассказывает, что случилось.

Жена позвала в гости родственников, потом выяснилось, что закуски маловато. «Ты бы хоть селедочки принес»,— сказала жена. Он и побежал на угол в магазин за селедкой. Смотрит, бочка. На бочке надпись: «Рубль сорок кг». И на витрине в судке селедка — крупная, жирная. Стоит очередь. Он встал тоже. «А дают они, понимаешь, совсем из другой бочки. На той вовсе цены нет. И все берут, молчат. А когда подошла моя очередь, я и прошу продавца: «Вы мне, молодой человек, отпустите из той, где цена». «А товар везде,— говорит,— одинаковый, что в той, что в этой». «Ну а если одинаковый, то и дайте из той». А он и не слушает, раз-раз, свешал, завернул, говорит: «Полтора рубля». «Нет,— говорю,— я этой не возьму. Вы мне ту отпустите». «Товарищ,— говорит продавец,— не нравится — уходите. Кто возьмет за полтора рубля?» А я заспорил: как же так, стоял и уйду ни с чем. Тут милиционер как раз подходит: «В чем дело?» «А вот,— говорит,— задерживает очередь, скандалит». Милиционер, конечно, сразу держит за него. «Что же это вы скандалите, гражданин? Берите покупку и уходите». Я ему свое, а он меня за рукав. Я ему объясняю: так и так, а он меня локтем: «Товар везде один, вы не лавочная комиссия, чтоб проверять». Я и озлился. «И вы,— говорю,— неправильно поступаете. Вы должны за рабочего человека заступиться, а вы вон чью руку держите. Не затем вы поставлены, чтоб так себя вести». Тут он сразу меня — хлоп! «Скандалишь? Да еще милицию оскорбляешь?! Не хотел домой идти, так со мной пройдешь». И вот, видишь, пятнадцать суток за хулиганство и оскорбление властей».

И он опять усмехается. Говорит ровно, спокойно, беззлобно, как будто и не о себе, улыбается и кончает:

— Вот так, дорогой товарищ, и принял я гостей.

Акцент у него нерусский. Это не то татарин, не то мордвин.

— И говорите, совсем не пили?

Он поднимает руку и истово показывает мне кончик большого пальца с желтым ногтем.

— Вот столько за свою жизнь не выпил,— говорит он торжественно.— Я и понятия не имею, что такое водка, что такое вино.

— И не ругались?

Он качает головой.

— Сроду,— говорит он твёрдо,— сроду никогда.

— Значит, за что-то тебя здорово милиция полюбила,— сказал кто-то рядом.

Он развел руками.

— Да ее и вижу только на улице. Даже свидетелем никогда не был, а тут вот сразу в суд и пятнадцать суток.

— А небось, написали: нецензурно выражался,— догадывается кто-то.

— Ну, вот, вот, это самое. Нецензурная брань,— смеется он, и все смеются тоже.

— Это уж они обязательно напишут,— объясняет тот же человек. — Тут со мной глухонемого судили. Так тоже влепили—«нецензурная брань». Даже судья засмеялся. «Ну это уж переборщили,— говорит.— Пишут черт те знает что».

— Ну и что?

— Да что, пятнадцать суток. Вот он рядом, в соседней камере, за стеной.

— Да не может быть,— говорю я.— Анекдот?!

— Да нет, нет,— сразу откликается несколько голосов.— Точно, точно. Вон за стеной сидит.

И все опять смеются.

Вот ведь что самое скверное: смеются!

— Да вы бы объяснили,— говорю я соседу, который в один и тот же день получил путевку в Сочи за хорошую работу и пятнадцать суток ареста за хулиганство.— Объяснили бы, как было. Ну, поругались с женой, ну, сказали ей что-то там такое. Так ведь рук-то вы на нее не поднимали.

Это молодой, красивый парень лет тридцати пяти, рыжий, рослый, сильный. История у него такая. Он был премирован как лучший ударник путевкой. Завком обещал выдать тридцать рублей на дорогу. Ехать через два дня.

— Ну, конечно, хватили немного на радостях. Отрекаться не буду. Но так... Нормально. Прихожу к жене, говорю ей — вот какой мне почет, а она сразу чуть не в морду. «Уж договорился там,— кричит,— со своими дружками. Поедешь пьянствовать да котовать, а я тут без денег буду сидеть! Знаю я ваши отдыхи». Ну, слово за слово. Я сначала смехом, смехом, а потом уже пуганул ее как следует. Она мне, я ей. А руку не поднимал. Я этого не придерживаюсь — нет! Но крику, верно, много было. Она в кухню убежала, а я спать лег. А часа через два будит милиционер: «Собирайся, пойдем». «Куда?» «В милицию, соседи заявление написали». Вот. Привели, посадили. А на другой день пятнадцать суток.

Все смеются. Уж больно здорово это получается. Молодцы милиционеры! Молодец судья! Вот тебе и курорт! А меня возмущает нелепость положения. Как, за что, почему? Человек получил путевку, ну, поругался с женой, ну, покричали друг на друга, все может быть, и жену я тоже понимаю, ей, действительно, обидно — муж уезжает в Сочи (а он, наверно, ух, какой парень!), а она остается одна, в общем, поругались. Но где же здесь преступление? При чем тут Указ, милиция, суд, пятнадцать суток, Краснопресненская пересылка, бритая голова,— в общем, ничего не поймешь, какая-то сплошная нелепость.

— Да ты бы и рассказал, как и что,— говорю я, хотя уже понимаю, насколько это беспомощно. Опять смеются. Но уж не над ним, а надо мной. А один с наслаждением рассказывает:

— Тут ведь вот какой суд. Судья меня спрашивает: «Ну, рассказывай, как что было». А я говорю: «Да что же вам рассказывать, когда вы уже проставили пятнадцать суток». Засмеялся. «Ишь ты, какой глазастый, ну тогда садись на лавку, жди. Следующий!». Им объяснишь, им, чертям, как раз объяснишь!

Что им ничего не объяснишь, это я уже понимаю, но и согласиться с этим не могу.

И еще мне подносят такую же историю. Рассказывает уже пожилой человек с проседью. Поссорился с женой, покричали, и очутился тут. Жена потом в милицию, чуть не на коленях валялась: «Что ж мы с детями есть-то будем? Ведь у меня и сейчас ни копейки в доме, а он тут еще пятнадцать суток просидит». Ничего и слушать не хочет. Раз к нам попал, то...

Этот уже озлоблен, он не говорит, а лает: «Да чтоб я теперь! С ней!.. С этой стервой! Я и близко не подойду! Посадила меня — все! Все! Она это, сука, чует,— ходит, воет! Нет, нет! Я такой! Она знает! Я такой!»

Вероятно, он и действительно «такой». Говорит он решительно и как-то очень страшно. Он оскорблен до глубины души. Семья разбита. Да, это, кажется, точно. Но говорить с ним очень тяжело. Это какая-то злобная конвульсия, припадок. Я поскорее отхожу.

Меня интересует один человек. Я заметил его еще в бане. Обратил внимание на то, как он мылся, медленно-медленно проводил ладонями по лицу, словно творил намаз. Сейчас он сидит на краю нар, опустив руки вдоль колен, и молчит. Он совершенно лысый, не бритый, а именно лысый, и серый, хотя, кажется, лет ему не так уж много. У него странная сосредоточенность. Он словно к чему-то все время прислушивается, примеривается, во что-то вдумывается. Я подождал удобный момент и, когда люди расползлись по нарам или же поползли к столу гонять козла (в камере непрекращающийся грохот — книг нет, на работу не выводят, так вот нарезали из фанеры дощечек и гремят ими по восемнадцать часов в сутки), так когда все разбрелись, я подсел к нему и спросил: а он-то тут за что? Он ответил:

— Жильцы сдали.

Я спросил:

— Скандалил?

К моему удивлению, он кивнул головой. А вид у него был совсем не скандальный.

— Что ж ты так?

Он промолчал. И опять в нем было что-то очень странное, непонятное, отсутствующее — словом, что-то очень и очень свое. И сидел он здесь по-особому — уверенно и стойко, как космонавт в кабине. А около угла рта все время держалась и не спадала кривая складка раздумья. Это при полной неподвижности.

— И что, большой скандал был? — спросил я.

— Да нет, не особенно. Просто постучал и покричал. Разозлился я тогда очень. Ну пристают и пристают ко мне.

— Почему же?

Помолчал. Подумал.

— Да не работаю я нигде, а выслать меня они не могут.

— А почему ж не работаете?

— Да не берут. Посмотрят документы и говорят: нет, нам не надо. Я шизофреник.

Он вдруг поднимает на меня глаза, и вижу в них что-то очень мое — собственное, человечески скорбное.

— А на пенсии трудно, очень трудно. Маленькая! Да и хранить ее я не умею. Обязательно выманят, возьмут и не отдадут,— сказал, смущенно улыбнулся и опять ушел куда-то.

Вот все эти двое или трое суток, как бы ни кричали в камере, о чем бы ни спорили над ним и перед ним, как бы его ни толкали на бок, он сидел так же тихо и неподвижно, не доступный ничему и никому. Его толкнут, он слегка привалится на бок, растерянно потрет его, опять сядет и думает что-то свое, думает, думает. «Господи,— подумал я,— так неужели они и этого воспитывают? Хотят ему что-то доказать? От чего-то остеречь. Да разве через пятнадцать суток он будет иным? Я знаю таких по лагерю. Они весь свой срок, и пять, и десять лет, проводили в таком же полусне. Иногда накатит на них что-то, они вскочат, побегут, застучат, закричат, а потом опять погружаются в свою прежнюю муть. И снова для них и день — не день, и год — не год».

А дышать мне все труднее и труднее, камера к вечеру становится голубой от дыма. На верхней полке и вообще не усидишь. И вот

я толкусь внизу и разговариваю с людьми. Мне хочется опросить как можно больше человек. Почти все преступления здесь одинаковы: ссора с соседом, ссора с женой, квартирные склоки. Под понятие хулиганства ни одно из этих дел не подходит. Это все больше казусы из той категории, которые раньше назывались «делами частного иска». Один жилец поссорился с другим, жена поругалась с мужем, что-то случилось в кухне над газовой плитой. Таких столкновений было сколько угодно и до этого. Но вот кто-то из более осведомленных скандалистов или соседей понял, что идет кампания, что милиция заинтересована в том, чтобы случаев мелкого хулиганства сейчас было указано в сводках как можно больше (раньше были заинтересованы как раз в обратном), и позвонил в милицию. Пришел милиционер, увел с собой одного и объяснил другим, как и что на него надо писать. А там рапорт (с обязательным «выражался нецензурно»), постановление, пятнадцать суток. Обжалованию не подлежит. И все — сиди! И еще я думаю, что бумага все терпит и на ней все цифры выглядят убедительно. А между тем, что, по существу, могут значить хотя бы такие строки сводки: «Выявлено случаев хулиганства за отчетный период двести двадцать пять случаев. Из них сто человек были привлечены к уголовной ответственности по 206, а сто двадцать пять осуждены на разные меры наказания согласно Указу от 19 декабря». Согласимся сразу: кто эти сто,— понятно: над точностью квалификации их проступков трудились сначала следователи, потом прокуратура, затем суд и защита; их дела направлялись в кассационные инстанции, контролировались прокурорским надзором, так что они не остались без защиты, но вот те сто двадцать пять, осужденные единолично, не защищенные кассационными инстанциями, не имеющие права жаловаться, неведомые прокурору — они-то кто? Насколько они виноваты? Да и виноваты ли вообще? Кто это и как это выяснит? А выяснить это нужно во что бы то ни стало и даже не из-за человечности, а во имя борьбы с тем же хулиганством — и мелким, и крупным, и самым-самым крупным, граничащим с убийством и бандитизмом.

Потому что Указ от 19 декабря, по которому я и сижу, это установление совершенно особого рода.

Почему? А вот почему: из всех возможных целей наказания (кара, предупреждение новых преступлений, влияние на других членов общества) Указ больше всего (а может быть, и исключительно) преследует одну, главную,— «перевоспитание осужденных... в духе уважения к правилам социалистического общества», то есть Указ — это обращение, апелляция к сознанию самих осужденных. «И сделайте из этого для себя выводы», как сказала мне Кочетова. Но какие же я выводы могу для себя сделать, если я судью не уважаю, нарушений не совершил и право на свое перевоспитание за этими лицами, увидев, как они действуют, не признаю. Ведь о моей изоляции дело не идет, я вернусь в ту же квартиру, из которой меня увели, к тем людям, которые на меня «доказали». Я встану к тому же станку или к той же плите, у которых стоял до этого. Буду жить с той же женой — так как я буду жить? С чем я вернусь? Что я понял и что я не понял? Какие сдвиги во мне произошли? Ведь вот самые главные вопросы. И ответы на них получаются прямо противоположные — в зависимости от существа дела, следствия и суда. Получил очень много, если понял, что поделом была вору мука: все — если по одну сторону судейского стола сидел закон, а по другую стоял я — нарушитель. А если все не так, если нарушитель сидел именно за судейским столом, если я считаю правым себя, а не его? Для какого дьявола тогда все эти милицейские рапорты с их дежурными формулами, издевательские разговоры в дежурке, суд, который не судит, а только осуждает, судья, который не спрашивает, а телефонничает да вписывает сутки — пять, десять, пятнадцать? Если после эдакого суда я потеряю уважение и к суду вообще, и закону, то чем это может быть искуплено? И не заболею ли я тогда тем самым скептицизмом, тем «неверием», которые все мы считаем какой-то непонятной нам до конца болезнью молодежи? Задумывалась ли судья Кочетова когда-нибудь над этим вопросом? Приходили ли ей эти вопросы вообще в голову? Во всяком случае, могу сказать с полной определенностью и полнейшей ответственностью, что в той камере Краснопресненской пересылки, где я находился, никто ни во что не верил и никто ничего не уважал. И еще, вспоминая прошлое, думаю: опасность кампании еще в том, что она творец видимостей. Она создает видимость борьбы, видимость преступления, видимость служебного героизма и в заключение призрак победы (ох, как потом за него приходится дорого расплачиваться!) [1]. Под конец же она превращается во взбесившегося робота, который уже не подвластен никакому контролю или — еще проще — в раковую опухоль, которой дано только расти и расти, разрушая все вокруг. Так было в те годы, которые я уже поминал, тогда спрос поистине рождал предложение, и понятно, почему, а сейчас как? Вот в этих делах о мелком хулиганстве?

Наступает ночь. Камера затихает; я лежу и размышляю о своем счастье (не о судьбе — что о ней сейчас думать? А именно о счастье). Очень мне уж не везет в столкновениях с нашей юстицией. Я написал антирасистский роман и был осужден за расизм (сейчас роман издан).

Я заключил договор на перевод, сделал его, сдал в редакцию, и судья Милютина осудила меня за то, что я не сделал перевод и не сдал его в редакцию (а сейчас он печатается).

Я спрятал женщину от хулиганов, и меня осудили за хулиганство (а хулиганами даже не заинтересовались). И это не были запутанные дела — нет, все было ясно, явно, с самого начала говорило в мою пользу: и логика, и свидетели, и документы, и все равно я был осужден. Таково уж мое счастье. Я вечно кого-то раздражаю и не устраиваю. Или — беда нашей судебной практики? То, что она уж слишком многих устраивает и слишком мало кого боится раздражить?

И тут я вспомнил о «полканах».

В 1949 году нас пригнали в Тайшет. Около палатки нас встретил старший дневальный — старый, заслуженный вор. Мы шли, а он стоял и смотрел на нас.

— Ну что, полканы, пригнали вас? — спросил он меня.— Тут уж вам хана!

— Почему мы полканы? — спросил я.

Он фыркнул.

— А кто ж вы? Волки? Нет, это кто-то с маслом в голове вас сдал за волков. Ну, вот ты,— обратился он к моему соседу,— за что ты сидишь? Вредитель? Божественник?

---

[1] Это писалось в 1966 году, а в половине 1969 г. уже пришлось признаваться: «За два с половиной года действия Указа «Об усилении ответственности за хулиганство» мы получили эффект меньший, чем ожидали» («Известия» от 30.05.1969 г. «Милиция и мы»). Ох, эта святая простота! Как ты тут ие к месту!

«Нам ничего не дал за 6 лет этот Указ—хулиганство только растет»,— сказал на встрече с писателями в 1972 году зам. министра МВД Крылов. *(Здесь и далее примечания автора).*

Это был профессор Эрнст — высокий, худой старик-астматик. Он скинул мешок на снег и стоял перед вором, вытянувшись.

— Я шпион,— ответил он серьезно.

— Ну вот, немецкий шпион,— радостно подхватил вор.— Еще двоих таких, как ты, и орден следователю! Эх вы, полканы, собачьи ваши шкурки.

И он отошел, а через минуту мы услышали его крик — он кого-то бил и тащил с нар.

— Я вор! — гордо орал он.— Я человек! Я воровал и сел! А ты кто? А ты за что? Ах, ты ни за что?! Ну и засохни, пока не стащат в столярку (в столярке стояли гробы). Вон иди к параше. Дай место людям! Безвинный!

Да, страшное дело сидеть в лагере ни за что — понял я тогда. А утром мне профессор Эрнст — искусствовед и археолог — объяснил все по пальцам.

— Вот, скажем, дорогой мой, какую-то деревушку одолели волки. И столько их развелось, что за каждую голову власть положила по сотне. А пришел в контору мужичок-серячок, увидел, что там сидит жулик, возвратился в избу, снял с гвоздя ружье. «Полкан, Полкан!» Пиф-паф, голову долой, и: «Вот, Ваше степенство, волчок-с, пожалуйте премию-с». Спрашивается,— и тут профессор Эрнст загнул первый палец,— много ли будет побито волков? — Он загнул второй.— Много ли останется в живых полканов? — Загнул третий.— Много ли в селе появится настоящих охотников или и те, что были охотниками, превратятся в гицелей [1]? — Он показал мне кулак и спросил: — Ясно?

— Ясно,—ответил я.

Этот разговор я потом вспоминал не раз, когда встречался на улицах со своими бывшими товарищами по лагерю; все диверсанты, шпионы-террористы, агенты иностранных разведок либо получали пенсии, либо были реабилитированы посмертно (иногда даже с некрологами). Это все были полканы! Временно исполняющие обязанности волков!

(Не могу забыть только один случай, хотя тут он как будто и ни к чему. Во время моих долгих и тягучих хождений по мукам я почти всегда встречал одну женщину. Мы с ней часами сидели в коридоре — я просто засматривался на нее: такое у нее было замкнутое, холодное лицо. Я еще суетился, советовался с кем-то, что-то там строчил, она сидела молча. И вот раз я встретил ее у входа. Она шла развинченной походкой, пошатывалась, лицо у нее было мокрое, но она улыбалась. «Поздравьте меня,— сказала она счастливо.— Все. Муж реабилитирован посмертно!»)

А что сталось с волками? А почитайте-ка их заграничные мемуары.

Такова вторая беда карательных кампаний: еще полбеды, что невинные гибнут, но вот что с врагом-то делать? Ведь для него нет времени более благоприятного, чем такая пора — пора взбаламученного моря. Работать в «мутной воде» — ведь это мечта всех преступников.

«Выявлять, пресекать, хватать, судить, да нет, что там судить? И милиции хватит,— верещат газеты,— мягки законы, малы сроки, недостаточны санкции. Давай, давай, давай! Товарищи домохозяйки, на вас вся надежда. Бдите, заявляйте, пишите! Товарищи соседи...» И вот уже все, что не нравится обывателю в квартирных склоках, начинает называться вредительством, агитацией (в 1938-м), антиидейностью (в 1946-м), космополитизмом (в 1949-м), тунеядством (в 1962-м), хулиганством (в 1966-м) [2].

[1] В собачников — в тех, что с собак шкуры дерут.

[2] В соответствии с этим хочется припомнить. В 1936 году был выписан ордер на арест Домбровского — русского. В 1939-м — Домбровского — поляка, в 1949-м — Домбровского — еврея, а в приговоре всегда стояла уж настоящая национальность.

В истории советской литературы был такой печальный случай: один великий русский поэт дал пощечину крупному писателю — публично. Демонстративно. Нарушая порядок в учреждении. Что было бы с ним сейчас при нашей судебной практике? Конечно, он предстал бы перед той же Кочетовой, и она спросила бы его: «Как? Поэт? Мандель-штам? Осип Мандель-штам? Никогда не слышала!.. Маяковский, Есенин — этих да! Ну вот вам десяток суток, и сделайте для себя выводы». Обязательно она так бы сказала ему.

Писатель моих лет дал в морду молодому наглецу, который обозвал его старой сволочью. (Почему он долго занимал телефонную кабину). Собралась общественность. Старика и парня доставили в милицию. К счастью, это было год тому назад, и дежурный тоже попался правильный, но сейчас все было бы иначе, и на одного старого, но мелкого хулигана в Москве стало бы больше. А кто от этого выиграл бы? Советское общество? Моральный кодекс? Краснопресненская пересылка? Выиграла бы, конечно, оперативная сводка, та страшная черная галочка, которая вечно сопровождает такие кампании и орет на весь Союз о победе над преступностью! Выиграл бы самый плохой человек из всех — мелкий хлесткий фельетонист — судья, осуждающий без суда и следствия [1].

Итак, вот остальные беды нынешней кампании.

1. Отсутствие судебного и надзорного контроля над органами порядка. Это дает возможность выдавать за мелкое хулиганство все что угодно — любую неприязнь, ссору, столкновение. Это условие, при котором легко сводить личные счеты и выживать соседа. Это практика доносов и петиций. Это суд коммунальной кухни и лестничной клетки, которая называет себя общественностью. (Вот оно «Давай, давай!»)

2. Расширительное толкование законов: оно возвращает нас к юридическим теориям Вышинского, к объективному вменению, к осуждению по аналогии.

Пример тому — дела о тунеядцах. Все мы помним печальное дело Бродского. Печальное хотя бы и по последствиям для всех нас, по резонансу, который оно вызвало в мире. Не очень давно в «Известиях» писали о высылке из Москвы такой тунеядки: дочь по уговору сестер и братьев ушла с работы, чтобы ухаживать за умирающей матерью (рак). Кроме этих двух пожилых женщин — умирающей и ухаживающей, в квартире никого не было. И вот все-таки одну из них оторвали от смертного одра другой и угнали в Сибирь, а другую оставили умирать. Прокурорского протеста не было. Каждый умирает в одиночку — вот, наверно, мораль прокурора. И совсем недавно в «Литературной газете» появился любопытный материал. «Общественность» какого-то дома требовала высылки нескольких соседей: образ жизни их, их интересы, их знакомства не помещались в сфере понимания этих соседей. То же формальное затруднение, что тунеядцы эти каждое утро вскакивают в восемь часов и несутся на службу, они обошли с гениальной легкостью. Одна старая общественница (вот уж поистине «зловещая старуха») вывела такую формулу: «Они работой маскируют свое тунеядство». И для кого-то, восседавшего за столом какого-то президиума, это оказалось вполне убедительным. Вероятно, он был просто раздавлен железной логикой: тунеядство

[1] «Нигде в мире ни один журнал, ни одна газета ие осмелились бы публике навязать свои приговоры по делу, которое еще только будет рассматриваться судом и которое им самим известно только по слухам и сплетням»,— так писал секретарь Верховного Уголовного суда Есипович, но в 1864 году!

скрываемо... А вот общественность выявила, разглядела! От нее не скроешься!

И еще хуже: какой-то кандидат в массовой брошюре втолковывает читателю, что тунеядец — это не тот, который вообще не работает, а тот, кто хочет мало работать, а получать много. Логическое ударение, конечно, на слове «хочет» — он хочет получать много. Но ведь под эту научную форму можно подогнать кого угодно. Даже Федина и Фадеева! Ведь обыватель так про нас и говорит: «Не захотел ты кирпичи таскать — стал ты бумагу марать».

Об Указе о тунеядстве, о преступлении странном, ускользающем от определения, не только не вошедшем в Кодекс, но и просто не упоминаемом в нем (все-таки слава нашим кодификаторам — они не преступили этот рубеж), стоило бы поговорить отдельно. И конечно, такой разговор обязательно состоится в самом недалеком будущем. Но сейчас я пишу как раз не об этом. Сейчас я пишу о том, что вполне ясное криминалистическое понятие проступка, имеющего четко ограниченные юридические грани, снова на наших глазах превращается в какую-то туманность. Все неблаговидное, с чем надлежит бороться, предлагают окрестить хулиганством. Так кто-то через печать советует всякое оскорбление считать хулиганством и дать право любому тащить в милицию обидчика. Не считаясь с обиженным. Повторяю — л ю б о м у! Вот что не только страшно, но и примечательно. Да разве любой может знать, что к чему? Разве могу я объяснить любому, почему я поссорился, скажем, с родственником, с другом, с женой. А ведь он требует этого объяснения. Он в комнату мою лезет и милиционера с собой ведет — я начинаю их гнать, а милиционер уже самописку вынул: «Молчите, вот свидетель, что вас обидели!» «Да позвольте,— говорю я,— обидел, не обидел, это мое дело. Кто вас уполномочил быть щепетильным за мой счет. Оставьте нас обоих в покое». А дежурный (уже дежурный и уже в отделении) мне отвечает: «Нет, не оставим. Докажите нам сначала, что вы не трус, а гордый советский человек. А вдруг вы сукин сын? Тогда мы обязаны— государство и общественность — вас защитить. Мы тебя, дорогой товарищ, научим «свободу любить». Мы привьем тебе чувство собственного достоинства. Воспитаем в духе нашего морального кодекса. Ах, вы недовольны! Ах, за вас заступаются, а вы еще недовольны?! А нука покиньте помещение. Освободите, освободите помещение, говорю вам. Повышаете голос? Ну, тогда пройдемте». И протокол: «Будучи доставлен в отделение милиции, в ответ на вопрос дежурного о случившемся гражданин (фамилия, имя, отчество) позволил себе... Выражался... по адресу (чин, фамилия)... Оскорблял... Грозил... Говорил, что он...» Подпись общественности. Рапорт милиции. Решение судьи — всё! Сидите оба!

Товарищи, да ведь это то самое, что Ленин называл «вогнать в рай дубиной». Даже преследование за такое опаснейшее преступление, предусматривающее смертную казнь, как изнасилование, во в с е х с т р а н а х возбуждается исключительно по иску потерпевшей, а здесь любой, услышав шум за стеной, может тащить меня в милицию. И не как обидчика, а как обиженного. Вот до чего дошла наша чуткость и любовь к человеку. Воистину «Боже, избави меня от друзей...»

3. Третья особенность и беда таких дел заключается в упрощении судебной процедуры. Ведь, по существу, нет ни одной судебной гарантии, к помощи которой мог бы прибегнуть арестованный или уже осужденный. В делах о мелком хулиганстве нет ни презумпции невиновности, ни права кассации, ни обязательного ознакомления с делом. А так как фактически они выведены из-под прокурорского надзора, то и бремя доказывания ложится на плечи обвиняемого. То есть никаких обязательств у судьи Кочетовой передо мной, подсудимым, нет. И мотивированного приговора тоже нет,— все заменяет печатный бланк. Вот как я уже писал: «Расскажите, как дело было. А впрочем, чего там рассказывать, садитесь и ждите конвоя; следующий!» Вероятно, в принципе возражать против упрощенности суда по делам мелким и повседневным не приходится, но учитывать ее надо обязательно. Ведь здесь суд не только самая первая, но и самая последняя инстанция. Поэтому она не столько суд, сколько совесть, честь. Культура суда должна быть исключительно чиста и высока именно по этим делам. А ведь каждый судебный работник знает, какая беда ожесточить человека, поселить в нем неверие и безнадежность, и наплевательство.

(Я хочу упомянуть об одном очень тяжелом факте моей биографии. Мне как-то очень долго — лет 6 — пришлось пробыть среди власовцев, не среди жертв — хотя, в общем-то, жертв было больше,— а так сказать, среди волков. Это были очень страшные и закаленные в ненависти люди. Целеустремленные и непримиримые. Так вот, добрая половина из них в доверительных разговорах со мной, когда я спрашивал их о том, что же они думали, когда шли с Гитлером или участвовали в том-то и том-то, рассказывали мне о чем-то совершенно подобном — о таких же судах и следствиях. И абсолютно не обязательно, что это были суды уголовные, с тяжелыми санкциями, — нет, это могло быть простое школьное собрание, собрание актива и общественности, колхозное собрание, милицейский протокол и многое-многое другое. Важно было одно, и это они подчеркивали всегда,— первая трещина в сознании появлялась не от вражеского удара, а от пощечины, от плевка, от отсутствия государственной совести.

Оговариваюсь опять и сейчас же — конечно, не одно это было причиной их тяжелейшей моральной катастрофы, но ведь одной причины в таких случаях никогда, как известно, и не бывает. Есть ряд причин, есть система причин. Совершите над человеком одну несправедливость, большую, циничную, несмываемую, и иной чуть не с мазохическим удовольствием будет замечать, коллекционировать и сам вызывать на себя удары. Ему нужно обязательно укрепить в своем сознании эту зудящую идею-фикс — все плохо, все ложь. Все как есть. Вот так было и в том случае, о котором я рассказываю. И знаете, кто «поддакивал»? Бывший прокурор города, бывший следственный работник, бывший судья. Эти-то уже были абсолютными атеистами. Они все грома выделывали собственными руками и уже ровно ни во что божественное не верили. Я не провожу, понятно, аналогию. Но скажите, во что верят те блюстители закона и порядка, которые называют известную женщину неизвестной, вписывают дежурную формулу о нецензурных выражениях и вообще ведут разговоры в таком духе: «Убивают — пусть убивают, стащим за ноги и похороним! Бьют? Мало тебя, сука, бьют, тебя давно убить нужно».)

Осуждение — само по себе тяжелое наказание, его можно выносить только обоснованно, оно должно доходить до сознания нарушителя. И по этой конечной цели должно равняться все: милиция, суд, прокуратура, тюрьма. Если они не уяснили себе этого, пользы от наказания нет никакой. А у нас чаще всего этого никто не понимает. И вот чего я боюсь еще — не появилось ли у нас в юстиции уже то, что хирурги называют «привычным вывихом»? «Коленная чашечка времени вывихнута из своего сустава»,— сказал Гамлет Горацио по поводу таких случаев.

Район — сеть переулков,— в котором я живу, узкий, темный и страшноватый. Это Сретенка и Цветной бульвар. У этого района из-

давна плохая слава. (Помните Чехова: «И как не стыдно снегу падать в этот переулок!». Это про нас.) Скандалы и драки с темнотой вспыхивают почти ежедневно. Но попробуйте отыскать милицию — где там! По-человечески это понятно: у хулиганов и ножи, и свинчатки, и еще всякие игрушки, и живут они по соседству: да и вообще, мало ли бывает соображений у человека — не лезть на нож! Чувство долга? Но план и без того выполняется и перевыполняется — рапорты-то — вот они! Ради них всех запечных тараканов подобрали! Совесть? Но она ведь, знаете, сговорчивая, доступная к убеждениям. Судья? Но этот рыцарь не только без страха, но и воистину без сомнения — он припечатает все, что ему подсунут. А между тем, если двое получили одинаковое наказание, но один за дело, другой за так или за мелочь,— уважения к закону не останется ни у того, ни у другого. И когда они повстречаются на нарах, то — повторяю еще раз — неловко будет себя чувствовать именно невиновный. И камера «грохотать» будет только над невиновным. «Я-то знаю, за что сижу»,— в тюрьме это очень гордые слова. Они всегда бросаются в лицо «Фан Фанычам» и «Сидорам Поликарповичам»... А бритая голова.. ну что ж, она тоже под конец станет модой и бравадой. Хулиганы — люди с фантазией. Они стиляги. Бритая голова скоро будет тем же, что и сердце на руке или голая баба у причинного места «Человека».

Наконец уже утро. Вот сидим на нарах и обсуждаем все это. Нас трое: один — студент, другой — инженер и третий — я. Нас объединило то, что мы все считаем себя попавшими зазря (оно и вправду так, в камере только два человека признали себя виновными). Сначала над нами попросту «грохотали» — нашли о чем рассуждать — о правде! («А ты ее видел когда-нибудь? Ну, какая она? Расскажи»), о законе («Закон стоит 27 коп. и заперт у судьи в шкафу»). Тут я вспоминаю опять 49-й год («Вот где твоя конституция»,— сказал мне следователь Харкин и подергал ящик стола — он был заперт.— Видишь? Иной для тебя нет».) Так вот, сначала смеялись, шикали, даже покрикивали совершенно по-лагерному (и здесь есть «люди»): «А ну, кончай баланду». А потом все-таки прислушались, кое-кто из молодых стал вздыхать: «Конечно, батя, вы вон там сколько просидели, вы все обдумали. Вы если и неправду нам скажете, то разве мы поймем». А под конец стали кое с чем и соглашаться.

— Да ведь это хулиганье — самое-самое зло,— сказал мне один парень лет тридцати.— Вот у меня шурина ночью шилом ткнули в поясницу, так какой теперь из него мужик? Лежит без ног. И жена ему ни при чем.

— А сидишь ты,— засмеялся кто-то.

И он с горечью ответил:

— Так мне и поделом, дураку, знаю я, кто это сделал, знаю, а вот не пошел, побоялся. Таких не больно трогают. Возьмут и выпустят. А он каждый день мимо меня проходит и усмехается.

Что ему ответил, я не помню, потому что припадок накрыл меня внезапно. Я вдруг почувствовал, что доски плывут, потом, что сердце у меня раздалось, поднялось и вот-вот выпрыгнет через горло. Я закричал и будто подавился криком.

Сколько времени прошло — опять-таки не знаю, но очнулся я снова от крика, но уже не от своего. Орал молодой парень, студент, тот самый, с которым мы только что толковали. Он стоял на нарах и потрясал кулаками.

— Тут автомат, автомат нужен! — кричал он.— Больше ничем тут не сделаешь! Что с ними толковать попусту!

Я открыл глаза и приподнялся. Мне дали руку, и я сел. Он сразу замолк и наклонился надо мной.

— Ну что, батя? — спросил он заботливо и тихо.

— Ты не базарь,— сказал я.— Тоже автоматчик мне нашелся. Тут есть какая-нибудь сестра?

— Уже позвали,— сказал он быстро.— Побежала за каплями. Сейчас, батя, придет. Вы лягте.

Сестра пришла и капли принесла. Это была обыкновенная валерьянка, и больше ничего. Я выпил и лег. Очень болели ребра, и я догадался, что это мне делали искусственное дыхание — один разводил руки, другой ставил коленку на грудь и давил. Я эту операцию знаю и уважаю. Когда-то она была нашей единственной скорой помощью, но в моем-то положении она, пожалуй, мне и ни к чему.

— Вот что, ребята,— сказал я.— Если мне опять станет плохо, вы мне больше грудь не ломайте, а то вы меня совсем доконаете. Вы сразу зовите врача.

А сам соображаю — вот если бы мне на полчаса выйти на улицу, хотя бы с лопатой, может, я и отдышался бы. Но знаю, не возьмут, уж больно я сейчас дохлый. Коридорный мне утром так и сказал: «Куда нам такого, лежи! Нам и нужно-то двоих — хлеб раздавать по камерам».

Ночь я провожу очень тревожно, но днем прихожу в себя полностью, лежу и думаю: «Ладно, оклемаюсь, выдержу». Мне обязательно хочется выдержать. Скоро ли дождешься вновь такой творческой командировки? А мне ее так не хватало. Я ведь пишу роман о праве. Но припадок опять накатил внезапно и уж совсем по-новому — просто выключилось сознание, перегорело, как лампочка,— и все. Память после этого возвращалась ко мне только трижды, толчками: первый раз, когда камера ломала дверь, стучала, пинала ногами и вопила. Второй раз, когда надо мной наклонилась тюремный врач и я отвечал на ее вопросы. Что отвечал — не помню. Помню только, как она требовала: «Больной, откройте глаза! Больной, почему вы все время закрываете глаза?». А мне просто было больно смотреть. До ломоты резал противный желтый свет. Затем носилки, «скорая помощь», два белых парня по бокам, и больница. В больнице тоже не то полубред, не то полусон, а если явь, то какая-то очень мутная. Так мне представляется, что я очень долго разговариваю с какой-то молодой женщиной в белом халате, отвечаю на ее вопросы и сам рассказываю обо всем, что со мной случилось. Женщину эту я увидел на другой день. Оказалось, что она врач нашей палаты и в этот вечер как раз дежурила. Но говорить я с ней все-таки вряд ли говорил, потому что была ночь и полутьма, и все спали. Так что, скорее всего, это, правда, был бред. Хотя кто его знает? Может, и говорили. Тема эта волнует каждого, а врача тем более. Ведь историю с двумя врачами, которых из милиции пришлось отправить на «скорой помощи» в больницу Склифосовского, рассказывали мне именно врачи и сестры.

Наутро больные снабжают меня двумя копейками, и я, несмотря на строжайший запрет, встаю и пробираюсь к автомату. На другой день ко мне начинают приходить друзья. Обрадовать меня им нечем. Оказывается, они уже побывали у районного прокурора, и тот затребовал мое дело, просмотрел и мрачно усмехнулся. «Пусть он сидит и молчит,— сказал он.— Ему и прибавить еще нужно. И я прибавлю, если кто-нибудь попросит».

«Я не вижу никаких оснований для принесения протеста»,— сказал он другому. Вот это для меня абсолютно непостижимо! Именно с прокурорской точки зрения непостижимо. Ведь я в двух объяснительных записках (хотя и, сознаюсь, написанных скверным почерком) сообщал:

1. О том, что я спрятал у себя избитую и порезанную женщину, что она была окровавлена и просила помощи, что преступники — картежная шайка, засевшая у нее в ту минуту, когда меня уводили, сидели в подвале.

2. Что женщина эта совершенно облыжно названа неизвестной, ее знает весь наш дом и все 18-е отделение милиции (а если не знали, почему не заинтересовались, кто она?).

Разве не нуждались эти мои показания в проверке и вызове хотя бы этой свидетельницы?

3. При всем с начала до конца присутствовал мой товарищ. Он вместе со мной подписал мои объяснения. Больше сделать ему ничего не дали. Я заявлял об этом и милиции, и суду. У судьи, положим, был плохой слух. Но как пренебрег этим прокурор? Ведь он отлично знает, что в Указе от 19 декабря есть такое указание:

«Материалы о мелком хулиганстве рассматриваются нарсудом единолично, с вызовом... в необходимых случаях свидетелей»,— так разве это не был тот самый необходимый случай? Пусть судья не обратил внимания на то, что я говорил. Но как прокурор-то мог пройти мимо всего этого? Впрочем...

— Этот человек просидел двадцать пять лет,— сказал прокурору один из товарищей.

— Ну что ж,— резонно ответил его помощник.— За это перед ним ведь извинились.

Боже мой, как все просто и ясно для человека, если он прокурор!

Но вот, что могло и даже должно было остановить внимание прокурора,— это донос. Тот самый, о котором я уже упоминал. Я сознаю, «донос» — слово очень плохое и даже ругательное, но в данном случае я употребляю его просто как технический термин. В самом деле, как можно назвать заявление соседа о соседе, которое кончается так: «Никаких литературных и творческих разговоров Домбровский со своими гостями, как знают жильцы, никогда не ведет»? А какие же он ведет? Ведь, чтобы написать здакое, надо стоять под дверью, и не один раз, а многократно. Надо подслушивать, вникать, запоминать, записывать. Отвечать на это, прости господи, «обвинение» мне просто не хочется. (У меня бывали не однажды Ю. Олеша, С. Злобин, С. Антонов, Ю. Казаков, И. Лихачев, С. Наровчатов, Ю. Арбат, С. Марков, С. В. Смирнов, С. Муканов, З. Шашкин (этих двоих я переводил). В этой комнате я написал и несколько раз читал вслух своим гостям с начала до конца «Хранителя древностей», читал по главам и тот роман, над которым и сейчас работаю вот уже третий год. Были у меня и иностранцы, и мои переводчики, и профессора, так что эта фраза прежде всего характеризует самого доносчика. Это, кажется, Чехов сказал: «Высшее образование развивает все способности, в том числе и глупость».

Очень интересна и следующая фраза: «У Домбровского бывала гражданка, высланная из Москвы за тунеядство. Она несколько раз из места высылки просила послать ей денег, но Домбровский, боясь общественности, ничего не посылал».

Тут он с запарки преувеличил, конечно, не только мою трусость, но и мою невиновность. Посылать я посылал, и не раз, об этом можно спросить ее, она вернулась. Но ведь это значит, что и до моей переписки, до запечатанных писем доходили шустрые руки какого-то правдолюба или любителя литературных бесед. В общем, никакими иными словами, кроме доноса, это произведение не назовешь. Оно и составлено согласно всем канонам этого вида литературы («Хранить вечно» — пишется о них на папках). Это еще не само показание, а только творческая заявка на чью-то голову. В этом такая железная логика: «Я располагаю. Вот мой товар. Смотрите. Оценивайте. Вызовите,— я покажу. Что вам надо, то я и покажу. Скажете так писать,— я так напишу, скажете эдак,— я эдак напишу. Недоразумений не будет».

Оперативники моего времени обожали и уважали именно такую форму заявок. Сразу видно скромного и дисциплинированного человека. С таким можно делать дела.

О литературе не говорит — так о чем же? Подробно, подробно, не торопясь, с примерами — кого ругает, кого хвалит, что говорит.

Или вот, например:

«Домбровский часто отдает свою комнату приезжим из других городов».

Боже мой, да в этой фразе целое богатство! Сколько узоров здесь можно вышить: пускает на квартиру спекулянтов (колхозный рынок рядом), укрывает беспаспортных, заводит притон разврата, живет на нетрудовой доход, спекулирует площадью, и т. д. и т. д. Почему же прокурор не заинтересовался, не проверил хоть это обвинение,— не узнал, кого же я пускал? Для чего?

Еще обвинение: «Однажды привел к себе в комнату неизвестного мужчину, который и жил у него три дня».

Жил он у меня, положим, не три дня, а всего провел одну ночь, но, кажется, на том свете мне за эту ночь многое простится. В декабре или январе я подобрал на нижней площадке нашей лестницы мужчину. Он лежал, раскинув руки, на нем был легкий плащ, и мне показалось, он даже и не дышит. Потом я понял, что он страшно, патологически пьян. Что оставалось делать? Мороз был дикий, трескучий. На плечах я его дотащил до третьего этажа. Он не издавал ни звука. Я положил его на диван. Сам лег на полу. С половины ночи он начал бредить и просыпаться. Утром пришел в себя. Я несколько раз выносил за ним таз. Потом поил чаем. Часов в пять он смог пойти домой. Оказалось, что это один из следственных работников прокуратуры. Была, как говорится, «семейная драма», он поругался с женой, стукнул дверью и ушел. Взял все деньги, напился в ресторане. Часов в одиннадцать его выставили. Не подвернись случайно я, он, конечно, отморозил бы себе легкие (и выпотрошили бы его еще за милую душу,— деньги почему-то все оказались при нем). Но как на меня накинулись утром, когда узнали, что я кого-то привел с парадного: «Писатель, а такой дурак»,— сказали мне. «Да ведь он бы замерз»,— сказал я им. «И черт с ним,— ответили мне.— Пусть пьет меньше». «Ну, дорогие женщины,— ответил я.— Если бы это случилось с вашим мужем, вы бы, конечно, сказали ему, когда бы он проспался: хорошо, что еще нашелся один умный человек, а то так бы и издох ты на лестнице». С этим как будто бы и согласились, но, как я уже говорил, чужая жизнь в нашей квартире и в грош не ценится.

Что писать обо всем остальном? Донос создавала опытная и, сразу видно, наторелая в таких делах рука. Ни одного конкретного обвинения, все туманные формулы и многозначительные подмигивающие фразы, но смысл — крик души старого доносчика. «Да заинтересуйтесь же! Я располагаю. Недоразумений не будет — сговоримся».

А вообще-то такая бумажка хранится про запас. Для нового дела. Ну хотя бы как характеристика. Могу поручиться — мой следующий — шестой — следователь эту бумажку будет ценить на вес золота. И никакие отводы тут не помогут. Она есть! Все!

Но неужели прокурор не понял, что такое подшито к делу? Неужели у него не возникло желания поговорить со мной, спросить, что все это значит, хотя бы просто поглядеть, что я за злодей. Ведь не так уж часто в нашей стране писателя сажают за хулиганство. Неужели для него моя личность была ему ясна при одном перебрасыванье

листов дела, а моя просьба о вызове свидетелей, рассказ о том, как резали женщину, он счел не заслуживающим внимания? Что-то плохо представляю я себе таких прокуроров! Неужели с хулиганством можно бороться таким образом?

Я хотел написать о судье Милютиной, но теперь, подходя к концу моей докладной, вижу, что это дело особое и говорить о нем надо тоже особо. В одной строчке я уже сказал, в чем его суть,— это всецело гражданский процесс. А коротко, дело в том, что судья Милютина присудила меня к выплате аванса и возмещению убытка за изготовление подстрочника, потому что я как будто бы не выполнил договор и не представил русский текст того романа, который был обязан перевести.

А между тем договор я выполнил, роман перевел и сдал в издательство. Вот расписки у секретаря отдела только не взял. Но ведь никто из писателей никогда таких расписок не берет. Я представил все доказательства этого — вплоть до заявления автора (того самого Шашкина, о котором я уже упомянул). Сдача рукописи происходила при нем. Я требовал выписки из книги учета договорных рукописей, приобщения писем, приобщения этого свидетельства автора. Ни одно мое ходатайство Милютина не удовлетворила. Книга сейчас издается. В общем, история сверхбезобразная, но сейчас меня интересует совсем другое. Я думаю о том радостном возгласе милиционера: «Домбровский, ты знаешь Милютину? Ну, получишь десяток суток, поздравляю». Но ведь Милютина моего дела не знала, со мной не говорила, меня не судила. И все-таки предсказание милиционера сбылось с астрономической точностью. Значит, на Кочетову, я, пожалуй, зря и сержусь. Я был осужден до разговора с ней—Милютиной. Просто, вероятно, она позвонила по телефону и сказала: «А дай-ка ему столько-то». И все это делается открыто, на виду, не таясь, что тут таить? Милиционер свой человек, а Домбровский и не человек даже, а подсудимый. Что с ним ни сделают, все будет хорошо. Решение выносится без свидетелей, без обжалования. Что и с кого здесь он потребует?

Товарищи писатели, дорогие коллеги мои, мне кажется, что нетерпимость всего этого переходит уже всякие рамки. Будет плохо, если мы и тут смолчим. Мы же писатели, и с нас спросят справедливее, суровее и больше, чем с кого-либо. Мы должны быть готовы к этому ответу. Я понял это особенно четко, когда прочел письмо одного читателя, опубликованное в «Казахстанской правде». Вот что пишет некий электротехник Г. Володин автору фельетона «Мужчины с неразборчивыми фамилиями» В. Костиной. В этом фельетоне мужчины обвиняются в том, что в уличных стычках они не всегда проявляют достаточно храбрости. Боятся хулиганов. Не защищают женщин. Совершенно справедливо. Бегут мужчины от греха подальше. Но ведь, товарищи, прав и автор:

«Если бы вы были мужчиной, то и не иронизировали бы над мужским достоинством, ибо оно уже давно задушено там, где «пьяные мозгляки», терроризирующие окружающих, остаются пострадавшими, а благородные поступки честных мужчин, направленные даже на защиту «слабого пола», наказуются по всей строгости закона... Поставить вопрос о некоторых несправедливостях в законодательстве вы побоялись» (№ 126 от 26 июня).

Это грубо, конечно, но это правильно. Я испытал это на своей шкуре и по мере своих сил и способностей изложил, как это вышло. Надо бороться с хулиганством, это безотложная наша задача, но голова и тут нужна, и честность тоже. Нельзя давать милиции или суду скрываться за колонками статистических сводок. Надо ловить преступников, а не тащить за шиворот обывателей. Каждое несправедливое осуждение не только покрывает собой невыявленного преступника, но и родит еще нового, уже не верящего ни во что, и скоро мы задохнемся от открытого дневного бандитизма. Ведь это не шутка, что в Иркутске за последние годы (а ведь это были годы «борьбы») детская преступность увеличилась, по милицейским данным, в восемь, а по судебным— в шесть раз. Шестьсот и восемьсот процентов,— что у нас растет так?

В Алма-Ате преступность выросла на 30 процентов. Две тысячи четыреста дел на учащихся средних школ, заведенных только в одном городе. В статистике преступлений только четыре процента приходится на сельские местности, девяносто шесть процентов поставляет город. Подумайте об этом, товарищи.

Я написал о себе, но совсем, совсем неважно, что это случилось со мной. Я в конце концов не умер. Вот сижу и печатаю эту записку, а болезни, что нашли у меня, верно, уже были давно (вот тут, кажется, я немного покривил душой перед судьей Кочетовой), только я их не замечал. В общем, все это пустяки. Важно другое. Настоящее хулиганство — страшный враг (потому что оно уже и не хулиганство, если оно настоящее), и с ним надо бороться, но бороться осознанно, планомерно, умело, законно — не толчками и спазмами. Бороться, уничтожая преступления, но не рождая преступника. Совесть — орудие производства судьи. Это основное. А наши столы: кухонные, милицейские, судебные — часто только и делают, что преступления поставляют. В римском праве была статья, карающая «за оскорбление величия народа». За это полагалась смерть. (Потом, в 15 году по Р. Х., величие народа перенесли на Вождя народа (Тиберия), и республика умерла — началась империя.)

Есть ли в нашем законодательстве что-то подобное по отношению к закону? Карают ли за его профанацию? За его умаление? За обман? За собак, сданных вместо волков? За волков, выданных за собак и оставленных на воле? Думает ли кто в нашей стране о культуре суда? Вот о чем я хотел бы спросить наши органы — судебные, следственные, административные и общественные. За разрешением этого вопроса я и обращаюсь к вам, товарищи писатели. А примеров, кроме приведенных здесь, вы и сами знаете достаточно!

С благодарностью за внимание Ю. Домбровский.

Публикация и подготовка текста
К. Ф. Домбровской-Турумовой

Евгений Евтушенко

ПОМОЖЕМ СВОБОДЕ!

Раздвоение

На себя не совсем полагаюсь,
потому, что себя я пугаюсь,
если, даже ключом не звеня,
кто-то чуждый влезает в меня.

Он,
владелец отмычек послушных,
постепенно становится мной,
как хозяином ставший домушник,
как врача залечивший больной.

Он — другой,
в меня ввинченный разум.
Он —
заряженное ружье
с пулей мне.
Моим собственным глазом
мне подмигивает нехорошо.

Почему, заразившись бедламом,
между злом и добром мельтеша,
то становится храмом,
то срамом
человеческая душа?

Почему на лице ангелочка
из укромного уголочка,
как с гадюкою скрещенный зайчик,
вдруг
высовывается
негодяйчик?

Почему сквозь уста мадонны,
где и трещинки даже медовы,
вдруг раздвоенный,
розоватенький,
вылезает язык змееватенький?

Почему в нас такое любое?
Стала самоборьба ремеслом,
ибо каждый из нас —
поле боя,
поле боя добра со злом.

И когда вся душа прохудявая,
в ней для ангелов —
не жилье,
и мохнатая лапица дьявола
лезет в черные дыры ее...

Если все так раздвоено горестно,
где же ангельская рука?
Почему не пошлешь ты,
о, господи,
к нам сюда
своего двойника?
Зная нас,
ты печешься о нем,
ибо снова его мы распнем.

Разговор трех книг

И прошептала Библия Корану:
«Ты хочешь, —
я твоей сестрою стану?»
А ей в ответ прошелестел Коран:
«Прости меня за столько смертных ран...»
Она вздохнула,
шевельнув страницей:
«Я не виновна в пытках инквизиций,
и не виновен ты в резне кровавой.
Мы — книги.
Мы не ведаем расправой!
Но лезли в нас и пастыри, и власти
и привносили собственные страсти,
и все мы,
христиане, мусульмане,
друг друга убивали, как в тумане...»
Вдруг,
словно он от спячки оклемался,
раздался голос «Капитала» Маркса:
«К народу относясь, что к поголовью,
марксизм «вожди» переписали кровью.
В угоду всем портяночным тиранам
мной заменили
Библию с Кораном».
И замерли три книги,
как на плахе,
над трупами в Баку
и в Карабахе.
Попытка подменить все веры Марксом
закончилась кровавым страшным фарсом.
Гяуров нет.
Все веры драгоценны,
как травы все по книгам Авиценны.
Чтобы сдержать убийц грядущих натиск,
религии всех стран, соединяйтесь!
И Магомет рыдает в Карабахе
над братом — над зарезанным Христом
в крестьянской окровавленной рубахе,
к спине прижатой каторжным крестом.

В каземате

В кабаке петрозаводском
взгляд швейцара косоват.
Кабинет один зовется,
словно в прошлом: «каземат».

В общем зале мат на мате,
но за каменной стеной
притулились в каземате
я с тобой да ты со мной.

Красоты твоей оправа,
словно всей России знак,
полицейская управа,
превращенная в кабак.

Мы с тобой в таком борделе
с явным запахом тюрьмы,
где не морды, а мордели,
где и мы с тобой — не мы.

Я любил, и ты любила.
Ты — иная, я — иной.
Все, что было, — как отбило
ледоломною волной.

Твоя кожа так прозрачна,
что под нею видно, как
твои жилочки незряче
заблудились на щеках.

Ты марксизм вовсю зубрила,
изучала диамат.
Окружали тебя рыла.
Это было — каземат.

Превратилась бы ты в розу,
так затравленно шепча
восхитительную прозу
Леонида Ильича?

Ты из тех, тюремных дочек,
с тонкошеей головой,
казематный мой цветочек,
блеклый и полуживой.

Я был тоже в каземате, —
потому я не пуглив,
и меня вы не замайте,
если рос я слишком вкривь.

Я не лучший христианин,
но сквозь глыбы тех же рыл
я, как монте-кристианин,
сам подкоп себе прорыл.

Я, влюбившись на закате,
не играю в игрока,
незадачливый искатель
целомудрия греха.

И, припав к тебе вихрами,
поредевшими в борьбе,
в каземате, словно в храме,
исповедуюсь тебе.

Ты — моя и божья матерь
в облаках и в кабаках,
в этом пьяном каземате
с Богом будущим в руках.

Злорадство

Легко клеймить в чужой стране бесправье,
а в собственной стране попрать права.
Злорадинкой приправленная правда,
как будто кривда ржавая крива.

Легко и просто возмущаясь кем-то,
увидеть, словно в зеркале кривом,
в чужом глазу соломинку ракеты,
когда в своем она торчит бревном.

Считать помойки чьи-то, ямы, лужи,
и чьим-то язвам радоваться — срам.
Кому-то хуже — всем на свете хуже,
и все микробы будут в гости к нам.

Любовь неразделенная сбежала,
и любит без любви — ей хоть бы хны!
Но нет неразделенного пожара,
неразделенной с кем-нибудь войны.

Как мерзко, если при землетрясеньи,
при геноциде или в недород
один народ без всяких угрызений
злорадствует, что мрет другой народ.

Всегда злорадство — это антибратство,
и шар земной шатает вкривь и вкось,
когда уже глобальное злорадство
из мелкого злорадства разрослось.

А если яды в легкие к нам влезли,
перед отравой общей мы равны.
Ничьей стране лекарством от болезней
не может быть болезнь другой страны.

Поможем свободе!

О, Боже,
как медленно входит свобода в привычку!
На горле свободы
сжимается черная сотня в кольцо,
И, словно булыгами
из темноты в электричку,
Сегодня камнями швыряют
свободе в лицо.
Хоть падай с молитвой
березонькам в белые ноги,
Но только бы очи свободе
не выклевало воронье.
Свобода изранена.
Просит свобода подмоги,
Иначе подменят опять
несвободой ее.
Что сделать, свобода,
чтоб ты не сдалась,

не пропала
И к людям припала,
врачуя все раны в стране?

А цены растут —
лишь цена человеческой жизни упала,
И честь и достоинство
тоже упали в цене.
Над нами цари
предостаточно нацаревались,
Над нами «вожди» навождились...
Довольно с народом войны!
Свободные люди —
единая национальность:
Внутри ее
нации все остальные
вольны и равны.
Мы — дети великой культуры
и совести вечной российской,
И мы не позволим
свободу загнать ни в погромы и ни в лагеря...
Мы все — за свободу,
но не за свободу расистов,
Мы все — за свободу,
но не за свободу ворья.
Поможем свободе.
Нам надо собраться,
решиться!
Свобода, не будь простодушна, —
на проповедь силы опять не купись!
Мы все—за свободу,
но не за свободу фашизма.
Мы все—за свободу,
но не за свободу убийц.

Александр Кабаков

БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН

«У любви, как у пташки... Понял? И все дела».

(Из разговора)

В не столь уж далекие времена молодости странное чувство посещало иногда автора. Возьмешь эдак библиотечный день, быстро проделаешь в гэпээнтэбэ необходимую выборку библиографии по плановой теме, заключишь это кружкой пива в расположившемся неподалеку от средоточия научных и технических знаний заведении, да и отправишься бродить по огромному городу, в котором мы с вами живем... И вдруг, в толпе, средь жаждущих приобретений и отдыха земляков и приезжих, ощутишь: один, совершенно один! Все вокруг полны не доступными твоему пониманию заботами, тайной и непостижимой твоему разуму жизнью, а ты — пария иль избранник? — бредешь чужой, ни на кого не похожий, отдельный. Была такая иллюзия исключительности, свойственная юному существу.

Минуло все это. Вот исторгает тебя автобус после рабочего дня вместе с десятками и сотнями твоих соседей по жилому микрорайону, и ты идешь по дорожкам и тропинкам, ведущим в глубь квартала, точно такой же, как остальные.

Это просто входишь, следовательно, в возраст зрелости, когда опыт радостей и разочарований уж твердо укрепляет тебя на положенном месте, и замечаешь: ан, а место-то не отличимо от любого иного. Столько же и счастья на него отпущено, и горестей. И что может быть прекраснее!.. Начало — в отличении себя от других; продолжение же — в совмещении, ибо ты единственный, как и все.

1

Спустя примерно полтора года после того, как произошли основные события следующего далее сюжета, которые, собственно, и событиями назвать нельзя, а так —ощущения, тени, шепот, робкое дыхание, лирический горьковатый соус на жилистом отварном мясе трудовых и нетрудовых будней,— итак, спустя примерно полтора года после того, как автор наткнулся на своего героя, пересекая огромный двор, который, собственно, и двором назвать нельзя, потому что ни заборов, ни подворотен, ни врытого в землю стола под жестяным абажуром лампы на косо провисающем проводе, ни грядок бабы Муси, ни деревянных ларей помойки, ни дворника Рустэма здесь не было, а были только длинные корабли и башни жилищ с затеками по межблоковым швам да хоккейная коробочка, старательно расписанная как бы рекламой по высоким телевизионным образцам, да железные ржавые гаражи — словом, спустя примерно полтора года после того, как герой наш, называемый, в соответствии с традициями, заложенными еще в советском детском саду, в основном по фамилии, Игнатьевым, которого, естественно, и героем-то назвать нельзя никак,

поскольку ни в общественно-политическом смысле, ни в литературно-художественном он никакими качествами героя не обладает, не воплощает лучшие и типические черты, не поражает глубиной психологической разработки характера, не совершает, наконец, даже никаких, собственно, поступков, а если и совершает какие-то, более значительные, чем прикуривание, то как бы за рамой этого, предлагаемого в данный момент читателю литературного полотна,— короче, спустя примерно полтора года после того, как началась в жизни Игнатьева одна большая перемена, мы бестактно ворвемся в однокомнатную кооперативную квартиру среди бела дня и застанем в ней акт любви.

Вообще-то потому и фраза получилась такой невообразимой длины, что как-то не решался на это автор, как-то вроде неловко было.

...Он старался раздеться быстро и при этом не оскорбить ее эстетическое, как он предполагал, чувство видом своего мужского туалета, и поэтому сдергивал все попарно — сначала клетчатую рубашку вместе с голубой майкой, потом отечественные брюки с аналогичными трусами темного цвета, а уж после, переступая новыми носками по болгарскому паласу, подошел к тахте, которую он называл мысленно софой, а по сути-то она была диваном-кроватью, и остановился вплотную к ложу, упершись в его край голенями и стараясь не глядеть вниз. Он очень хотел посмотреть вниз, ему было чрезвычайно интересно увидеть многое внизу, хотя в свои тридцать девять с лишним лет он несколько раз видел это и при более ярком свете, чем тот золотой пыльный дымок, что проникал в комнату сквозь шторы, но он предполагал, что здесь можно увидеть что-то совсем другое в смысле эстетики и культуры, а взглянуть не мог. Он не знал, понравится ли, что вот так станет разглядывать, и не покажется ли совсем недостойным такой явный интерес, как будто не видел никогда.

Она лежала навзничь прямо на сброшенном халатике и не закрывала глаза, хотя понимала, что это неловко, поскольку может вызвать совсем уж нежелательное смущение, и без того наполнившее всю комнату и особенно густо стоявшее над тахтою. В поле ее зрения прежде всего были большие красные кисти с толстыми выпуклыми ногтями, а от них вверх шли красно загорелые руки с мощными жилами, торс же был абсолютно бел, даже голубоват и безволос, что ее удивило, потому что весь ее опыт подсказывал, что такой сильный физически мужчина среднего возраста обязательно должен быть волосат, но, видимо, это правило распространялось только на творческую и высший слой технической интеллигенции. Она видела хорошо выбритый подбородок, от которого вверх, огибая рот, к носу уходили глубокие складки, а над всем был виден край седовато-русого чуба, но это уже видно было смутно, так как она была близорука, а очки сняла и положила на пол в головах. Она, вероятно, могла бы увидеть и еще какие-нибудь детали атлетического сложения, но красные огромные кисти были сложены, скрещены, и взгляд натыкался на них, и застывал, притянутый этими непропорциональными орудиями малоквалифицированного физического труда, этими выпуклыми роговыми ногтями и жилами.

Он осторожно лег, стараясь перевалить через тонкое и, видимо, легко ранимое, но круглое колено, не задев его, и на секунду застыл, упершись локтями в тахту, которую он по-прежнему мысленно называл софой, зависнув в воздухе и не зная, куда девать оставшиеся в определенной степени свободными руки. Он приложил рот к ее рту, но из поцелуя ничего не вышло, потому что она, как ему показалось, как-то оскалилась, и он отодвинулся, решив, что ей неприятен слишком сильный запах табаку, а может, и еще чего, что он когда-либо ел или просто брал в рот. Он почувствовал ее руки и испугался, что на-

верное, тем самым она дает понять нехватку его страсти, умения и напора, но тут она наконец закрыла глаза, и все получилось само собой, и через пару минут он уже не думал ни о чем, забыв даже о мучившем его душевном разладе — снимать или не снимать носки. Он открывал глаза и видел близко-близко, как траву, в которой валялся когда-то пацаном, розово-бежевую сморщенную кожу, сходящуюся к возвышению, имевшему форму пули и примерно такие же размеры. Он видел маленькое треугольное облако мелко-витых волос, как бы паривших над кожей. Он видел то приближающееся вплотную, то отодвигающееся незагорелое, гладкое, тяжелое, круглое, туго обтянутое, от которого шел ровный несильный жар, как от пляжного светлого песка. Он видел ее над собой, уходящую ввысь, словно памятник, установленный на нем в ознаменование победы советского человека в многолетней и изнурительной борьбе естества против морального кодекса. Он видел ее сверху, словно родную землю из космоса, и она казалась ему, как и героям-космонавтам, маленькой и беззащитной. Он видел ее сбоку, и она заслоняла от него весь мир и большую часть комнаты, и он казался себе в полной безопасности за ее спиной, и сам прикрывал ее от всех опасностей. Он видел ее сильно растрепавшиеся волосы, ее короткую стрижку, и ему хотелось, согнувшись, прикрыть ее всю собой, прижав покрепче голову, но он боялся, что тогда она не сможет дышать.

Она видела только его лицо, обтянувшиеся больше обычного скулы, углубившиеся складки, приоткрывающийся в мучительной гримасе рот, прилипший ко лбу потный чуб, раздувающиеся, так что нос выглядел хорошо оперенной стрелой, ноздри, а больше не видела ничего. Она снова закрывала глаза и только чувствовала его безволосую грудь, и жилы на руках, и лезущие сбоку в рот жесткие и спиральные пружинки волос, и носки, оскорбляющие ее ноги чужеродностью при нечаянных прикосновениях. Она не удивилась, что теперь он не кажется ей таким большим, как до этого, она вовсе не связывала физическую мощь с какими-то ожиданиями.

Он открыл однажды глаза и увидел, что на тахте лежит, кроме них двоих, ее собака — грустное живое существо с длинными ушами и смущенным, естественно, выражением глаз.

Она заметила, что он заметил собаку.

— Группен секс,— улыбнулась она.

Он вспомнил детские уроки и телевизионный фильм о группенфюрерах.

— Гут,— сказал он, слегка задыхаясь, и тоже улыбнулся.

Она отметила, что это вполне остроумно, но тут им уже стало не до продолжения шуток, потому что золотой дымок света, все это время проникавший сквозь штору, стал огненно-горячим.

И этот огонь расплавил их и сначала излился сквозь нее, а потом сквозь него.

И она закричала, и он ответил ей.

Он-она, он-она, он-она, он-она... Она! Она!! Она!!! Она, она, она, она... Он!!! Он!! Он! Он...

Он перевернулся на спину, и ненадолго заснул, забыв о скандалах, которые продолжает устраивать Томка в месткоме, о дочке, без которой теперь надо будет привыкать, о насмешках товарищей по труду, о несимпатичных соседях и даже о само́й этой удивительной любви, от которой остался только крепкий сон, как у мальчишки после длинного дня летних каникул.

Она из ванной пошла на кухню, поставила на плиту кофеварку, подошла к окну — прямо так, не одеваясь, увидела пустой дневной город, вспомнила, что в этой пустоте где-то находится сейчас чело-

век, которому она еще недавно желала за обиду смерти,— и улыбнулась, поняв, что теперь он вправду умер, и пожелала ему долгих лет жизни, больших успехов в творческом труде и крепкого личного счастья.

Теперь ей было не жалко. В комнате спал Игнатьев, и собака дремала, привалившись к его так и не снятым носкам, а собаки отличают добрых людей гораздо безошибочней, чем женщины.

2

Пока ни о чем таком, конечно, не думал Игнатьев, возвращаясь с работы. Просто он поправил, вылезши из автобуса, свою буклекепочку давнего футбольного фасона, да и пошел себе — среди соседей, влекущих детей из детского сада; спешащих к друзьям у боковых дверей районного супермаркета; сгибающихся под тяжестью доставленных из центра припасов. Среди своих соседей, словом.

О работе он тоже не думал. Он любил труд, к которому шел сложным жизненным путем,— подрезку веток и стрижку травы и кустов на бульваре по полномочиям треста озеленения,— однако не столь уж была эта служба сложна для осмысления, чтобы о ней еще и сейчас думать.

Не думал Игнатьев и о доме, поскольку дома у него на данный момент было все в порядке — начиная от жены Тамары, служащей по пищевой части в близлежащем детском учреждении типа сад-ясли, и кончая дочерью Мариной, успешно завершающей обучение в седьмом классе общеобразовательной школы — без троек.

Трудно, очень трудно проникнуть в чужие мысли. Особенно если мысли эти не совсем внятны. Примерно такие (пользуемся данным автору правом копаться в мыслях героя):

«Да, жизнь... спешат все... неправильно... ты сначала пойми, а потом спеши... а то рубанул ветку, а она и привет... засохнет, говорю... опять же и утром в лифте... чего смотришь, когда муж есть?.. нехорошо... Людмилой зовут... эх, Виталик, Виталик!.. вот тебе и сони-грюндиг... все одинаковые...»

И так далее. Ничего нельзя понять. Во всяком случае, пока.

Поэтому мы и пропустим Игнатьева вперед, дождемся, пока проведет он обычное время вблизи универсама, а затем и в пивном баре «Стратосфера»; пока достанет из почтового ящика вечернюю газету с кроссвордом, до которых его супруга большая охотница — хотя и без особых склонностей; пока поднимется в лифте на свой десятый этаж и выйдет к ужину. Мы же подождем другого, а именно Пирогова. Вот уже выходит он у того же подъезда из своего скромнейшего автомобиля одной из распространенных в мире марок, по привычке поправляет удивительной скромности галстук в неприметную косую полоску, вынимает из ящика свежую периодику, включая весьма информативный еженедельник... А вот уж и едет он в лифте на свой девятый, входит, сбрасывает непременный синий пиджак, приветствует семью, садится за стол...

С его мыслями еще сложнее. Они хоть и глаже, да на иностранных, не слишком знакомых языках. Но попробуем все же:

«Эврибади, как говорится... до единого... споткнись онли... аллигейторы... пер фаворе бриться... сожрут... эх, если бы получилось... тогда на втором бедрум, чайлда тогда еще одного можно бы... как же, получишь тут хоум энд хауз.. жди... грюсс унд кюсс...»

Полная абракадабра. Ни словечка вроде бы о службе в весьма почтенном и представительном учреждении; о супруге Людмиле — институтской любви с Метростроевской, со временем специализировавшейся по надомным переводам; о дочери Кате, с блеском получающей образование в испанской спец и в плавательной спортивной. Будто и не заботит его все это. Впрочем, может, и действительно не заботит, коль все идет наилучшим образом?

Итак, они сидят и ужинают — один над другим. Мы же бросим на время изящно-туманный стиль изложения, принятый здесь — слово чести! — не из желания блеснуть, а по искреннему пристрастию души, и перейдем к строгому языку справки.

Игнатьев Борис Семенович, тридцати восьми лет, рабочий треста озеленения, проживает на улице 5-я Средняя, две комнаты раздельные, все удобства, телефон, десятый этаж.

Пирогов Виталий Николаевич, тридцати восьми лет, заведующий сектором, был в служебных командировках, немецкий, английский свободно, проживает в том же доме, этажом ниже в точно такой же квартире.

Потолок Пирогова для Игнатьева пол.

Игнатьев сам еще не совсем понимает это, но, бесспорно, испытывает зарождающееся чувство любви к жене Пирогова Людмиле. Она, кажется, отвечает взаимностью. Игнатьев считает это позором и старается не задумываться.

Пирогов отлично понимает все, в том числе и то, что если бы эти Игнатьевы каким-либо образом съехали куда-нибудь к дьяволу — например, согласились бы на какой-нибудь вариант обмена,— то очень мало препятствий осталось бы для создания семье Пироговых двухэтажного жилья по лучшим образцам журнала хорошей жизни «Хоум энд хауз, инк.» Пирогов считает, что это было бы справедливо, и все время об этом думает.

Желания соседей пока не высказаны, хотя Игнатьев однажды ночью вздохнул тихонько, глядя в потолок: «Люся...» — к счастью, жена его не проснулась. Она вообще спала хорошо. Что касается Пирогова, то он на волнующую его тему улучшения жилищных условий уже неоднократно беседовал с женой и находил в ней полную поддержку. Однако разговор с преданной женой — вещь интимная, все равно что с самим собой.

Так как соседи друг к другу никакого отношения еще не проявляют, у автора есть время до того, как развернется действие, придумать кое-какие эпизоды для биографии главного героя. Иначе не избежать упреков в отсутствии психологической глубины и стереоскопичности характера — без последнего загадочного свойства некоторые специалисты отечественной изящной словесности особенно страдают.

3

Всю свою сознательную жизнь Игнатьев прожил в городе. Это только так говорится, что сознательную, а на самом деле — всю жизнь, от самого рождения. Родился он в центре, в том лечебном учреждении, где родились едва ли не все его земляки, и сам факт появления на свет в этом роддоме уже многое говорит о происхождении человека. Если уж вы родились в этом доме, называемом запросто по фамилии, то, значит, и родители ваши были потомственными жителями большого города, и сами вы провели детство в одном из тех дворов, что окружены были желтыми двухэтажными особнячками и деревянными домишками... Стонали там по ночам ничейные коты, в ранних сумерках сверстники ваши играли в штандар, и мяч, улетающий прямо в небо, то и дело застревал в ветках тесно растущих и давно одичавших яблонь.

Это уж потом домишки снесли, особнячки отреставрировали, дворы огородили красивыми металлическими заборчиками... И под окончательно одичавшими яблонями укоренились голубоватые ели,

а в глубине пространства, где прежде стоял трофейный «опель» соседа, появились соотечественницы этой машины, но современных моделей. Сами же вы из огромной комнаты в коммунальной квартире, в которой на антресолях жила еще одна семья, переехали в отдаленный микрорайон, в двухкомнатную с удобствами.

А теперь и микрорайон этот не кажется таким уж отдаленным.

В общем, Игнатьев был коренным горожанином, привык к ровному гулу улицы, доносящемуся из-за окон, к утренним запахам мокрого асфальта, нагревшихся за предыдущий день стен и идущих на работу людей, к прохладному ветру, прилетающему впереди поезда из тоннеля метро, и ко всему, к чему привыкает столичный житель за свои тридцать восемь лет, из которых только два года провел не в этой обстановке,— то время, что служил в армии, да и в армии-то служил не за тридевять земель, а в другом огромном городе. Служил в строительных частях и выучился там на бульдозериста, строил склады на окраине.

А потом как-то само получилось, что обнаружил себя Игнатьев после армии стоящим в оранжевом жилете, надетом на голое тело, и наблюдающим, как каток ровняет только что уложенный им, Игнатьевым, горячий асфальт. Так уж вышло...

Сначала поступал он в институт стали и сплавов, но не поступил. Тогда все поступали, и уже многие не поступили, из-за чего родители расстраивались, а сами поступавшие очень удивлялись, потому что до этого все, кто поступал, те и поступали, а как раз во времена Игнатьева многие не поступили. И даже в журналах появились тогда повести и рассказы об этих непоступивших. В литературе они все обычно уезжали в какие-нибудь отдаленные районы страны, чтобы пройти там суровую школу, а в действительной жизни Игнатьев никуда не поехал, как-то в голову не пришло. «Литература и жизнь»— это газета тогда была такая, а больше между ними общего почти ничего и не было. Ну вот, Игнатьев послонялся по своему двору, постоял в подъездах, поработал в типографии напротив своего дома разнорабочим, да и пошел в армию. А из армии вернулся с профессией бульдозериста и стал с ней жить. Родители постепенно к этому привыкли, жена Игнатьева привыкла с самого начала, потому что она другого и не знала, дочь Игнатьева профессией отца не интересовалась, а он сам со временем из бульдозеристов стал крановщиком, потом слесарем по разному оборудованию, потом рабочим на металлобазе, потом еще кем-то, а потом стал лопатой разбрасывать горячий асфальт и смотреть, как каток его трамбует.

Тут мы его и застали. День был жаркий, асфальт дымил, каток грохотал, и всем прохожим становилось еще жарче, и даже дыхание у них перехватывало, когда они смотрели на Игнатьева в его оранжевом жилете, из которого торчали загорелые руки, а тело под жилетом проглядывало незагорелое, потому что жилет он снимал редко. Загар его не интересовал.

Ну, потом жара пошла на убыль, Игнатьев закончил укладывать асфальт, вымыл руки, переоделся в стоявшем неподалеку вагончике и пошел в семью.

Ночь наступила душная. Игнатьев сидел на балконе, смотрел на засыпающий после передачи «Сегодня в мире» уже хорошо обжитой квартал некогда отдаленного микрорайона и вспоминал. Может, из-за духоты, может, из-за дневной усталости он вспоминал то, о чем обычно не пытался вспомнить. Он, например, вспомнил, что его зовут Борис. А ведь действительно — забыл он свое имя, и неудивительно: в школе его называли по фамилии, в армии тоже, друзья юных лет звали Игнатом, теперешние приятели Чухой, что, на их взгляд, гармонировало с пыхтением асфальтового катка или еще с чем-то в образе Игнатьева, жена называла «отец», а дочь никак не называла.

Еще Игнатьев вспомнил, что всю жизнь он любит растения. Откуда в нем, в потомственном, как мы выяснили, горожанине, взялась эта странная любовь к зеленому, как говорится, другу, неизвестно, но только еще в школе он больше всего интересовался семядолями и хлорофиллом, а что пошел поступать в сталь и сплавы, так просто насчет ботаники, биологии или сельхозакадемии, что ли, не подумал.

Вообще многое в биографии своей он мог объяснить и объяснял только так — не подумал, и все. Вот сейчас, когда он сидит на балконе и думает, именно думает, подойдите к нему и спросите: ну, если ты так зеленую природу любишь, Игнатьев, чего ж ты дома хотя бы герань не разведешь, или там кактусы, или хотя бы полезное растение «доктор» не вырастишь? Знаете, что он скажет? Не думал как-то, скажет, вот что.

И даже не удивится, что вы к нему на балконе десятого этажа подошли. Не подумает...

В общем, лег Игнатьев спать.

А утром встал, картошки поел жареной с огурцами и пошел укладывать асфальт. Состояние у него было не особенно бодрое, но жить-то надо.

А там, где он укладывал асфальт, уже шум и суета. Все его товарищи по работе стоят кружком и смотрят, и бригадир стоит, и каток, хоть и пыхтит, но тоже стоит, потому что водитель стоит. И еще прохожие некоторые останавливаются.

И все они смотрят на то, что случилось там, где Игнатьев асфальт вчера укладывал. А на этом месте вот что произошло: дерево выросло. Липа. Асфальт весь, свежий еще, темный, трещинами пошел и лопнул, а из образовавшегося некрасивого отверстия и выросла эта липа. Сразу метра два с половиной и цветет. Запах от ее цветения такой сильный, что никакого асфальтового духу и в помине нет. Листья такого хорошего зеленого цвета, как после дождя. На верхних ветках птицы прыгают и поют — синицы, кажется. А вокруг люди стоят и смотрят.

Игнатьев тоже долго стоял и смотрел, а потом вместе со всеми начал дерево рубить, вытаскивать из земли корень и асфальт ремонтировать. Весь день провозились, а вечером умылись, переоделись и пошли, как обычно. Все, конечно, долго обсуждали удивительный случай. Потому что грибы, бывает, за одну ночь ломают асфальт и прорастают. Бывает, еще и трава — но только, когда асфальт уже старый. А чтобы сквозь свежеуложенный, да еще целое дерево, да сразу такое большое и в цвету — этого никто понять не мог, и даже водитель катка, фамилию которого Игнатьев не знал, его все Поней называли, не мог ничего предположить, хотя мужик был самый эрудированный.

И опять ночь была душной. Игнатьев лежал в кровати под простыней и думал. Мысли его были в основном насчет удивительного дерева. Ему было стыдно, что он вместе со всеми его срубал, и корчевал, и потом ремонтировал асфальт. Дереву, небось, было трудно пробиваться через уложенный Игнатьевым асфальт и быстро, за одну ночь, расти и цвести, а Игнатьев пришел — и срубил. Умный нашелся...

Но если вы к нему сейчас, когда он лежит в кровати без сна, тихонько подойдете и спросите: а какого же черта ты, Игнатьев, его срубил,— он вот что ответит: «Да не подумал... Чего, чего... Не подумал, вот чего...» И замолчит, не удивившись даже, что вы в запертую квартиру вошли. А если вы спросите у него: а не удивительно тебе,

Игнатьев, что к тебе в запертую квартиру по ночам кто попало ходит,— он, знаете, чего скажет? «Не подумал как-то... Ага...» Вот чего.

Утром он поел макаронов с колбасой жареной и пошел на работу.

А там опять волнение и недоумение общее. Асфальт, конечно, сломан, трещины по всей дороге разбежались, а из асфальта растет куст таких ягод, которые называются паслен. Игнатьев не знал, как они правильно называются — черненькие такие, мягкие и на вкус ничего, знал только, что одна старушка в их прежнем дворе, в центре еще, такие ягоды из деревни привозила, а потом эти кусты возле мусорного ящика так разрослись — спасу не было.

В общем, нарвали все этих ягод, а потом давай куст ломать, выкапывать и дорогу чинить. И Игнатьев вместе со всеми. А что же ему было делать — работа. Вечером он, понятно, опять думал и вспоминал, да что толку — куст-то уже... Конец, в общем, кусту-то.

Ну, утром — вы уже догадались — там анютины глазки взошли. Синие такие. С лиловым. Как из панбархата — у матери Игнатьева платье такое когда-то было. Пообрывали их, бригадир вместе с водителем катка на Игнатьева чего-то долго смотрели, хотя он тоже нормально, как и остальные, цветы рвал и ругал их за убытки в сдельной работе.

Назавтра сквозь асфальт кипарис пророс. Стоит себе, темный, будто пыльный, высоченный. Как ракета темно-зеленая. До самого вечера с ним возни было, а Игнатьева в вагончик мастер зазвал и дал ему там в приказе расписаться. Расписался Игнатьев, что по служебной необходимости трест благоустройства переводит его на наружный ремонт жилых помещений, подлежащих капитальной реконструкции.

И с утра вышел Игнатьев на новую работу. Там дом такой стоял — с колоннами и скульптурами в виде читающих юношей и девушек, а также спортсменов с ракетками и мячами. Не особенно старый — лет на пять всего старше Игнатьева,— но уже потребовался ему капитальный ремонт. Игнатьев залез на фасад дома и стал старую штукатурку счищать — была у него и такая профессия. Отработал день, вечером с новыми сослуживцами познакомился, а поздно ночью сидел на кухне у открытого окна, дышал душным воздухом и вспоминал. Вспоминал, как днем, в жаркой дымке, пыль летела от штукатурки, и прохожие обходили стороной этот ремонтирующийся дом, потому что дощатый забор от пыли не помогает. Вспоминал еще, как этот дом был раньше хорош, когда Игнатьев был еще мальчишкой и жил неподалеку, в своей коммунальной комнате, а в школу ходил именно мимо этого дома с колоннами и скульптурами и смотрел, как из дома выходили его соученики и как их провожали мамы. Многое вспомнил Игнатьев, в том числе и то, чего не вспоминал никогда.

А если бы вы подошли к нему, сели рядом у кухонного окна и спросили: мол, чего ж ты, Игнатьев, только сейчас задумался насчет этого дома, и почему в детстве ты мимо него ходил, а внутри никогда не был, а сейчас по всем его выломанным внутренностям лазаешь, но нет тебе в этом радости,— ничего бы он на это вам не ответил. Так, плечами только пожал бы, мол, не знаю, не думал. Будто так и надо, что вы к нему на его кухне ночью подсаживаетесь.

Наутро же по всему фасаду разрослись березки, и не маленькие. Листья светлые, сами белые, а по одной даже белка скачет. Ну, прораба, конечно, чуть инфаркт не хватил, однако постепенно оправился. Березки потом осторожно спилили, чтобы кладку не повредить.

Игнатьева, сами понимаете, перевели на другую работу. В трест озеленения. Там ему очень нравится, хотя коллектив в основном женский. И он этой новой своей профессией — садовник — очень дорожит. Но старается по вечерам не задумываться. Потому что был уже случай: посидел вечерком наедине с собой, а наутро на месте клумбы с розами и калами начал дворец культуры пробиваться. Ужас, что творилось!.. И едва Игнатьев свою любимую работу не потерял.

А дворец был — загляденье... Из старинного здания переоборудованный. Снесли, конечно. Там клумба должна быть, какой еще дворец!

В тот день Игнатьев как домой пришел — сразу спать лег. А назавтра спокойно пошел на бульвар, на свою приятную работу: стричь газон и вдыхать милый запах стриженной травы. Так он с тех пор и работает. И явлениям природы только радуется,— не задумываясь и не удивляясь.

4

Вот что действительно вызывает у Игнатьева удивление — так это нетоварищеское отношение некоторых к женщинам. Сам Борис Семеныч, не затрачивая много энергии на достижение жизненных успехов — ну там, гараж во дворе или кабинет с кондиционером,— сохранил, видимо, столько сил души, что их вполне хватает на почти постоянное нежное уважение к гражданам слабого, а тем более прекрасного пола.

При этом он отнюдь не ловелас, бабник, донжуан или сердцестрадатель — отнюдь. А просто любит смотреть на этих милых людей, наблюдать их внешность — женщины, даже и немолодые, чем-то всегда напоминают ему детей. Да и жалеет соотечественниц Борис Семеныч, видя жизнь их...

Может, поэтому в его присутствии и женщины себя чувствуют лучше и выглядят симпатичнее обычного. Оживляются, в общем...

Однажды, еще в молодости, поехал Игнатьев отдохнуть на юг, в пансионат «Селезень» для работников городского хозяйства — в первый и последний раз, не понравилось ему на юге. И произошла там на его глазах странная история.

Три оболтуса лежали на пляже, неподалеку от Игнатьева. Пляж во второй половине дня был почти пуст. Большая часть отдыхающих еще стояла в очередях за кефиром, салатом витаминным, борщом московским и шницелем рубленым. Те, кто успел пообедать, валились на топчаны и просто на песок, и отчаянное четырехчасовое солнце освещало их скуку.

— Бабу, что ли, слепить,— сказал первый оболтус, в темных очках с железной оправой.

— Лепи,— сказал второй, с длинными, уже немодными, смыкающимися на кадыке баками. Казалось, они удерживают шевелюру, чтобы не улетела от ветра.

Третий повернулся на живот, подпер голову руками и стал смотреть, как первый лепит бабу из песка. Песок он старательно смачивал водой, которую таскал в купальной шапочке. Постепенно стала вырисовываться лежащая на спине женщина в натуральную величину...

Процесс ваяния близился к концу. Оболтусы говорили о женщинах и ржали.

— Все бабы,— сказал первый оболтус.— И вообще. Чего им надо? С ней хоть как. Ты ей то, а она это. Гад буду. Ты ей цыпленка-табака, а ей тюльки-мульки. Ты ей кримплен, а ей трали-вали. Ты ей...

— Абсолютно,— сказал второй, в функциональных баках. Он был согласен, что ни одной верить нельзя. Третий повернулся на правый бок и принял позу махи обнаженной.

— Не поверите, мужики,— продолжал первый,— у меня две же-

ны было. Одна до того дошла — страшное дело. Я ей, значит, хам. Говорит, не считаешь меня за человека. Пошляк. Я говорю, ты-то кому нужна? А она по новой. И все такое. И вторая такая же. Как поженились — и пошло. Это самое. Верите, мужики?

— Ну,— сказал второй.

Солнце шпарило, будто захода вовсе не предвиделось. Исполненная в песке женщина подсыхала. Первый оболтус перехватил летящий в ее направлении мяч и обратился к играющим в волейбол с бескомпромиссной речью.

— Попадете в статую,— сказал он,— дисквалифицирую до потери трудоспособности.

И, покончив таким образом с угрозой, продолжал беседу с друзьями.

— Где же у баб логика, отцы? — спросил он.

Все надолго замолчали — видимо, задумались над вопросом.

Между тем небо постепенно покрылось белыми пузырями облаков — как от ожога. Игнатьев внимательно смотрел на женщину в песке и сочувствовал ей — кому понравится вот так лежать и дурь всякую слушать?..

Дунул ветер, пошевелил песчинки, и оболтусам показалось, что женщина улыбнулась. Неуверенно хихикая и пожимая плечами, третий сказал:

— Лыбится, а?..

Первый оболтус плюнул в песок. Второй посмотрел на высказавшегося и, обернувшись к первому, сообщил:

— Перегрелся.

Друзья веселились. Но следующий порыв ветра был уже по-настоящему силен. Полетел, взвихрился песок, стали таять, превращаясь в шуршащие барханчики, волосатые торсы и загорелые тела, и через секунду там, где они сидели, остались только три небольшие холмика.

А женщина встала, отряхнула плечи и пошла к воде — туда, где за буйками, спасательными катерами и дальним сухогрузом прыгал на волнах красный шар солнца.

Игнатьев смотрел ей вслед, и вдруг ему показалось, что вокруг головы у нее возникло сияние. Но, будучи человеком атеистических взглядов, он сразу понял, что это просто светлые волосы, сквозь которые пробиваются солнечные лучи.

Одного жаль — цвет глаз он не разглядел. А ведь могло быть, что зеленоватые.

Хотя никаких сожалений ни тогда, ни после Игнатьев, конечно, не испытывал. Он вообще о женщинах до поры до времени думал не больше, чем о мужчинах,— то есть вообще не думал. И только ближе к сороковнику вдруг стало его что-то прихватывать, особенно по утрам, в свободное время между домом и работой. Закроет за собой дверь, закурит первую — и задумается...

5

Утром после Игнатьева соседи не любят ездить в лифте, потому что имеет он дурной обычай в лифте курить. В маленьком прямоугольном пространстве от запаха сигарет «Ява» обычному человеку мгновенно перехватывает дыхание и вспоминаются различные неприятные жизненные эпизоды.

Людмиле Пироговой, среднего роста привлекательной шатенке с небольшим лишним весом, сегодня не повезло. Дождавшись на своем девятом этаже лифта и автоматически задав его распахнувшимся дверям вопрос: «Вниз?», она с опозданием обнаружила в кабине ку-

рящего Игнатьева. Он, понятное дело, оккупировал вертикальный транспорт на своем десятом, да тут же и засмолил — может, даже и спичку на пол бросил, с такого станет. Но что же было делать бедной даме? Пришлось войти и отправиться в совершенно неподобающей компании в краткое, но неприятное путешествие.

Спуск этот продолжается приблизительно полторы минуты, время небольшое. Однако и его хватит нам, если силой воображения сумеем оказаться тут же — ничего, кстати, страшного, лифт вполне вмещает четверых. Итак, вы вниз? Едем... В углу стоит Игнатьев, автора прижало к нему, читатель держится ближе к очаровательнице, она же жмется к плотно сдвинувшимся дверям. Едем. Игнатьев руку с сигаретой опускает вертикально вниз, так что пепел едва не попадает автору на брюки. Курильщик же этого не замечает. Все его старания — избавить от неудовольствий, связанных с его вредной привычкой, спутницу.

Мы же тем временем рассмотрим его и постараемся понять, отчего вдруг такая деликатность.

Росту наш объект скорее высокого, хотя по нынешним спортивным и акселерированным временам это не диво — метр восемьдесят. Волосы у него скорее русые, хотя, если внимательнее взглянуть, то обнаруживается среди них много седины, что и придает куафюре в целом чрезвычайно симпатичный пепельный оттенок — в сочетании с густотой растительности очень неплохо. Глаза из-под слегка спадающего описанного чуба смотрят скорее голубые, хотя кому придет в голову рассматривать глаза Игнатьева? Морщины вокруг рта глубокие, а подбородок довольно тяжелый — как раз такое сочетание вы, читатель, наверное, встречали на изредка попадающихся рекламных фотографиях в залетных журналах. Знаете: сидит такой одинокий, немного романтический, немного иронический мэн, очень мужественный, очень небрежный, в изумительной такой рубашке и предлагает не обходиться без ликера «Куантро», пожаловать в край «Мальборо» либо на худой конец сверять время только по «Картье»... Впрочем, на лице Игнатьева вам эти морщины, и подбородок, и прочее все говорит не об одиночестве и романтичности, а наверняка о лишних часах вблизи одного из отделов продовольственного магазина либо о иных приметах малоинтересного образа жизни. Вы-то знаете, вас не проведешь...

И лишь автору, в силу его давнего знакомства, это говорит об ином. О детстве вблизи Смоленской площади, о папе, возвращающемся непременно с мороженым тортом на отлете, чтобы не замарать служебного габардина, о маме, отдающей все оставшееся от реставрации сельхозвыставки время хорошему чтению и юному Игнатьеву, о детстве с самокатом на лучших немецких подшипниках и с дачным волейболом на мокрой хвое. Глубоко в глубоких морщинах прячется катастрофический конкурс в стали и сплавах, легкое крушение, незаметный сначала поворот, от которого и пошло — строительные войска, жена Тамара, угарно дымящийся асфальт и сам Игнатьев в оранжевом жилете, потом еще что-то, неувлекательный какой-то труд и, наконец, зеленый бульвар, газонокосилка с бензиновым кашлем, осенняя посадка робко вздрагивающих липок, обрезка кустарника, иногда красное вино с малознакомыми друзьями, семейная жизнь в некогда новом, а сейчас уже давно привычном микрорайоне.

Вот таким знает Игнатьева автор.

Что же до нашей спутницы, то она, как уже сказано, росту среднего, мило полноватая, каштановолосая, одета скромно, но с большим вкусом и информированностью, взгляд же у нее... Черт побери,

какой, однако, взгляд! Нет, вы только вглядитесь в ее глаза. Все там: и смех нераздавшийся, милый такой смешок; и грусть невылившаяся, прозрачное такое сожаление о чем-то; и доброта, ласковая такая, гладящая вас по небритой щеке приязнь; и ум, ясный, не первой молодости прекрасный женский ум; и... Чего только нет! Все, решительно все, чего ищет любой мужчина в женском взгляде, есть. И главное — преданность. Не какая-либо конкретная преданность, направленная, например, на мужа или семью в целом, на начальника или определенного некоего человека, а обобщенная. Вот такая: «Ты только пойми... Полюби... а уж я... увидишь... до самой смерти... и даже после... и даже пьющего... и больного... всегда... и буду ждать поздно вечером, и увидишь в темном окне еще более темный силуэт в знакомом халате, и поймешь...» Примерно такая.

Нет на свете мужчины, которому было бы безразлично такое выражение глаз. А если не повезет, и не встретишь, то заводишь эрделя, или шотландскую овчарку колли, или все ездишь к знакомой, к одной и той же, на Рогожку, хотя понимаешь, что нечего ездить, там такого взгляда ие дождешься...

Однако иллюзия все это — вы уж поверьте автору, ему лучше известно. Автор ведь сам практически только что эту Людмилу Пирогову выдумал, кому ж еще ее знать! Известно же о ней достоверно следующее: тридцать восемь лет назад родилась где-то между Волгой и Уралом, в своем классе слыла не только самой красивой, но и самой умной, поскольку собиралась по окончании поступать ни мало ни много в столичный иняз, и поступила-таки, и нашла-таки себе поблизости, в родственном вузе, своего Пирогова, и получила все, на что не только глазами — всем своим складненьким телом смотрела, что в мыслях много раз примеряла, что — неясное еще, но предчувствуемое — снилось ей там, в бело-пыльном ее городке. Все получила: поездки, туфли «Саламандра» — друг вашей ноги, комплект, известный под именем «неделька», и прочее все — да что мы будем перечислять, поди сами все знаете не хуже нашего. И преданность, тот самый ласковый огонек в ее глазах все тлел и тлел, и этот огонь сначала согрел несчастного — даже он поддался — Пирогова, а после начал полегоньку его поджаривать. И понял Пирогов постепенно, что жить ему дальше предстоит рядом с этим тлением и всю жизнь поддерживать его, подбрасывая в качестве топлива то, что мы уже было начали выше перечислять, да притомились.

Да бог с ним, с Пироговым, пока не о нем речь, да и не будем мы ему сочувствовать, поскольку, как позже выяснится, если пока еще не ясно, они с Людмилой два сапога пара — ну и ладно. Получили свое, и радовались бы... Так нет, мало им! И тлеет, тлеет предательский огонек, и спешат на его свет неразумные путники, и ходит и дышит под ногами пружинящая трясина...

Не станем забегать вперед. Тем более что лифт наш скрипит и трясется уже мимо второго этажа и, кроме запаха дыма от недодушенной руками Игнатьева сигареты, носятся в этом тесном объеме страсти, уже, думаем, столь же нам ясные, сколь и естественные. Догорает сигарета «Ява», занимается на коварном огоньке Людмилиных глаз и сам курильщик, вспоминает свой необъяснимый ночной шепот «Люся...», мучается от неправильных своих чувств. Легким движением оправляет Людмила Пирогова тоненькое свое, трогательного какого-то фасона платье, перекидывает на плече поудобней ремешок от косо висящей сумочки, готовится к выходу в мир — и понимает, что в конце концов с этим мужиком договориться можно будет. Продемонстрирует она Пирогову еще раз свои возможности...

А мы, любезнейший читатель, выйдя из этого прокуренного табаком и едва ли не прожженного страстями лифта, можем лишь посмотреть вслед нашим героям, разошедшимся, естественно, сразу в разные стороны, и подумать немного о превратностях любви.

6

Жаркий день покорил город, собрал с горожан дань неутолимой жаждой и звоном в ушах да потихоньку стал сворачивать дела, полагая, что душная ночь достойно примет эстафету.

Игнатьев тоже отработал свое и стал собираться домой. Он сложил все орудия производства, а именно: здоровенные кривые ножницы; лопаты с черенками, частично обломанными и дотемна отполированными игнатьевскими ладонями; толстый шланг, разевающий в нескольких местах изломы и порезы, сквозь которые при поливе насаждений била острая водяная пыль; привязанный к длинной палке клинок для досягания высочайших точек дерева; и, конечно, вершину технической мысли, поставленной на службу озеленению,— мотокосилку для газонов, бензинодышащее чудовище с ручками, напоминающими известную картинку «Крестьянин Тульской губернии, идущий за сохой. 1902 год».

И все это Игнатьев спрятал в маленький и на вид очень уютный домик, возведенный именно для этих целей в начале бульвара. В домике пахло пылью, но Игнатьев этого уже давно не замечал — притерпелся. Там же, в домике, до того, как запереть его на тяжкий висячий замок, Игнатьев переоделся и сполоснул руки. Он сменил свой рабочий, оставшийся с прежней службы по благоустройству города оранжевый жилет на практичную клетчатую рубашку с сильно расплющенными в прачечной пуговицами, прочее же в гардеробе оставил без изменений, то есть: мохнатую не по сезону кепку с несколько потемневшим козырьком, джинсы подольского дивного шитья с клеенчатой этикеткой «Олимп» и сандалеты зеленой как бы кожи на розовой подошве из липкой резины.

После чего он вышел на свежеобработанный им же бульвар и присел на скамью — перекурить, отдохнуть, подумать о следующих действиях.

По бульвару шли люди, но их Игнатьев практически не замечал. Он вообще большей частью не испытывал интереса к людям, так как их поступки, мысли и желания казались ему совершенно однообразными и, более того, полностью совпадающими с поступками, мыслями и желаниями самого Игнатьева, лишь с несущественными поправками на обстоятельства. А что может интересного быть в поступках, мыслях и желаниях самого Игнатьева? Так думал он, вернее, не то чтобы думал, но ощущал.

Закуривши привычный табак любимой фабрики «Ява», закрытой, говаривают, на ремонт, Игнатьев расслабился. Ему было приятно, что и во время ремонта популярного предприятия он имеет возможность наслаждаться его продукцией благодаря хорошим и прочным отношениям с киоскером, занимавшим угол бульвара. В этот момент к Игнатьеву можно было подойти и окликнуть его: «Боря!» — и он ответил бы, хотя обычно на свое имя почти не реагировал, более склоняясь к официальному обращению.

Тут к нему и подошли, но никак окликать не стали, да и подошли, собственно, не к нему, а к скамейке, им занимаемой. Подошла женщина, присела, открыла сумочку, порылась в ней, вытащила мятую пачку незнакомых Игнатьеву сигарет, заглянула в ее нутро и, еще более смяв, швырнула пустую заграничную тару в урну. Тогда Игнатьев...

Впрочем, хоть бы мы сейчас и стали говорить, что он — не суетясь, но быстро — вынул сигареты, выдвинул их из пачки легким щелчком, предложил, корректно склонив голову, и мягко улыбнулся в ответ на благодарность,— так вы бы все равно не поверили. Поэтому расскажем все, как было.

Игнатьев, откинувшись на скамейке и далеко вытянув перед собой ноги в зеленой обуви римского фасона, а руки закинув за спинку скамьи, пускал дым в небо и не делал более ничего. Женщина же оглядывалась, хмурилась, явно страдая, но к соседу прямо тоже не адресовалась.

Женщина была вот какая: на взгляд Игнатьева — девчонка лет двадцати семи, из тех, что сдуру курево переводят, носят мужские штаны, покроем напоминающие те, что носил любимый артист игнатьевской юности, трикотажные неприличные майки на голое тело и прочую глупую и несамостоятельную ерунду, от которой главным образом и происходят все безобразия в современной жизни. Чем такие женщины занимаются и живут, Игнатьев не знал, но предполагал худшее.

А на самом деле женщина была вот какая: тридцатипятилетняя владелица собаки, незамужняя, с дочкой от одного мыслящего себя талантом негодяя и с постоянными огорчениями от одного приходящего — точнее, приезжающего — друга, живущая на скромную зарплату старшего преподавателя, однако непоколебимо и вовремя приобретающая с помощью разного рода ссуд и займов как джинсы свободного покроя в многочисленных молниях, так и ти-шортс, поскольку позволяет состояние фигуры. В общем, не сдающаяся.

Игнатьев был вот какой: на взгляд женщины — обычный алкаш из последних, магазинный стоялец, рвань и так далее. С такими людьми женщина если и разговаривала по хозяйственной надобности, то громко и подбирая простые слова.

А на самом деле Игнатьев был вот какой: из старинной московской семьи, арбатский уроженец, не поступивший, как мы уже неоднократно сообщали, в эпоху легендарных конкурсов в институт стали и сплавов и с тех пор утративший ко всякой ерунде интерес. Больше всего Игнатьев любил зелень, то есть флору, грустную музыку и молчаливый отдых, а выпивал крайне умеренно, в последнее же время — в связи с уединенной службой — и вообще почти не выпивал. Так, от случая к случаю...

Все же женщина решилась и обернулась к нему с пока еще не высказанной, но очевидной просьбой. Курящих на бульваре вокруг, как назло, больше не было и даже в отдалении не появлялось. И Игнатьев тоже как бы заметил томление соседки, и сам, до слов ее, за «Явой» полез.

И произошло явление контакта.

Женщина увидела: у Игнатьева тонкое лицо, слегка опущенные наружные уголки глаз, что ей всегда нравилось, из-под кепки — удивительного пепельного цвета густые волосы, едва начавшие седеть, и резкий прямой рот, что ей когда-то, в давней иной жизни, нравилось особенно. А тряпки... А в конце концов что тряпки?! Чепуха...

Игнатьев же увидел: женщина не доска, как все эти, молодые, а вполне хорошая, и с фигурой под бессовестной кофтой, а глаза и вообще желто-зеленые, именно какие Игнатьев предпочитал. Более того, как раз в последнее время мучали его точно такие глаза, принадлежащие очаровательной соседке. Правда, в тех глазах имелся еще и дополнительный призыв, в этих же — ничего, кроме простого вопроса и начитанности, но все же...

Что же до тряпок ее безобразных... А, да леший с ними, с тряпками! «Это роли не имеет, тряпки все эти»,— вот что мог бы в данный момент сказать Игнатьев.

Но он не это сказал, а, достав пачку и протягивая ее даме, сказал вот что:

— Дать в зубы, чтобы дым пошел?

И приветливо улыбнулся. Эту шутку он специально вспомнил, она ему давно была известна, еще с армии. Сейчас ему хотелось понравиться этой женщине, которая оказалась ничего, симпатичная, хоть курящая и одетая не по-людски, и он решил показаться ей веселым и добрым. И поэтому пошутил.

После чего явление контакта прекратилось.

Вот уходит по бульвару женщина в некультурных штанах и майке, уходит по бульвару симпатичная женщина с желто-зелеными глазами, уходит по бульвару женщина, тихо бормоча: «Ужас, какой ужас...» Вот сидит на скамейке Игнатьев, неожиданный ветер его обдувает, сидит себе Игнатьев и неизвестно почему расстраивается. Не знает он, что ему дальше предпринять. То ли с куревом решительно завязать, по примеру соседа Пирогова — а мы кстати заметим, что и действительно неплохо бы. То ли... Нет, не знает Игнатьев, что ему предпринять.

В самом конце бульвара мелькает ее фигура и сворачивает куда-то. Наверное, туда, где она живет. И Игнатьев тоже идет домой.

7

Итак, тот жаркий день покорил город, собрал с горожан дань неутолимой жаждой и звоном в ушах да потихоньку стал сворачивать дела, полагая, что душная ночь достойно примет эстафету.

И Пирогов решил закончить сегодня служебные занятия пораньше. Приведя в порядок манжеты слегка утратившей от жары свежесть полотняной рубашки популярного в последние сезоны стиля баттон-даун, подтянув узел тонкого галстука и разместив аккуратнейший этот узел — на ощупь — точно под хорошим чистым подбородком, он снял со спинки стула клубный синий пиджак — нетленная одежда серьезных людей,— подхватил окованный металлом чемоданчик и, доброжелательно попрощавшись с сослуживцами, покинул офис. Благо, что удачи последних лет и природное умение себя поставить дали ему заветную возможность не испрашивать позволения начальства на такую маленькую вольность, как сорокаминутное сокращение рабочих часов...

Отчаянно растущий год от года столичный траффик оставил Виталия Николаевича Пирогова вполне хладнокровным. Уверенной рукой направляя неприметный ноль одиннадцатый по кратчайшему маршруту к цели, Виталий Николаевич думал о своем. Он и вообще не имел привычки в медленно движущемся потоке часа «пик» глазеть по сторонам. Давно рассеялись иллюзии, и непростительным мальчишеством считал Пирогов тайные вздохи вслед «датсунам» и «саабам-турбо», робкое заглядыванье на слоновью грацию доживающих свой век «континенталей» и «импал». А ведь есть еще такие поверхностные люди среди автолюбителей, есть! Но Пирогов давно уж предан волжской компактной машине, а ему видней — поездил...

Но о чем же думает водитель, стоя в длинной череде перед разворотом? О чем может думать на исходе знойного послеобеденного времени Виталий Николаевич Пирогов, заведующий весьма значительным сектором одного из немаловажных и представительных учреждений, женатый человек доброкачественных средних лет? Где он сейчас мысленно пребывает, пока ухоженным ногтем постукивает по обтяжке руля?

Вряд ли мы могли бы когда-нибудь это точно узнать, поскольку в жизни Виталий Николаевич сдержан и неукоснительно следует давнему поэтическому совету — помните? молчи, скрывайся и таи все думы и мечты свои или что-то в этом роде... Но в данной ситуации есть у нас такая возможность: к счастью, Пирогов от начала до конца, как, впрочем, и все остальные в этой истории, выдуман автором. И потому мысли его и чувства нам совершенно открыты.

Думает он вот о чем.

Там, куда сейчас направляется автомобиль, в скромном однокомнатном невыплаченном кооперативном жилище ожидает его счастье. Счастье имеет любимый пироговский рост в сто шестьдесят семь сантиметров, размер сорок шесть (европейский — сорок два), светлую простую прическу без пошлых парикмахерских ухищрений, зеленоватые глаза и дивный характер. Такой характер вырабатывается к тридцати пяти годам по мере перемещения иллюзий из сферы личных отношений в область новых театральных событий и свежих публикаций в толстых журналах. Немало способствует формированию этого характера также умеренный заработок старшего преподавателя на языковой кафедре в сочетании с бассейном для десятилетней дочки, овсянкой для двухлетнего полуспаниеля и собственными принципами в отношении элегантности современной женщины.

Пирогов ценит как физический облик, так и нравственные достоинства человека, дочка же сегодня должна быть у бабушки. Так что полтора часа тихой радости Виталию Николаевичу гарантированы. Без предварительного звонка.

Следует ли прямо указывать, что Пирогов едет не домой? Думается, не следует. Тем более что дома жена Людмила еще и не ждет его, так как рабочий день не закончен.

И начались полтора часа, и прошли как одно мгновение.

Отрадная прохлада царила в однокомнатном раю, ласково рокотал город за плотными шторами из недорогой, но со вкусом выбранной ткани, силы поддержал Пирогов салатом из отличного редиса, счастлив он был, и не было его счастью конца, пока не кончились полтора часа, как миг. Грустно смотрел полуспаниель, как повязывает желанный гость галстук, как надевает пиджак, и еще грустнее смотрел на хозяйку...

Между тем Пирогов, уже стоя в прихожей, вдруг хлопнул себя по лбу, давая этим жестом понять, что главное-то он и забыл! Немедленно и в спешке — ведь время уже поджимает, ничего не поделаешь — был настежь распахнут плоский чемоданчик в металлической оправе, непременный спутник, чуть ли не альтер эго. И действительно, как же это Виталий Николаевич запамятовал! Именно сегодня утром, прибыв из неближней, но интересной командировки, презентовал благодарный сослуживец товарищу Пирогову некую — совершеннейшие гроши, что вы, Виталий Николаевич, как не стыдно! — приятную мелочь, очень, говорят, сейчас там модную. Железную такую штучку, то ли для женских волос, то ли еще для чего... Увольте, не разбирается автор в этих приспособлениях, хоть убейте, и потому далее детализировать не может. Ну, здесь защелкивается, а тут продевается... Да знаете вы наверняка, небось, жена-то уже давно ищет такую!

— Это тебе,— сказал Пирогов, протягивая штучку подруге. Не станем утверждать, что при этом он ожидал изъявлений благодарности бурных или еще чего-нибудь эдакого. К чему? Интеллигентные ведь люди, да и некогда уже... Но того, что последовало, он ожидать никак не мог!

А все проклятая спешка. Кабы не она, не стал бы бедняга полностью распахивать кейс, вспомнил бы, поди, что ни к чему это в данной ситуации. И не скользнул бы взгляд милой женщины на дно делового вместилища, и не обнаружил бы там еще одну точно такую штучку, только с иной пластиковой отделкой — не зеленоватой, а, скорее, табачного цвета...

Ну, а с другой стороны — виноват разве Пирогов, что и к глазам Людмилы идут цвета именно этой гаммы? Виноват разве в устойчивости своих вкусов? Виноват разве в том, что сослуживец фантазию не напряг?

И вообще — что тут такого? Жена ведь все-таки. Неужто ей сувенира не положено...

Да ведь в жизни как получается — виноват, не виноват, а попал судьбе и женскому чувству под руку — получай...

Вот и едет теперь В. Н. Пирогов домой, резко меняет рядность, чуть ли не вступая в конфликт с ПДД, чуть ли не создавая опасную ситуацию на дороге. И уж не барабанит он пальцами по рулю перед светофором, не торопит события, а просто мысленно клянет на чем свет стоит неудачный сегодняшний день и потирает медленно принимающую нормальный цвет щеку.

Однако постепенно он успокаивается и на подъезде к дому уже думает только о путях и методах перепланировки своей квартиры в соответствии с лучшими мировыми образцами. От этого важного для жизни дела Пирогова отвлечь ерундой нельзя. Характер у него твердый, можно сказать, железный. Он и сам это знает...

Тем временем хозяйка нечистопородного пса ликвидирует последствия давно уже лишних слез с помощью компакт-пудры, быстро, но, по привычке, неотразимо одевается и выходит на бульвар угомонить нервы. Полуспаниель остается дома и смотрит еще грустнее обычного.

На бульваре все скамейки заняты, только на одной есть место рядом с мужиком в зеленых сандалиях. Она решительно направляется туда. Покурить, что ли, подумать...

Однако хватит. Дальнейшее вам уже известно.

8

Жаркое — с первых дней — стояло то лето, и надоедливая тополиная вата липла к шее, лезла в рот, внедрялась в волосы и так далее, пока, успокоившись наконец, не превращалась в грязно-серую, валенкоподобную оторочку обочин. Дни, несмотря на увеличивающуюся, в соответствии с указаниями календаря, продолжительность, неслись все быстрее, дребезжа на поворотах плохо пригнанными минутами и часами. Рубашки прилипали к спинам, и летнее безумие страстей овладевало взмыленными жителями мегаполиса.

В обед Игнатьев по обыкновению пошел в пельменное заведение «Галактика» с товарищами по работе — втроем. Взяли пельменей двойных, сметаны отдельно, в общем, нормально. Стали за угловой стол, за едой пошла беседа: Игнатьева слушали.

Вспомнить ему было что: прошлой осенью предпринял Игнатьев заграничное путешествие по путевке. Путевку предложили в месткоме треста, Игнатьев посоветовался с семьей и поехал.

Накануне вместе с женой съездил в магазин «Ратмир», купил хороший костюм румынского пошива и новую кепку-букле; запасся, как рекомендовали, напитками для общественного пользования и для сувениров зарубежным друзьям; положил в карман наряду с необходимыми документами список пластинок для дочери и цветов шерсти, желательных для жены; и отбыл в составе группы членов профсоюза.

В вагоне по дороге туда Игнатьев много курил, стоя в нерабочем тамбуре, и глядел в окно на чистые, но скучноватые поля и заграничных земледельцев, пашущих по-старому, на живой тяге, но

в фетровых шляпах. Но бывал и в купе, помог трем симпатичным женщинам из города Владимира, с которыми оказался соседом, разместить поклажу, угостился курицей из фольги... Проехали мимо станции. На станционном здании была черная непонятная надпись, наверное, название, а под надписью прогуливался заграничный пассажир в пиджаке и шарфе. На улице было, судя по всему, прохладно, и Игнатьев подивился закаленности этого иностранца.

Потом-то он привык и к иностранным детям с голыми синими коленками, и к молодым ребятам в одних свитерах, идущим вперемежку с дамами в меховой одежде. Игнатьев привык к непрестанным автобусным переездам; ранним завтракам практически всухомятку, одна колбаса да повидло, если не считать чая в бумажных мешочках, нитки от которых торчали из толстых чашек, напоминая почему-то канцелярию; привык к посещениям различных музеев, мемориалов и храмов с вокзального типа скамьями; привык и к не особенно понятной речи местной экскурсоводши, объясняющей с первого автобусного сиденья через микрофон:

— С левой мы видим — да? — старинная центр маркт плятц — да? — обращайте внимание с правой тоже фабрикация тяжелый машинный прибор — да? — прямо не видно — да? — место, где стоял тоже дом знатного компониста — да? — Ехан Себастиан...

Игнатьев ходил вместе с симпатичными женщинами из Владимира в торговые центры, посещал специализированные магазины и все время вежливо помогал дамам носить их сумки. Дамы же за это посодействовали ему в приобретении искомой шерсти отличного цвета беж, а пластинок для дочери не нашлось, и Игнатьев ограничился покупкой для нее молодежных брюк, которые примеряла одна из спутниц, худенькая. Себе же он нашел отличную вещь: очень красивый чемоданчик из двухцветной пластмассы, в котором можно носить завтрак на работу: два гнезда для вареных яиц, помещение для соли и одного куска хлеба, пластмассовые же вилка и ножик в гнездах. Вообще-то он никогда завтрака на работу не носил, питаясь в указанной пельменной, но вещь очень пришлась ему по сердцу, да и стоила недорого.

Впрочем, по воскресеньям, когда иностранная торговая сеть не работает, да и по субботам после обеда организованный туризм вливался в русло культуры. И вот так получилось, что однажды Игнатьев оказался с самом центре какого-то города внимательно слушающим экскурсоводшу относительно собора справа и завода химической фабрикации слева. Шел мелкий дождь, мимо по своим делам спешили иностранцы, не обращая внимания на небольшую, но плотную группу игнатьевских спутников, а он покуривал тихонько в кулак и слушал про исторические памятники и основные отрасли промышленности. Тут одна из женщин группы перебила экскурсоводшу вопросом, какого века этот храм — она всегда этим очень интересовалась,— и Игнатьев отвлекся.

Он огляделся по сторонам и рядом с храмом заметил одного человека. Одет был этот человек в странноватый, на взгляд Игнатьева, и очень маркий белый комбинезон. Впрочем, здесь в таких комбинезонах можно было увидеть многих рабочих. В руках у человека в комбинезоне были большие кривые ножницы, с помощью которых он срезал негодные ветки с деревьев в скверике вокруг храма. Ветки падали на землю, человек тут же наклонялся и, подняв очередную ветку, относил ее в аккуратную кучку.

И Игнатьев не заметил, как группа его куда-то ушла, а он оказался один возле этого человека. Дождь продолжал моросить, а человек продолжал работать. Работал он вроде бы медленно, но дело подвигалось неплохо.

Игнатьев стоял, смотрел. Где-то очень далеко от этого храма и сквера росли деревья на бульваре, и Игнатьеву захотелось туда, хотя отпуска еще не прошло и половины, захотелось на этот бульвар, захотелось надеть старую кепку и приступить к обязанностям, то есть взять в руки кривые ножницы и начать срезать ненужные ветки с деревьев на том далеком бульваре, где провел он — если считать чистое время, как в хоккее,— больше половины своей жизни...

Игнатьев полез в карман, вынул пачку «Явы» и протянул ее человеку с ножницами. Одновременно он вспомнил многое из школьных времен, вспомнил, что когда-то на том самом бульваре он не обрезал ветки, а гулял в группе детишек, которую водила Эльза Гавриловна, вспомнил тут же почему-то отца еще в военной форме со стоячим воротом и мать в косо сидящем беретике на стриженых, сине-черных волосах, собрал все слова Эльзы Гавриловны и сказал:

— Битте... гут... сигарет гут... битте.

Человек улыбнулся, кивнул, но при этом одновременно покачал отрицательно головой и сказал что-то быстро и длинно. Игнатьев только три слова и понял:

— Найн... данке... арбайт...

— Вообще, что ли, завязал? — спросил Игнатьев.— Молодец тогда, есть, значит, сила воли. Ну, так постоим, поговорим вообще...

— Найн,— опять улыбнулся и покачал головой иностранный товарищ.— Найн вообще. В частности, мол, найн, во время работы. Арбайт, мол, нихт раухен. Извини, значит.

Так примерно и сказал. И что удивительно, Игнатьев его понял. Ему и самому хотелось бы в тот момент деревьями заниматься, а не с прохожими посторонними языком трепать — будь он, конечно, на бульваре своем, а не на заслуженном культурном повышении уровня...

И вот теперь, когда уже приехал Игнатьев давным-давно домой, и шерсть жене уже понравилась, и штаны дочери подошли, сам путешественник стоял в пельменной за высоким мраморным столом и делился с друзьями впечатлениями. И впервые с тех пор, как вернулся, вспомнил описанный эпизод. Раньше-то все больше приходилось рассказывать насчет цен, чтоб им...

Замолчал Игнатьев, задумался, потом махнул рукой и рассказа больше не продолжал, как ни просили.

— Да ладно, чего там,— говорил он неизвестно кому, уже на бульваре, ремонтируя проклятый карбюратор газонокосилки. Сослуживцы вдали рубали лозу, так что ни одного слова скорей всего не слышали.— Ну, живут и живут, нормально все. Храм там есть один... Большой, в общем. В высоту. А покурить, между прочим, на работе некогда! Вот вам и мохер — весь до копеечки.

И замолчал окончательно. Реанимированная малая механизация наконец взвыла и истерически загрохотала, Игнатьев вытер черные ладони травой и продолжил косьбу. Прохожие воротили носы от его бензинового помощника, и потому он, как правило, не видел их лиц. Но если бы он мог в них вглядеться; да если б к тому же он обладал даром угадывать по этим лицам внутреннее состояние,— а он этим даром нисколько не обладал, кстати; и, кроме того, если бы он мог точно определить собственные чувства и сопоставить их с чувствами окружающего человечества — а он этого совершенно не мог, честно говоря; и если бы все открывшееся он мог выразить в словах!.. Странная прозвучала бы фраза.

Вот такая примерно: «Чудеса! Во дает народ... Одна любовь в голове, а вкалывать кто же будет? Там человеку покурить некогда, а тут давай им любовь — и все дела...»

Правда, для справедливости скажем, что это сетование он полностью отнес бы и к себе, хотя физическое его воплощение продолжало управляться с косилкой.

9

Сейчас нам, испытанный читатель, предстоит дело утомительное — описание грез. Хотя... Все зависит от того, какие грезы и чьи. Вот один человек как-то высказал соображение: мы так любим романы о путешествиях потому, что обязательно там имеется перечень взятых с собой припасов, либо описание счастливо выброшенного на берег набора необходимейших вещей. Ну, астролябия, конечно, серные спички, Библия в кожаном переплете, форма для отливания дроби...

Нечто подобное сейчас и последует, так что, может, и не разочаруетесь.

Виталий Николаевич Пирогов, нам уже неплохо знакомый, томился без сна. Супруга его Людмила, по женскому обыкновению умаявшись за световой день, сладчайшим образом заснула, а к мужчине сон не шел.

Он лежал на ставшей вдруг жесткой простыне, ощущая каждую складку спиной, смотрел прямо вверх, в потолок, угадывавшийся в сизом воздухе ночной комнаты, и мечтал. Ну, почему, думал он, все это так трудно, почти недостижимо? Разве чего-то сверхъестественного он жаждет? Нет, вполне обычного, даже стандартного. Виденного не только в дивном полиграфическом исполнении, но и в обольстительной натуре — например, во время последнего выезда был он по служебному делу в одном доме...

Значит, прежде всего холл. Плетеная корзина для зонтов... Может, слоновья нога? Нет, архаично, лучше корзинка. Итак, корзинка для зонтов, рядом зеркало в бамбуковой колониальной оправе. На вешалке ничего — лишь одинокая твидовая панама да рядом на полу косо прислонившиеся друг к другу охотничьи боты... Затем гостиная. Золотистая дымка гардин, за которыми просматривается близкий сад... Откуда сад-то взялся на девятом этаже? Не до этого Пирогову, грезит Пирогов. Видит он лампу на высокой резной — точнее, точеной — ножке, и абажур на лампе в мелкий цветок, и полужесткое кресло вблизи лампы, отливающее вишневой полировкой, и обширный диван с подушками, славно разбросанными по его рифленой поверхности, и репродукцию Поллака над диваном, и надкаминное зеркало, и удивительный золоченый столик, отдающий римской колесницей из неудачного фильма, и сплошной шерсти покрытие пола, и горшки с цветами аспарагус, и в дальнем углу помещения крутая с разворотом лестница...

Доходит до этой лестницы Пирогов, и тут начинается в его уме неприятная и отталкивающая суета, с которой не то что заснуть — жить невозможно. Куда лестница-то? Известно, на второй этаж, секонд, так сказать, фло. Там спальни, оттуда — если обратиться к традициям кинодурмана — тихо стекает загадочная струйка крови, там проводят ночные часы хозяева и гости порядочной жизни. Ах! Не помешал бы второй этаж жилью Виталия Пирогова! А где его взять? Конечно, если купить кооператив где-нибудь, да в этот кооператив тех самых... как их... Игнатьевых, что ли, да пробиться здесь через перекрытия, да воздвигнуть упомянутую лестницу с перилами на точеных столбиках... Эх, жизнь!

Кровать с обтянутой кожей спинкой. Низкая подсветка. В левом углу фотографии приоткрытая в ванную дверь, а там и он сам, в кимоно, совершающий вечерний туалет, а под одеялом, натянув его хитро до подбородка... Конечно, лучше бы... Ну, а хотя бы и Людмила! А что? Зато интерьер...

Вот лежит спиной на мнущихся простынях наш Пирогов. Вот упирается его взгляд в потолок со швом посередине, между двумя плитами. Вот мечтает он о двухуровневом житье-бытье — много повидавший в разъездах товарищ. Был он, кстати, и там, где сосед его, Игнатьев, встретил человека в белом комбинезоне, не курившего за работой и тем произведшего неизгладимое впечатление на простодушного служителя зеленых легких города. Бывал там Пирогов, как же, и неоднократно! И собор колючий видел, и человека в комбинезоне, не исключено, мог встречать...

А запомнился все же лишь интерьер жилища делового партнера. Осудим ли мы его? Кто знает... Разве мы против двухэтажных квартир? Не против, хорошая вещь. Не против мы также и каминов вместе с надкаминными зеркалами, и корзины для зонтов не вызывают у нас отвращения — правда, читатель?

У нас только одно «но»: насчет жизни и смерти. То есть если помирать настанет время, то как? Там ведь без этажей... Тогда зачем же все это? Временно, значит? Стоит ли? А? Как вы считаете, Виталий Николаевич?..

Не спит Пирогов. Поднимается по лакированной лестнице, целует на ночь чайлдов в детской, входит в вожделенную спальню, откидывает крайне неудобную, но общепринятую перину... Эк его разбирает! Никак не заснет.

А и вы бы не заснули, если б приехали в свое время поступать в труднодоступный институт из эдакой тьмутаракани, где все местные власти в одном доме помещаются, и поступили бы, и закончили, и отъездили бы свое, и насмотрелись бы всякого, и получили бы, что положено, соответственно рангу, а жить продолжали бы в двухкомнатной, заурядной, полезной площадью тридцать два и шесть десятых. Посмотрел бы я на вас...

Плохо Пирогову. Сгинул бы в сей миг этот Игнатьев, не имеющий, по сути, и вкуса к правильной жизни, сгинул бы... Так нет, продолжает занимать верхнюю жилплощадь, по праву воображения принадлежащую Пирогову. А тот лежит без сна и мечтает. Такая, друзья мои, жизнь...

Короче, все ясно.

Он столько шел, и все вверх, и неотступно, и не сдаваясь, и платя по всем счетам, и тратя себя из расчета нынешнего курса жизни год за два — или сколько там? — и ничего не жалея, и в полном, хотя и нелегком, взаимопонимании с супругой Людмилой, и держа себя в руках, и опять не жалея ничего... Неужто не заслужил? Паршивенького, обычненького двухэтажного жилья? По ширпотребовскому журнальчику? Кто это — Игнатьев? Что это? Да ведь он троечник вечный, да ведь он здесь ни при чем!.. Не на улицу, конечно, в другую приличненькую квартирку, но эта-то ему зачем?!

Плохо Пирогову. Может, и не так, как мы здесь изображаем, но примерно в этом роде. А точней и глубже в мысли Пирогова не проникнешь. Никому это не под силу. Потому что Пирогов о своих мыслях не пишет. А те, кто пишет,— они на Пирогова не похожи. Принципиально. Иначе писать бы не могли.

В общем, пусть теперь Пирогов встанет, примет что-нибудь успокоительное, да и заснет — пора.

Однако Виталий Николаевич нашим советам не внимает, а решает по-своему: смотрит на часы и, обнаружив, что до запретного времени еще тридцать две минуты, решает задобрить нервы гармонией — музыкой успокоиться. Людмилу-то теперь и пушкой не добудишься...

10

Более всего, как известно, Игнатьев любит сидеть вечером в июне на балконе и молча отдыхать после рабочего дня.

Разные у людей бывают пристрастия. Некоторые год за годом ездят в отпуск на юг, и именно в одно и то же полюбившееся им место под названием Лазаревская; иные предпочитают дивную природу средней полосы, обозреваемую с байдарки, быстро несущейся в светлых струях лесной речки; третьи превыше всего ценят комфорт и сдержанность гостиниц на балтийском берегу... Игнатьеву же символом заслуженного очередного отдыха представляется только такое вот сидение на балконе, плывущем в теплом и темном воздухе, словно небесный корабль, приписанный к семнадцатому микрорайону. Зной, накопленный в стенах и асфальте, в людях и небе того огромного города, в котором Игнатьев прожил всю свою жизнь, не торопясь, смешивается с прохладным вечерним ветром и, облагороженный запахами разнообразной зелени, деликатно напоминает Игнатьеву о дневных трудах на солнцепеке. И, глядя перед собой в темноту, мягкую и слегка пыльную, как старая бархатная скатерть, Борис Семенович Игнатьев испытывает счастье.

Он думает и о неизбежно приближающейся поре очередной обрезки веток, и о необходимости завтра же укрыть под навесом затаренные в бумажные мешки и давно нуждающиеся в укрытии удобрения, и о том, что у газонокосилки к вечеру опять засорился карбюратор. Но эти служебные мысли не омрачают его духа, напротив, представляют приятный противовес теперешнему занятию Игнатьева, известному с давних времен под именем «дольче фар ниенте». Именно благодаря незначительному мысленному эху любимого труда Игнатьев и чувствует полноту отдыха.

Впрочем, это мы только так описываем — что он там чувствовал и о чем думал. А на самом деле он чувствовал вот что: «Нормально сижу... так жить можно... тепло, и мухи не кусают... косилка накрылась... а так все путем... холодок и не пыльно...» И не надо спешить с иронией по поводу его не совсем складных, как обычно, формулировок. Ведь и вы тоже — вот читаете сейчас это сочинение, много вроде бы чего думаете, а если точно записать, получится: «Нормальное сочинение... в смысле, повесть... то есть рассказ... или роман?.. не очень, конечно... но ничего... только непонятно, о чем... а вообще ничего...» Так что не будем удивляться мыслям Игнатьева.

В общем, сидит себе Игнатьев, значит, на балконе и наслаждается погодой. Вспоминает о разных смешных — в основном уже вам известных — эпизодах своей жизни. Вспоминает, конечно, как он жил еще на старом месте, в центре, и думал по окончании десяти классов получать высшее образование; как служил в строительных войсках, а потом огорчил родителей ранней женитьбой без профессии; как работал в различных организациях на небольших должностях, нередко связанных с переноской тяжестей... В общем, много всего было в его жизни до того, как он сел эдак на своем балконе, закурил сигарету «Ява» явского же изготовления и приступил к наслаждению.

Однако многообразие жизни проявляется и в этот краткий момент: в то время как Игнатьев сидит на балконе и наслаждается, в квартире этажом ниже сидит его сосед и страдает. Не на балконе, правда, но при распахнутой балконной двери. Соседа, конечно, фамилия Пирогов, и страдания его нам также известны. Такое уж, видно, это время — лето, что всех страсти терзают, распускаются в тепле махровым цветом неутоленные желания.

Ведь и Игнатьев тоже не в нирване находится, а, наоборот, несмотря на чудесную расслабленность, смутно жаждет. Не то возвращения в детство ищет его душа, не то сопереживания в желто-зеленых глазах. Да и глаза-то неясно, чьи: то ли соседской жены, то ли вовсе не знакомой курящей дамочки... В общем, страждет душа, хотя страдания эти почему-то не мешают Игнатьеву наслаждаться вечерней природой. Как говорится, печаль моя светла.

Иное дело сосед его снизу. Вот, казалось бы, чего не хватает человеку? Поступил, как мы докладывали давеча читателю, в институт хороших отношений, закончил полный курс этого института, в аспирантуре обучился, диссертацию защитил, поездил туда-сюда, получил должность достойную и квартиру под Игнатьевым, жену — союзницу всех начинаний, привез в квартиру разные бытовые предметы, научился к темно-синему пиджаку носить только светло-серые брюки и вишневый галстук, купил музыкальный центр высокого качества воспроизведения звука... А терзается человек, горячей слюной наполняется рот, и не идет сон. Неподходящий вроде бы поздний вечерний час, но просит мятущийся дух красоты, и Пирогов ставит на мягко вращающийся диск пластинку. Может, рассеются видения двухэтажного пэрадайза, уйдет горечь...

На пластинке написано название произведения, автор и исполнители. Пирогов эту надпись отлично понимает, поскольку у него как раз немецкий язык был основной. Фамилия автора знакомая, у Пушкина еще о нем написано, Виталий Николаевич хорошо помнит, отравил его приятель, этого автора. Пирогов автору сочувствует, поскольку по своей работе хорошо знает, каково таких друзей иметь. Имя дирижера напоминает имя одного знакомого товарища. Дирижер, небось, тоже с Кавказа откуда-нибудь, только вот «фон» при чем?.. Название же произведения Пирогову кажется странным. Кляйне... все ясно. Нахт... Так, понятно. А вот все вместе никак не сочетается. Что значит — маленькая ночная музыка? Как это — маленькая музыка?.. Но пластинка записана на хорошей фирме, значит, стоящая вещь. И Пирогов опускает тон-арм.

На верхнем балконе Игнатьев слушает музыку, и кажется ему, что все дальше летит его балкон, улетает из семнадцатого микрорайона неведомо куда, и вспоминает Игнатьев еще и еще раз тот старый двор в центре, и себя в черных сатиновых трусах, белой тенниске из вискозы, в тапочках со шнурками, обернутыми вокруг щиколоток, и в тюбетейке, вспоминает мать в креп-жоржетовом платье и отца в костюме из трико «ударник», и вспоминает почему-то стихи, которые читал, наверное, тогда же: «По небу полуночи...» А дальше не помнит точно. Дальше почему-то вспоминается засорившийся карбюратор косилки. И Игнатьев снова закуривает погасшую сигарету «Ява» и удивляется, что явская ведь сигарета, а сырая. «Откуда сырость?» — думает Игнатьев, чувствуя, как капли удивительной этой влаги текут по щекам. Желто-зеленые глаза появляются вдруг перед ним во тьме, а может, это просто цветные круги плавают — так бывает, когда плачешь в темноте... Он вытирает щеки и, слушая музыку, доносящуюся снизу, думает: «Ну, я даю...»

Пирогов же поднимает с помощью микролифта тон-арм и снимает пластинку. Скучная оказалась, хоть и фирма.

Будем ли мы удивляться, что, слушая одно, слышат разное наши соседи? Не будем, наверное. Они ведь и думают о разном, и, оказавшись в одних и тех же по случаю краях, видят и запоминают разное. У них только и есть общего — межэтажное перекрытие: как уже было сказано, потолок Пирогова для Игнатьева пол. Вот и все. Все ясно.

Мучающийся бессонницей Пирогов врубает, теперь уже через наушники, кассетник. Хоть побалдеть...

А Игнатьев идет спать.

11

Никто, в том числе и герой повествования, Борис Семенович Игнатьев, и даже сам автор не смог бы дать удовлетворительного и в достаточной степени логического объяснения многим маловероятным событиям из жизни упомянутого героя. Правда, впоследствии, когда само это сочинение благополучно придет к концу и минует еще какое-то время, в течение которого Игнатьев совершит целый ряд неожиданных и опрометчивых поступков, доказывающих в совокупности бесспорную жизненную силу и естественность человеческой сущности Б. С. Игнатьева,— впоследствии одна неглупая женщина выскажет интересное соображение относительно природы чудес, происходящих с ее Борей. Женщина эта, задумчиво наблюдая суету своего пса, тычущегося в каждое дерево на бульваре, скажет следующее (дословно): «Он, то есть Боря... может, он самый добрый человек... ну, предположим, в мире... а что для меня мир?.. те, кого я знаю... он не зависит от внешних событий, и в этом смысле... в общем, с кем же еще и происходить чудесам, как не с ним?..»

И поднося огонь к ее сигарете, автор задумался: может, действительно, в этом все и дело? Вот мы говорим о человеке — добрый, мол, и даже просто чудесный. Чудесный... Чудеса... Может, это уже теперь действительно связано между собой: редкие качества характера и сверхъестественные события, происходящие с тем, кто таким характером обладает?

Может быть.

Во всяком случае, еще об одном таком событии из жизни Игнатьева, видимо, стоит рассказать, прервав ради этого даже основную лирическую линию.

В предпраздничный день прошедшей зимы Игнатьевы всей семьей пошли гулять.

Влажный ветер, возвещавший раннюю оттепель, деликатно остужал измученную тщательным бритьем кожу игнатьевских щек. Жена Тамара шагала ровно и непреклонно, дочь шла хмуро, сам же Игнатьев давал волю мужским наклонностям, то есть: хватанул вовсе не нужного по погоде пива, причем семейство смиренно ожидало на расстоянии прямой видимости, пока он пребывал в специальном загончике; в подробностях рассмотрел несколько иностранных и одну отечественную новую автомобильную марку, положительно оценив дизайн последней и без комментариев пожимая плечами возле первых; некоторое время наблюдал тихий экстаз тех, кто увязывал счастливо добытые елки,— в общем, отдыхал.

Тем временем жена и дочь негромко и непрерывно делились впечатлениями по поводу встречающихся в толпе экстравагантностей, решительно не одобряя неумение некоторых находить соответствие между собственными внешними данными и предложениями моды. Особенно отрицательно отзывались они о модном покрое дамских брюк, уродующем даже и очень хорошую фигуру. Себе таких брюк они согласились не заводить ни под каким видом.

Таким образом, вся фамилия вышла на площадь.

По площади гуляли хозяева и гости города, а также зарубежные друзья, переговаривавшиеся между собой слишком громко — впрочем, все равно довольно неразборчиво.

А на самой середине площади работал среди штативов и стендов с образцами своего искусства фотограф. И в фотографе этом Игнатьев немедленно и с большим удивлением — хотя, казалось бы, чему тут особенно удивляться? — признал своего одноклассника и даже друга детства Сережку Валована. Черт возьми, совершенно не изменился Сережка, хотя здорово облысел, отпустил загнутые книзу усы и стал носить несвойственные ему в те давние, небогатые времена фасонистые вещи — замшевую тужурку и молодежные истертые штаны...

После долгих и искренних приветствий, после того, как познакомил Игнатьев старинного приятеля со своими домочадцами, после того, как тот убрал в кожаный сундучок на длинном ремне все принадлежности профессии, свернув таким образом ранее обычного свой рабочий день, друзья отошли к металлическому барьерчику и закурили. Чтобы не мешать сентиментальным речам, женщины отправились на осмотр близлежащих витрин.

— Ну,— сказал Борька Игнатьев,— а ты как?! Как вообще, Серьга? Семья есть? Жизнь как, а? Пиво пьешь?

Они сильно затягивались, поэтому сигареты быстро догорали, и товарищи немедленно прикуривали новые, умело прикрывая огонь, пока собеседник осторожно тыкался сигаретой в сложенные ладони.

Говорить им было совершенно не о чем, потому что двадцать лет миновали, и дела у каждого шли все так же, как и все эти двадцать лет, что они не виделись. И прикуривая, а затем и затягиваясь, они только качали головами и вздыхали. «Да-а... подумать надо... идем, а он на площади, щелкает себе... ну, и как оно вообще-то? Жизнь?»

— Ты кем пашешь? — спросил фотограф.— Чего, говорю, ваяешь? Ты ведь в сталь и сплавы поступал, правильно я помню? Видал, память?!

— По озеленению я,— сказал рабочий цеха озеленения.— По подрезке деревьев и всякому уходу за зелеными легкими нашего города. Понял? Двести выходит, понял? И полный порядок. А ты, значит, щелкаешь? Исторический-то окончил или так?

— Щелкаю,— ответил фотограф.— Не кончил я исторический.

И друзья замолчали уже надолго, поняв, что обижаться друг на друга за эти вопросы им не стоит. Что ж тут поделаешь...

Тем временем прекрасная часть рода Игнатьевых завершила осмотр и присоединилась к беседующим.

— А вот сейчас я вас всех, Игната моего родню, и запечатлею,— радостно сообразил фотограф и засуетился, распаковывая снова все камеры, штативы и объективы.

— Что ж вы беспокоитесь,— сказала было жена Тамара, но Игнатьев неожиданно для самого себя перебил супругу.

— Правильно решаешь вопрос, Серьга,— сказал он, сам даже удивляясь своим словам, поскольку совсем не собирался фотографироваться минуту назад.— Правильно, щелкни нас на память, чтобы остался сувенир от такой приятной встречи.

Сергей Валован уже все приготовил, взгляд его стал острым и даже неприятным, как у охотника. Этим взглядом он окинул группу, которую представляли собой Игнатьевы, быстро и грубовато переместил их в соответствии с каким-то своим внутренним планом и прижался на мгновение лицом к камере. «Так... левее... подбородок выше и на меня, на меня...» Он бормотал, и щелкал, и снова перемещал объекты съемки, и опять щелкал... Наконец он выпрямился, и Игнатьевы свободно задышали. Через минуту они уже прощались.

И тут только Игнатьев рассмотрел по-настоящему образцы, выставленные на вновь развернутом складном стенде — видно, фотограф решил все же еще немного поработать после ухода друга. Игнатьев рассматривал эти фотографии и удивлялся все больше и больше. Кого только он там не увидел! Здесь был весь их с Сережкой класс, и сосед Игнатьева с нижнего этажа Пирогов, ответственный товарищ, и жена Пирогова Людмила, исключительной привлекательности женщина, и множество других знакомых Игнатьеву людей — например, посетители ряда пивных загонов, постоянные троллейбус-

ные спутники, товарищи по труду в коммунальном хозяйстве и еще, еще, еще — соседи, знакомые, земляки и соотечественники — все, все, все!

И все они улыбались. И не успел Игнатьев и слова сказать, как появилась тут же еще одна фотография — улыбающееся изо всех сил его собственное семейство.

— Чего это все у тебя улыбаются? — спросил Игнатьев старого товарища.— Я, может, не хочу улыбаться. Мне, может, и так хорошо.

Но ничего не отвечал фотограф, укладывая уже невесть каким образом проявленные, отпечатанные и отглянцованные снимки в конвертик из черной бумаги, вручая этот конверт Игнатьеву,— молчал, робко почему-то глядя другу своему в глаза.

А спустя некоторое время, уже возвращаясь в метро с прогулки, достал Игнатьев подарок приятеля, взглянул на улыбающееся лицо жены, на хмуро улыбающуюся дочь, перевел взгляд на них натуральных, дремлющих, и вдруг почувствовал, что не будет ему плохо житься на этом свете, коли есть, живут старые друзья, склонные снабжать улыбками человечество. И он сам улыбнулся ничуть не хуже, чем на неправдивой фотографии.

В то же время фотограф С. Валован, возвращаясь в свою пустоватую квартиру по другой линии, полез в сильно потертый кофр и достал свежую фотографию. Насупленно глядел с нее Игнатьев, сурово и устало смотрела жена Тамара, хмурилась еще более обычного дочь. Он мелко изорвал контрольный отпечаток и сунул клочки в глубину кофра, где уже скопилось немало такой рваной бумаги.

До самой своей конечной станции он мирно спал, и лицо у него было грустное и горькое. За окнами идущего по открытому участку вагона проносились прекрасно подстриженные Игнатьевым, голо-черные сейчас деревья, и в щели дверей влетал уже очень прохладный ветер. Кофр стоял на полу, и на его дне перекатывался рулончик еще не бывшей в работе пленки, на котором рукой мастера было написано: «Для улыбок детских. Чувст. 65 ед.»...

Вот какие случаи время от времени происходили в жизни Игнатьева, подтверждая высказанную выше женскую мысль о чудесах, следующих за добрыми людьми. Может, поэтому в прежние времена, обращаясь с просьбой, так и начинали: «Люди добрые...» Постучат у порога — откройте, мол, люди добрые. Попросят материально помочь — то же самое обращение. Хорошая была манера. Сейчас не принято как-то.

12

Между тем жизнь себе шла, и к Игнатьеву, как положено, приехали родственники жены из Калужской области. Погостить, посмотреть большой город, приобрести кое-что. Без телеграммы приехали, по-родственному.

Приезжали они, правда, не особенно часто, да хоть бы и часто — Игнатьев ничего против не имел. Всякий их визит напоминал ему историю его женитьбы, в которой было много бурных страстей, особенно со стороны родителей Игнатьева, и много решимости с его собственной стороны. Вспоминать все это ему почему-то было приятно, хотя за минувшие с той уже неблизкой поры годы жена Игнатьева Тамара давала ему несколько поводов если не для сожаления о былой принципиальности, то для размышлений. Да и он ей... Впрочем, о прописке жены на жилплощадь родителей, а впоследствии на собственную он и до сих пор не жалел.

Однако сантименты сами по себе, а на работу идти надо. Так что Игнатьев надел любимую кепку в давно ушедшем футбольном стиле

«эй, вратарь, готовься к бою» и отправился на очередные мероприятия по плану подготовки зеленых насаждений к зиме. Жена Тамара также убыла в свой пищеблок детского комбината. Поговорила с родней кратко, но содержательно — и бегом, только духами запахло. Дочь пожала плечами и ушла в свой восьмой класс.

А родственники — тетка Зинаида и племянник Виктор — позавтракали на кухне взятыми в дорогу помидорами и крутым яйцом, купленным на вокзале в составе специального дорожного набора, да и также двинулись по своим приезжим делам. У Виктора имелся маленький план метро, удобно складывающийся в гармошку, тетка же более полагалась на помощь ближних.

Да, едва не забыл вам их официально представить и портреты обрисовать. Зинаида Ивановна с этого года находилась на заслуженном в сельхозартели отдыхе, однако продолжала трудиться в животноводстве. Глаза у нее голубые, лицо коричневое, куртка на ней нейлоновая, финская, зеленого цвета, на ногах байковые тапочки в клетку. Ну, сумки, конечно. А Виктор, будучи допризывного возраста, только что закончил курсы водителей и в ожидании судьбы так просто живет. Волосы у него светлые и длинные, как у звезды эпохи расцвета хард-рока, на руке уже имеется по глупости сделанная надпись «Витя», брюки он носит типа «техас», только цвета очень синего и подбитые внизу «молниями» — так что несведущему наблюдателю может показаться, что под штанами у Вити еще одни, бронзовые.

Вот такие у Тамары Игнатьевой родственники — в общем, симпатичные. А теперь, познакомив читателя с ними подробно, мог бы автор так же подробно описать и день, который они провели, начав его завтраком в игнатьевской квартире. Но делать этого не станет за недостатком места и времени. Потому что иначе пришлось бы описывать и целый ряд чрезвычайно удачных приобретений, сделанных Зинаидой Ивановной, включая и купленный в Даниловском универмаге электрический фен, заказанный соседской дочкой Нинкой. Пришлось бы вспомнить и многих приятных людей, с которыми Зинаида Ивановна познакомилась, совершая покупки, и провела немало приятных минут у прилавков; на лестницах, ведущих с этажа на этаж огромных предприятий торговли; между металлическими барьерами, установленными вежливыми земляками Зинаиды Ивановны, носящими аккуратную форму, и так далее. Пришлось бы также упомянуть о поездке Виктора, целью которой были зеркало и ветровое оргстекло для мотоцикла «Ява», поездке на дальнюю окраину города, не увенчавшейся, к сожалению, успехом. О его пребывании на выставке, где он не пропустил ни одного интересного павильона и даже пива выпил на свежем воздухе — и неплохого, надо сказать, пива...

Но опустим все это. Тем более что сейчас это уже все позади, и гости города отдыхают.

Зинаида Ивановна сидит на скамейке. Скамейка стоит вблизи выбрасывающего кристальную струю фонтана, в отдалении виден большой памятник, а вокруг тетки Зины ходят люди разных цветов кожи. Один из них — вполне, кстати, белый, немолодой и с фотоаппаратами поверх несолидного жакетика — присаживается рядом и заводит с Зинаидой Ивановной разговор. «Комфортабль!» — говорит он радостно, показывая на теткизинины тапки. Она бы и поддержала беседу из вежливости, да сил нет. Зинаида Ивановна придвигает поближе сумки и продолжает отдых.

Виктор тем временем присел на каменную ограду у подземного перехода. Рядом сменяются молодые люди, дожидающиеся здесь своих избранниц, и девушки, беседующие между собой на разные тайные темы. Одна из них Виктору даже понравилась — худенькая, правда, но красивая. Хотел было Виктор с ней познакомиться, и во-

прос для начала выбрал — насчет спортивной обуви, на ней надетой. Такое Виктор и сам бы охотно купил, если бы знал, где. Но постеснялся спросить — может, они в городе про это не говорят?.. А девушка покурила и пошла себе.

...Вечером, проделав немалый путь в метро и на автобусе, гости возвращаются домой, к Игнатьеву. Семья в сборе. На кухне происходит ужин. По поводу приезда родственников Игнатьев выпивает с женой, теткой Зиной и племянником Виктором. Дочка ужинает быстро и идет в комнату смотреть передачу с популярной певицей. Игнатьев тем временем расспрашивает тетку и племянника о впечатлениях. Виктор рассказывает об успехах космической и транспортной техники, Зинаида Ивановна параллельно обсуждает с Тамарой проблемы, касающиеся товаров повышенного спроса.

— А скафандры ихние видел? — спрашивает Игнатьев.

— Видел,— говорит племянник,— сильные скафандры.

— А пиво возле пруда пил? — продолжает интересоваться Игнатьев.

— Пил,— говорит Виктор,— сильное пиво. А в пруду колос стоит. Во! И золотого цвета!

— Да,— соглашается хозяин,— сильный колос.

Жена Тамара уже стелет гостям в маленькой комнате. Игнатьев выходит на балкон покурить.

Вокруг балкона темно, а напротив светятся окна длинного девятиэтажного дома. Дом этот похож на входящий в порт богатый корабль — не хватает только несущейся с палуб романтической музыки, пальм на набережной да белеющих одежд приморской публики. Но Игнатьев никогда не бывал в портах, и это сравнение ему в голову не приходит. Он почему-то вспоминает свой старый дом в центре, зеленый двор, глухие удары — футбол в сумерках, запах скорого ужина, призыв матери из резко распахивающегося окна: «Боря! Борис! Отец пришел...» Эй, вспоминает он, вратарь, готовься к бою... Я тоскую, вспоминает он, по соседству и на расстоянии... Барон, вспоминает Игнатьев, фон дер Пшик... Новый год, вспоминает он, затягиваясь, порядки новые...

— Виктор,—окликает он,—а ты по центру гулял?

— Гулял,— говорит Виктор, выходя на балкон и завистливо косясь на сигарету, при тетке курить он стесняется.— Сильный центр. Проспект там есть — вообще.

— Я там жил раньше,— говорит Игнатьев.— Маленький такой был дом. Представительство там теперь. А у нас вода во дворе была...

Виктор молчит. Ему не верится, что где-то там, рядом с невероятным проспектом, был дом с водой во дворе. Не особенно ему понятно и насчет представительства.

Постепенно все засыпают. Перед самым сном Игнатьеву чудится, что во дворе раздаются глухие удары самодельного мяча и кто-то окликает его по имени. И он не может понять, почему он засыпает со странной досадой на гостей. Хотя одно понимает хорошо — обидно: едут, и едут, и едут, и не знают, что это за город, в котором жил и живет Игнатьев. Город, который Игнатьев любил всю жизнь так, что в конце концов добился взаимности и стал любим — от имени, наверное, и по поручению всего этого дивного города — одной его гражданкой... Но об этом не здесь...

13

Настала, наконец, и ночь — блаженное время отдыха и видений. Сейчас, сейчас, нетерпеливый читатель, много чего произойдет в подсознании действующих лиц, выльется в быстро скользящие призраки снов...

Вот уже закончились телепередачи, и самые испытанные зрители отключили зарябившие голубые и разноцветные экраны. Вот уж и проживающие в квартале представители творческой интеллигенции — люди ночного склада, так называемые совы — устало откинулись от рабочих столов, потянулись и с завистью прислушались к сонному дыханию домочадцев. Вот уже и чей-то противоугон завыл, и хозяин, как обычно, выскочил на улицу лишь через двадцать минут — то ли сон имея самый крепкий в районе, то ли слишком долго надевая тренировочные штаны и пижамную куртку. Вот уж и два, половина третьего... А Игнатьев все бодрствует, все скручивает простыню под своим неспокойным телом в мятую тряпку, все беспокоит супругу Тамару неосторожными движениями — к счастью, без последствий, сильно устает бедная Тамара за день в пищеблоке. Знакомую фотографию улыбающихся близких видит в мутноватой тьме Игнатьев — то есть не в деталях, натурально, а так, прямоугольничком в металлической окантовке, на стене напротив тахты. И милый этот снимок, казалось бы, должен внести покой в его душу, утешить, как обычно бывает, сознанием, что и семья неплохая, и друзья есть старинные и способные ради дружбы на чудеса — но нет! Нет покоя, нет утешения...

Бессонница одолела Игнатьева, и неподалеку ее причина: сквозь пол, через мелкую паркетную доску, пронизывая бетонную плиту перекрытия, бьют невидимые молнии игнатьевских страстей. Ах, Люся-Людмила!.. Эх, взгляд, какой взгляд! Отлично понимает автор муки Игнатьева, и сам бы ночей не спал из-за такого взгляда, кабы не имел соответствующего опыта, причем чисто негативного. А у Игнатьева Бориса Семеновича такого опыта нет. Он как женился в двадцать два с половиной, едва отслужив срочную, на Тамарочке, так и вся его лирика локализовалась. И летят, летят невидимые молнии с десятого на девятый. И уже сам он не понимает, в кого они нацелены: то ли конкретно в соседку душевной внешности, но, увы, замужнего семейного положения, то ли так, вообще... с зеленоватыми глазами...

Но что еще интересней — навстречу игнатьевским взрываются разряды мощности и вовсе невиданной. То есть, если бы их в специальную установку, да пару физиков к ним — вполне бы желания и помыслы Пирогова могли производить плазму, а то и вызывать термоядерную реакцию, которая в естественных условиях идет, как известно, лишь на Солнце.

Не спит, не спит Пирогов, тоже страдает. И ничуть, я вам доложу, не меньше, хотя предмет страданий, на ваш взгляд, наверное, куда менее достойный. Черт-те что — квартира двухэтажная!.. Да сравнишь ли это с чистым чувством?

А вы у Пирогова спросите.

Во всяком случае, по интенсивности его страсть куда как мощнее игнатьевской. В чем мы сейчас и убедимся. Вот уж смежают усталые веки соседи-страстотерпцы, вот уж и забытье, как вдруг!..

Терпел-терпел бетон, держалась-держалась паркетная доска, преграждала, сколько могла, водоэмульсионная краска, да и не выдержали. Неописуемым, неземным светом желаний осветились две квартиры, расположенные одна точно под другой, и страшные, противоречащие здравому смыслу вещи начали в них твориться. Трещит и выламывается у Игнатьевых пол, образуется в нем отверстие, озаренное той самой лампой под цветочно-ситцевым абажуром, а в отверстии уже видна лакированная лестница с резными перилами — вот она, мощь пироговских желаний, одолел-таки! Словно ветром сдувает Игнатьева и ничего не соображающую спросонок Тамару с их постели, да и не их это уже постель, а стильное чиппендейловское ложе, выбранное по каталогу известных Сирса и Робека,— ломит Пи-

рогов, побеждает... Рвутся сквозь позорно сдавшийся пол вожделения могучего Пирогова и немедленно превращаются в белые туалетные столики, плетеные стулья и клетчатые покрывала в сельском голландском стиле — да, не устоять против Пирогова.

Ну, а с другой стороны? А с другой стороны вот что: тоже и Игнатьев не лыком шит. Приподнимается вдруг в воздух Людмила Пирогова — это несмотря на некоторый лишний вес, заметьте! — и парит все ближе к потолку, словно натура для нереалистической живописи, или будто в кадре из какого-то переусложненного фильма, парит и подтягивается все выше, хотя и сопротивляется отчаянно. На кой ей сдался Игнатьев этот с его любовью?! Может, ей и в шалаш прикажете с таким милым? Как бы не так... И рушится она на законное ложе, отчасти собственной волей пересилив Игнатьева. Другое дело глазками посмотреть, это всегда пожалуйста, особенно если бы садовник этот благодаря глазкам покладистей был бы в квартирном, Людмиле столь же, сколь и супругу, небезразличном вопросе. А навеки?! Нет уж...

Рушится на законное место Людмила также и потому еще, что Игнатьев в это время ослаб — совестно стало. Замужем она все-таки, хоть и не нравится Игнатьеву этот Виталий, сони-грюндиг... И Тамарка тоже не чужая, дочке вот пятнадцать... Эх, беда... Ослаб Игнатьев.

А Пирогов все крушит. Дым, серой несет, воет кто-то, тени мелькают — в общем, полный набор псевдолитературного пижонства, всей этой чертовщины, всего этого эпигонского как бы мистицизма. И среди безобразия этого, среди полного торжества темных сил лезут и лезут снизу вверх пироговские шмотки, выстраиваются на отведенных местах и позируют уже для рекламной съемки. Плохо дело.

Правда, и Игнатьев снова на угрызения плюнул — любовь может на все толкнуть — опять плавает в воздухе прекрасная Людмила, а сквозь перекрытие прут тем временем троянские шкафы... Тяжко длится ночь, свет не то луны, не то прожектора с соседней стройки проникает в окна, и в льдистом этом свете клубятся кошмары, мучают бедных героев. Так что появляется у автора соблазн кашлянуть, что ли, либо за плечо потрогать — разбудить, вернуть к реальной, куда более спокойной действительности. Жалко их, не чужие все-таки. Открываются полные сонных ужасов глаза, бессмысленно смотрят секунду в комнатную сизую мглу, и постепенно возвращаются люди в естественные обстоятельства.

— Том... Тома! Ты спишь?

— А?! Что?.. Фу, испугалась, даже сердце зашлось... Ну, чего ты? Спи, что ты не угомонишься никак...

— Ладно, сплю.

— Людка, а Люд... Не спишь?

— Сплю. Мне снится, что я летаю.

— А мне снится, что... Ну, да это чепуха. Надо им обмен предложить. Как ты думаешь, Люд?

— Я не думаю. Я сплю. Я летаю во сне...

Все. Спят. И мы довольны. Женщины должны летать во сне — от этого улучшается цвет лица. Пирогов хотя бы во сне должен натыкаться на стены — иначе он окончательно поверит, что нет ему преград. Пусть спят — утром все пойдет естественным путем.

14

Сияет над кварталом оптимистически голубое небо раннего нерабочего утра. Доброжелательно освещена дощатая хоккейная коробочка, украшенная как бы рекламными надписями, и внутри коробочки, по-летнему пыльной, сутуло бродит бело-рыжий кот... Сияние льется

также и на детскую площадку, застроенную типовыми избушками на курьих ножках, деревянными крокодилами и частоколами для культурных игр детского населения; и на ряд автомобилей личного пользования, робко выстроившихся в неприметном углу, причем особенно веселые блики сверкают на давно забытом судьбою и небрежным хозяином, вросшем спущенными шинами в землю «запорожце»; и на Игнатьева, вышедшего в неясном состоянии духа покурить на свежем воздухе.

Оккупируемая в более позднее время старушками скамейка сейчас полностью в распоряжении курильщика. Уже через какой-нибудь час здесь будут выноситься бескомпромиссные суждения об образе жизни и моральном облике проходящих мимо по субботним делам жителей, а пока Игнатьев использует скамейку для мирного занятия — подставляет лицо солнцу, выпуская навстречу ласковой радиации вредный никотиновый дым. Ничего не поделаешь — дурная привычка...

Смутные и неопределенные мысли Борис Семеныча крутятся, конечно, вокруг странных сновидений. Неловко ему и перед женой Тамарой, и перед соседями, и перед гостящей родней, и перед самим собой, главное, поскольку больше-то никому, понятно, сны его не известны. Неловко — что он, мальчишка какой-нибудь, чтобы во сне такую несолидную ерунду видеть? Летающая пироговская Людмила снова появляется перед его мысленным взором, и он даже встряхивает головой — тьфу, безобразие! И затягивается еще старательней обычного.

С другой стороны — ему даже приятно вспоминать дурной свой сон. Что-то такое с ним делается в последнее время, что-то его поднимает в выходной день ни свет, ни заря, гонит из дому, заставляет быстрее обычного расходовать пачку привычной «Явы» — что-то, к его собственному удивлению, столь же и тревожное, сколь и сладостное — во как! И сны отсюда, и неожиданная резкость — правда, немедленно получившая достойный отпор — по отношению к жене Тамаре, и странное чувство в верхней части тела, слева, хотя никаких болезней, кроме обязательного радикулита, у Игнатьева не имеется...

С третьей же, если так можно выразиться, стороны, совсем даже и не в соседке дело — вот что интересно! То есть, нравится ему соседка, чего мозги пудрить, и очень даже нравится, но... Как бы это сказать... Не совсем она...

И поскольку лично Борис Семеныч собственными силами не может сформулировать свое ощущение, как ни сдвигает морщины на, увы, немолодом уже лбу, придется ему помочь. Не может же автор его бросить в таком состоянии на произвол сюжета! Так вот: если бы речь шла о нежном юноше, склонном к чтению современных поэтов и размышлениям о своем значении для судеб человечества, мы могли бы сразу точно сказать: он томится в предчувствии любви. Любви, уже живущей в нем, но не получившей пока конкретного воплощения в доступном его взгляду внешнем мире.

Но ведь речь идет об Игнатьеве Борисе Семеновиче, чья жизнь подвигается к сорока, чья любовь к поэзии полностью исчерпывается наиболее популярными произведениями Сергея Есенина, а собственное значение для общества несомненно, поскольку проявляется в полезной работе по озеленению родного города. И, рассуждая о таком человеке, мы должны бы поостеречься с романтическими объяснениями. Тем не менее истина именно тут — Игнатьев вдруг, к сороковке, по неизвестным, но, вероятно, вполне закономерным причинам весь наполнился любовью! И она стала искать выход и, не найдя пока подходящего объекта, стала дергать и корежить своего носителя, как дергает и крутит вода толстый поливальный шланг, придавлен-

ный ногой невнимательного прохожего. И бросает бедного Игнатьева то к соседке, под внешним обаянием которой скрывается, на взгляд автора, не совсем достойная сильного чувства натура, то...

Впрочем, вот и она — легка на помине. Выходит из подъезда, вся в чем-то удивительном, сплошном и в то же время открытом, то есть ажурном, но глухом... А, черт, запутался автор в галантерейных описаниях, да ладно, в общем,— издали — точно, как игнатьевская дочка, хотя сама, между прочим, Борис Семеныч почти ровесница, послевоенного года. Выходит из подъезда, вежливо здоровается, улыбается милому соседу и — м-да, вот оно как поворачивается! — вступает в разговор.

Вот так. Бывают в жизни совпадения, совершенно недостоверные в искусстве — хорошо, что здесь мы жизнь описываем, а то никто не поверил бы.

Значит, сидит Игнатьев рядом со своим виденьем — он эпитет «мимолетное» не помнит, да здесь и ни к чему, а то обязательно пришлось бы написать — и слушает приятный голос. А поскольку голос действительно от природы приятен, да еще и наполнен специальным отношением, и поскольку Игнатьев от всего происходящего несколько забалдел, то слышит он не все слова, а только отдельные фразы, даже неоконченные — будто звук в телевизоре пропадает.

— ...полностью всю сумму внесем, а теперь двухкомнатные кооперативы, знаете, с какими кухнями — чудо!.. и даже удобней... муж не знает, он был бы обязательно против... знаете, соседи, то-се... а вы мне потом позвоните, встретимся как-нибудь, обсудим все... мороженого где-нибудь поедим, ладно?.. угостите соседку мороженым?..

Ни черта не понимает Игнатьев! Слышит только, что вроде уговаривают его съехать с квартиры, которую каким-то неведомым образом собираются превратить в спальни, что ли... Какие еще спальни, ничего не поймешь! А он, значит, чтобы вступал в кооператив на чужие, вот сейчас обещанные ему деньги, и за это будет ему разрешено угостить соседку мороженым. Мороженого вдвоем поедим, вот как. Ну, дела. Ничего не понимает Игнатьев, затягивается покрепче и думает. И молчит.

А приятный голос становится еще приятнее, и с ужасом уже слышит Игнатьев вовсе какую-то несуразицу — откуда она-то знать может?!

— ...а тут сны всякие мучают, правильно?.. конечно, вы же еще совсем молодой мужчина, разве уснете, когда под вами, можно сказать... ой, извините, что это я говорю!.. между прочим, я тоже плохо спала, всю ночь летать — разве уснешь... вы понимаете?..

Нет, ничего он не понимает. А знает только одно — если уж и сны его известны дьявольской красавице, то не миновать ему съезжать с квартиры. Бросать жилплощадь, полученную в порядке очередности от треста озеленения, ехать в какой-то неведомый кооператив, и все только потому, что горят и мерцают желтым пламенем глаза, в которые когда-то, на свое несчастье, он по-соседски заглянул. И никак не определит Игнатьев, почему, но неуютно и даже страшно становится ему на скамейке рядом с предметом еще недавних его мечтаний, жарко становится под нежным утренним солнышком и душит, будто ядовитый выхлоп газонокосилки, любимая сигарета. И вдруг чудится, что это она, красавица, держит его за горло ловкими своими руками с красивыми ногтями и кольцами.

Бедный Игнатьев! Ничего он не придумал лучше, чем ответить даме следующим образом:

— По мороженому-то я ...о... не очень... не уважаю... но если что... заходи в получку с Виталиком своим, пойдем в кафе... по-соседски... сухаря можно взять, ага?

Опустим же окончание этой ужасной сцены — недоумение героя, бешеную бледность пораженной в своих надеждах женщины. Не будет у Пироговых двухэтажной квартиры — и ладно. Не созрел, значит, еще материальный уровень, нечего к нему и пробиваться через чужой пол, правильно?

Тут интереснее и симпатичней события назревают.

Удивленный и расстроенный странной беседой, отбывает Игнатьев по домашним закупочным делам. Едет в центр, мостится, теснясь коленями, на высоком троллейбусном сиденье, поглядывает в окно, размышляет. «Вот тебе и на... ну, дают люди... да разве ж можно... эх, народ... ковры хорошо, а на кой они, ковры-то, если так... это самое... ну, дают люди угля — мелкого, но много...» Вот такие мысли. И если их читать внимательно, можно обнаружить определенное отношение ко всему случившемуся — и к разговору с соседкой, и к истинному смыслу ее действий, полностью дошедшему до Игнатьева к этому времени, и даже в целом к некоторым негативным явлениям жизни, проявившимся в инциденте. Но это все, конечно, если внимательно читать.

Сам же Борис Семеныч тем временем приезжает в центр и отправляется в заданный женою гастрономический магазин за некоторыми бывающими именно в этом магазине припасами.

Прелестный стоит день, и, поглощенный его прелестью, не сразу замечает Игнатьев, что путь его каким-то необъяснимым образом лежит через тот самый бульвар, где проводит он все свои рабочие дни — тот самый бульвар, где когда-то, давным-давно, гулял он в группе незабвенной Эльзы Гавриловны, высматривая, не идет ли уже за ним мать в пыльнике и берете, или отец, по летнему времени без пиджака, в мелкополосатой рубашке с высоко подтянутыми с помощью резинок рукавами... Тот самый бульвар, где ежедневно чинит он проклятую косилку, холит родную зелень — где проходит день за днем его обычная, совсем даже неплохая, но какая-то вдруг задрожавшая изнутри жизнь.

Игнатьев думает, что это ж надо — и в выходной бульвара не минуешь, во бульвар! Навстречу ему идут нарядные отдыхающие москвичи и гости столицы, и он, глядя на их странные одежды, думает, что, наверное, скоро будут на всем иностранными буквами писать еще больше, чем сейчас. К примеру, на правом рукаве — «Правый рукав», на левом — «Левый», на штанах — «Штаны». Не по-нашему, конечно. А может, и уже пишут? Игнатьев точно не знает, потому что языками не владеет, и надписи на карманах, спинах, плечах и прочем точно перевести не может. Однако ничего особенно против не имеет. «Чего ж, пусть... мода... ничего, пусть...»,— думает он.

Затем он видит одновременно два предмета. Первый представляет собой деревянное, вкопанное в газон сообщение о том, что выгул собак запрещен на основании того-то от такого-то. Второй предмет прислонен к первому и является сильно выпившим человеком, в котором трудно различить другие детали, кроме недопитой бутылки вина портвейн в кармане неаккуратных брюк. Игнатьев сам некогда принимал участие во вкапывании деревянного запрета, но теперь ему приходит в голову, что относительно собак допущена некоторая несправедливость.

«Может, этот-то хуже... вот стоит, и ничего... а собаки что ж, ну и гуляли бы... и ничего... а то нальют глаза и прислоняются...»,— думает Игнатьев.

Все дальше и дальше идет он по короткому бульвару, которому сегодня почему-то нету конца. А навстречу ему уже выходит с противоположной стороны, от памятника, нарушительница собачьего запрета. Рвется к каждому дереву, обкручивая вокруг хозяйки пово-

док, полуспаниель. Солнце пробирается сквозь светлые легкие волосы женщины с собакой, поблескивая на металлической штучке — не выбросила пока все-таки!.. И вот они уже узнают друг друга, и вспоминают случайный и неудачный контакт, и продолжают сближаться, и... Вот и в таком виде может явиться судьба.

Автор предлагает читателю их оставить в этот очень важный момент жизни. Автор не станет рассказывать, как знакомился Игнатьев со своей, наконец воплотившейся в конкретного товарища любовью. Как молча курил, морщил лоб, сердился на себя и думал: «Вот тебе и пожалуйста... ну, я даю!.. нехорошо, а что тут делать, когда вообще?..» Не станет он рассказывать и как долго смеялась над собой женщина с собакой, как швыряла в мусоропровод железную штучку и еще некоторые вещи, как снова смеялась над собой и плакала, представляя, что могут посмеяться другие. Не будет и ручаться, что в конце концов все совершенно уладится. Да вряд ли, действительно, может в этой ситуации все уладиться. Что было — то было, а как было — это в самом начале описано. Хорошо было, чего душой кривить! А за хорошее платить надо, этого только дети не знают. И заплатит Игнатьев, и подруга его заплатит тоже... Но хоть будет за что!

А пока автор решил скомкать промежуток между концом и началом этой истории. Скажем только так: они встретились, узнали друг друга и, после многих смешных и грустных происшествий, познакомились близко. Они полюбили друг друга, и, как всякая любовь, их принесла столько же счастья, сколько и горя, доказав всем персонажам сюжета, что они абсолютно живые люди. Игнатьеву и женщине его мечты было хорошо вместе, а полуспаниель нюхал прокуренные пальцы Игнатьева и смешно дергал несуразно мощным носом... Но однажды Борис Семеныч услышал, как на кухне подруга его любимой сказала: «А твой садовник — ничего, милый...» А потом она как-то нечаянно услыхала, как у Игнатьева допытывались друзья-озеленители: «Слышь, а она очки снимает или так просто?» Месяц они не виделись, потом она опять пришла на бульвар...

И много еще всего было, и плакала Тамара в пищеблоке, и Пироговы собирались надолго в отъезд по важным и ответственным делам, опасаясь предстоящего им жаркого климата, и лил дождь, падал снег, и опять светило солнце, и миллионы земляков Игнатьева шли мимо него по бульвару, и во многих головах бродили фантазии большого города, и в фантазиях этих происходили вновь и вновь счастливые нечаянные встречи, как называл любовь один изумительный писатель...

Нет, все-таки не будем писать о любви — что о ней можно написать, ведь действительно все уже было написано когда-то — и о женщине с собакой, и о встрече...

В общем, Игнатьев еще продолжает идти по бульвару, а навстречу ему движется женщина со смешным псом на запутанном поводке. Автор, увы, даже имени для нее не успел придумать.

Вот они уже встречаются глазами и начинают узнавать друг друга.

Бахыт Кенжеев

НОВЫЕ СТИХИ

●

А. В.

Век обозленного вздоха,
провинциальных затей.
Вот и уходит эпоха
тайной свободы твоей.
Вытрем солдатскую плошку,
в нечет сыграем и чет,
серую гладя обложку
книги за собственный счет.

Помнишь, как в двориках русских
мальчики, дети химер,
скверный портвейн без закуски
пили за музыку сфер?
Перегорела обида.
Лопнул натянутый трос.
Скверик у здания МИДа
пыльной полынью зарос.

В полупосмертную славу
жизнь превращается, как
едкие слезы Исава
в соль на отцовских руках.
И устающее ухо
слушает ночь напролет
дрожь уходящего духа,
цепь музыкальных длиннот...

●

Безымянное небо. Зеленка, и йод,
и кармин. Запыленные липы
поредевшим кружком. И пластинка поет
допотопное, то, что могли бы

мы услышать с бобины чудовищного
агрегата и выпасть в осадок,
приговаривая «волшебство, волшебство»,
на окраине шестидесятых,

в проржавевшей провинции мира, вдали
от вечерней фреоновой воли
метрополии, с привкусом черной земли,
и картошки, и дворницкой соли

на губах. Никого у подъезда. Кривой
тополек, перепаханный дворик.
До одышки шатаясь крикливой Москвой,
не ищи, торопливый историк,

прошлогоднего снега, когда поделом
надвигается осень немая,
и бурлишь, и витийствуешь задним числом,
все предчувствуя и принимая...

●

— Эй, каменщик в фартуке! Что ты
возводишь?
— Вали-ка, дурак,
я занят секретной работой,
серьезною, бесповоротной,
не для любопытных зевак.

Но с прежней писательской страстью
канючит властитель сердец.
Он ищет вселенского счастья,
гуманный, взыскательный мастер,
общественных нравов боец.

Не лучше ль ему удавиться,
когда, взбеленившись, плебей
вонзает вязальную спицу
в глаза очевидцу, провидцу —
и если прикажут «убей» —

убьет. И солжет, не скрывая
бесстыжего взгляда. Но бард
настаивает, прозревая,
что жертвенность есть роковая
в раскладе божественных карт.

И вот — замирает у гроба
российской словесности. Ах,
ужель эта злая особа —
былая красотка, зазноба
в легчайших атласных туфлях?

А каменщик в кепке неброской,
творец государственных мест,
смывает с ладоней известку,
и, выпоров сына-подростка,
говядину жесткую ест.

●

Киноархив мой, открывшийся в кои-то
веки, — трещи, не стихай.
Я ль не поклонник того целлулоида,
ломкого, словно сухарь,
Я ли под утро от Внукова к Соколу
в бледной, сухой синеве...

Я ль не любитель кино одинокого,
как повелось на Москве —
документального, сладкого, пьяного, —
но не велит Гераклит
старую ленту прокручивать заново —
грустно, и сердце болит.

Высохла, выцвела пленка горючая,
как и положено ей.
Память продрогшая больше не мучает
блудных своих сыновей.
Меркнут далекие дворики-скверики,
давнюю ласку и мат
глушат огромные реки Америки,
темной водою шумят.
И, как считалку, с последним усилием
бывший отличник твердит —
этот в Австралию, эта — в Бразилию,
эта — и вовсе в Аид.
Вызубрив с честью урок географии,
курс перелетных хлопот,
чем же наставнику мы не потрафили?
Или учебник не тот?

●

Хорошо на открытии ВСХВ
духовое веселье.
Дирижабли висят в ледяной синеве
и кружат карусели.

Осыпает салютом и ливнем наград
пастуха и свинарку.
Голубые глаза государства горят
беспокойно и ярко.

Дай-ка водочки выпьем — была не была!
А потом лимонаду.
На комбриге нарядная форма бела,
все готово к параду.

И какой натюрморт — угловой гастроном,
в позолоченной раме!
Замирай, зачарованный крымским вином,
семгой, сельдью, сырами.

И божественным запахом пряной травы —
и топориком в темя —
чтобы выгрызло мозг из твоей головы
комсомольское племя.

●

Жизнь, говоришь, утекает? Смешон, независим
нищий у автовокзала, стреляющий на
суп общепитовский, курево, марки для писем
без вести сгинувшим. Из-под рубахи видна

грудь волосатая. Всякому он доброхоту
вязко твердит о своих злоключениях в том
северном крае, где сердце впрягают в работу
и осеняют бродягу казенным крестом.

Ах, никаких-то героев у повести лживой,
кроме любви да десятка растерянных лет.
С горсточкой мелочи потной в ручище ленивой
жить-поживать, оставляя улиточий след...

Газ выхлопной, беспризорная кошка в ограде
церкви, червивая груша, бутылочный звон
о холодеющий камень. По осени наш тунеядец
зол, беспокоен — знать, скоро отправится он

самым дешевым автобусом к южным широтам.
Разговори его. Нет, не капустой — тоской
смертною пахнет сентябрь,— уверяет,— чего там,
пусть утекает — но лучше водою морской.

Е. А. Керсновская

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Сутки во Флорештах. Разделение невольничьих семей. Роды в вагоне. Кому нужна эта жестокость?

На этот раз мне не пришлось вновь подымать уроненные ножницы, и в тот момент, когда я перелезла через борт грузовика, судьба моя была решена.

В машине нас было несколько человек, но я запомнила лишь трех: мальчика лет девяти — Недзведский из деревни Воловица; его родителей — мелких «помещиков» (в кавычках, так как от помещиков-предков у них оставался полуразвалившийся домишко и десятин 5—6 земли... на семью из пяти или шести человек) забрали ночью, а сын гостил у бабушки в деревне Боксаны, верстах в пятнадцати от Сорок. Теперь его, маленького и беспомощного, без шапки и пальто, чужие люди везли неизвестно куда, и перепуганный ребенок посинел от слез; было больно смотреть на него, но и другие две девочки производили не менее жалкое впечатление: они были в белых бальных платьицах и белых же туфельках на высоких каблучках. Это были сестры, окончившие среднюю школу; сегодня у них был «белый бал» — первый бал в их жизни, к которому они так готовились, и в первый раз в жизни надели высокие каблучки и сделали прическу. Они жались друг к другу и цеплялись вдвоем за... патефон и десяток пластинок — все их имущество. Взяли их прямо со школьного бала. Где родители — они не знали. Они не плакали, а только дрожали мелкой дрожью, хотя день был жаркий.

Машина тронулась. Я перекрестилась. Это получилось как-то автоматически.

Быстро убегала назад дорога. Я не глядела назад: меня некому было провожать. Я жадно смотрела на Днестр, на деревья, на меловую гору, ярко освещенную солнцем. Вот машина взобралась на гору и вырвалась напрямую, в сторону Стрелецкого леса. Теперь я смотрела туда, на запад, где за дубовым Шиманским лесом появятся наши любимые дубы-гиганты.

Вот и они!

Прощайте, родные! Прощай, маяк моей молодости! С самого детства, откуда бы я ни возвращалась, эти два дуба, слившиеся на расстоянии в шар — плотный летом и кружевной зимой, — всегда наполняли мое сердце теплом родного дома, теплом родительской любви. Теперь у их подножия — лишь папина могила, которой я поклонилась в последний раз в пасхальную ночь. Тогда было сыро; пахло прошлогодним листом и молодой травкой. Теперь сухой ветер бьет в лицо, и кажется, что дубы, затянутые дымкой, дрожат. В последний раз я их увидела, когда машина с ревом ползла в гору. Затем они скрылись из вида. Прощай, Цепилово! Все мое прошлое — прощай!

Теперь я уже не помню, как попала в вагон. Помню толпу, солдат, крики, пинки, давку и вагон, битком набитый растерянными и растерзанными людьми. И помню тихий солнечный закат. Такой мирный, привычный, что просто не верилось, что может «равнодушная природа кра-

---

Продолжение. Начало см. «Знамя» № 3 за 1990 год.

сою вечною сиять», когда вповалку лежат, цепляясь за какой-то скарб, женщины, мужчины, дети в «телячьем вагоне», где в стене прорезано отверстие с вделанной в него деревянной трубкой, которая и станет нашей первой пыткой — хуже голода и жажды, так как мучительно стыдно будет пользоваться такого рода «нужником» на глазах у всех.

Пытка стыдом — первая пытка. А сколько их еще впереди!

Человек умеет быть изобретательным, когда надо издеваться над себе подобными!

Еще сутки простояли мы на запасном пути на нашей станции Флорешты.

Все так же шуршали камыши на Реуте, протекавшем у самой железнодорожной насыпи, все так же поблескивала вода; те же родные белые мазанки в беспорядке разбросаны на противоположном берегу, повернувшись фасадом на восток; так же знакомы невысокие заборы с закругленными углами, сложенные из камня-плитняка; те же сливы и вишни, реже — яблони, айва, абрикосы; все те же колодцы с журавлями стоят группами по два-три в низине... И все это уже как будто чужое...

Утром — комиссия, составившая список и сверившая наличный состав со списочным. Затем — другая комиссия, отобравшая по списку почти всех мужчин.

Чем они руководствовались? По каким признакам разбивали семьи, разлучали матерей с сыновьями, жен — с мужьями, я и по сей день не пойму... Часть мужчин — и притом вполне трудоспособных — были оставлены со своими семьями; с другой стороны, забирали и довольно ветхих стариков, и — что уже совсем непонятно — забрали из нашего вагона женщину, бывшую помещицу из уезда, кажется, Хотинского, оставив в вагоне трех ее детей: двух девочек, из которых старшей, Марусе, еще не было 15 лет, и младшего мальчика Леню, с тяжелой формой эпилепсии. Каждое утро с ним случался припадок, во время которого он с пеной у рта и закатившимися глазами извивался и бился обо что попало, прикусывая язык, марался и мочился, а затем несколько часов лежал как труп.

Бедные дети! Даже птенца, выпавшего из гнезда, жалко. Но эти люди не имели сердца.

Мысленно я возвращаюсь к первым часам моей «неволи» — к тем предвечерним часам в «телячьем вагоне».

Должна же была я при всем моем оптимизме почуять что-то недоброе? Ссылка... Это слово пробуждало много воспоминаний о прочитанном: Радищев, декабристы, Шамиль... Наконец, ссыльно-каторжные. Какое-либо преступление, мятеж... И вот виновных — обычно после тюрьмы — отправляют куда-то в чужие края...

В голове путались обрывки песен: «отцовский дом покинул я — травой он зарастет...» Нет, это не подходит! Ведь там говорится: «...малютки спросят про отца... Расплачется жена...» Дети... Жена... Они не совершали преступления. Они остались дома. А здесь? «Не за пьянство и буянство и не за ночной разбой стороны родной лишился я — за крестьянский мир честной». Нет, и это не подходит. Зачем было брать тех двух девочек в бальных платьях с патефоном? Или малыша Недзведского, гостившего у бабушки?

Что же это за ссылка?!

Вот это, наверное, подходит — картина Ярошенко «Всюду жизнь»: зарешеченное окно «столыпинского» вагона; маленький, белоголовый мальчишка бросает крошки голубям; рядом с ним — старик, грустно смотрящий на голубей, на внука... на небо. Это крестьяне, которых, как рассаду, вырвали отсюда, чтобы пересадить туда. Из земли — в землю. Со всем их крестьянским скарбом — с коровенкой, пугалом, конягой.

Я убеждаю себя, что это похоже, но... в мыслях встают вереницы самых разнообразных людей: Зейлик Мальчик — владелец кондитерского ларечка, захвативший впопыхах детский ночной горшочек, та старуха из Водян, успевшая взять лишь цветок герани и зажженную лампу, старик еврей, истекающий кровью от геморроя, беременная женщина с дюжиной полураздетых детей и... без единой рубахи для смены и много других самых разнообразных людей — мелких служащих, лавочников, гулящих

девок, учителей, которых роднило лишь одно: все они не понимали, что с ними происходит, и плакали с перепугу и от отчаяния.

Особенно когда взор падал на сбитую из досок и врезанную в стену вагона трубу, в которую мы, мужчины и женщины, в большинстве знакомые, должны будем на глазах друг у друга отправлять естественные надобности...

Это было необъяснимо, непонятно и, как все непонятное, пугало...

Дверь телячьего вагона была открыта, и я смотрела на такую мирную, привычную картину, что разум отказывался понимать, что все это — белые мазанки деревни Варваровки с садами и огородами, окруженными оградами, сложенными из камня-плитняка, колодцы с журавлями и деревенское стадо — «череда», затянутое облаком пыли, возвращающееся с поля под лопотанье самодельных колоколец-таганок, и даже само солнце, низко стоящее над горой по ту сторону Реута, — все это уже не мое, чужое; что скоро все это скроется и, быть может, навсегда.

И старый, как мир, инстинкт — тот инстинкт, который заставляет зверя, попавшего в ловушку, искать выход: «Беги!» И в самом деле: почему бы мне не бежать?

Охрана не очень строга... пока что. Несколько часовых ходят вдоль длиннейшего эшелона, но надежнее часовых удерживает людей страх. Во-первых, страх за близких. Ведь людей забирали целыми семьями, и побег одного члена семьи повлечет за собой репрессии против остальных, тех близких, которые пока что уцелели. Затем — страх сам по себе... Страх людей, лишенных инициативы, боящихся, как бы не было хуже...

Вспоминается мне анекдот: двух интеллигентов ведут на расстрел (дело было в первые годы «Великой Бескровной»). Один говорит: «Давай, бежим!», а другой: «...а хуже не будет?»

Я могла бы бежать. Несколько прыжков — и я в камышах поймы речки Реута. Собак не видать, а если они и есть, то в воде потеряют след. Скоро стемнеет. Ночь безлунная. К рассвету я буду в Оргеевских лесах — знаменитых «кодрах», где человека найти трудней, чем иголку в стоге сена. Кто из-за меня может пострадать? «Друзья» от меня отвернулись, и я могла их не считать друзьями; Ира, слава Богу, далеко. Тетя Катя? Она к этому времени, полуживая и почти слепая, ютилась где-то в лачуге в другом конце города, и вряд ли кто-нибудь сочтет ее в ответе... Старушка Эмма Яковлевна? Однако проживающий у нее лейтенант удостоверит, что я и жила там, где работала, — у чужих людей. Нет, за меня никто отвечать не будет.

Так что же помешало мне бежать? Неужели и впрямь интеллигентское рассуждение: «как бы не было хуже?»

Нет! В безумии своем я считала, что хуже быть не может и, следовательно, будет лучше!..

Что это — глупость?.. надежда?.. Та надежда, которая, если верить Шиллеру, вводит нас в жизнь и сопровождает по жизни, и на могиле символ надежды — крест. Да, человек верит, что рожден для лучшей доли, и когда становится уж очень тяжело, то эта самая надежда говорит: «Мы родились для лучшей доли», исходя исключительно из того соображения, что хуже быть не может!

О, доверчивость — родная сестра глупости! Пора бы усвоить, что понятие «хуже» — это тот алгебраический «N», к которому всегда можно прибавить единицу!

Семья — основа государства. Дети — наше богатство. Слову надо верить. Европа — Азия

Светает. Утро 14 июня.

Что-то происходит. Стучат отодвигаемые и вновь задвигаемые двери. Голоса. Плач. Причитание, вопли.

В чем дело? Сейчас мы все это узнаем: наша дверь — дверь последнего вагона эшелона (за нами служебный) — открывается.

Начинается перекличка по списку.

Всех назвали, все откликнулись, но... конвоиры не уходят и начинают вторую перекличку, на сей раз не по алфавиту, а вразброс.

Когда из задней половины вагона на переднюю перешли человек 10—12 (из них одна женщина), им велели выйти из вагона и за ними захлопнули дверь.

И у нас заголосили женщины, заплакали дети. Теперь плакал весь поезд. Когда конвоиры вновь обошли состав, разрешив оставшимся дать кое-какие вещи для тех, кого увели, плач еще усилился.

И в третий раз прошли конвоиры по эшелону, о чем-то спрашивая. Что там еще? Оказывается, вызывают знающего и русский, и молдавский языки. Никто не отзывается: страх заставляет всего бояться, и люди ведут себя «как мышь под метлой». Мне бояться нечего: разлучать меня не с кем. Я отзываюсь.

— Я знаю эти языки. В чем дело?

Меня опять выводят, и один военный объясняет мне:

— Вот в чем: пойдите по вагонам и объявите: везем вас в такие места, где ничего еще не приготовлено; вас повезем не спеша, а вот ваших мужей отправили ускоренными темпами, так что они успеют к вашему прибытию все приготовить, построить и там сами вас встретят.

Легко поверить, когда хочется верить, и легче всего обмануть тех, кто хочет быть обманутым. Так я сама поверила и других обманула.

Кто бы смог догадаться, что эта ложь была... о! не для того, чтобы женщины не плакали — сколько раз я слышала поговорку (и убедилась в ее справедливости), что Москва слезам не верит. А просто — так легче: кто же будет пытаться сбежать в пути, если таким образом потеряет поехавшего вперед и ожидающего тебя там? А если попытается сбежать тот, у кого нет никого, то остальные воспрепятствуют, чтобы в силу круговой поруки самим не пострадать.

Однако, вернувшись в свой вагон, я призадумалась. Да, право, так ли это? Ведь отделили и забрали не всех мужчин? И далеко не самых трудоспособных. Почему забрали полуживого старика, бывшего лавочника, а его сына, мужчину лет 30-ти, оставили? Почему забрали Леню Слоновского, лысого и с язвой желудка, а его брата Миньку, студента, здоровового, как говорится, кровь с молоком, оставили? Почему забрали старого священника и инвалида-трактирщика на протезе, а двух здоровых, как быки, коммерсантов — Мейера и Даниила Барзаков — оставили? Пожилого учителя Мунтяна с больным сердцем забрали, а его пасынка Лотаря Гершельмана, студента-строителя, оставили? И более всего меня смущало, отчего забрали женщину — бывшую помещицу, оставив трех беспомощных детей, которых теперь везут неизвестно куда? Двух девочек-подростков 13 и 15 лет и, что хуже всего, мальчика 11 лет, у которого ежедневно сильнейшие эпилептические припадки?

Нет, что-то здесь не так!

Но я все еще была далека от мысли, что мне долгие годы придется натыкаться на это «не так» во всех, самых неожиданных аспектах. И даже теперь, когда я, старая и больная, растеряла все свои яркие перышки идеализма и доверчивости... иногда с кусками живого мяса и испытала все виды несправедливости и разочарования, мне все еще кажется, что есть еще что-то, что окажется «не так», и найдет еще место побольней, чтобы лягнуть посильней.

15 июня после тщательной проверки нас опять пересчитали и... Поезд дернулся. Мы не привыкли к товарным вагонам и попадали кто куда. Тронулись.

В Резине, куда мы прибыли поздно вечером, был восстановлен кое-как мост, взорванный еще в 1918 году.

Поезд шел тихо-тихо. Мост скрипел и вздрагивал: от свай расходились концентрические круги.

Во всех вагонах слышался плач и причитания: женщины голосили, как по покойнику. Да и неудивительно: они прощались с родной бессарабской землей.

Последние отблески света гасли, наступала ночь.

Было нас в этом вагоне набито человек около сорока, но не всех я запомнила:

1. Барзак Мейер — владелец лучшего обувного магазина. Ехал он с болезненной, рыхлой «балабустой», со старухой матерью, сыном — подростком Левой и дочкой Беллой лет 9-ти.

2. Его брат, Даниил Барзак, с женой-красавицей и сыном, балованным мальчишкой лет 6-ти. В Сороках у него была распивочная.

3. Цую — чиновник, обжора и весельчак, с очень симпатичной женой и двумя девочками 8 и 12 лет.

4. Иванченко со своей любовницей Крыштанюк — типичной содержанкой и интриганкой. Он в прошлом совладелец большой мельницы, но опустившийся и потерявший всякий человеческий облик.

5. Анна Михайловна Мунтян — учительница кулинарии в профессиональной школе и ее сын, Лотарь Гершельман, студент. Это были симпатичные, культурные люди.

6. Кузина Лотаря, ехавшая с матерью, очень хорошенькая и кокетливая ученица старшего класса. В дороге она сильно болела, т. к. никак не могла... испражняться на глазах у всех, особенно Лотаря, которому она нравилась и который за ней ухаживал еще в Сороках.

7. Зейлик Мальчик, кондитер.

8. Еврейская чета с черноглазым шустрым мальчишкой, который интересовался, есть ли надежда встретить в тайге (или, как он произносил «тáйге») тигра?

9. Попадья Елена Греку, сдобная булка (попа забрали).

10. Старая ворчливая баба — молдаванка с сыном-трактирщиком (ее мужа забрали).

11. Молдаванка с двумя сыновьями и дочерью — та, что взяла с собой герань и лампу (мужа забрали).

12. Слоновская — учительница-пенсионерка с сыном-студентом Минькой (старшего сына, Леню, забрали).

13. Красавица, вышедшая за старого богатого лавочника (которого забрали). Она не могла себе простить этого шага: надеялась пережить старика и получить наследство, а тут... все потеряла и с сыном 5 лет попала в ссылку.

14. Две молодые проститутки из Сорок. Профессионалки, но умеющие держаться прилично. Сестры.

15. Одна проститутка из Бельц — очень бесстыдная. Скоро она перебралась в служебный вагон... «уборщицей».

16. Юноша-молдаванин, которого все время трепала малярия, и его мать, болевшая не то гастритом, не то дизентерией.

Было еще немало разного люду — главным образом женщин, мужей или сыновей которых позабирали еще во Флорештах, но... я их так и не запомнила: получился такой калейдоскоп, что все перепуталось.

К чему я их вспоминаю? Да, право же, ни к чему! Просто, насколько мне известно, в свой родной город Сороки никто из них не вернулся. Что я о них знаю? Зейлик повесился, Иванченко вскоре умер, сестры-проститутки попали в тюрьму; в Томской тюрьме заболела тифом Крышталюк. Это в ближайшие месяцы. Затем я их потеряла из вида: через 8 месяцев я бежала из ссылки, но об этом потом...

Вечером того же дня — переполох.

Кто-то с фонарем ходит вдоль состава и стучит в каждый вагон.

— Эй! Есть кто-нибудь — врач, фельдшер, акушерка?

Ни в одном вагоне никто не отзывается. Наш вагон последний.

Стук. И тот же вопрос.

— Я — ветеринарный фельдшер. В чем дело?

Звон ключей, стук засова, дверь открывается, и я выскакиваю.

Идти недалеко: в соседний вагон, 41-й по счету.

То, что я увидела, превзошло всякое ожидание. На полу в луже крови и окровавленных тряпках лежала роженица. В кровавом студне барахталась новорожденная девочка.

На нее я даже не обратила внимания: пуповина была кое-как перевязана. Зато мать...

Кровь из нее так и хлестала. При свете лампы «летучая мышь» я видела, что искусанные губы совсем белые.

Было ясно: матка не сокращается, и кровотечение, если не оказать помощь, будет смертельно.

— Тут необходим врач. Хирург, гинеколог. И — срочно. Я попробую затампонировать, а вы ищите врача. Да поскорее.

Дверь закрылась. Конвоир унес с собой и фонарь. Горела свеча. Вернее — огарок. При этом скудном свете я кое-как затампонировала и попробовала массаж «по Креде»... хотя очень сомневалась в своем акушерском опыте.

Я осмотрелась, задала несколько вопросов. Сперва мне показалось, что вагон полон детей всех возрастов. Затем оказалось, что есть и взрослые.

Вот что я узнала.

Роженица — жена жандарма, деревенского «шефа». Ее муж был в Румынии. Но когда всем бессарабцам, проживающим в Румынии и имеющим семьи в Бессарабии, предложили вернуться, — причем обещана полная безнаказанность, независимо от социального положения, — то он вернулся к семье. А семья была немаленькая: жена и... 12 детей.

Безнаказанность оказалась довольно проблематичной: для начала его со всей семьей выгнали из дома, не разрешив взять с собой ничего, кроме ведра для воды. На работу никуда не приняли. Они побирались. В январе муж сбежал. Может — в Румынию, может — при попытке перейти границу убили, а может — сам утопился? А вот теперь, когда ночью стали забирать людей, то и ее с детьми забрали.

Это рассказывали пассажиры, товарищи по несчастью. Сама же она потеряла сознание.

Впрочем, до того она успела сказать, что собиралась родить в августе. Значит, ребенок — недоносок.

К счастью, вскоре привели врача, некоего Левшица, еврея из Маркулешт, который боялся признаться, что он врач: он надеялся, что его, может быть, выпустят, так как он стар.

Но, Боже мой, каких я видела стариков и старух здесь в эшелоне!

Когда я под конвоем пошла к крану обмыть с рук кровь, меня била лихорадка. Не от холода — ночь была на редкость теплая. Но мне было жутко, перед глазами стояла эта несчастная женщина, рожавшая своего тринадцатого сироту на виду 18 детей (из них 12 — ее собственных), и чужих людей, женщин, мужчин. Я видела ее детей — оборванных, в лохмотьях, причем старший мальчик 14 лет — кретин: об этом свидетельствовали стеклянные глаза, без выражения, одутловатое лицо, слюна, текущая изо рта, и нечленораздельное мычание.

Да, молодым у нас везде дорога, старикам — всегда почет...

Всякое повествование удобнее всего вести в хронологическом порядке. Однако я отступлю от этого правила и немного забегу вперед.

Маневр начальника нашего эшелона вполне удался: разделение семей привело к тому, что ссыльные глядели вперед с надеждой. Несчастные люди, не понимающие, за что на них обрушилась жестокая кара, вырванные из привычной обстановки, потерявшие все то, что годами собирали, налаживали, цеплялись как за последнюю опору, за надежду хоть вместе быть...

Как эти несчастные женщины кидались к окошку, лишь только неподалеку от железнодорожного полотна виделась группа мужчин!

— Наши мужья! Вот они! Это, наверное, они!..

Но поезд бежал мимо, и, разочарованные, они опять опускались на пол, где каждый устраивался как мог...

Такие ложные тревоги имели место особенно часто после того, как мы миновали Челябинск и пошли бескрайние степи. На фоне голой степи один, два, а то и три барака без окон, проволокой обнесенная площадка и странные вышки! И... вереницы людей. Они то стояли, то шли, но как-то странно... Можно было действительно поверить, что они кого-то ждут.

Что это за люди? И — вышки?

Ну, вышки, должно быть, разведывательные, буровые: верно, тут ищут нефть...

Увы. Прошло время, и я поняла, что это за вышки...

О подробностях нашего «исхода» — в свое время, а пока что скажу,

что когда после уймы мытарств нас пригнали в Молчаново на Оби (оттуда нас должны были рассортировать — более слабых — в колхозы, а более сильных — дальше на север, на лесоповал), женщины, видя, что их мужей, которые якобы поехали вперед, чтобы приготовить им жилье, нет, поняли, что их обманули, и взвыли.

Нужно было иметь каменное сердце, чтобы остаться равнодушным, видя, как рыдают жены и заламывают руки матери. Но... в нашей стране сердца у власть имущих закаленные. И все же меня передернуло.

— Вася! Где же мой Вася? — металась, заглядывая в глаза конвоирам, попадья из Бельц.

— Э! Что там за вой? Забудь ты своего Васю. Найдешь себе другого. Я, например, не Вася, а Петя. И вполне могу заменить твоего Васю.

И они весело хохотали.

Дети с испугом жались к матерям; старухи, растрепав свои волосы, раскачивались, сжимая виски руками.

А они — те, кто «освободили» нас из-под власти помещиков и капиталистов, смотрели на них и хохотали.

Сгущались сумерки, сырой туман был пронизывающе холодным. В этот вечер мы познакомились еще с одним бичом Нарымской ссылки — комарами.

В стороне ото всех я развела костер и, сидя в дыму, отмахивалась от комаров всю ночь. До самого утра всхлипывали женщины. Я никого не потеряла: слава Богу, что я отправила маму за границу! И все же... Мысли мои были безрадостны.

О, люди! Те из вас, которые знают, что такое стыд — жгучий, горький, мучительный, вы поймете, как это невыносимо! В России ко многому относятся по-иному: в школах дети посещают всей толпой уборную; в бане женщины всех возрастов ходят голышом; наконец, очень много тех, что побывали в тюрьмах, где стыд совсем утрачивается; даже медосмотры проводятся без всякого учета стыдливости. Но у нас в Бессарабии увидеть себя, обнаженную в зеркале, считалось бесстыдством; мать никогда не показывается дочери голышом или отец — сыну... А тут приходится оправляться в присутствии знакомых мужчин...

Пусть от стыда не умирают, но я не нахожу слов, чтобы передать, как это мучительно!

Мы отгородили эту «трубу» простыней, но...

Постепенно мы, хоть со слезами стыда, привыкли, а эта бедная девушка, кузина Лотаря, чуть не погибла, так как получилось что-то вроде спастического паралича сфинктеров.

Может быть, глупо, что, вспоминая этот «крестный путь» в изгнание, я в первую очередь упоминаю о... нужнике (вернее — его отсутствии), но... это было самое мучительное.

А голод, жажда, духота, усталость?

Возьмем питание: люди, так резко, неожиданно вырванные из привычной обстановки, до того «пришиблены», что в первое время чувства голода не испытывают. Я это пережила год тому назад, когда нас с мамой выгнали из дома: я как будто и духом не пала и уже работала на ферме (и здорово работала!), но целую неделю просто в рот ничего взять не могла! Так случилось почти со всеми, кто ехал в нашем вагоне. Когда нам раз в день приносили еду (обычно ведро похлебки с какой-нибудь крупой), то, кроме меня и еще парня, болевшего малярией, и его матери, никто не хотел есть! Так что питались этой похлебкой главным образом мы трое, и, разумеется, нам хватало.

Жажда? Мы ее испытали куда позднее. Уже в Сибири, а на первых порах ведра воды нам хватало: было прохладно, да и, кроме того, после чего «пить», если никто почти не ел?

С духотой мы столкнулись попозже.

Ну, а что касается усталости, то многие сильно мучились от того, что в тесноте нельзя было вытянуться. И не все могли уснуть прямо на полу. Что же касается меня, то я спала как убитая.

Если б у меня было хоть малейшее предчувствие того, что меня ждало впереди, то и я потеряла бы сон!

Нет, «мы ехали» — неподходящее выражение; правильнее будет сказать «нас везли». Везли, как нечто краденое, что нужно скрыть...

Наш состав останавливали где-то за станциями. Вагоны все время закрыты. В оконца на остановках выглядывать не разрешали. Подавали в вагон то ведро похлебки, то ведро воды, то хлеб. На вопросы не отвечали и никаких жалоб, как, например, просьбы о медицинской помощи, не выслушивали.

Население нашего вагона было по составу пестрым, но в большинстве малоинтеллигентным, если не считать семьи Мунтян — учительницы сорокской профессиональной школы; остальные — лавочники, мелкие служащие, крестьяне... Были три... профессиональные проститутки. Из «дворян» — только я.

Характерный эпизод: одна из проституток вела себя в достаточной мере безобразно, и из-за нее к нам повадились «в гости» конвоиры.

Однажды, когда к нам зашел начальник эшелона, я сказала ему, что у нас тут дети, девушки и было бы лучше эту девицу легкого поведения от нас забрать.

Вот слово в слово, что он мне ответил:

— Да, я понимаю: ей обидно, что ее вроде приравняли к вам — бывшей помещице, но что поделаешь? Приходится ей терпеть ваше общество...

Итак, нас везли. И никто в нашем вагоне не имел представления, через какие места нас везут. Но постепенно я начала ориентироваться и на стене вычерчивать мелом маршрут.

Получилось что-то вроде географической карты, составленной по случайно услышанным или прочтенным названиям.

Название Первомайск мне ничего не сказало. Кажется, это Раздельная? Зато Кременчуг сразу поставил все на место.

Так вот он, Днепр, который чуден «при тихой погоде». Впечатления он не произвел, как впоследствии и Волга.

Должно быть, для того чтобы оценить красоту, надо ее наблюдать не из узкого оконца телячьего вагона, когда за спиной — деревянная труба, заменяющая нужник, препятствует вдохновиться даже на самом деле красивым видом.

А сам город Кременчуг, по крайней мере та часть, через которую мы проезжали, произвел очень отрицательное впечатление: мы привыкли, что дома, даже самые бедные, чисто выбелены, окна застеклены, промыты, окрашены, а то, что мы видели, было грязно, обшарпано (будто «черт граблями причесал», говорили у нас в вагоне); вместо стекол — то кусок фанеры, то картон или просто тряпки.

Дальше — хуже.

Украина, прекрасная Украина с вишневыми садочками, белыми мазанками, где ты?! Встречались деревни с заколоченными домами; были и какие-то полуземлянки, крытые гнилой соломой. Садиков с вишнями, подсолнухами и мальвами что-то очень мало.

А поля! Большие, безбрежные. Только никак не разберешь, чем засеяны. Пшеницей? Сурепкой? Осотом? А «огрехи» не повторятся?

Нет! Богатая Украина выглядела далеко не нарядно...

Но вот и Полтава. Сады. Много садов. Сразу чем-то напомнило Бессарабию. Но... отчего они в таком ужасном состоянии? Сухие ветви и даже деревья. Неокопанные, неухоженные. Нам это казалось совсем непонятным, необъяснимым... Не так представляли мы себе колхозный строй!

Харьков. Сразу видно — промышленный центр: сколько железнодорожных путей! Какое огромное паровозное кладбище! И — трубы. Множество заводских труб. Боже мой! Сколько дыма, грязи! Просто — невероятно!

Затем Воронеж, Тамбов, Пенза.

И вот мы приближаемся к Волге. Сызрань, станция Батраки, и наш поезд на мосту через Волгу — на том самом мосту, в строительстве которого принимал участие мой дед, полковник А. А. Керсновский.

Не думал он, что его внучку повезут по нему в телячьем вагоне!

О чем я думала, проезжая через этот рубеж, не раз бывший серьезным препятствием на пути азиатских орд, рвавшихся в Европу? Я думала о том, что это будет и для меня нешуточным препятствием, если я буду пробираться из Азии в Европу, и я мысленно прикидывала, смогу ли переплыть на плоту из связанного камыша.

Вода с высоты моста казалась очень синей, какой-то выпуклой и неподвижной.

Я знала, что граница между Европой и Азией где-то дальше, по Уралу, но именно здесь, при переезде через Волгу, стало особенно ясно, что Европа остается позади.

Мама! Папа завещал мне быть тебе опорой, и ты говорила «...Tu sera mon bâton de vieillesse» *. А теперь ты одна, в чужой стране. И ты, Ира! Ирусь, «мой сынку»! Мы были неразлучны. Но как хорошо, что тебя здесь нет! Ты сделала ошибку, выходя замуж, но... может, это тебя спасло от судьбы, подобной моей...

Увижу ли я вас, родные мои?!

Куйбышев. Город похож на огромную деревянную деревню. Поражает отсутствие деревьев, садов, украшений. Мусор, трубы и дым.

Уфа. Там впервые меня выпустили под конвоем за кипятком. Дул сильный ветер и нес рыжую пыль. Пыль была всюду — хрустела на зубах и резала глаза.

Вот тут-то, на перегоне от Уфы к Челябинску, произошла какая-то перемена в отношении к нам конвоиров: появилась сугубая враждебность, сменившая прежнее насмешливое отношение.

— Они стали злые, как осы, — сказал кто-то из нас.

В чем дело? Обрывки фраз заставляют задумываться: «...ну, теперь — прощай отпуск!» — «...и на демобилизацию нечего рассчитывать». — «Балда! Это все — пустяки! Отпуск! Увольнение! Тут не тем пахнет!»

Урал! В том месте, где мы его пересекали, горы похожи на покатые холмы, поросшие лесом. В долинах — пашни. Ничего похожего на то, что я привыкла называть горами. И почему-то запомнилась такая картина: возле полотна группа скал, и на самой высокой из них — козел на фоне заката. Большой, рогатый, бородатый, он гордо тряс своей бородой. С тех пор при слове «Урал» у меня перед глазами этот козел. Может быть, просто я ему завидовала. Ведь он свободен...

Взбираясь на перевал, поезд полз очень медленно, и так заманчиво выглядели леса, тянувшиеся до горизонта и подходившие к самой железнодорожной насыпи! Ночью был переполох. Мы долго стояли в лесу. Кто-то ходил. Щелкали двери. Заходили и к нам. Пересчитывали. Говорили, что из одного вагона кто-то бежал, разобрав пол. Все население вагона было наказано за то, что не помешали побегу.

Я не помню, кто первый сказал, что где-то здесь — невидимая черта, отделяющая Европу от Азии. Мелькнуло, помнится: уж не сама ли Азия шагнула к нам, через Днестр почти год назад? И может, мы теперь всего-навсего возвращаем ей визит?

Сердце дрогнуло, когда мимо промелькнул простой каменный обелиск. Ту сторону, на которой стояло — «Европа» и расстояние до Москвы, я не успела разглядеть, зато долго смотрела вслед убегающему обелиску с надписью «Азия» и «расстояние 8000 км», а до чего, я не успела разглядеть. Поезд дугой обходил обелиск, и долго-долго глядела я ему вслед.

В Челябинске мы были ночью, и нас решили накормить, так как в Уфе ничего, кроме воды, не дали. Против обыкновения еду не принесли в вагон, а вызвали желающих пойти за баландой с конвоиром. Пошли я и Цую, мелкий чиновник, взятый с семьей (жена и три девочки).

Пока мы ожидали, к нам подошел какой-то рабочий.

— Откуда эшелон? И кто вы? За что это вас?.. — Не успел закончить свой вопрос, как конвоир грубо его оттолкнул со словами: «Проходи! Не позволено!»

Рабочий зло плюнул, отошел на несколько шагов и громко крикнул:

— Недолго вам баб и детей с винтовкой гонять! Скоро самих в такие вагоны погрузят. Недолго ужо! — И он скрылся в темноте.

А между тем наш поезд продолжал свой путь. Однако чем дальше мы продвигались на восток, тем чаще останавливался наш эшелон на каком-нибудь полустанке, на запасном пути.

И долгие часы стояли. И ждали. Чего? Кого? Все реже, все хуже нас кормили. Иногда казалось, что о нас попросту забыли и сами не знают, зачем и куда везут.

* Ты будешь той палкой, на которую я обопрусь в старости. (Фр.).

Зато все чаще мимо нас проносились воинские эшелоны — теплушки с солдатами, платформы с военной техникой, укрытые брезентом, с часовыми.

И все это с песнями, под звуки гармонии мчалось навстречу нам.

На запад, на запад!..

Вторая декада июня 1941 года подходила к концу...

Один день мне особенно запомнился.

Было это где-то между Петропавловском и Омском. Жаркий июньский день. Кругом — бескрайняя равнина, усеянная мелкими озерцами и березовыми колками (перелесками). Жара ужасная, невыносимая. Не наша, бессарабская, сухая жара, а как в паровой бане — влажная, липкая.

Железная крыша вагона раскалилась, как духовка. Двери заперты. Два узких оконца выходят на юг, и кажется, что сквозь них в вагон льется не воздух, а что-то густое, удушающее.

Единственное облегчение — это лечь на пол и подышать в щели на полу. Воняет мочой и экскрементами, но все же воздух немного прохладней.

Мы по очереди ложимся к щели «подышать».

О еде никто не думает, хотя нас забыли накормить, но голод нас не мучает.

Зато жажда...

Боже мой! Это описать нелегко, это надо испытать...

А кругом вода. И каждое озеро усеяно темными точками.

Что это такое? Неужели...

Перевожу взгляд на озеро, подходящее к самой насыпи. И все становится ясным.

Я слыхала о том, что бегемоты жаркую часть дня проводят в воде, но чтобы коровы спасались в воде — этого я не знала. Тем не менее это коровы. Они входят в воду и погружаются так, что лишь ноздри из нее торчат. И иногда рога. Даже уши, уши, которые всякое животное бережет от воды, находятся под водой.

Нет, это не жара заставила их нырять! Я вспоминаю: бич Сибири — комары, мошка, разные мухи, овода (пауты) и пр., и пр., вполне оправдывающие образное имя собирательное — гнус.

Но в озере купались не одни коровы: наши конвоиры, кроме тех, разумеется, кто был на посту, резвились, как дельфины: голые тела, хохот, брызги...

А мы в духоте изнывали от жажды. Ведь можно же было хоть двери приоткрыть? Кругом степь. Ведь никуда не денешься все равно.

А тут, рядом, в соседнем вагоне, женщина, та, что родила во Флорештах, высунувшись из окна (в их вагоне окна были, как в IV классе), обращается ко всем военным, что проходят мимо. Она твердит одно и то же: просит воду для ребенка.

В ее голосе отчаяние и вместе с тем покорность.

Еще и еще обращается она к часовому. Никакого внимания! Да это и неудивительно: она говорит по-молдавски и хотя указывает на ведро и на воду, но...

Хочу верить, что он просто не понимает.

Вот он поравнялся с нашим вагоном.

— Товарищ боец! — обращаюсь я к нему. — Эта женщина родила в поезде. И вот пошла уже вторая неделя, а ребенок не купан, и пеленки нестираные. Распорядитесь, чтобы ей разрешили постирать тряпки, а то ребенок заживо гниет!

Никакого внимания. Будто и не слышит.

Дожидаюсь, когда начальник эшелона проходит вдоль поезда, и повторяю просьбу, заклинаю его во имя человечности не губить неповинного младенца.

— Это вас не касается! И не суйтесь со своими советами!

Кровь ударила мне в лицо, будто что-то сжало виски.

— Ребята! — крикнула я. — Поможем этой женщине и ее ребенку! Василика, Ионел, стойте у дверей, и как только я крикну «gata» (готово), нажмите, чтобы она открылась. А вы, Данилуца, держите меня за ноги, чтобы я не вывалилась из окна, и тащите в вагон, как только крикну «gata».

Затем, высунув голову из оконца, я сказала по-молдавски женщине: «Приготовь ведро, сейчас подам тебе воду».

Вооружившись поповским зонтиком, большим, полотняным, ручка крюком (попа забрали от нас во Флорештах, но зонтик его остался у попадьи), я нырнула в оконце. Оно было узким, и трудно было предположить, что в него можно пролезть, но я, к счастью, хорошо напрактиковалась дома, в окне коровника: нужно было только сунуть голову боком и одновременно — правую руку. Крючком поддела засов (днем он был просто наброшен на крюк) и сдернула его.

— Gata! — крикнула я.

Дверь скрипнула и поползла, постукивая колесиком.

Я выпрыгнула. Солнце ослепило меня, от вольного воздуха дух захватило. Прыжок — и я у соседнего вагона. Хватаю ведро.

В три прыжка я очутилась у воды, зачерпнула и, расплескивая воду, карабкаюсь вверх по насыпи.

Переполох. Голяки выскакивают из воды. Все мчатся ко мне. Но дудки! Я уже у вагона и подаю женщине ведро. Половину воды вылила себе в рукава, но, слава Богу, ведро уже в окне.

Со стороны паровоза мчится начальник эшелона и орет: «Товарищ Соколов! Отчего не стреляете?» — а конвоир, бегущий с другой стороны, в тон ему кричит: «А вы чего сами не стреляете, товарищ старший лейтенант?»

Я стою, скрестив руки. Не стоит возвращаться в свой вагон: зачем навлекать неприятности на товарищей.

С двух сторон меня схватили за руки и с проворством, достойным лучшего применения, надели наручники.

Так, не доезжая Омска, я впервые познакомилась с тем, что всегда считалось символом жандармского произвола, — наручниками.

А, собственно говоря, не являлась ли вся эта эпопея самым безобразным видом произвола?

Надев наручники, меня всунули в какой-то железный шкаф, с коленчатой вентиляционной трубой, находившейся в служебном вагоне.

— До прибытия на место будешь в карцере!

Ага! Значит, это и есть карцер? Что ж, неплохо. Темно. Но вентилируется неплохо. Даже приятно. Я знаю много песен. И в те годы голос у меня был неплохой. Вот я и стала распевать. Откровенно говоря, мои вечно вздыхающие товарищи по несчастью довольно-таки надоели, и я решила насладиться одиночеством.

Вот только наручники...

Чертовски неприятно, когда запястья прижаты вплотную одно к другому.

Я и золотой браслет, подаренный мне бабушкой, и тот никогда не носила... за его сходство с наручниками.

Часа через два, когда я уже дошла до украинских песен и старательно выводила:

> Казал козак насыпаты высоку могылу
> Казал козак посадыты в головах калыну,—

дверь открылась, и меня вывели пред светлые очи начальника эшелона:

— Ну что, Керсновская, будете и впредь проявлять неподчинение?

— Обязательно! Обещаю всегда помогать тем, над кем вы издеваетесь!

Наручники, однако, с меня сняли, и я вернулась в свой вагон.

Единственным результатом было то, что впоследствии на меня обращали сугубое внимание, и на остановках и пересадках я всегда слышала:

— Где Керсновская?

Как будто бы я была если и не пуп земли, то по меньшей мере пуп эшелона.

Война. Куздеево. Паспорт. К месту вечного поселения

В этом страшном слове нет ни одной свистящей шипящей или рокочущей буквы.

Но это слово — жуткое, роковое.

Серый, мутный рассвет едва пробивался сквозь сетку мелкого дождя. Наш эшелон стоял возле какой-то захудалой станции. Вернее, не доезжая станции.

В вагоне все еще спали, прижимаясь друг к другу и кутаясь кто во что мог, так как было прохладно.

Меня разбудил холод — я укрыла своим одеялом заболевшую девочку. Что ж, если нельзя спать, то хоть подышу у окошка свежим воздухом.

Боже, до чего вид из окошка кажется унылым! Кругом все пахнет мочой, фенолом, паровозным дымом и псиной!

Хоть бы поезд тронулся! На ходу, может быть, усну.

Где-то со стороны вокзала слышен хриплый лай громкоговорителя. Сперва я не вслушивалась: слишком далеко — все равно не разобрать! Затем обратила внимание: голос Левитана. Это первоклассный диктор: его всегда слушать приятно. Мысль бродит далеко: вспоминаю, как там, в далеком Цепилове, мы часто слушали голос Левитана.

Но сегодня он как-то сугубо торжественен. Он передает речь Молотова.

Вдруг меня словно током дернуло. Я ударилась виском об оконную раму. Кругом все поплыло... Исчез запах фенола, исчез дождь... Лишь голос Левитана как гром: «Война»...

Не помню, кому и что я говорила. Помню лишь, что меньше чем через минуту все были на ногах. Кто-то — кажется, Мейер Барзак — по-молдавски кричал соседнему вагону; те — дальше, и вскоре над всем эшелоном поднялся такой галдеж, как от стаи ворон!

Но Боже мой! Неужели я ослышалась? В этом галдеже я слышу... радость, торжество?!

Мы стояли на станции Чик возле Новосибирска.

Странные мысли приходили мне в голову! Мне казалось, что слова «Родина в опасности» могут и должны иметь лишь один результат, все внутренние разногласия должны быть забыты — цель у всех должна быть одна: прежде всего победа, а для этого любой ценой, любыми жертвами выстоять! Теперь мне даже кажется невероятным, что я могла быть до такой степени наивной! Мне казалось, что перед лицом народного бедствия мы все равны и «классовый антагонизм» должен замолкнуть. Я еще не знала, что в Советском Союзе все население разделено на огромное количество классов, враждебных друг другу; я не знала, что есть партийные высшего сорта, партийные — рядовые. Будучи сами покорными исполнителями партийных директив, они притесняют стоящих ниже. У них нет своей воли, но есть власть. Есть беспартийные — лоцманы, сопровождающие акул; есть беспартийные — роботы, есть беспартийная слякоть — люди без убеждений, без хребта. Все они не имеют права думать. В Сибири есть «вольные» — коренные сибиряки, потомки прежних каторжников; есть «лишенцы» — те, кого сослали по воле Сталина и по рескрипту Калинина, и, наконец, есть «дети лишенцев».

Очень постепенно, ценой дорого обошедшихся мне уроков, начала я разбираться во всех оттенках нашего «бесклассового» общества.

А о том, сколько видов и подвидов встречаются у бытовиков и политических и какие нюансы отличают просто пятьдесят восьмую от спецлагеря и КТР, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько категорий, — об этом в свое время.

Поистине, в те годы вся страна была как сплошная тюрьма, где нельзя разобрать, кто палач, а кто жертва, где будущие палачи, кто — будущие жертвы.

Говорят, в этом повинен «культ личности». Кто знает?

Нет смысла описывать подробно день за днем все наши мытарства. Достаточно несколькими штрихами набросать наиболее запомнившиеся «этапы крестного пути».

Отчего-то мне казалось, что дальше Новосибирска нас не повезут. В Новосибирске наш эшелон долго катали с одного пути на другой.

Как все надеялись, что нас повезут назад! Да что — надеялись! Верили!!!

Всегда веришь тому, чего очень хочется...

Но вот мы опять едем. Смотрю на звезды. Куда? На запад? Нет... Как будто на юг?

Как жаль, что я никогда не интересовалась географией этих мест! Все пристают ко мне с вопросами: ведь я — единственный «образованный» пассажир, но... что могу я сказать? Только то, что вижу, возделанные поля, менее убогие деревни; навстречу — поезда, груженные углем; обгоняют нас платформы с лесом.

Отчего не наоборот? Значит, везут нас туда, где шахты. Мы все (и я особенно) в ужасе.

Дураки, болваны, идиоты! Попади мы в промышленный район, было бы куда лучше! Но откуда нам догадаться?

Наконец я ориентируюсь: мы проезжаем Ленинск и направляемся в сторону Сталинска.

Опять двухколейный путь; кругом — шахты, поселки. Это и есть Кузбасс?

Да, это Кузбасс. Но здесь мы не останавливаемся. Минули Сталинск, едем дальше на юг.

Опять одноколейка. Кругом все выглядит по-иному. Кончилась степь. Пошли холмы, затем — крутые сопки. С трудом пыхтит паровоз, таща в гору длинный эшелон.

Приехали! Мы в Куздееве.

Рыжеватые сопки.

Темный, хвойный лес. Ель, сосна, пихта, береза и даже дуб. Красивая, многоводная, вся в водоворотах река Кондома.

Говорят, следующая станция — Тельбес, золотые прииски. Там кончается железная дорога. Вообще-то линия до Таштагола, но туда поезда не ходят.

Хочется верить, что близко граница. Что? Алтайские горы? Ничего, можно осилить. А дальше? Монголия? Что это, «заграница» или еще наше? Не беда! За Монголией — Китай. Почему бы не рискнуть?

Скажу откровенно: мне здесь понравилось...

В полном смысле слова «медвежий угол». Больше того, заповедник XVIII, а то и XVII века.

Но тут колхозы, Советская власть...

В чем это проявляется? В наличии тяжелого, громоздкого управленческого аппарата, пришибленности и полной инертности крестьянства, организованного голода.

Но об этом после.

А пока нас поместили... в пионерлагерь. Крохотные деревянные домики, в которые надо входить, согнувшись в три погибели. Вековые сосны. Дальше — ели вдоль Кондомы. Смородина, малина (правда, лишь голые кусты). Но как все приятно пахнет! Какая красота! Какой простор!

Это было последнее радостное человеческое ощущение, после которого потянулись долгие годы страдания, унижения и... множества открытий.

Недолго наслаждались мы жизнью в пионерской даче. Нас разделили на группы и развезли по соседним колхозам.

Я попала в Бенжерен 2-й. Болотная местность. Сопки — амфитеатром. Внезапно несколько домиков, крытых тесом, на очень высоком бревенчатом фундаменте. Кругом вода. Лужи, покрытые красноватым налетом. Плесень? Нет. Клопы!!! Первое, что бросается в глаза, — это отсутствие людей «рабочего» возраста. Видны лишь древние деды в лаптях, гречушниках и посконных рубахах. Есть и детишки, все покрытые болячками. Ни скотины, ни птицы, ни даже собак. Зато... клопы, клопы, клопы! Все кишит ими. Стены просто шевелятся.

Надо приступать к работе: косить сено.

Трава высокая, сочная, но... всюду мочажины — под ногами хлюпает.

Есть и хлеб — пшеница! Но на нее надежды мало: из центра прислали семена, а они оказались не подходящими для слишком влажного климата.

Кого-то за это расстреляли, но пшеница от этого не поправилась, выросла на 1,5 м и, не дав колоса, полегла. Следовало бы хоть убрать «на сено», но... без «директивы сверху» нельзя.

Поэтому мы косим на полянах траву и бурьян. Косы непривычные, короткие — «литовки». Брусков нет. Нет ни бабок, ни молотков.

Не работа, а горе.

Впервые пришлось встретиться с бесхозяйственностью и организованным голодом. А также с тупой покорностью.

Хлеба нам не полагалось. Выдали заплесневелое пшено. В чем его варить?

Со мной была женщина из Водян. У нее трое сыновей и дочь в возрасте от 14 до 19 лет. Когда, еще в Бессарабии, 13 июня ее с детьми среди ночи угнали в ссылку, они так растерялись, что взяли с собой... зажженную лампу и вазон с геранью.

В Бенжерене 2-м предполагалось, что после сенокоса мы организуем овцеводство на бессарабский манер — так, чтобы доить овец и изготавливать «брынзу».

Все это осталось в стадии проекта: нас в спешном порядке вновь собрали в Кузедееве, посадили в вагоны и...

Куда нас еще повезут?..

На сей раз не надо было подгонять. Можно было и не запирать двери вагонов. Отпала необходимость в проверках. Ведь все были уверены, что мы едем домой.

Признаюсь: поверила и я...

Разум говорил совсем другое. Там — война. Кто же станет возвращать ссыльных... на фронт? Особенно женщин и детей (а таких было большинство: ведь большую часть мужчин куда-то угнали). Даже если перед лицом такой угрозы, как война, мозги у наших притеснителей просветлели, то при всем желании они не могли катать наши эшелоны по путям, которые были нужны для перевозки войск.

Кроме того, следовало уже понять, что страх порождает жестокость; если до начала войны с нами обошлись так варварски, то... на что можно было еще рассчитывать, когда война уже началась? Лишь на усугубление жестокостей.

Но все хотели надеяться.

Как я уже говорила, я попала в ссылку уже после того, как ссыльных вывезли из Сорок. И получилось так, что при мне сохранился паспорт. В Кузедееве некий майор Медведев обратился к нам с речью о доверии, о заботе о нас, о желании нам всяческого блага и заключил словами:

«...Если у кого-либо из вас сохранился паспорт, то покажите его мне. Я его не отберу. Я хочу только посмотреть... Я его верну — это я обещаю...»

Я шагнула вперед и протянула ему свой паспорт. Он его и по сегодняшний день рассматривает...

— Домнишора Керсновская! Ну как можно быть такой доверчивой! Ай-яй-яй! Кому это вы поверили? — встретили меня, укоризненно покачивая головами, мои товарищи по несчастью.

Когда я напомнила майору Медведеву о том, что он обещал паспорт вернуть, он дал мне расписаться в том, что я... пожизненно ссыльная.

И вот мы снова в Новосибирске. Опять нас катают с пути на путь. Скорее! Да скорее везите же нас домой!

Приехали! Вылезайте!

Что это? Пахнет сыростью, вода... Речной вокзал. У причала — баржи.

Вот это домой!

Значит... нас повезут... на север?!!

Не всех: одному пожилому еврею (в Сороках он был «шапочником» — шил картузы «керенки» из старых брюк) сделалось дурно. Из горла хлынула кровь, и через несколько минут он был готов.

Труп оставили на берегу, прикрыв лицо картузом, а плачущую семью — двух старух и полдюжины ребятишек — погрузили в баржу.

Шлепают плицы. Топают матросы в широченных шароварах с множеством складок на поясе.

Едем. Все дальше и дальше на север.

На каждой остановке часть ссыльных выкликают по списку.

Домника Андреевна Попеску дает мне совет: «Постарайтесь проскочить на берег с нами! Чем дальше на север, тем хуже! Здесь есть хоть колхозы, а там дальше — только лесоповал».

Лесоповал? Ну и слава Богу! Что мне в колхозе — лен трепать? Другого тут нет... Ну, а на лесоповале я сумею доказать... и т. д. Увы! Всегда так.

О том, как мы приехали в Молчаново и о разочаровании женщин, надеявшихся, что там их ожидают мужья, я уже упоминала.

Опять слезы. Не первые. И не последние.

Если собрать все слезы, пролитые в Сибири... То, пожалуй, будет понятно, отчего там столько болот и трясин... бездонных, как страдания неповинных людей.

Вниз, вниз по течению! Сперва — на пароходе, затем — на катере, потом — на «паузке».

И вот мы в Суйге.

Дикий вид имел наш табор на берегу.

Пестрая, разношерстная команда. Большинство — неработоспособные. Что ждет их впереди?

Они расположились у костра. Что-то варят. Говорят. Я улеглась у корней двух сосен, замоталась в одеяло и попыталась уснуть.

Но комары и горькие думы долго не давали покоя.

Не верилось мне, что мы уже у конца пути. Нет! Здесь нас не оставят! Эти места уже обжиты, а с другой стороны леса уже уничтожены, то малое, что осталось, едва обеспечивает работой коренное население.

Нет! Не радуйтесь: здесь нас не оставят...

Утром оказалось, что я права. Нас еще раз пересчитали: детей, стариков и женщин оставили в Суйге, обрекая их на медленную голодную смерть, а всех работоспособных погнали дальше.

Неизвестность устрашала, и многие вполне работоспособные сумели откупиться и остаться в Суйге: это все же центр, и как-никак жить можно под крышей.

Признаться в противоположность моим товарищам по несчастью, меня не страшило будущее. Напротив! Несмотря ни на что, теперь, когда над головой было снова небо и воздух так чист, так приятно пахло смолой, что мне казалось — самое тяжелое позади, а все остальное зависит от нас самих. Ведь предстояло работать, а в том, что касается работы, я была вполне в себе уверена.

А пока что — это даже интересно.

Мы шли по самым невероятным дорогам, вернее — по полному бездорожью. Под ногами хлюпала вода — почва вообще зыбкая — вода в том году сошла лишь в июне. Всюду были озера, лужи, заводи, потоки. Попадались очень красивые группы сосен, отраж вшиеся в протоках, так называемых старицах, поросших осокой и высокими цветами.

Так мы добрались до Черкесова, где большая часть «путешественников», выбившись из сил, осталась ночевать; мы же — Лотарь с матерью, Иванченко, Зейлик и, разумеется, я — сели в лодку и продолжали путь по старице. Временами это была широкая река; временами — совсем мелкая и узкая, заросшая осокой, проезжая по которой мы часто чиркали по дну.

Лишь на второй день к вечеру мы добрались до своей лесозаготовки — барака на берегу Анги.

Анга. Дети в лесу. Напарница. И мы ходим в гости

Анга. С этим именем связано много открытий, подвигов и разочарований. Но больше всего приходилось удивляться. Ежедневно. И по нескольку раз на дню. Удивляло меня, что барак, только что приплавленный в разобранном виде, оказался... полным клопов. Удивлялась и полному отсутствию не то что комфорта, а элементарной заботы о рабочем скоте, которым мы в данном случае являлись.

Не было нужника. На нарах все спали вповалку, и места не хватало. Не было посуды. Баланду нам варили и подавали, но... во что было ее получать? Самый счастливый оказался Зейлик со своим ночным горшком, у Лотаря была консервная банка, у меня — кофейник. Остальные пользовались туесками — посудой из березовой коры.

Мы начинаем валку леса.

Прежде всего надо проложить узкоколейку для вывоза леса к речке Анге, где закладывалось катище — место, где складывают штабелями лес на крутом берегу. Зимой лес скатят на лед и весной сплавят мулем (не плотами). На Чулыме лес свяжут в плоты и сплавят в Обь, а там катера потащат плоты вверх по Оби, где в Томске и Новосибирске древесина будет переработана.

Но это будет зимой. А пока...

Первый враг — комары. Это хуже голода... пока что. С голодом мы познакомимся зимой, а сейчас нас выручают грибы.

Единственное спасение — дымари-костры из березовых гнилушек. Справа — дымарь, слева — дымарь. Переходишь к следующему дереву — волочишь свои дымари. И еще деготь в смеси с рыбьим жиром: наливаешь на руку эту вонючую смесь, смажешь за ушами, шею и лицо, и это дает возможность минуты 2—3 не страдать от укусов.

Не все страдали в одинаковой степени. Хуже всего страдал Дрейман. У него температура поднялась до 40°; он весь распух и кровоточил. Что с ним сталось, не знаю: он куда-то исчез.

На втором месте была я: лицо распухло, веки закрывали глаза. Чтобы увидеть ноги, надо было пальцами приподымать веки. Все тело зудело, горело и ныло; язык пересох, я чувствовала интоксикацию.

Но я пыталась шутить: это помогало терпеть.

Зато вечером, после гонга в 7 ч., я устремлялась бегом к речке, раздевалась второпях и кидалась в воду. Пока я бежала к воде, комары летели тучей за мной; пока я раздевалась, они облепляли все тело. Но хуже всего было снова одеваться, огромные пауты с разгону впивались в мокрое тело — так, что брызгала кровь.

Нет. Речь идет не о Ване и Маше. И не о мальчике-с-пальчике. Это дети 11—14 лет из поселков Черкесово и Каригод. Это школьники. Они обязаны работать на лесоповале.

Специально детской нормы нет, а выполнить нечеловеческую норму лесоруба им не под силу. Но эта работа дает им право купить себе хлебный паек — 700 граммов. Но даже если бы они предпочли получать паек иждивенца — 150 граммов, им бы этого не разрешил леспромхоз, чьими крепостными является все тамошнее таежное население. Круговая порука: за детей отвечают родители, а за родителей — дети.

Четырнадцать таких мальчишек и девчонок даны мне для вспомогательных работ на узкоколейке.

Они дети, но вместе с тем в них что-то взрослое: все эти дети родились кто на Украине, кто в Алтайском крае и пережили все ужасы раскулачивания и ссылки. Им тогда было 5—6—7 лет, но это (да и жизнь на новой родине) наложило особый отпечаток на них, на их не по-детски серьезные разговоры.

Каждый из них рассказывает мне вкратце историю своей семьи, ее мытарств, кто и где умер... Есть очень хорошие рассказчики. Например, все ребята Турыгины — Павлик, Шура и Вася. Рассказ Шуры производит прямо-таки потрясающее впечатление.

Наконец, очередь доходит до Таи — высокой, стройной и на редкость миловидной девочки 14 лет.

— А твой отец тоже ссыльный?

— Нет, — с гордостью отвечает Тая, — он вольный.

— Как же это я его не видела? Где он?

— Он — в тюрьме!

— ?

Один вольный, и тот в тюрьме!..

Оказывается, он был продавцом, совершил растрату и потому решил: «семь бед — один ответ»... и отпраздновал именины бабушки: «...все равно бы его посадили, так он хоть угостил всех на славу — из восьми килограммов конфет брагу наварили! И пироги были!»

До чего все это мне казалось диким!

А как дети ждали 1 сентября — начала занятий в школе! Но пришло 1 сентября и... начальник леспромхоза отменил на этот год учебу: «Война! Пока не уничтожим фашистов — никаких учений».

В ту зиму работали в лесу все. И самые слабенькие ребятишки — одиннадцатилетний чахоточный Володя Турыгин и десятилетняя Валя Захарова были счастливы, что получили «легкую» работу кольцевиков: в любую погоду — и в метель, и в 50-градусный мороз отправлялись они с сумкой почты — отчетов, рапортов, доносов из Усть-Тьярма в Суйгу, больше 50 километров в один конец. И это ради 700 граммов хлеба...

Трудно было бы подобрать мне менее подходящую напарницу, чем Анна Михайловна Мунтян.

Учительница, и как все учителя (и железнодорожники) королевской Румынии, очень «передовая». Она и ее муж — члены профсоюза. В Сороках они совместно с большинством педагогов организовали на паях кооператив: был у них магазин, были дачи на море — дома отдыха для учителей и лагеря для детей. Они молились на СССР, верили «...как турок в Магомета», что не помешало им в ту печальную ночь — 13 июня — попасть в телячий вагон. Больше того, самого Василия Муитяна, передового деятеля профсоюза еще во Флорештах, забрали с сыном жены от первого брака, Лотарем. Парень лет 19—20, студент Бухарестского университета, не значился в списках репрессированных и добровольно последовал за матерью. Когда же отбирали самых крепких для отправки на наиболее трудную рабочую точку, то тут уж мать последовала за сыном.

Так мы очутились на Анге, где и образовали своего рода «коллектив» как представители интеллигенции.

Лотарь еще с одним парнем, местным, занялся доставкой рельсов для узкоколейки (их привозили на лодке из Черкесова), а мы с Анной Михайловной занялись прокладкой трассы: мы валили, а где нужно, выкорчевывали деревья, а дети откатывали их в сторону и убирали ветви и вершины; затем мы производили нивелировку почвы.

Анна Михайловна — моложавая, кудрявая блондиночка, вся будто бы сложенная из сдобных булочек, была очень старательной напарницей. Пожалуй, слишком старательной, а поэтому неосторожной. А тайга неосторожных не любит. На каждом шагу она попадала в беду, и однажды я едва (буквально в последнее мгновение) успела ее выхватить из-под дерева, которое «пошло винтом» — т. е. упало не туда, куда было подрублено. К счастью, я успела вцепиться в широченные брюки из «чертовой» кожи и отбросить ее в сторону.

А вообще она была очень симпатичная женщина, долго крепилась, не падала духом.

Дома, в Сороках, она преподавала... кулинарию в женской профессиональной школе. Она окончила специальное кулинарное училище в Швейцарии, очень любила свою профессию и была большой лакомкой.

Ей пришлось, безусловно, хуже, чем мне: я уже почти год проходила «предварительную подготовку», и все те невзгоды, что я за этот год перенесла, подготовили меня к лишениям, а к физическому труду я до того была привычна.

А ей-то, каково было ей?

Прямо из дома, уютного, как бонбоньерка, да в телячий вагон! Сегодня — в кругу семьи, в привычной обстановке, а завтра? Она — лесоруб; муж — в тюрьме, что ли? Сын... при ней, но легко ли матери сознавать, что из-за нее юноша, перед которым, казалось, была светлая будущность — карьера инженера, девушка, с которой у него наклевывался роман, — и вот он, ее сын, в болотах нарымской тайги... Вчера еще единственная ее забота была приготовить что-нибудь вкусненькое — такое, что пальчики оближешь. А тут? Пайка хлеба и 2 раза по 0,5 литра жидкой баланды, о которой говорят «крупинка за крупинкой бегает с дубинкой».

Сколько раз она говорила:

— Ах, Фросинька, как я завидую вам и Лотарю! Вы можете есть этот черный хлеб, а я — ну никак не могу! Я отдаю почти всю свою пайку Лотарю. Мы получаем сразу на двоих, и я себе отрезаю лишь тоненький ломтик!

И так длилось довольно долго. Но настал день, когда ее румяные щеки-яблочки поблекли и все те «булочки», из которых она как бы состояла, растаяли, тогда... О, тогда она оценила вкус черного хлеба!

Тогда она не только стала получать отдельно от сына свою пайку, но рычала, вырывая из его рук хлеб...

Но это было позже, значительно позже.

Казалось бы, жизнь, как говорится, «не до жиру, быть бы живу».

Работа в лесу с 7 до 7 — 12 часов. Работа тяжелая, напряженная, непривычная; от голода «кишка кишке кукиш кажет», после ужина вместо того, чтобы отдыхать, мы с Лотарем ходим в Черкесово в ларек за хлебом. Это значит еще километров 6—7 топкими тропинками (теперь даже как-то не верится, что нам не пришло в голову выговорить себе хоть какую-нибудь мзду за эти путешествия: ведь носили мы хлеб десятку людей и к каждой пайке аккуратно прикалывали палочками довески); ночь не приносила отдыха, так как в бараке, несмотря на два дымаря (таз с березовыми гнилушками у входа, а другой — в глубине), комары всю ночь не давали покоя.

И все это без выходных.

И все же мы с Лотарем затеяли сходить в гости в Суйгу — к тем счастливчикам, которые там остались.

В оба конца ни больше ни меньше — 108 км.

Мы еще не знали, что это такое — выбиться из сил и как нужно беречь эти силы.

Но откуда выкроить время?

Оказия подвернулась сама: понадобились люди, чтобы ночью грузить сено на паузки — катера.

После ужина мы с Лотарем бежали в Черкесово. Если паузок нас ждал, мы его грузили; если его еще не было — подвозили сено к берегу и, в ожидании паузка, на несколько минут погружались в мертвый сон.

В четверг и пятницу мы так и работали: днем — в лесу, ночью — на погрузке сена. Мы ошалели от усталости, но в субботу, проглотив свою баланду, захватив рюкзаки, бодро зашагали... наугад. Дороги мы не знали, но... «с твердой верою в Зевеса вступает Ивик в чащу леса».

Мы бодро тронулись навстречу неизвестности. Должна же быть какая-нибудь дорога. Во всяком случае, от Харска она будет. А до Харска? Эх! Как-нибудь!

На все воля Божья! В данном случае Его воля была, чтобы мы не заблудились в чащобе, не утонули в трясине или в реке.

Следует заметить, что в той части Сибири очень своеобразный грунт: не то золота, не то мельчайший песок, подобный тому, что в песочных часах. Рельеф почвы абсолютно плоский, но с большим уклоном к западу, а поэтому все речки быстрые и глубокие, как щели, по которым бежит вода.

Мостов, по крайней мере таких, как это понимаем мы, нет. Их заменяют поваленные через поток деревья и к ним шесты: берешь шест и, перейдя на другую сторону, его там оставляешь; есть кладки на сваях, вбитых в дно. Малейший паводок, и кладку заливает, поэтому, чтобы ее нащупать ногами, вдоль кладки ряд жердей вроде перил.

Самое же оригинальное — это мост-фантом, мост-привидение, или попросту — плавучий мост.

Кто его не видел, не поверит, что нечто подобное существует в XX веке.

Видала я на Кавказе висячие на стальных тросах мосты, но если вместо стальных тросов — лишь черемуховые вицы, и этими же вицами связаны между собой бревна?.. Весной в паводок мост всплывает, выпячиваясь «брюхом», но осенью, когда вода спала, испытываешь жуткое чувство при виде глубокого каньона, в котором течет река, просто диву даешься, как он держится.

Впрочем, вообще весь этот поход «в гости» был немного чудом, и остается лишь удивляться, что все окончилось благополучно.

Стемнело, к счастью, уже после того, как мы по кочкам перебрались через мост. Кочки под ногами качались, а зеленый лужок оказывался коварным зыбуном. Когда стемнело, то выяснилось, что Лотарь близорук и ночью ничего не видит. К счастью, у меня зрение было очень острое, и ориентировалась я по звездам хорошо (идти надо было все время на юг). Я скинула куртку и пошла вперед, а Лотарь не терял из виду мою белую холщовую рубаху.

Незадолго до полуночи мы прошли через спящий Харск. Дальше можно было идти более уверенно. Немыслимая колея, пересеченная корнями и болотами, то лепящаяся по косогору, то теряющаяся в мочарах, могла считаться, по сибирским понятиям, хорошей дорогой.

Когда побледнели звезды и небо стало какого-то нездорового бледного цвета, предвещавшего рассвет, мы вышли на пойменный луг, на котором темнели копны.

Тут-то мы почувствовали нечеловеческую усталость и, едва добравшись до ближайшей копны сена, рухнули к ее подножью, даже не подмостив себе под бока сена.

Пока я извлекала из рюкзака одеяло, Лотарь уже спал. Примостившись рядом, я укутала нас обоих одеялом и провалилась в небытие, как принято говорить.

Солнце взошло, когда я проснулась. И слава Богу! Если бы оставить Лотаря спать, сколько он захочет, то... пришлось бы топать обратно на Ангу, так и не побывав на Суйге.

Не без труда я его растолкала и, помывшись у ручья, мы бодро зашагали.

Вот и смолокурня. Отсюда рукой подать до Суйги. То-то обрадуются нам наши «товарищи по несчастью».

В Суйге. Поход за картошкой

Нет, пожалуй, в несчастье дружба глохнет.

Там, в домике на Анге, мы представляли все иначе. Мы жили надеждой и настроение было бодрое; тут надежда уже угасла, все были как пришибленные.

Признаться, я только теперь присмотрелась к Суйге. Верней — к русской, именно советской русской деревне. Да еще расположенной в сердце северной тайги. Кузедеево, Бенжерен 2-й промелькнули не как деревни, в которых живут, рождаются и умирают люди, а как театральные декорации, нечто выдуманное; эта же самая Суйга, когда я ее в первый раз видела, промелькнула как призрак.

Теперь я на нее посмотрела совсем другими глазами. И то, что я увидела, сжало холодной рукой мое сердце.

Нет, не такими я ожидала встретить своих земляков! Повсюду царило уныние, все были деморализованы. Я еще не имела опыта в оценке людского страдания и поэтому осудила их слишком строго.

Я привыкла в Бессарабии к гостеприимству, и меня сразу покоробила та натянутая атмосфера, которая встретила нас (вернее, меня) у Слоновских.

Мать Миньки Слоновского, которую в Сороках я знала как жизнерадостную, еще не старую, хлопотливую и хлебосольную хозяйку, уныло сидела, нахохлившись, у погасшей плиты, и жаловалась. На все: что есть нечего, что даже топлива нет и что она больна и измучилась...

Я поняла, что здесь и кипятку не дождешься и что мое присутствие мешает ей угостить племянника — Лотаря. Я не рассчитывала на угощение, но хотела отдохнуть и послушать разговор о том о сем. Впрочем, в глубине души полагала, что и на мою долю найдется хоть немного похлебки из грибов, приправленной мукой...

Но создавшаяся атмосфера стала невыносимой, и я вышла, сказав, что поброжу по селу.

Я бродила, и комары уныло жужжали вокруг.

Встречные глядели враждебно. Если это были местные, у которых мы явились «отбивать кусок хлеба», — это было вполне естественно, если же это были свои, то они предпочитали меня не узнавать: им было неудобно не пригласить меня, и это тоже было понятно. За истекший месяц они пообносились, похудели... Одним словом, выцвели.

После полудня мы отправились в обратный путь. Лотарь был рад: Минька обещал прийти на нашу лесосеку со следующей партией рабочих. Он с восторгом рассказывал, как поел картошки с молоком... Я солгала, что тоже поела. Не уточняя, что поела я тот ломтик хлеба, что принесла с собой.

Перед рассветом мы были в Анге, и почти не отдохнув, захватили топоры и пошли на работу.

Дней через десять действительно прибыло «пополнение», и с ним — Минька и Елена Греку, наша «сдобная» попадья.

Тесно стало в бараке. Кроме нас, бессарабцев (а было нас человек восемь), прибыло с полдюжины колхозников — вольных. Холодало, и установили печурку — камбус — чугунную, разборную.

Назначили и дневальную — молодую, изможденного вида женщину, незамужнюю, но с ребенком. Мальчишке — звали его Потапкой — было года два. Ходил он еще в рубашонке и не умел говорить ничего, кроме двух слов: «мамка» и «си-ти-ти», что должно было обозначать «есть хочу». (Сибиряки вместо «есть» говорят «ись» или «исть».)

Что меня поразило, так это та житейская мудрость, которую успел приобрести этот юный гражданин, едва вышедший из эмбрионального состояния.

Прибывавшие к нам на лесоповал колхозники привозили с собой продукты, полученные в своих колхозах. Ассортимент, может быть, не отличался разнообразием, но... разве можно было сравнить похлебку с солониной или вяленой рыбой, заправленную картошкой и овсянкой, и хлеб — пусть овсяный, но отрезаемый такими аппетитными ломтями, — с нашим голодным пайком? И все же мы, ссыльные лесорубы, получали больше, чем уборщица-дневальная. А ее ребенок получал вообще лишь 150 граммов хлеба и ему как «иждивенцу» (там я впервые встретилась с этим словом) не полагалась даже наша жидкая баланда.

Вот сцена, которую я наблюдала, притом неоднократно.

Садится вольный верхом на скамейку и начинает жадно чавкать.

Потапка голоден. Как ни урезает себя мать во всем, Потапка все равно голоден. Казалось бы, вполне естественно голодному ребенку подойти к тому, кто ест, чтобы тоже поесть? Но он знает: никто ничего ему не даст. Он не может еще сформулировать фразу: «человек человеку — волк», но он чувствует эту горькую истину.

С тоской глядит он на чавкающего дядю... Он даже не подходит, а напротив, отворачивается, бежит к маме и, лишь зарывшись лицом в ее юбку, судорожно и неутешно плачет.

Педан, из вольных, однажды сказал мне: «В Харске один человек (фамилию я забыла) переезжает в Кривошеино на Оби. Он все распродает. Может, продаст тебе? Попытай счастья!»

Нам обещали «выходной». Я предлагаю Лотарю и Миньке сходить попытаться.

Они отказываются наотрез: «Мы с Минькой решили сходить в Черкесово. У нас есть деньги, и мы там наверняка найдем молока и рыбы».

Но я решила идти одна...

Задолго до рассвета сунула я в рюкзак пустой мешок, взяла клюку и пошла.

20 верст туда и столько же обратно. Надо спешить: осенний день короток.

Серебрится иней. Под ногами хрустит замерзшая трава. Я бодро шагаю, легко перепрыгивая попадающиеся на пути ручьи. Теперь я только удивляюсь: откуда бралась сила? И бодрость? Я еще не чувствовала слабости, на которую жаловались другие, но... У меня не было бюстгальтера на смену, и вначале меня это беспокоило: как быть, когда он порвется? Но вот пришло время, и я, выбросив порвавшийся бюстгальтер, с удивлением заметила.., что эта деталь туалета мне не нужна. Должна заметить как курьезный факт самозащиты организма, что у меня прекратилась менструация. В последний раз она была в тот день, когда нас выслали — 13 июня; через месяц — лишь сильно болела голова и только. Продолжалась эта пауза ...4 года.

До Харска я добралась благополучно. Больше того, я сумела купить 3 пуда картофеля. 3 пуда! Это целое богатство.

Нелегко было уговорить продавца. Он предпочел бы продать ее своим... Ведь к нам — пришлым нахлебникам — отношение было скорее враждебное... И не только оттого, что мы являемся конкурентами, претендующими на тот хлеб, которого там, в Нарымском краю, так мало, а оттого, что мы все те годы, что они страдали и умирали с голоду, все эти годы мы в Бессарабии жили в сытости и покое, уверенные в завтрашнем дне.

А эта «ретроспективная зависть»... все равно — зависть.

И вот картошка куплена: $1/2$ пуда — в рюкзаке, 2,5 пуда — в узком и длинном домашнем мешке. Нести удобно: рюкзак ловко сидит на спине, а поверх него поперек уложен мешок, так что я могу идти, даже почти не поддерживая его.

Первые пять километров — до реки Хар — я промчалась, не останавливаясь. Надо было спешить: снег, который начался еще утром, усилился. Еще таяло, но все было бело. Значит — даже эфемерная тропа и та уже не видна.

Останавливалась я около переправы, опустив мешок на высокий, выше метра, пень.

Глянула на переправу и ахнула: река прибывала — мостки посредине были уже залиты. Виднелись лишь перила...

Мутная вода казалась зловеще-черной, на берегах лежал снег. Вокруг жердей, на которых были прикреплены перила, бурлили водовороты. Впоследствии мама мне не раз говорила, что ежедневно, ложась спать, она добавляла в своей вечерней молитве: «Ангел Хранитель! Сбереги мою Фросеньку!» (так меня звали в детстве). И ее Ангел Хранитель, безусловно, не был безработным. Должно быть, плывущее бревно разломало кладку посредине реки, но я, нащупав ногой пролом, сумела через него перебраться... и не уронить картошку.

Лишь выйдя на другой берег и оглянувшись на пройденную переправу, я испугалась так, что ноги у меня подкосились.

Снег падал густой, липкий. Все вокруг приняло совсем незнакомый облик, я шла неуверенно — ведь и тот намек на тропу, по которой я прошла утром, окончательно исчез... Вскоре я убедилась, что попала не туда, куда надо. Мне стало не по себе. Но вот я снова вышла на тропу, вернее, на дорогу. Вот — барак, рядом — другой. Они пусты и заперты: люди на работе. Дальше контора. Из трубы валит дым.

Я вошла в сени. Пахнуло теплом. Я открыла двери, шагнула в комнату и... с отвращением выскочила вон.

Что я там увидела?

Я там увидела картину... полного благополучия: за низким столом вокруг большого эмалированного таза сидит семья: отец — рыжий толстяк, весь лоснящийся от жира, и пять или шесть карапузов — налитых крепышей; рядом мать — дебелая, мордатая бабища, нарезающая хлеб. В тазу — лапша с бараниной, плавающей в жире... Месяца два тому назад подобная картина могла бы меня умилить, но... теперь я сразу себе представи-

ла, сколько рабочих нужно обворовать, сколько детей можно заморить голодом, чтобы семья их начальника могла за один присест сожрать килограммов 5 мяса (не считая прочего), если на рабочего отпускают 50 гр мяса (60% — кости) и 20 гр крупы (или лапши) в сутки?

Выражение вороватого испуга и жест, которым старшие попытались прикрыть таз с мясом, подтвердили мою догадку.

Удивительное дело! То, что я испытала, было более похоже на брезгливость, чем на негодование. Будто я попала рукой в мерзкую слизь.

Я не знала дороги, наступили сумерки, я устала и промокла, и впереди было кочковатое болото и зыбуны, которые нужно было пройти засветло, но я не могла просить об услуге того, что обворовывал голодных и обездоленных невольников.

Я подхватила мешок и пошла наугад.

Какой инстинкт вел меня — я не представляю себе; еще меньше могу я объяснить, откуда брались силы? Я шагала из последних сил, и мешок, который мне казался сперва легким, прижимал меня к самой земле.

Каждый шаг казался последним.

Но вот лес поредел, я вышла на луг и... Далеко, за излучиной реки... блеснул огонек.

Какое счастье, что они догадались не потушить лампу! Я бы свалилась в полутора-двух километрах от цели.

Но какими бесконечными казались мне эти два километра.

Один шаг — и я останавливаюсь, тяжело дыша. Я не смела снять мешок, т. к. чувствовала, что не смогу его поднять с земли. Только вид огонька возвращал мне силы. Пройдя лужок, я очутилась в роще, за которой находился наш барак. Деревья заслонили огонек, и это окончательно лишило меня сил. Я свалилась.

Было далеко за полночь, когда я вновь с трудом взвалила «на горб» мешок и, дрожа от усталости, поплелась.

Вот лестница. Ухватившись за перила, последним усилием я одолела и ее, но переступить порог не смогла: я только рванулась вперед и... растянулась на пороге. Мешок картошки глухо стукнулся об пол, и я потеряла сознание.

Подняли меня Анна Михайловна и дневальная. Никто не захотел прерывать свой сладкий сон.

Да! Тогда я была лучше, чем теперь.

Я всегда старалась не приобретать «житейской мудрости», которая своей копотью покрывает все то, что в душе должно быть прозрачным, как хрусталь. И все же теперь я не была бы способна поступить так, как я поступила тогда... Я разделила картошку на пять равных долей и себе взяла лишь одну: остальное предназначалось Лотарю, его матери, Миньке Слоновскому (как его другу и кузену) и... Елене Греку (просто, как землячке).

Это была последняя картошка, доставшаяся мне в Нарымском краю. Ох! И нелегко же она мне досталась!

А Лотарь и Минька это воскресенье провели в Черкесове — попивали молоко, ели рыбу, творог, сметану... На мою долю они «не догадались» чего-нибудь купить: то ли больше не нашли, то ли денег не хватило...

Но тогда я еще не умела отличать эгоизма от необходимости.

Не могу сказать, что я была ненаблюдательной. Просто иногда недостаточно увидеть, чтобы заметить! Вернее, понять увиденное. И труднее всего заподозрить в других то, на что сам не способен.

Я возмутилась, когда Елена Греку сказала:

— Очень бесстыдные здесь девушки! Особенно Аксинья: за миску похлебки... И даже не отойдут подальше, а прямо... рядом, у крыльца...

Увы, не только Аксинья, а и Мотя, Фрося, Нюра. Чего тут больше — голода или бесстыдства, — решить я так и не смогла.

Груня Серебрянникова — вольная. Она не была сослана, когда раскулачивали или проводили коллективизацию. Она представительница «местной аристократии», предки которой были сосланы в Сибирь за убийство еще при царях. Не то она вдова, не то мужа взяли в 37-м. Но у нее пятеро сыновей. Все от разных отцов и носят разные фамилии, к тому же птичьи: есть Ласточкин, Скворцов, Воронов, четвертый — не птичий и, наконец, пятый, Колька Орлов, который, по ее словам, сосал грудь до семи лет.

— Запрягу ему коня, нагружу в сани назем, а он отвезет на огород, раскидает, а как вернется, кнут за пояс и идет ко мне: «мамка, титьку!», — рассказывает она с какой-то особой гордостью.

Турыгины — ссыльные. Должно быть, видали лучшие дни.

Отец — в прошлом часовых дел мастер — начитанный, образованный, но «убитый судьбой» человек. Он и вся его семья — обреченные люди: здоровье у всех подорванное, а в тайге выживают лишь сильнейшие.

Пашке — 18-й год, и далеко зашедший туберкулез. Лесоруб. Обожает книги, и сам немного поэт. И художник... рисует жилочкой на песке (бумаги нет, как нет и глины, почва там — песок и торф).

Шуре шестнадцать, и тоже туберкулез. Любит петь очень слабеньким, но верным голосом. Замечательная рассказчица: говорит плавно, красиво и очень образно. Работает тоже в лесу.

Володька, одиннадцати лет, на редкость одаренный мальчик с пытливым умом. «Ах! Если бы я мог учиться! И еще рисовать... Тетенька, давайте говорите со мной по-немецки — я выучусь, ей-богу».

И правда, работая неподалеку от меня, он постоянно меня расспрашивал и вскоре уже мог кое-как склеивать немецкие фразы.

Зимой он работал кольцевиком — носил почту из Суйги в Усть-Тьярм — 55 км. Встречались мы редко, и он с такой грустью говорил: «а я начинаю забывать немецкий. Так жалы»

Есть еще Вася — левша, лет шести. Хилый, с большими ушами и умными глазами. Он и мать — всегда больная, грустная женщина — из барака не выходили. Поражало, как этот юный философ мог часами болтать босыми ногами, монотонно повторяя:

— Исть охота, а исть — нечего!

Колька Орлов, которому было десять лет, в лесу не работал. Но он колол дрова для кухни. В свободное от работы время он любил играть с Володькой Турыгиным. И Груня Серебрянникова ему выговаривала:

— Сколько раз я тебе запрещала играть с Турыгиным. Он тебе не пара. Он — ссыльный, а ты — вольный.

Меня так поражала эта кастовость!

Так постепенно я убеждалась, что в стране, в которой мне суждено было проживать и которая претендует на звание «бесклассового государства», существуют не только резко разграниченные классы, но и что между этими классами, вернее кастами, глухая стена враждебности и недоверия.

Где-то, наверху — господствующий класс, «класс угнетателей». К ним я еще не успела присмотреться и соприкоснулась с ними лишь дважды: когда они руководили изгнанием нас с мамой из родного дома, и когда они руководили «великим переселением народов» в телячьих вагонах из Бессарабии (и как в дальнейшем я узнала, из Литвы, Латвии и Эстонии).

Ссыльные тридцатых годов. Это очень пестрый контингент — несчастный, запуганный. Большая часть — с Украины или из Алтайского края. Глубокие старики и молодежь. Люди 40 лет редки. Много женщин с детьми. Как мне после объяснили, мужчин похватали в 37-м году.

Там-то, в Нарымском крае, я и услышала впервые о 37-м годе, когда по рекам шныряли катера — «черные вороны», и люди по ночам вздрагивали, заслышав рокот мотора.

Должна признаться, что когда в Бессарабии мы читали об этом в газетах, то до нас это не доходило, равно как не доходило, что во время коллективизации людей высылали целыми семьями в Сибирь.

— Наверное, совершили преступление — поджог, убийство, что ли, а потому и выслали. Кто поверит, что наказывают без вины.

Равно как не верили, что в 33-м году на Украине был голод.

— Слыханное ли дело — на Украине голод? Да Украина всю Россию прокормит и еще для экспорта останется! Все это капиталисты от зависти клевещут.

Да-с! Поверишь лишь тогда, когда тебя самого жареный петух в ж... клюнет!

Но был еще один «класс», положение которого было для меня не совсем понятным.

Как-то к нам пригнали молодежь 17—18 лет.

Сразу бросалась в глаза некая порода—черты лица, фигура, посадка головы, тонкие руки с длинными пальцами. Обуты они были в веревочные лапти или чуни и в колхозную дерюгу, тем неожиданней было слышать, когда они пели... романсы Чайковского, Глинки или оперные арии... Разговорная речь была уже сильно засорена сибирским диалектом и матюгами, но в ней проскальзывали книжные обороты речи и неожиданные для тайги слова. И ко всему этому они были... неграмотны, или, в лучшем случае, безграмотны.

Следует добавить, что развратничали они на глазах у всех и к тому же закатывали сцены ревности.

Что привело их в Сибирь и что довело их до такого состояния—осталось неясным. Говорили, что это дети, потерявшие родителей и «усыновленные» колхозом.

«Потерявшие»! Умерли от голода в 33-м? Тогда, однако, прежде всего умирали дети. Погибли в 37-м? Или, быть может, где-то живы, но в тюрьме, а детей просто отобрали? Как у наших женщин отобрали мужей, сыновей?

Много непонятного встречала я. Кое-что поняла после. Но как поют Катя—«Ночь тиха» или Толя Гусев—«Средь шумного бала»,— этого я забыть не могу.

И все же хотела бы понять...

Дорога в Усть-Тьярм. В Харске. Рыбная ловля. Философия старика Лихачева

Сезон лесоповала в Анге подходил к концу. На зиму нас должны были перегнать на другую лесосеку. Куда—еще нам не объявляли, и пока что меня и Груню Серебрянникову откомандировали километров за сорок в Усть-Тьярм.

С наступлением морозов большая часть болот и речек замерзала, и надо было подготовить дорогу — зимний путь, по которому зимой подвозят сено из Анги в Усть-Тьярм для лошадей лесовозчиков.

«Дорога»—это не то слово, но... другого я не нахожу для того, чтобы объяснить то, что ее заменяет. Еле заметная тропа вьется так называемым «кыргызовым болотом» — болотом, покрытым кочками — крупными, поросшими осокой и змеевиком. Кочки похожи на «голову папуаса». Кругом—жидкая и глубокая грязь. Если оступишься—весь сапог погружается, а «головы» качаются, как будто на шее. Редкие, чахлые, кривые сосны; там, где поверхность гладкая—«зыбун»—незамерзающая трясина.

Когда же дорога проходила по песчаным гривам, поросшим сосной, то продвигаться можно было почти беспрепятственно, зато в еловом лесу работы было по горло: корни елей не держатся в песке, и при малейшем ветре деревья валятся, подымая на корнях подобие стенки—вроде гигантского гриба. Сдвинуть с места эти деревья невозможно, и приходится выпиливать сутунок достаточной ширины для прохождения саней, затем при помощи стягов откатывать сутунок к краю дороги.

Утомительная и весьма трудоемкая работа!

Предполагалось, что пробудем мы в пути дней 4—5, и продукты нам выдали на неделю. Вот что нам дали: по одной буханке хлеба, по стакану пшена, одну соленую щуку на двоих: Груне—голову, мне—хвост.

Даже трудно поверить, что на таком пайке можно работать несколько дней... причем ночевать под открытым небом в летней одежде и сапогах, даже без рукавиц! Но я была рада: хоть какое-то разнообразие.

Хорошо, что моим «ментором» была опытная сибирячка, выросшая в тайге, среди болот. Без нее я бы замерзла на первом же ночлеге... если не утонула бы до того в зыбуне...

Когда мы вышли, зима еще не вступила в свои права. Подмерзало. Мела поземка. К вечеру сильно приморозило. Мы, особенно я, промокли чуть ли не до пояса.

Счастье, что Груня была не только хорошим проводником, но и опытным лесовиком. Она уверенно указала место для ночлега. Пока я рубила еловый лапник и связывала—старательно, но неумело—шалаш, Груня свалила две смолевки-сухостоины, распилила их и обтесала так, что, положенные рядом, они вплотную прилегали одна к другой и были обращены комлями чуть вверх и в сторону шалаша. Несколько смолевых щепочек—и огонь запылал между обоих бревен, и жар почти без дыма потянулся в наш шалаш. Вскоре мы не только обогрелись, но разомлели от приятной теплоты. Мы разулись и обсушились, вскипятили в кружках воду, и тогда я вполне оценила по достоинству это сибирское изобретение (название его у меня ускользнуло из памяти). И еще я поняла, какое это блаженство—попить кипятку (его почему-то здесь называют чаем).

Наутро мы убедились, что наступила зима. Мороз был 18—20°. Мы быстро шли и еще быстрее расправлялись с валежником, преграждавшим путь. Надо было во что бы то ни стало добраться до Торгаевского балагана,— среднее между сторожкой и шалашом,— некогда построенного черкесовским охотником Торгаевым.

В щели дуло, в окне не было стекол, но окно мы заткнули сеном, растопили печурку, вскипятили воду. Здесь я съела последний остаток хлеба. Осталась лишь кожа от соленой щуки, которую я весь следующий день сосала, чтобы обмануть щемящий голод.

Незадолго до полуночи к балагану подъехал лесной объездчик. Тут-то я впервые увидела то, что в Сибири называется «выстойка».

Потную, тяжело водящую боками лошадь привязывают коротко, высоко задрав голову, к дереву и оставляют ее так часа на два. Она стоит вся заиндевелая, кучерявая от мороза. На морде намерзает борода из сосулек. Лишь после такой «выстойки» лошадь поят, кормят и иногда вводят в стайку, загончик, хотя сама стайка—несколько досок—почти не меняет ее положения.

Удивительнее всего то, что сибирские лошади на редкость крепки и здоровы.

На 4-й день мы дошли до Усть-Тьярма. Последний день я подкрепилась лишь брусникой, которую добывала из-под снега. Это, может быть, вполне удовлетворяет куропаток, но для меня было явно недостаточно.

Груня решила остаться еще на два дня в Усть-Тьярме. Я же на следующий день еще задолго до рассвета пустилась в обратный путь со смутной надеждой хоть чего-нибудь поесть, хотя паек мне был выдан на неделю.

С собой я взяла лишь топор... и тот показался мне ужасно тяжелым. В глазах рябило от голода и усталости! Но вот вдалеке замаячил барак.

Увы. Он был пуст.

Нетопленая печь, снег на полу...

Трудно было уснуть. Голод разрывал внутренности, а усталость разламывала кости. В довершение беды мороз жег и царапал, как когтями, и не было сил сходить в лес за дровами.

Но все же я забылась тяжелым сном с кошмарами.

Утром я поплелась в Харск.

Население нашего барака, очевидно, эвакуировалось накануне. Следы не успело замести, и я шла по хорошо утоптанной тропе.

К полудню добралась до Харска.

Рабочих бараков там не было, и наших бессарабцев распределили по избам. В конторе мне сказали, что я должна поселиться у Ивана.

Там же я застала Анну Михайловну с Лотарем.

От избы осталось кошмарное впечатление: темно, грязно, воняет, и все копошится от тараканов, а ночью—еще и от клопов.

Как-то, еще в Анге, одна из дочерей Лихачева сказала:

— В Усть-Тьярме хорошо—живешь в бараке, своя койка, тумбочка на двоих—житуха! А вот когда расселяют по квартирам, как, например, в Харске—ох, как не люблю! Нет хуже квартир!

Но у меня к баракам было какое-то отвращение. Всегда в толпе, на глазах у всех... Что-то от казармы и от стада... На квартире, казалось мне, лучше: как-никак — в семье.

Вот в Харске мне и пришлось пересмотреть свои взгляды и отказаться от предубеждений. Спору нет, плохо в бараке, но на квартире хуже.

Но нам еще повезло: хозяева наши были сердечные люди. Больше того! Благодаря их великодушию мы смогли хоть один раз поесть досыта.

Впрочем, великодушие было не так уж велико: просто хозяин был не настолько голоден, чтобы съесть ту часть лошадиных кишок, которая досталась ему от издохшей в леспромхозе лошади. Эта конская требуха, неочищенная от содержимого, сперва немного протухла, а затем замерзла. Хозяин не стал с ней возиться и уступил ее нам с Лотарем.

Анна Михайловна — хоть и «профессор» кулинарии — наотрез отказалась от попытки изготовить изысканное блюдо из этих кишок, так что пришлось мне взяться за дело.

Труднее всего было разморозить кишки — что я сделала у проруби на реке Хар. Дальше пошло все гладко: я их вычистила, выскоблила, вывернула, прополоскала — и надо было видеть, как мы с Лотарем уплетали за оба уха это варево! Варила я его в чугунке без дна. Дно я вставила... деревянное и варила, обкладывая чугунок углями.

Ох и наелись же мы... Анна Михайловна не могла побороть отвращения... Мы же с Лотарем не могли оторваться от чугунка, пока его не опорожнили. От еды мы разомлели и еле дышали.

— Давайте условимся, — сказал Лотарь, — условимся ежегодно отмечать число 11 ноября, когда мы в первый раз поели досыта!

Увы! Правильней было бы сказать — в последний раз...

— В воскресенье будет полнолуние, — сказал наш хозяин, — мы с Петром Чоховым пойдем ночью рыбачить. Если хочешь, попытай счастья и ты.

— Разумеется, хочу! Но... ведь надо какие-то снасти?

— Э! Да ты не понимаешь! Нынче снега мало выпало. Лед толстый, рыба задыхается. Мы кое-где пробьем лунки — рыба туда и подойдет дышать. Кроме того, мы знаем, где родники: там лед тонкий — воздух просачивается. Есть места — ударь каблуком — и дыра! Вот из таких лунок рыбу черпаком знай выгребай на лед. Ну, а которая от нас увильнет, то она опять к лунке вернется. Сможешь ее поддеть — твое счастье!

Разумеется, не сказать этого Лотарю было бы не по-товарищески (Миньки уже не было: он вернулся в Суйгу). Лотарь сперва с восторгом согласился... Когда же дошло до дела... После целого дня работы, когда все тело разломило от усталости... Под шерстяным стеганым одеялом (он спал с матерью) так тепло, а мороз лютый! Градусов 30, должно быть... А там еще промокнешь, да на таком морозе... бррр!

Нет! Ни за что он не пойдет! Под маминым одеялом так уютно! И я пошла одна, захватив мешок.

Ночь была неправдоподобно красивой. Луна до того ослепительно-яркая, что звезд на небе почти не видно; зато на снегу загорались и переливались разноцветными искрами тысячи звезд. Полное безветрие. Сосны и ели не роняют снега. Лишь изредка гулко треснет дерево и опять тишина, да снег под ногами хрустит.

У Ивана и Петра «черпаки»: к держаку прикреплен круг из черемухи и на него натянут кусок сети. У меня — ничего в руках. И пустой мешок.

Вот лунка. Разбив тонкий, как стекло, лед, они, быстро и ритмично погружая в прорубь черпаки, выбрасывают на снег трепещущих рыбешек. Чебаки и окуни, реже — щучка, ерши... Идут дальше. Так — во второй, третьей лунке... Вот они подходят к месту, поросшему тростником, возле крутого берега. Здесь ключи, лед тонок и, кроме того, тростники служат отдушинами.

Петро просто каблуком пробивает лед. Рыбы под ним — видимо-невидимо, и они начерпали две изрядные кучки.

Присмотревшись к этой процедуре, я, уловив, в чем суть дела, вернулась к лункам и принялась ловить рыбу... просто руками!

Рыба скользкая, ухватить ее трудно. Зато если опустить в воду обе руки с растопыренными пальцами и поддержать ими рыбу, то получается неплохо, и моя доля улова быстро растет.

Но я увлеклась: там, где были родники, я при свете полной луны увидела большущую рыбину и, забыв об осторожности, погрузила руки по самые плечи.

Ура! На льду трепыхалась щука килограмма на три с половиной, а то и более!

Знай наших! Чем я не рыбак! И, в восторге от своей удачи, я забыла об осторожности. Вот возле мыска, круто спускавшегося вниз, стоят тростнички. Должно быть, тут лед тонок. Я его пробью — и рыба моя!

Увы! Лед оказался слишком тонким, и не рыба попала ко мне, а я — к рыбам!.. По счастью, воды там оказалось чуть выше колен, и я благополучно выкарабкалась. В проруби рыбы так столпились, что я и не думала о морозе, о том, что промокла: я устремилась к воде и стала выбрасывать рыбу на лед. Но... мороз вновь напомнил о себе, когда охотничий пыл стал ослабевать. Я не решилась скинуть сапоги, так как опасалась, что они задубеют и я не смогу их надеть.

После неосторожности я совершила глупость: я попыталась, задрав кверху ноги, вылить воду из сапог. Вода из сапог вылилась... вернее — перекочевала в мои брюки и даже проникла под мышки.

Чтоб не замерзнуть, пришлось поспешить домой. Но цель была достигнута: мешок был полон мелкой рыбешкой, и поверх нее я уложила мою «гордость рыболова» — крупную щуку.

Я мечтала об отварной щуке. Разумеется, мне бы и в голову не пришло съесть ее самой! Мы бы ее ели втроем — душистую уху. Это не протухшие конские кишки, а свежая, пойманная мной, причем пойманная прямо руками, щука.

Весть о моей удаче распространилась по Харску. И тут-то мое представление о взаимной выручке и святости товарищества выдержало серьезные испытания.

Ко мне подошла Анна Михайловна и несколько смущенно сказала:

— Ах, Фросинька! Мы с Лотарем в такой беде, что никто, кроме вас, нас выручить не может. У нас нет ни копейки денег, и с этим переездом туда-сюда мы ничего не зарабатывали. Нам не на что выкупить свой паек!.. А тут одни соседи хотят справить именины и просят продать им эту щуку — на заливное...

Даже если бы я не увидела в ее глазах мольбы, я бы ей никогда не отказала...

Я протянула ей щуку и сказала: «Продавайте!» и отвернулась.

Еще тогда, когда плыли в Ангу, мы однажды заночевали на берегу Старицы. Все побрели в поселок на берегу Чулыма, а возле лодки остались ночевать старик Лихачев, наш проводник, его младший сын Илюша — курносый паренек лет двенадцати-тринадцати, и я.

Спасаясь от комаров, мы развели костер и, разумеется, вскипятили чай, то есть кипяток.

У меня был сахар — последние 6 кусков, и я разделила поровну на нас троих. Лихачев взял сахар, повертел его в руках и как-то странно посмотрел на меня.

Когда мы попили чаю, он заговорил:

— Слушай, Фрося, что я тебе скажу: береги для себя то, что у тебя есть! Тебе предстоят тяжелые лишения, и никто тебе не поможет. Я взял твой сахар — я его, может быть, годами не видел! И ты здесь его не скоро увидишь...

— Этих нескольких кусков мне до самой смерти все равно не хватило бы... И, кроме того, скучно глодать свою кость и рычать на всех, как собака...

— Это так! Но жизнь здесь хуже собачьей: собаку пожалеют, а волку не на что надеяться и не на кого... Запомни мои слова: никогда и ничем не делись. Скрывай свои мысли, неосторожно высказанное слово может быть обращено против тебя и погубить тебя; скрывай, если тебе в чем-нибудь повезет: тебе могут позавидовать и погубить тебя; скрывай боль, скрывай страх, страдание и страх сделают тебя слабой, а слабых добивают: таков закон волчьей стаи! Скрывай радость, в нашей жизни так

много страдания, что радость подозрительна, и ее не прощают, но прежде всего скрывай каждый кусочек хлеба: ты скоро поймешь, что наша жизнь — на грани голодной смерти, и тебе так же придется кружить в заколдованном кругу: чтобы заработать кусок хлеба, надо затратить много сил, а чтобы сохранить силу, надо съесть тот хлеб, что ты заработал. Голод будет твоим постоянным спутником. За спиной притаилась смерть: от нее не жди пощады! Она не прощает слабости; а силы у тебя скоро отнимет голод. И в борьбе со смертью и голодом никто, кроме тебя самой, тебе не поможет!

Должна признаться, что жизнь не опровергла ни одного из постулатов Лихачева, но... слава Богу!.. я, к счастью, продолжала делать свои ошибки и не прониклась его мудростью.

Мы покидали Харск без сожаления. И, разумеется, не только потому, что ужасно надоели клопы, от которых горит все тело, и тараканы, запах и шуршание которых вызывали тошноту, а щекочущее прикосновение заставляло вздрагивать от омерзения, и не оттого, что вся семья нашего хозяина непрерывно так или иначе услаждала наш слух: младенец не ревел лишь тогда, когда мамаша хриплым голосом его убаюкивала:

Ах ты Коля-Николай, ты собакою не лай,
Ты коровой не мычи, ты, мой Коленька, молчи!

Дочки пели пошлые частушки городского типа:

На столе стоит стакан, под стаканом — таракан;
Если хочешь познакомиться — подари мне сарафан.

А папаша постоянно мурлыкал унылую песню и прерывал это мурлыканье лишь для того, чтобы материться. Впрочем — беззлобно.

Возле Харска настоящего лесоповала уже не было: весь лес был давно уничтожен. Местные жители, старожилы, обосновались и обжились так давно: были у них коровы (за которых, впрочем, платили убийственный налог, и не только молоком, но... мясом и кожей: 16 кг мяса и 1/4 кожи в год... с живой коровы!); были огороды, на задах, за домами. Упорно внося удобрение, создавали на песке почву (при мне эти огороды наполовину урезали — просто велели забросить, чтобы вынудить людей работать в лесу, хотя леса-то и не было); они рыбачили и охотились, всячески изворачиваясь, собирали грибы, ягоды, кедровые орехи... Одним словом, местные жители боролись с голодом... и водили за нос Смерть. А на что было рассчитывать нам? Один раз — да и то случайно — выручила щука. А дальше?

И вот мы идем гуськом по первому глубокому снегу. Впервые видела я хвойный лес зимой, и он меня буквально очаровал! Но по мере того как усталость брала свое, мы все более и более становились похожими на отступающих наполеоновских солдат...

Картина оживилась лишь тогда, когда мы подошли к трясинам, ненадежным даже зимой (некоторые из них вообще не замерзали). Лошадей нельзя было перевести и их... перетащили, повалив и связав им ноги. Несколько человек расходились веером и тянули за веревки лошадь, привязанную за недоуздок, за ноги и за хвост. Груз переносили вручную и затем вновь навьючивали.

Тогда мне вспомнился рассказ, показавшийся неправдоподобным, о том, как сторож из Усть-Тьярма (летом там, кроме сторожа, никого нет) доставил туда из Суйги корову.

90 километров везли несчастную Буренушку, связанную «по ногам и по рукам» в обласке (долбленка из вербы), перетаскивали из речки в речку. Поистине живется невесело и людям и животным в этом жутком краю!

В Усть-Тьярме. На волосок от смерти

«Хрен редьки не слаще» — и знаменитый Усть-Тьярм оказался не многим лучше Анги, Харска или Суйги. Лес тут был, и даже очень устрашающий, но ходить до места работы далеко, и по дороге туда и обратно приходилось переправляться через речушки, характерные для этого края — узкие, но глубокие и быстрые. Поэтому большинство замерзает поздно и то оставляет полыньи. Мостов и в помине нет: надо переходить по стволу, опираясь на жердь. Переходя по скользкому бревну, тащишь с собой жердь на другую сторону. Случалось, что все жерди оказывались на одном берегу. Попробуй переберись так!

Здесь бытовые условия были, пожалуй, лучше: койки, тумбочки — все топорное, но сравнительно чистое. В Усть-Тьярме я наконец смогла купить валенки и телогрейку. Даже трудно поверить, что до того, несмотря на морозы (более 40 градусов), я работала по 12 часов в той курточке и кирзовых сапогах, что были на мне 13 июня в Бессарабии...

К сожалению, надежды на то, что с питанием в Усть-Тьярме будет больше порядка, не оправдались. Мало того, что норма была до безобразия мизерная, продукты разворовывались начальством.

Развеселил меня случай с Груней Серебрянниковой! На нашу лесосеку приезжал какой-то профсоюзный деятель — некий Антонов, и на следующий день Груня «по секрету» хвасталась, что он обещал ей место повара (за место у котла шла такая борьба, как в Румынии за должность министра). Когда же Антонов уехал, и выяснилось, что поварихой назначена своячченица Антонова, барак наполнился воплями и проклятиями.

Первая завопила Груня: «Ах он, гнида окаянная! За его обещание я с ним, с гадом, переспала, а он назначил свою Дуську!»

В том же смысле, но в несколько других выражениях жаловались и вопили 8 девок из нашего барака — почти весь наличный бабий персонал.

Вот это профсоюзный деятель! Любому жеребцу даст фору!

Тут, в Усть-Тьярме, я в первый раз заметила, как сдает позиции Анна Михайловна...

Однажды ночью я увидела, что она сидит на своей койке, грустно уставясь в одну точку...

— Анна Михайловна! Что это с вами? Отчего не спите?

— ...Я так хочу пшенной каши, Фросенька. Пшенной каши! С молоком... — в голосе слышались слезы.

Часто слышала я это выражение; часто испытывала на своей шкуре, что это значит, но первая встреча со смертью, казалось, неминуемой, особенно запомнилась. «Нельзя подпиливать то дерево, на котором зависла лесина».

Это — правило техники безопасности.

Но надо перевыполнять нормы; работать приходилось в самом напряженном темпе. Где там было думать о технике безопасности? Самое первое из правил: работать можно лишь до наступления сумерек — звучало насмешкой: светало к 10 часам, а в 3 часа пополудни было уже темно. Мы же работали от семи до семи, при свете костров, на которых сжигали ветви, вершины и вообще весь некондиционный лес.

Несколько слов о нормах и кондициях.

Я не берусь судить о том, как обстояло дело на других лесоразработках; я говорю лишь о Суйгинском леспромхозе, где начальником служил Дмитрий Алексеевич Хохрин.

Мы были отрезаны от всего мира — даже от НКВД. Хохрин для нас — царь и бог, и мы целиком отданы на его милость.

Я была повергнута в полнейшее недоумение: когда разнеслась весть, что нашим начальником будет Хохрин, то люди — взрослые мужчины, лесорубы... плакали в отчаянии... «Ну теперь мы все и наши семьи погибли!» — говорили они. (Его предшественник, Андриаш, был призван

в армию, но поезд, в котором он ехал, разбомбили, и он до фронта так и не добрался.)

Мне понадобилось немало времени, чтобы понять, насколько они были правы. В сущности говоря, мне и по сей день не все понятно. На чем была основана его безграничная власть?! На том ли, что он — вольный, партийный, что от него зависят величина и оплата нормы, количество отпускаемых продуктов, продолжительность рабочего дня? Или на том, что мы — ссыльные, лишенные прав невольники? На том, что нашей жалобы никто не услышит, а если услышит, то все равно не поверит? На том ли, что голодная смерть угрожала нашим семьям, и эти самые семьи являлись как бы заложниками, обеспечивающими покорность?

Деспотизм — в любом масштабе — зло, так как власть над людьми побуждает к злоупотреблению властью; если же деспотом является садист, к тому же помешанный, то...

Нет! Тут я не нахожу слов. И никогда не смогу объяснить на словах весь ужас положения бесправных людей — пусть затравленных, но все же людей...

Норма, которая до Хохрина была 2,5 м³, была сперва повышена до 6 м³; затем он провозгласил военный график и потребовал 9 м³ на человека, а под конец принял обязательство, равное 12 м³.

Как могли люди — голодные, истощенные, вынужденные работать на непривычном для них морозе, выполнить подобные нормы?! Одну норму приходилось выколачивать за несколько дней.

Оплата первых сорока норм была смехотворной; после сорока норм начиналась дополнительная оплата; после восьмидесяти — доплата возрастала, и лишь по выполнении 120 норм плата достигала более или менее сносного размера.

Только... Попытайся их выполнить!

Ведь сначала необходимо было выполнить нормы одного вида. Если переменишь вид работы, то... предыдущие, выработанные уже нормы, аннулируются!!!

Я, например, работала на раскорчевке, на прокладке узкоколейки, работала вальщиком, сучкорубом, подсобником и ошкуровщиком, посылали меня на расчистку зимней дороги и вообще перегоняли с места на место... Я бы долго, наверное, не разобралась, в чем дело, пока дядя Педан, старейший и опытный лесоруб, не растолковал мне, почему меня перегоняют на другую работу, как только набирается количество норм, близкое к сорока. Например, подсобным вальщиком — 38 норм, сучкорубом — 36, а трелевщиком — 32.

Вторая закавыка, делающая труд непроизводительным, а норму невыполнимой — это бракеровка. Бракеровка — работа «блатная», т. е. легкая и неопасная. Лесоруб-раскряжовщик распиливает «хлысты» (лесины) на бревна определенного назначения. Самая ценная лесина — это «кумуляторный шпон для фанеры — специально для нужд авиации (дело было в 41-м году). Для этого «шпона» кряжуют безукоризненный кедрач — без сучков, кремнины, синины и т. п. — длиною 2,2. Затем шпалы — кедр и лиственница, «телеграфник» и «распиловочный» 3-х сортов и, наконец, «дровянник» — то есть те лесины, у которых легкая кривизна, большие узлы от ветвей или негабаритные. Причем дровянника должно быть не больше 5% от общего количества!

Вот это — настоящая ловушка.

Северный район. Сплошные болота. На этих болотах сотни лет растет этот лес, борясь за свое существование. Разве можно требовать, чтобы в вырубленной делянке (а рубить надо все подряд, оставляя голую почву, и даже пни следует ошкурить) было 95% отборного леса? Особенно сосны, которая хорошо растет южнее, а здесь, на крайнем севере — да еще вековая — обязательно с гнильцой или кривизной.

Свалишь, бывало, сосну, а у нее в сердцевине — гниль. Значит, откомлюешь 1 м. Опять — гниль! Опять отпиливаешь чурку — на сей раз — 70 см. Опять! Пусть даже не гниль, а потемнение, все равно — режь дальше.

Бывало, проработаешь целый день... и ни одного бревна тебе не запишут! «Деловая» древесина не должна иметь дефектов, а «дровянника» — не должно быть больше 5%!

И самое поразительное, самое чудовищное, что весь лес, который не проходит высшими сортами, должен быть сожжен!!! Огромные лесины, распиленные на чурки, — сжечь! Вся сосна (а ее там очень много) должна быть сожжена. Ну и, разумеется, все вершины, ветви, хвоя.

И эта каторжная работа производится совершенно бесплатно!

На какие же деньги купить свою пайку хлеба — единственное, что сохраняет нашу жизнь? Нет денег сегодня — пайка пропадет: завтра на нее утрачено право.

Что ж удивительного, что работали мы как одержимые?

Хлыст завис на соседней лесине... Надо зацепить его кошкой и стащить. Но... одному не под силу. Да и кошек нет. Значит, остается одно: подпилить ту лесину, на которой завис. А если оба хлыста зависнут на третьем? Подпилить и его... А с каждым разом опасность все больше...

Вот однажды 6 хлыстов зависло на седьмом и, когда я начала его подрубать, все 7 деревьев с воем и грохотом повалились на меня.

Бежать? Снег — по пояс. Да и куда побежишь, когда кругом в вихрях снега валятся, все круша, смертоносные бревна?

— Фрося, беги! — отчаянно завопила Груня и грохнулась на снег в эпилептическом припадке...

Когда рассеялась снежная пыль, я с удивлением убедилась, что цела и невредима, чудом попав в «окно» среди перекрещенных деревьев. Но еще больше я удивилась тому, что пятеро лесорубов — в том числе мастер Иван Жаров — бьются в эпилептическом припадке.

Вообще удивительно, до чего часто встречаются эпилептики среди сибирских лесорубов! Сами они объясняют это частыми травмами и постоянным нервным перенапряжением. Мне это не совсем понятно, так как вообще тамошнее население — народ здоровый, закаленный, выносливый, и туберкулез, равно как и венерические заболевания, там абсолютно неизвестны; нет также и малярии, несмотря на обилие комаров. Если бы не истощение, вызванное хроническим недоеданием!

Еще один шаг по роковому пути. В Суйге

Впрочем — это лишь для красного словца. Когда я стала на путь, приведший меня в тюрьму, трудно сказать. Было ли это тогда, когда я подала воду несчастной матери новорожденного ребенка в поезде? (Меня с той поры взяли на заметку.) Было ли это тогда, когда я, случайно не попав в этап, добровольно явилась в НКВД? Или когда я не захотела с мамой уехать в Румынию? Или еще раньше, когда я не почуяла опасности 28 июня в 1940 году.

Каждый из этих этапов тернистого пути мог быть первым шагом. Однако все же кажется, что исход был предрешен в тот день — 3 декабря 1941 г. на собрании в клубе в Усть-Тьярме.

Да! Я забыла сказать, что последние дни в Усть-Тьярме я как-то отдалилась от Анны Михайловны и Лотаря — единственных из сорочан, с которыми меня связывала дружба.

Анна Михайловна, утратив свои пышные формы, как-то потеряла бодрость духа и мужество и стала усиленно искать лазейки, чтобы как-нибудь облегчить свою жизнь. Помог ей случай: жена мастера Жарова рожала. Бабки не было, и Анна Михайловна смекнула, что, выдав себя за акушерку, она войдет в милость к мастеру.

Ее родовспомогательный дебют сошел благополучно. Жаров на радостях подарил ей целую буханку хлеба.

Тот факт, что ей не пришло в голову угостить меня хоть ломтиком, навел меня на мысль, что старик Лихачев был не так уж далек от истины.

А там они устроились на более легкую работу: она — с топором на плече гуляла вдоль ледянки *, по которой возили лес, расчищая ее от ве-

* Ледянка — дорога, политая водой.

точек; ее сын тоже где-то пристроился. Я стала для них обременительным знакомством и, чтобы их не смущать, сама отошла в сторону.

И вот — событие: к нам, через тайгу, где на собаках, где на лыжах, приехал агитатор-докладчик. С самого того дня, когда на станции Чик мы слышали по радио Молотова, сообщавшего об объявлении войны, жили мы в полном неведении о положении на свете. Можно себе представить, что меня не пришлось, как других, чуть не силой гнать в клуб! Я была смертельно уставшей, но явилась, должно быть, первой.

Я ожидала очень многого от этого доклада. Повторяю, я была очень наивна и не имела представления о том, что у нас называется докладом и какой однобокой должна быть информация; меньше всего, однако, я знала, как нужно себя вести, что можно (аплодировать) и чего нельзя (размышлять, задавать вопросы).

Лектор (которого сопровождал приехавший с ним из Суйги Хохрин) прочел по газете доклад Сталина на праздновании годовщины революции. Читал он нудно и без выражения, делал остановки после имени Сталина, когда полагалось... бурно аплодировать.

Окончив газетную статью, он начал говорить речь, смысл которой сводился к тому, что временное наступление врага объясняется тем, что Сталин в своем миролюбии не хотел ввязываться в войну. Все свои ресурсы страна использовала на увеличение благосостояния ее граждан, которых не хотели обременять военными расходами. Германия вероломно напала на миролюбивую страну и захватила ее врасплох. Но это скоро в корне переменится. Стоит нам перестроить свою индустрию на военный лад, и мы им покажем! А пока что Америка — наш верный, мощный и свободолюбивый союзник — снабдит нас всем, что необходимо, используя порты Дальнего Востока и Персидского залива.

Доклад окончен. Аплодисменты. Есть вопросы?

— Да, есть!

Я стояла (все стояли, скамеек не было) в первом ряду.

— Меня интересует вот что, — сказала я. — Как отнесется Япония к американской помощи нам? Ведь по договору 1935 года между Японией и Германией Япония не обязана вступать в войну на стороне Германии, если агрессором является Германия — как это было в данном случае, но она обязана автоматически объявить войну каждой стране, которая будет помогать противнику Германии. Значит, следует ожидать, что Япония объявит войну Америке?

В клубе, очень маленьком помещении, битком набитом лесорубами, яблоку негде было упасть. Но когда я задала этот вопрос, вокруг меня образовалась пустота. Гробовое молчание. Слышно только сопение и шарканье тех, кто торопится отойти от меня.

Молчание становится тягостным. Я удивлена.

— Так как же: будет война между Японией и Америкой?

— Доклад окончен. Можете расходиться.

Последовала заключительная сцена из «Вия». Пожав плечами, я повернулась и покинула опустевший зал.

Этот доклад, имевший для меня очень тяжелые последствия, состоялся, как я уже говорила, 3-го декабря, а 8-го декабря — Пирл-Харбор — японцы напали без объявления войны на военно-морскую базу на Гавайских островах, во время которого 75% находившихся там судов было повреждено или затоплено.

Больше, чем через год, когда перед судом я подписывала статью 206 о том, что я «ознакомлена с материалами следствия», я заартачилась, захотела и впрямь их просмотреть. Тогда-то я и увидела, что Хохрин написал на меня сто одиннадцать доносов. Каждое мое слово, каждый поступок были там представлены как «неслыханная клевета». И, между прочим, тот вопрос, который я задала докладчику о японо-германском договоре 35-го года и о возможности японо-американской войны, он характеризовал как «гнусную клевету на миролюбивую Японию».

Но самое курьезное, что когда меня судили (и осудили), я еще не знала, что моя «гнусная клевета» через 5 дней оказалась пророчеством.

«Sic transit gloria mundi...»*

* Так проходит мирская слава. (Лат.)

Дня через два мне было велено явиться в Суйгу. Я уже привыкла к неожиданностям и не очень огорчилась. Скорее, наоборот. Больше меня огорчала отчужденность и холодность Анны Михайловны, которой я всегда была бескорыстным другом, перемена ее характера.

Не знала я, какие испытания ждут меня в Суйге!

Суйга была вотчиной Хохрина, и хотя гнет его «Железной пяты» ощущался во всех подвластных ему лесосеках, но именно в Суйге этот гнет достиг апогея.

Я все еще была оптимистически настроена; все еще верила, что моя откровенность и добрая воля, честное отношение к труду и — скажу откровенно — искренняя любовь к Родине выведут меня на прямую дорогу и дадут возможность занять место под солнцем.

Жили мы в Суйге, в так называемом «колхозном бараке» — сарае, где размещались обычно колхозники, отбывающие трудовую повинность. Колхозников в данный момент не было, и в бараке расположились вповалку на общих нарах ссыльные бессарабцы, а именно те самые обездоленные, которые не пристроились на квартирах.

Итак, жили мы в бараках, питались в столовке (2 раза в день, по 0,5 литра жидкой баланды по 24 коп. порция, а если «с мясом», то есть на бульоне из костей павшей лошади, то 70—76 коп.), хлеб получали по списку в ларьке, после работы, а работать ходили на Ледигу, за 7 километров (ближе весь лес был уже сведен).

Ледига... Узенькая, но глубокая, типично нарымская речка. В половодье, казалось, что это самая безобидная речушка, метров 7—8, от силы — 10 в ширину. Курица вброд перейдет! И лишь осенью в малую воду и зимой подо льдом становилось понятно, что такое нарымские реки: русло реки походило на каньон с отвесными берегами, прорытый сквозь мельчайший текучий песок.

Если упадешь в воду, то нет спасения: по такому берегу не выкарабкаешься!

Лес свозили на катища, расположенные на берегу Ледиги, и в паводок сплавляли его мулем — т. е. не сплоченный, а плотили на реке Суйге или в одной из стариц (старое русло; в половодье — рукав) Чулыма, где реку перегораживали цепями.

Сплав — очень тяжелая и опасная работа, но она сезонная: весной — это аврал, когда все работают и днем и ночью с величайшим напряжением; зато остальное время сплавщики готовят черемуховые вицы, коньки и прочее — все, что необходимо для связывания плотов, а также плотят лес в небольшие связки... на замерзших болотах: весной паводок их подымает и уносит в Обь.

Начальником лесоповала был некто Орлов — хороший, заботливый мужик. Его рабочие выглядели здоровыми.

Было ли это совпадением или действительно Ангел Хранитель, которому ежедневно мама поручала меня, не отходил от меня ни на шаг, я не знаю.

Но дело обстояло так.

Работала я на катище на берегу Ледиги. Моя обязанность заключалась в том, что я штабелевала лес, подвозимый возчиками. Каждый сорт складывался в отдельный штабель, а толстый лес — дровянник и распиловочный — я скатывала на лед: его в первую очередь должно было унести вешним паводком.

Моим инструктором на новой для меня работе был старик Кравченко — неунывающий хохол, единственный, не утративший добродушного юмора и, в противоположность всеобщей озлобленности, относившийся ко всем благожелательно.

Только от него можно было услышать дельный совет и незлобную шутку.

— Вот еду я, еду, — рассказывал он, — а на уме пшенная каша. Разваристая, духовитая, со шкварками... Так я о ней размечтался, что 28 штабелей мимо проехал! Язви те, с пшенной кашей! Пришлось ворочаться...

Помню я то морозное утро! Снег скрипел под ногами и казалось,

что воздух скрипит, попадая в легкие. Я застала на своем рабочем месте непорядок: горы толстых бревен были хаотически нагромождены на крутом берегу. Отчего их не скатнли вниз?

Обойдя все кругом, я попыталась сдвинуть хоть одно бревно. Не тут-то было!

Что за напасть! Надо посмотреть, что им мешает?

Захватив с собой надежный березовый стяг (рычаг) и топор, я не без труда спустнлась на лед.

Тут мне все стало ясно: огромный сутунок, сантиметров 80, ударился торцом в лед, пробил его и застрял вертикально, а следующие 3 лесины образовали своего рода шатер, на котором в хаотическом порядке нагромоздилась целая гора бревен.

Как тут быть? Мне этого затора никак не разобрать! А тем временем лес будут сваливать все дальше и дальше от берега... Я не управлюсь его скатывать! Наверное, сутунок уперся в дно. Я его чуть потревожу и отскочу в сторону.

Риск — благородное дело. Рискну.

Что произошло дальше, я плохо помню. Лед, в который я уперлась стягом, подался и... Я полагала, что бревно упирается в дно, и не приняла во внимание, что эти таежные речки чертовски глубоки!

Меньше чем в мгновение ока бревно нырнуло в прорубь.

Лед, земля и, наверное, и небо задрожали, что-то ухнуло рядом со мной. Стяг рванулся из моих рук, и я очутилась рядом с огромным бревном, рухнувшим наискось. И дальше — гул, треск, грохот, грохот, грохот...

И вдруг — тихо. Что-то вдалеке еще грохочет. Лед точно дышит; из проруби выплескивается вода, кругом трещины. Бревна еще катятся по льду вдоль реки. Почему-то вспомнились шары крокета.

Я еще не успела испугаться. И вдруг... все поняла: я лежу вдоль лесины, по которой сфуговался весь затор, и меня не задело, и лед не провалился. Ух!

Встаю... Теперь — только теперь до меня «доходит», и я чувствую холодное дыхание смерти.

Подымаю шапку, машинально подбираю топор и смотрю вверх, на берег.

На самом краю стоит Кравченко. Одной рукой прижимает к груди шапку, другой — крестится.

Никогда я не думала, что на морозе можно быть до того бледным!..

Он бросает мне вожжи и помогает выбраться.

— Ну, Фрося! Крепко за тебя кто-то молится! Я думал, от тебя и лепешки не осталось... Шуточное ли дело: 40 вагонеток леса через тебя перекатилось! Ну и ну!

Он даже с каким-то суеверным страхом посматривал на меня.

— Тебе — ни в огне не сгореть, ни в воде не утонуть. Ты заговоренная.

50 грамм хлеба. «Пироги». Голод

Ко мне на катище перед самым обеденным перерывом подошел Кравченко.

— Фрося, я уронил вот в тот штабель 50 грамм хлеба. Если хочешь, попытай счастья.

В обеденный перерыв нам полагалось 20 минут отдыха. 20 минут можно греться у костра. Обеда, разумеется, не было. Обед — надо понимать символически. Зато как дороги были эти 20 минут у костра! Должно быть, именно в этот день я ощутила, что голод начинает побеждать: я понимала, что отдых у костра мне нужнее, чем ничтожный кусочек хлеба, но была не в силах перестать думать о том, что где-то под штабелем лежит эта крошка хлеба — меньше, чем мы бы прежде бросили цыпленку!

Удивительное дело! Я даже не помню, добралась я до него или нет, помню лишь, что с ожесточением перекатывала бревна с места на место в течение всего обеденного перерыва.

Дед Кравченко подарил мне пару старых шубенных рукавиц. Какое счастье! Ведь до того я работала голыми руками, заматывая их тряпками. Обмороженные руки покрылись пузырями, а затем — язвами. Тряпки приклеивались, и каждый раз, отрывая их, я бередила раны. Топорище всегда было в крови...

Как-то, получив аванс — 5 рублей, которых должно было хватить на неделю... и которых никак не могло хватить, т. к. за хлеб надо было платить 96 к. за пайку — я задержалась в прихожей конторы, положив рукавицы на окно.

— Domnisoara Керсновская! — услышала я за собой тоненький голосок. Я обернулась. Передо мной стояла младшая девчонка Цую — худенькая, вся прозрачная, она до невероятности изменилась и уже ничем не напоминала шуструю девчонку-сорванца. Я знала, что ее отец, типичный румынский чиновник, весьма чадолюбивый мещаннн, за последнее время буквально озверел от голода и поедал весь свой паек сам, а детей — двух девочек кормила мать, болезненная женщина, работавшая уборщицей. Она как служащая получала 450 грамм хлеба, но дети — иждивенцы — получали лишь по 150... Местные «иждивенцы» могли кое-как сводить концы с концами, имея хоть убогое, но подсобное хозяйство: крохотный огородик, корову, овцу и, кроме того, все лето заготовляли ягоды, грибы, орехи, а мальчики — даже совсем крошечные — умело рыбачили и ставили пади на глухарей.

Но положение н а ш и х и ж д и в е н ц е в...

О! Это был кошмар! Они медленно умирали, и это была ничем не оправданная жестокость!

Девочка — кажется ее звали Нелли — была очень ласковая, хорошо воспитанная, вежливая, тихая и терпеливая.

— Domnisoara Керсновская! — повторила она. — Может быть, для вас это... слишком много?.. Может быть, вы бы... уступили бы один из них нам с сестрой?..

— Что уступить? — спросила я, беспомощно озираясь. Она смотрела куда-то мимо меня и бормотала.

— Они такие большие... Я думала... нам с сестрой...

— Ну что же? Я не понимаю...

— Пироги!. Они... Может, вам одного хватнт?..

Я повернулась туда, куда взором указывала девочка. И поняла... на подоконнике — пухлые, коричневатые лежали... мои рукавицы из сыромятной овчины.

— Девочка ты моя милая! Да это же не пироги, а... рукавицы!..

— Ах! — На глаза девочки набежали слезы и повисли на ресницах, она закрыла руками лицо и судорожно всхлипнула. Вся ее фигура олицетворяла такое горькое разочарование, что... будь у меня хоть единственный пирог, я бы ей его отдала.

Я была голодна. Мучительно голодна, но ни тогда, ни после, даже на грани голодной смерти я не испытывала звериного эгоизма.

Привыкнуть, вернее, притерпеться, приспособиться можно ко всему. Можно привыкнуть и к мысли о смерти. Привыкают и к голоду. Физически и морально.

Не знаю, как это объясняют врачи; не знаю, что об этом думают философы. Знаю только то, что пережила я и что наблюдала на других.

Хуже всех переносят голод люди, привыкшие к калорийной — богатой белками и жирами пище. Они остро страдают, буквально звереют от голода — и затем очень скоро падают духом и обычно погибают.

Яркий тому пример — представители балтийских народностей, особенно эстонцы. Они быстро переступают грань обратимости, и, если голодовка затянется, то только чудо может их спасти.

Куда делись все те бравые, рослые ребята, так четко маршировавшие по Норильску? «Алиментарная дистрофия III», «Хроническая дизентерия» (проще — атрофия слизистой желудка и кишок), все формы туберкулеза!.. И крупные скелеты, обтянутые шелушащейся кожей, перекочевали под Шмитиху — в братские могилы на кладбище у подножия горы Шмидта.

Люди, привыкшие питаться вкусно, некоторое время голоду не поддаются... пока не израсходуют запасы всех своих «депо».

Отвратительная пища не вызывает у них аппетита и некоторое время они почти не испытывают голода, пока не подкрадется к ним истощение. Зато тогда они очень страдают и начинают метаться, малодушничать и готовы на любую подлость.

Эти погибают морально раньше, чем физически.

Те же, кто не избалован и привык питаться чем попало и как попало, держатся сравнительно долго. К счастью, я относилась именно к этой группе: еще до ссылки я почти целый год вела образ жизни более чем спартанский, а поэтому переход для меня был сравнительно легкий.

Но... и моей выносливости был какой-то предел... Голод был как бы фоном. А на этом фоне сперва комары, а затем мучительные с непривычки морозы и тяжелый, изнурительный труд...

Немалую роль играла «неустроенность быта». После ночи, проведенной в тесноте и вони, надо было часов в 5 встать в очередь у дверей столовой.

Боже мой! Что происходило, когда открывались эти двери и толпа устремлялась вовнутрь! Прямо против двери стоял камбус (чугунная печь), и напиравшие сзади прижимали передних к этому камбусу. Все давили друг друга, так как отставшим не достанется баланды или не успеешь ее выхлебать и придется идти на работу натощак. Самым проворным был Зейлик Мальчик, со своей посудой — детским ночным горшком.

Эта озверелая толчея была настолько отвратительна, что я почти всегда оставалась без супа. И это на целый день. Что же удивляться, что иногда имела место своего рода галлюцинация: бывало, ждешь и мечтаешь — «эх, кабы вдруг на пути — да булка хлеба лежит»... пока эта булка не начинает мерещиться.

Незаметно нарастала усталость, по мере того как падали силы. Я еще не отдавала себе отчета, что это — «начало конца»; я все надеялась, что наступит какой-то перелом, что я соберусь с силами и еще выплыву из этого водоворота. Вот выполню 40 норм, стану получать чуть больше денег и тогда... Что тогда?! Все равно больше пайки не купишь, но по крайней мере хоть не будут пропадать пайки в те дни, когда не на что их выкупить!

Еще немного, еще одно усилие, и я встану на ноги.

Так рассуждает смертельно больной человек, не знающий о своем недуге и все еще надеющийся. Но настал день, когда я поняла безнадежность своего положения.

День рождения

24-е декабря, мой день рождения. Не забуду я этого дня... Я работала сучкорубом с Петром Чоховым и Афанасьевым. На моей обязанности было обрубить со всех сторон «заподлицо» (без задоринки) все сучья, ошкуривать пни и сжигать все остатки — сучья, вершины, хвою, чурки, а то и целые неделовые лесины. Ветви мокрые, на морозе не горят: шипят, извиваются. Лучше бы — на большом костре, но... как притащить тяжелые вершины, чурки? Кругом бурелом, корни, ямы от вывороченных корней, невывезенный лес... Я спешу от костра к костру, спотыкаюсь, падаю... 9 костров горят в разных концах лесосеки.

Все давно ушли. Но я не справилась со своей работой, я осталась... Я справлюсь! Я не сдамся!

Я вся в поту. Рубашка, мокрая от пота, дымится.

Скорей, скорей! Ведь сегодня день твоего рождения... Ты помнишь, как это было тогда, когда ты жила дома? Папа, мама, да и вообще все тебя поздравляли. Царила такая теплая, счастливая атмосфера!

Как это могло быть? Ведь и в те годы, где-то — может быть, именно здесь — люди страдали, надрывались, голодали, теряли последние силы...

А мы всего этого не знали, не подозревали и... никогда бы не поверили, что это все возможно.

Костры горят. Я, спотыкаясь и падая, ношусь от одного костра к другому. Вот месяц спускается к верхушкам леса. О! Я справлюсь, я кончу, ведь сегодня день моего рождения. Скорее, скорее! Соберись с силами...

Перед глазами все плывет, ноги подгибаются. Я голодна до обморока, устала до смерти. Не могу... Я хватаюсь за голову и с глухим стоном падаю в снег...

Месяц заходит. В лесу совсем темно. Костры погасли. Я никогда не справлюсь. Я побеждена... Я подбираю шапку, одеваюсь, захватываю инструмент. Полночь. До барака 7 километров... Я едва плетусь.

И потянулись долгие дни, исполненные тоски и чувства обреченности. Я не сдамся. Я буду бороться до конца, но чувствую, что конец близко.

Фактически это была уже не жизнь, а агония. Но можно сказать, не все же ссыльные из Бессарабии были обречены? Разумеется, не все, но все же многие, а из числа тех, кто попал на свою беду к Хохрину, — даже очень многие. И все же у них по сравнению со мной было больше шансов. В момент, когда их забирали из дому, они захватили с собой все, что у них было ценного, — деньги, драгоценности, вещи. Имея деньги (кроме тех, что не всегда за работу нам выплачивали), не было риска 2—3 дня работать натощак, причем невыкупленная пайка не возвращалась; имея вещи, можно было выменять у местного населения кое-что — мясо (скот убивали с осени и мясо держали подвешенным на чердаке), капусту (хоть зеленый лист), картошку (величиной с орех), рыбу, грибы; имея ценности... Ну, тут уж нетрудно догадаться, что можно было купить покровительство начальства.

У меня в день, когда нас ссылали, было 6 р. денег... Вещи — только те, что нужны рабочему, притом летом. Даже хорошие хромовые сапоги я не взяла! После, мол, напишу и мне пришлют! Мне и в голову не могло прийти, что нас бросят, как щенят в воду: «плывите, если сможете, а нет — тоните». Но была у меня одна ценная вещь. Для меня вдвойне ценная и бесконечно дорогая: папины часы. Их я отдала в чистку и таким образом они не были у меня отняты, когда меня выгнали из дому. Эти часы папа получил в подарок, когда ему было 14 лет... и это был последний подарок от его отца, который через несколько месяцев умер; и эти часы были в кармане у папы, когда он умер: они продолжали тикать, когда папино сердце замолкло.

Хорошие были часы — на анкерном ходу, с 36 рубинами. На черном циферблате золотые римские цифры и 4 маленьких циферблата: кроме секунд, они показывали месяцы, дни, числа и фазы луны.

Все знали про эти часы. Мне и в голову не приходило их скрывать! И очень они понравились Хохрину.

Бывало, не платят мне причитающиеся деньги. Обращаюсь в контору: «мне не на что свою пайку купить!»

— У вас есть часы. Продайте их!

Протестую ли я из-за того, что в который раз мне не дают доработать 40 норм. И опять:

— У вас есть часы. Продайте их!

Это ли не вымогательство?!

— Умирать буду, разобью их и велю в гроб положить, — отрезала я. Пусть все это ни к чему: хоронили бы меня все равно без гроба. И все равно отобрали бы у меня часы.

Но, разумеется, часы эти было не главное. В сопроводительном документе на меня указывали как на опасную личность, и — а это главное — я никогда не скрывала своего возмущения при виде несправедливости. Но что хуже всего — вступала в спор с Хохриным, когда его распоряжения были нелепы, жестоки или глупы...

Борьба с Хохриным. Сорок мешков крупы. Симулянт. Собрание в темноте

Это целая эпопея. Теперь всего и не вспомню! Куда там: ведь я чуть не ежедневно пыталась плетью перешибить обух...

Любил Хохрин проводить собрания.

Сгонит бывало смертельно усталых, голодных лесорубов в клуб и... Начинает всегда с одного и того же:

«Фашистов мы унистожим! (именно не уничтожим, а унистожим). А для этого необходимо». — И тут же преподносит или увеличение нормы, графика или обязательства, или урезку оплаты труда в пользу армии, или еще что-нибудь — например, повышение качества древесины.

Кончит и обведет всех своими трупными глазами. Просто удивительно, до чего жуткие были эти глаза! — мутные, как у снулой рыбы или трех-, четырехдневного трупа. К тому же маленькие и неподвижные.

Все молчат. Кто осмелится спорить?

Нет! Как перед Богом, положа руку на сердце, скажу: ни разу, ни одного-единственного раза я не смолчала...

Норма! Кто дал вам право повысить норму? Она установлена государством. Для нашего же северного района она и так велика: световой день короток; мы и так нарушаем правило техники безопасности, работая в темноте! Представители профсоюза обязаны на месте установить размер нормы и ее оплаты. А «обязательства» должны принимать рабочие добровольно. А его берете вы! И обсуждать не разрешаете!

Официально у нас восьмичасовой рабочий день, но мы работаем по 12 часов... И притом без выходных. Мы понимаем: сейчас война, и наш трудовой фронт тоже фронт. Но допустимо ли урезать и без того смехотворный заработок?

Вы говорите: «повысим качество древесины»... Но как? Нужно ли для того, чтобы Вы получили еще раз 40 000 рублей премии, сжечь еще больше дровянника, чтобы оставшийся лес прошел более высоким сортом? Целесообразно ли превращать в дым лес, народное богатство? И не преступно ли таким путем еще урезать заработок людей?!

Можно себе представить жгучую ненависть всесильного «владыки жизни нашей», который не мог заставить замолчать строптивую букашку, какой, по существу, была я?

Днем я не бывала в Суйге. Но как-то сопровождала одного паренька — Бориса, которого зашибло лесиной. Сдав его «медсестре» Оле Поповой (я не случайно ставлю слово «медсестра» в кавычки, так как медсестрой назначали не по медицинскому образованию, а... по блату). Я решила зайти в магазин и получить свою пайку, что избавило бы меня от стояния в очереди вечером — иногда часов до одиннадцати.

Дверь была приоткрыта, и я вошла незамеченной. У прилавка стояла жена Хохрина, Валентина Николаевна, складывая в корзину покупки. «Еще для Лидочки 1 килограмм манной крупы, и еще для Лидочки 1 килограмм пшена, и еще для Лидочки...» Тут продавец Николай Щукин заметил меня и закричал: «Магазин не работает! Закройте дверь!»

Несколько слов о Лидочке.

Это крупная, раскормленная девочка двенадцати лет, хотя на вид ей можно было дать все четырнадцать. Девочки ее возраста в Суйге работали в лесу, и без поблажек. Но то были дети ссыльных, а Лидочка...

В каждом ребенке есть что-то детское, приятное; но в Лидочке, несмотря на ее возраст, было что-то отталкивающее — жадное и угрюмое.

Характерная подробность: однажды, получая зарплату, я зачем-то зашла в заднюю комнату при конторе. Там на полу сидела девочка и перед ней были расставлены куклы и прочие игрушки. Непроизвольно я остановилась... Так давно я не видела детей с игрушками. Ведь местные дети тяжелым трудом зарабатывают свой голодный паек...

Девочка взглянула на меня исподлобья и затем, наклонившись над игрушками, сгребла их и заслонила от меня.

В этом волчьем взгляде было столько ненависти и жадности, что я сразу догадалась — это дочь Хохрина.

И вот опять собрание.

После традиционного заявления о том, что фашизм будет «унистожен», Хохрин объявил:

— Наш рабочий коллектив решил помочь нашей доблестной армии: я наложил бронь на 40 мешков пшена, которое будет отправлено в действующую армию. Решение принято единогласно...

— Нет, не принято! — вырвалось у меня.

Я слишком изматывалась на работе, чтобы иметь силы общаться с местным населением, бывать в их домах. Но в тех редких случаях, когда я заходила в дома, где были дети, то, что я видела, приводило меня в ужас...

Неверно утверждение, что дети — всегда дети. Дети, которых я встречала в Суйге, не имели детства. Вот пример: Ядвига, полька (фамилию я позабыла). В первую мировую войну она — молодая солдатка — была эвакуирована при наступлении немцев на восток и жила где-то возле Чернигова. Муж вернулся из плена в Польшу. В 1927 году полякам объявили, что они могут вернуться на родину. Радости ее не было предела. Она списалась с мужем, заполнила все анкеты, выполнила необходимые формальности и с нетерпением ждала. И — дождалась: ее повезли... Не сразу она поняла, куда... Не на родину ее везли, а в Сибирь. Навсегда.

Трудно поверить в страдания, через которые она прошла! Но среди ссыльных она нашла себе мужа: горе плюс горе — получилась семья.

Одним словом, она выжила. Больше того: раз за разом родила восьмерых девочек. Было нелегко, но жизнь наладилась.

Наступил 1937 год. Люди дрожали, слыша шум мотора «Черного ворона». И дрожали не напрасно: второго мужа забрали. Тоже навсегда.

Ядвига надрывалась на работе. Иногда и старшие две девочки — двенадцати и тринадцати лет — тоже работали, но летом. Зимой у них не было одежды, да о малышах надо было заботиться — раздобывать топливо, топить печь, стирать, штопать...

Восьмеро детей иждивенцев получали по 150 грамм хлеба. А права на баланду не имели. В столовой давали лишь одну порцию на рабочего.

Получала Ядвига черпак ржаной затирухи, горсть соли, ведро кипятку... и все девятеро «обедали».

Однажды случайно я зашла к Яше Начивкину, нашему возчику.

Работал он старательно, но явно через силу. Одутловатое лицо, мешки под глазами, дрожащие руки... Жена его редко выходила на работу: «болеет» — говорил Яша.

И вот я зашла в его лачугу... и отшатнулась. Поперек широкой кровати лежало шестеро детей. Детей?! Да можно ли назвать детьми этих шестерых, воскового цвета, опухших старичков?! Лица без выражения, погасшие глаза... И рядом, тупо глядя на них, — мать.

Что может быть ужасней?!

Чаще всего я встречалась с Валей Яременко — нам было по пути, заходила я к ней и домой по ее просьбе: она была в отчаянии от того, что у сына — Борьки — кровавый понос. Но разве поможешь советом, когда единственным рабочим в семье была сама Валя, а содержать надо было старуху-свекровь и двух детей? Меньшой девочке, тоже Вале, не было еще 5 месяцев, и мать кормила ее грудью. Но когда ее перебросили на лесосеку на Ледиге, то ей пришлось ходить за 7 километров... Кормила она ее лишь ночью. Да и какое уж там молоко при непосильной работе, на морозе — да еще если своей пайкой нужно поделиться с тремя голодными ртами.

Муж ее работал неподалеку — в 18 верстах, но тоже без выходных, так что они всю зиму не виделись. Изредка с оказией он присылал ей немного денег, но, правду говоря, и с деньгами в Суйге нечего было купить: в магазине были бюсты Толстого, Горького и какие-то бутылочки с вычурными украшениями, а у жителей... Что купишь у жителей, которые сами живут впроголодь и знают: ослаб — значит, умрешь.

От старухи свекрови я услышала рассказ, которому бы никогда прежде не поверила бы!

Они с мужем и тремя детьми были из числа первых раскулаченных, сосланных откуда-то из-под Воронежа в начале тридцатых годов.

Завезли их в верховья реки Кеть, притока Оби, и стали они там рыть Кеть-Енисейский канал.

Строительные работы велись самым примитивным способом, вручную; жили в наскоро построенных землянках-бараках. По первости кормили: давали по килограмму хлеба и «приварок».

Но вот пришло время, и по производственным изысканиям оказалось, что Енисей значительно выше Кети и вообще вся местность между Енисеем и Обью имеет наклон на запад, надо было строить систему шлюзов.

Шлюзов строить не стали, работы прекратили.., а о рабочих и их семьях просто забыли...

Когда несчастные поняли, в чем дело, на них напал ужас.

И — начался «исход».

Захватив свой скарб и детей, люди устремились через топи и непроходимые дебри на юг.

Но сибирская тайга не Украина. Была уже осень, а зима шагает по Сибири широкими шагами.

Сперва беглецы побросали вещи. То есть поначалу они их не бросали, а вешали на ветви деревьев — «опосля прийдем». Ослабли они скоро: ведь питались лишь ягодой и орехами (грибы уже померзли). Скоро стали умирать дети. Сперва те, что шли пешком, лет пяти-шести; затем малыши, которых несли на руках родители; затем умирали мужики и под конец подростки и женщины.

Все же кое-кто уцелел: это были те «счастливцы», которые вышли в Харск и Муйгу. Валя с ее свекровью были из их числа.

Жутко становилось, когда старуха (собственно говоря, она не была старой, но горе не красит) рассказывала:

— Когда умерла Ксаня, мы ее похоронили. Я плакала, убивалась, как Савва умер — присыпали его немного листьями. Горько было, но... слез не было. Муж умер — лишь лицо платком закрыла, а сама подумала: теперь уж мой черед... Как-то Ваня сам останется? Жутко парнишке одному в лесу помирать! Вот и Валя так к нам прибилась: осиротела, куда ей одной?! А тут вдруг падь (западню) нашли, а в ней рябчик. Это нас и спасло: сварили похлебку, шалаш сложили и 2 дня в нем лежали, пока пришел охотник к своей пади. Он нас до Суйги и довел...

Подросли Ваня с Валей, поженились, дети народились... и опять голодная смерть детям в глаза глядит! И не в тайге, не в глуши, не в бегах, а у себя дома.

Об этих ребятах я и подумала тогда, когда на собрании встала и заявила: — нет, не принимаем! — и, не дожидаясь, взошла, почти вбежала на помост к трибуне.

Никогда до этого случая я не говорила с таким жаром и никогда после не была так уверена, что поступаю так, как надо, как обязана говорить.

Вот главная идея моего выступления.

— Отослать 40 мешков крупы, доставленных с таким трудом сюда, в непроходимые болота, отослать их в армию нелегко: здесь они крайне необходимы, и раз теперь, то есть в нынешнем году, судоходство по Оби, а тем более по ее притокам прекращено из-за нехватки горючего, то пока транспорт не наладился (а это случится не раньше, чем освободят наши топливные бассейны), сюда никакие продукты завозиться не будут.

А это значит, наши лесосеки прекратят поставку леса, который так теперь нужен! Пусть вас не трогает голод и смерть здешних рабочих, но вы должны понять, что наш кумуляторный шпон более необходим армии, чем несколько мешков крупы!

Мы работаем для армии: мы сами та же армия, трудовая армия, и, уничтожая ее, вы способствуете уменьшению обороноспособности армии.

Но, допустим, что мы, рабочие, можем еще подтянуть пояса потуже и урезать себе паек. Но есть другое: безобразное, преступное, жестокое.

Это неизбежная голодная смерть детей, чьи родители работают на ваших лесозаготовках.

(Здесь я привела те случаи, о которых упомянуто выше.) Пусть мы будем еще более голодны, но пусть эти сорок мешков из здешней базы распределят по всем вашим точкам, где есть дети, и пусть эти дети получат хоть по 100 грамм крупы ежедневно. Это, и только это может их спасти от неминуемой гибели!

— Правильно! Верно! Пусть дети получат крупу! — как одной грудью прошептал (до чего был силен страх) весь зал.

— Керсновская! То, что вы говорите, — преступление! Вы агитируете против Красной Армии. Это саботаж! — завопил Хохрин.

— Как? Дать 100 грамм крупы умирающему ребенку — преступление? Сегодня я видела, как ваша жена в магазине покупала без ограничения всякие крупы «для Лидочки» — не считая того, что она из пекарни носит муку наволочками. Это не преступление? Да неужели вы не замечаете, что когда ваша корова и бык, возвращаясь с водопоя, испражняются, то в их говне непереваренный овес — тот овес, который предназначается для нашего супа, а в супе крупинка за крупинкой гонится с дубинкой — и это не преступление?!

— Вы ответите за вашу провокацию, — зашипел Хохрин. — Собрание закрыто. Расходитесь!

Да, за это выступление я расплатилась сполна... Уж и написал он турусы на колесах в очередном доносе! Я, оказывается, препятствовала энтузиастам, желавшим помочь Красной Армии, и призывала к саботажу.

Работать приходилось с невероятным напряжением. Мало того, что нас хлестали рублем, но и предъявляли все новые и новые требования (например, бревно выбраковывалось и не подлежало оплате, если хоть один сучок можно было нащупать рукой: он должен был быть срублен «заподлицо» — как отполированный; ох, уж эти мне сучки)! Над нами постоянно висела угроза суда по обвинению в саботаже по ст. 58 14 УК, если в течение рабочего дня ты почему-либо 20 минут не работал... Хохрин с часами в руках прятался за стволами деревьев и засекал время. Подкрадываться и выслеживать он умел! Его присутствие ощущалось, даже когда его не было, и это доводило людей до истерики. К вечеру мы все теряли контроль над собой: руки и ноги дрожали, зубы стучали и перед глазами плыло.

Запомнился мне такой казус.

Как я уже говорила, мы работали втроем: я подготовляла дерево — отгребала лопатой снег, обрубала поросль; затем Петро Чохин лучковой пилой валил хлыст. Вслед затем Афанасьев раскряжевывал его: отмерял с точностью до 2 см и распиливал, стараясь дать как можно больше высших сортов. Затем опять я обрубала заподлицо сучья, переворачивая бревна, сжигала ветви, сучья, вершины и ошкуривала пни. Тогда приходил бракеровщик, обмеривал кубатуру и длину бревна, его сорт и определял, не допустили ли раскряжевщики обмера и не пустили ли его низшим сортом? За каждую ошибку — штраф, а за обмер больше 2 см — суд по обвинению опять же в саботаже по ст. 58 14 УК...

Собственно говоря, моя работа была самая каторжная: нужно было всюду поспеть и все успеть, и оплачивалась она до смешного низко, но у Афанасьева дело обстояло еще хуже.

Помню, как он, ломая руки, опустился на пень.

— Фрося, — сквозь слезы взмолился он, — я не могу! Пересчитай ты эти проклятые сантиметры! Три месяца тому назад Сима родила мне девочку... Хоть бы до весны дотянуть — сходить в Каригод посмотреть на своего ребенка. А так засудят, в тюрьму угонят и не увижу ее... О Боже, Боже, пожалей мое дите...

Когда меня судили, то среди доносов был донос, написанный Афанасьевым, в котором он указывал, что я не одобряла распоряжения начальства, то есть Хохрина. Очной ставки не было: к тому времени Афанасьев был уже в тюрьме. А вот успел ли он повидать свою дочку — не знаю.

Разумеется, при таких условиях работы травматизм был высок.

И можно удивляться, что он не был еще выше... Должно быть, оттого, что очень уж сжились местные лесорубы с тайгой.

С колхозниками, отбывающими трудгожповинность, дело обстояло хуже, хотя, казалось бы, должно было быть наоборот: сравнительно сытые, на своих харчах, никто их не подгонял, они должны были «выполнить урок» и уехать домой.

При мне была убита одна девушка. Многие ей завидовали — смерть была легкая: сосновый сук сантиметров 8 в диаметре прошел насквозь грудь и пригвоздил ее к земле сантиметров на 40 в мерзлый грунт. Тут уж ничего не поделаешь: со смертью спорить не приходится, и помочь бедняге было уже невозможно... В другом случае было по-иному: одного крепкого, как бык, зашибло пачкой (пачка — это охапка сучьев с падающего дерева, застрявшая на вершине соседнего дерева). Череп не рассекло, так как шапка-ушанка была очень плотной, но теменную кость вдавило в череп, и человек был долго без сознания. Очнулся он минут через 35 — 40, но долго ни на что не реагировал. Затем — судороги, рвота и опять обморок. А затем... Нет. Этому поверить трудно, однако это было именно так: Хохрин приказал ему работать... Это когда при любом сотрясении мозга, даже незначительном, даже если сознание потеряно на какую-нибудь минуту, прежде всего — покой.

«Солдаты на фронте... Фашизм унистожим» и т. д. — завел Хохрин.

Ну, человек подчинился, перемог боль и стал работать...

Домой его привели, поддерживая под мышки.

Медсестре Оле Поповой Хохрин приказал освобождения не давать.

И началось!

День-два ему еще не было так плохо, хотя все время мучила рвота; затем боли начали усиливаться, сознание уже не возвращалось. Сперва он молча поскрипывал зубами, затем стал стонать, а там бормотать и под конец кричать.

Возвращаясь с работы в колхозный барак, где я жила, я уже издали слышала: «Головушка, за что? За что? Головушка...» — монотонно и непрерывно.

Немного он успокаивался, когда я клала на голову холод.

И вот, сама чуть живая от усталости, я ночью возилась с больным: меняла и ополаскивала «пеленки» (он мочился непроизвольно), поила и меняла компресс. Для меня это тоже было необходимо. Нельзя же быть безучастным к страданию!

Тут у меня опять произошла крупная «коллизия с Хохриным».

Прихожу я однажды с работы. Ох, отдохнуть бы поскорее! Вот сейчас обмою больного, положу холод на голову — он немного притихнет, и тогда спать, спать...

Но что это? В бараке темно. В темноте мечется больной: «Головушка! О Господи, за что, головушка...» Топчутся люди, наталкиваясь друг на друга.

— В чем дело? Почему темно? Где лампа?

— Лампу Хохрин велел отнести в клуб: он проводит собрание...

— Так ведь в клубе есть лампа?

— Клубную лампу Валентина Николаевна (жена Хохрина) забрала: у ее лампы стекло лопнуло...

— Ах, так!

И вихрем помчалась в клуб. Куда усталость делась? Мгновение задержалась на пороге. Ровно на столько, чтобы услышать, что «...мы унистожим фашизм». Затем твердым шагом к трибуне.

— Дмитрий Алексеевич! Нам нужна лампа! У нас тяжелобольной...

Немигающие глаза уставились на меня. «Глаза трупа», — опять подумала я и даже вздрогнула... от отвращения.

— Ваш больной — симулянт, — проскрипел он в ответ, — он просто не хочет работать.

— Этот симулянт умирает! И умирает оттого, что вынужден был работать с сотрясением мозга! Если бы тогда его не заставили работать, если б ему отдышаться, не пришлось бы ему теперь лечь в могилу. А лампу велите принести из вашего дома. У вас их две.

Я взяла лампу и, не потушив ее, пошла к выходу.

«...сорвала важное производственное совещание, оставив зал в темноте...» — значилось в очередном доносе Хохрина.

Мейер Барзак. «Семейное счастье». Выступление Васи Пушкарского. Стахановец

Здесь я решила описывать лишь то, что пережила сама или видела своими глазами и в редких случаях — слышала от очевидцев, не заинтересованных во лжи. Поэтому упомяну лишь вскользь, что Зейлик Мальчик (которому в столовой выбили глаз... ногой, так как кто-то вскочил на плечи людей, пробираясь к раздатчику, и угодил ему в глаз носком сапога) куда-то исчез, и, говорят, его нашли километрах в 18 — 20 повесившегося. Исчез также рыженький Дрейман: пошел рыбачить и не вернулся. Утопился или просто утонул? А может, сбежал или замерз? А вот «средневековую» сцену, когда Барзак валялся в ногах у Хохрина, целовал его сапоги и рвал на себе волосы, умоляя того, чтобы тот «сменил гнев на милость» и вновь велел его вписать в «список тех, кто получает хлеб», — это я видела сама.

Уму непостижимо! В XX веке!

Как я уже говорила, Барзака взяли со всей семьей и, хотя он (в прошлом владелец обувного магазина) привез с собой чемодан модельной обуви, но... Кто, кроме Хохрина, мог купить такую обувь? А зачем Хохрину было ее покупать, когда он знал, что и так ее получит?

Наверное, кроме ботинок, привез Барзак и деньги... Но прокормить старуху мать (он ее очень трогательно любил, хотя все утверждали, что у нее... хвост), рыхлую и всегда больную жену, двух малолетних детей и устроить на работу в кузницу четырнадцатилетнего Леву, да и самому устроиться возчиком — на это нужны деньги и деньги.

Возчиком работать было, безусловно, легче, чем лесорубом; кроме того, можно было привезти на коне топливо, а не тащить на горбе хворост и сучья... Но... Погрузить лесину на санки, закинуть конец на подсанок и все увязать цепью на морозе — это требовало сноровки.

А откуда бы у толстого, плешивого, с дряблой мускулатурой торговца модельной обувью ее взять? Там, где надо было действовать стягом (рычагом), он пытался катить вручную. В пути бревно срывалось, и надо было начинать все сначала. А отсюда невыполнение нормы. Систематическое невыполнение нормы влекло за собой... смертный приговор... — иначе не назовешь исключение из списка получающих хлеб.

«Царь голод»... и полномочный министр его — Хохрин.

В начале войны ссыльные не могли быть призваны в армию. Я подразумеваю старшее поколение. В первые месяцы войны молодое поколение — те, кому было 18 — 19 лет, были «восстановлены в правах», то есть, продолжая оставаться ссыльными, они получили право «умирать за родину», вернее за Сталина, загнавшего их с родителями в Нарымские болота. Старших же стали брать в трудармию — куда-то в Томск на лесную биржу, где им приходилось также не очень сладко.

С женою одного из этих трудармейцев, Нюрой, я нередко разговаривала. Вернее, говорила она — ей просто надо было кому-нибудь излить свое горе. Помочь я ей ничем не могла, но, очевидно, в том, что я ее терпеливо и с сочувствием выслушала, было для нее какое-то утешение.

Но вот однажды я встретила ее, идя в столовую. Меня поразило радостное выражение ее лица.

— Фрося, — крикнула она мне вдогонку (в столовую все направлялись бегом, памятуя, что «...Tarde venientibus — ossa» — поздно пришедшим достаются кости). — На обратном пути зайди на минутку. У меня радость!

«Должно быть, отпустят домой», — подумала я.

И вот я у Нюры. Вся семья в радостном возбуждении; Нюра так и сияет.

— Ты знаешь, мне с оказией принесли от мужа письмо. Вот оно, видишь? Вася пишет, что он женился!..

Я чуть не скатилась от удивления под стол. «Бедная, она, должно быть, рехнулась».

— Так это... и есть твоя радостная весть?!

— Ага, ага! Да ты пойми: он женился; у нее — муж на фронте, своя изба, огород, так что картошка своя. И корова дойная. Сейчас молока мало, но на Пасху отелится...

— Постой, постой, — прервала я ее, — чего же ты радуешься?

— Как чего?! Да ведь он сыт! И мне не надо ему посылок снаряжать... Ведь у меня шестеро! И все мал мала меньше! Я детям даже их 150 граммов не давала: все на сухари сушила. И картошку сушила. И творог, как крупу, сушила. И мясо в печи высушивала. Все от себя и от детей отрывала, чтобы он там не замерз (т. е. не умер по-сибирски). А теперь он жив будет и даже сыт. И я смогу кормить детей...

Я совсем обалдела, ее резоны как-то не доходили.

— Но... А если он не вернется из Томска?

— Как не вернется? Чай он ребятам отец? Да и после войны той-то мужик воротится к жене, а он ко мне.

— А если ее мужа убьют? Не останется он у вдовы?

Она на мгновение призадумалась. Но потом махнула рукой и сказала:

— Там видно будет! Главное, он сыт. И я могу не отрывать от детей последнее... Пусть мы и не очень сыты, но все же не замрем...

Я шла домой в раздумье: в чем же счастье? Пожалуй, как мать она права. А женщина — это и есть прежде всего мать...

Мои силы с каждым днем таяли. И все же, если сравнить с остальными моими земляками, то, пожалуй, я держалась куда лучше их. Они почти все совсем сдали. Хохрин не мог не видеть, что это уже не рабочая сила, но он не допускал и мысли о том, что для того, чтобы из них выжать какой-либо прок, их надо подкормить.

Нет! Он не был хозяином! Достаточно было посмотреть на лошадей... Возчики, перевыполнившие норму, получили право покупать пирожок со свеклой или с брусникой.

И этими пирожками угробили лошадей.

Жутко было смотреть, как озверелые от голода возчики избивали выбившихся из сил лошадей. Упавшая лошадь только вздрагивала от сыпавшихся на нее ударов, возчик выл от отчаяния, видя, что пирога ему не видать.

А лошади были замечательные. Сибирские лошади вообще крепыши.

С людьми поступали так же неумело (о гуманности я вообще не говорю): обычные «стимуляторы» — голод и страх — действовали (по крайней мере на бессарабцев) как кнут на упавшую от усталости лошадь...

Тогда Хохрин решил увеличить порцию... «собраний».

Нас стали еще чаще сгонять в клуб, и каждого в отдельности он пилил за недостаточное рвение к труду.

Среди лесорубов лучше всех справлялся с работой Вася Пушкарский — местный, притом вольный. Вот по нему-то Хохрин и предлагал равняться.

Пушкарский как «стахановец» получал огромные преимущества: он получал хлеб и суп вне очереди, имел право покупать две и даже три порции супа и второе блюдо — что-нибудь мясное (из конины). Хохрин был уверен в том, что Пушкарский достаточно подготовлен, чтобы преданно вторить ему, Хохрину.

Этим объясняется то, что он предложил Пушкарскому выступить с трибуны.

Пушкарский замялся:

— Дмитрий Алексеевич! Я не умею... Да и сказать нечего...

— Иди, иди, Пушкарский! Поделись своим опытом. Пусть и они знают, чего можно достичь!

— Дмитрий Алексеевич! Ну, право же, я им не могу посоветовать. Они ведь сами охотно...

— А я говорю: ты можешь и должен поделиться своим опытом! Не рассуждай, а расскажи!

Пушкарский очень неохотно поплелся к трибуне. Минуту стоял он, растерянный и удрученный. Но затем вдруг встряхнулся и заговорил:

— Вы хотите знать, почему я выполняю норму, а они нет? Так вот. Осенью я заколол быка. У меня есть мясо. Я иду на работу сытый и беру кусок мяса с собой. У меня нет детей; нет и стариков дома. Жена работает со мной, и мы сыты... И все же вечером, кончая работать, я едва на ногах стою. Шатает меня, ровно ветром, — аж руками за деревья хватаюсь...

Тут он махнул рукой и сошел с трибуны.

В зале царило гробовое молчание.

Больше стахановцем он не был.

Стахановцем назначили (именно назначили) Тимошенко.

Вася Тимошенко — крепыш лет 18—19, пышущий здоровьем. Маленький череп, большое лунообразное лицо с оттопыренными ушами. Пожалуй, добродушен, безусловно, глуп.

Оказался он самым подходящим для Хохрина экземпляром: поняв, какими он будет пользоваться привилегиями, он сразу уверовал в то, что он и есть пуп земли. Для него — отдельный стол в столовке; на столе — вымпел, за спиной на стене крупная надпись: «Стахановец». Он может покупать столько порций, сколько захочет, и, кроме того, в магазине ему продают в банках тушеную свинину и бобы в сале.

Ну, до чего же стало отвратительно на него глядеть! Ходит вразвалку, на роже, лоснящейся от жира, ухмылочка.

Словом, олицетворение того, что называется «торжествующий хам».

В столовую приходил с ведерком: получит 8 порций супа с ржаными галушками, сольет жижу в ведро, распечатает банку мяса и чавкает, развалясь за своим «личным» столом, вытянув ноги.

Мы, рабочие, старались держаться подальше, чтобы не чувствовать всю унизительность нашего состояния. Но кое-кто из числа моих земляков околачивался там в надежде на рыбьи или любые иные объедки.

Помню, как к нему подошел Александров — некогда зажиточный «редзеш» (крестьянин) из Стойкан, и умолял дать ему хоть немного жижи из ведра. Александров, еще недавно упитанный, круглолицый паренек тоже лет восемнадцати, теперь был страшен: худой, растрепанный, заросший, грязный, сгорбленный, с лихорадочно-блестящими глазами.

— Очень ты мне нужен! — посмотрел на него свысока Тимошенко. — Я эту жижу теленку отдам!

Мне вспомнилась Ядвига, которая порцию супа тоже лила в ведро... чтобы, разбавив водой, накормить своих восемь дочерей.

Коллективизм... в понятии Хохрина. Немного мистики

Я не была на том собрании, когда Хохрин провозгласил новый принцип, по которому будет учитываться труд каждого бригадника. Он категорически запретил всякую взаимопомощь. Помогать товарищу можно было только после окончания смены и в счет зарплаты того, кому помогли.

Я не могу себе представить что-либо более идущее вразрез с учением Карла Маркса... Где же просто логика?.. Не говоря уж о человечности.

У лесорубов, равно как и у шахтеров, очень развито чувство взаимной выручки. Даже голодные, ослабевшие и озлобленные, они понимают, что если я помогу Афанасьеву соштабелевать уже готовые бревна, то он

мне поможет передвинуть сутунок, который, падая, «пригвоздился» суком в промерзлый грунт, и нет ничего удивительного, что мы вдвоем поможем Чохину стащить кошкой зависший хлыст (срубленное дерево).

Но Хохрин сам лично следил, чтобы его распоряжение строго выполнялось. Никто не умел так, как он, незаметно выслеживать «нарушителя». И горе бригаде! Вся выполненная ими работа аннулируется...

Он полагал, что таким путем человек будет работать с полной отдачей. Так оно и было... Как с теми лошадьми, которых забивали насмерть, когда они не в силах были даже встать, а не то чтобы работать.

Я мастерски научилась орудовать стягом. Рычагом, как утверждал Архимед, можно перевернуть Землю... если найти надлежащую точку опоры. Но где найти ту точку, о которой мечтал Архимед, когда сосновое бревно длиной в 8 м и диаметром 80 см в тонком срезе «пришпилилось» двадцатисантиметровым суком на 70 см в глубину? И сейчас, когда с той поры прошло уже более четверти века, я помню, как темнело в глазах и вспыхивали зеленые огни, какой шум и звон были в ушах, а во рту появлялся вкус крови, когда, напрягая последние силы, я пыталась оторвать бревно от замерзшего грунта.

Бесполезно! Это было не под силу даже мировому рекордсмену... И как торжествовал Хохрин, когда в конце дня он ставил против графы моего заработка «0»: проработав с предельным напряжением 12 часов, я не заработала ни копейки (а один сучкоруб на соседней делянке, проработав день,.. задолжал 4 р. 20 коп.).

Насколько мне помнится, это выступление было моей «лебединой песней».

— Товарищи! — обратилась я с трибуны ко всему залу. — Даже больше, чем товарищи, братья! Так как каждая бригада — это трудовая семья, а дети одной семьи — братья... Так разве допустимо, чтобы брат брату был врагом? Чтоб брат отнимал у брата его трудовую копейку, его кусок хлеба, его жизнь?! Государство — это большая семья, равно как семья, бригада, трудовой коллектив — это та живая клетка, одна из тех миллионов клеток, из которых состоит государство. Так допустимо ли создавать вражду и порождать ненависть в трудовой семье, которая является составной частью живого организма — нашего государства?

Это — безумное и преступное распоряжение, которое могло родиться лишь в душе злодея... или в мозгу безумца!

В трудную для всей страны минуту более чем когда-либо нужна взаимная выручка. Как там, на кровавом фронте, так и здесь — на трудовом...

С полнейшим недоумением читала я впоследствии среди материалов следствия тот донос Хохрина, в котором он полностью искажал мои слова, утверждая, что я призывала: «...работать лишь для своей семьи с тем, чтобы государство было расчленено и наступила анархия...»

Как и по каким материалам пишется история?!!

В моем рассказе нет места мистике, но почему-то не могу забыть одного поистине вещего сна. Просто хочется его записать — до того ясно он мне запомнился!

Цепилово. Поляна в нашем лесу. Солнце заходит за Большими дубами. Я сижу на пне, и на душе невероятно тяжело, хотя я не отдаю себе отчета: отчего?

Вдруг на фоне заходящего солнца — силуэт. Кто-то подходит ко мне, и я ничуть не удивлена, что это покойный отец.

Как знакомо мне его охотничье снаряжение! Как дорога мне его стройная, несмотря на возраст, фигура, его благородная осанка, походка!

Горячая волна любви и отчаяния захлестывает меня, и я, заломив руки, соскальзываю с пня на колени.

— Папа! Мне так невыносимо тяжело, папа! Как долго смогу я выносить такие мучения? Папа! Я... не могу больше...

Он с грустью смотрит на меня и произносит лишь одно слово: «Восемь».

На лес, на поляну наползает тьма. Я ничего не вижу и лишь слышу, как шуршат сухие листья под его ногами.

«Восемь» — чего? Лет? Дней? Недель?

Между тем днем, когда я, вооружившись косой, прошла первую борозду моего подневольного труда в Кузедееве, и той ночью, когда, забросив топор под ступеньки конторы и шагнув на лед, заглянула в черную прорубь, откуда на меня дохнула смерть, прошло — день в день — восемь месяцев.

Больше я не выдержала. Но это был не конец, а начало. Начало нового периода жизни — побега из ссылки.

Но об этом после.

Если бросить камень, то он сперва летит с большой скоростью и почти параллельно земле, затем... Затем скорость его падает, и он по дуге приближается к земле, куда падает почти вертикально и, немного покатившись, замирает.

В эти февральские дни 1942 года я уже была на той части траектории, которая круто идет вниз.

Последние усилия. Миша Скворцов. Валя Яременко. Агония

Как это жутко — чувствовать, что с каждым днем сил все меньше! Пожалуй, в старости каждый человек переживает нечто подобное, но там эти перемены носят совсем иной характер, и то, что старик утрачивает с каждым годом, я теряла с каждым днем.

Старика сопровождает по дорожке, что ведет под уклон, старость, а меня толкали в пропасть три спутника: голод, холод и непосильный труд.

И все-таки я боролась.

К моему счастью, все местные собаки были съедены. Следует объяснить: местные собаки, охотничьи лайки, помогают в охоте на белок; их регистрируют осенью, и на них полагается паек — 8 кг «отсыпного» в месяц, т. е. в 3 раза больше, чем ребенку. Поэтому охотники... съели собак и продолжали получать их «паек».

Кто стал бы думать о том, что будет, когда эта хитрость выплывет наружу? Люди жили сегодняшним днем.

Некоторое время меня выручали... кости. Вываренные, обсосанные... Но их можно было раздолбить обухом топора и съесть. Но эта «лафа» скоро отошла: мои земляки об этом «изобретении» догадались, а патента на него у меня не было, они и перехватили мою идею. У них было преимущество — они не работали (откупались, отдавая последние домашние вещи, и сидели дома, получая как иждивенцы по 150 г хлеба), а я от темна до темна работала.

На мою долю не оставалось и костей...

Миша Скворцов — последний бригадир, у которого я работала. У него в «бригаде» я была раскряжевщиком, а сучкорубом была Валя Яременко.

Славный парень был этот Миша Скворцов! Терпеливый! С широкой улыбкой и, очевидно, очень добрый: я ни разу не видела его унылым и не слышала, чтобы он бранился.

Скворцову было восемнадцать лет. Он был женат и имел двоих ребят, жена его Настя ожидала третьего.

— Ради Бога, Миша! О чем ты думаешь? Когда ты успел?! — воскликнула я от удивления.

Он добродушно усмехнулся, пожимая плечами.

— Отец с матерью у меня умерли еще в первый год, как их сюда пригнали, а я как-то уцелел... Пошел работать в лес. По первости — мне было тогда одиннадцать лет — я коногонил. Чуть подрос — лесорубом стал, подсобником. Годами был я мал, но поблажки мне никто не давал: работу я выполнял взрослого мужика, ну и скоро решил, что я и впрямь мужик.

Полюбил я Настю. Она была годом старше меня: мне четырнадцать,

ей пятнадцать лет. Ее родители согласились считать меня своим сыном — вот мы и поженились.

Сейчас сил у меня достаточно, я детей прокормлю, а лет через десять, когда мне стукнет двадцать восемь, я буду уже конченый старик, но к тому времени ребятишки подрастут, и подойдет их черед трудиться!

Детства у меня не было, молодость проходит, и скоро наступит старость!.. Мы, лесорубы, как дятлы: всю жизнь тук да тук, долго не живем. — И он опять улыбнулся.

Но от его улыбки мне стало жутко.

О Вале Яременко, которая у нас работала сучкорубом, я уже упоминала. Это она потеряла родителей во время «исхода» с Кеть-Енисейского канала и пристала к семье Яременко, за сына которых впоследствии вышла замуж. Мужа Хохрин отправил на другую точку, а Валя работала, мыкала горе с двумя детьми и свекровью.

Она работала толково, проворно, буквально «вылезая из кожи», чтобы, перевыполняя норму, получить право на пирожок с брусникой.

Пирожок она отдавала пятилетнему сыну Борьке, а пятимесячную дочь кормила грудью!

Но когда работать стали на Ледиге, то есть очень далеко — километров семь от Суйги, то пришлось так долго быть в отсутствии, что молоко перегорело, грудь воспалилась и образовалась грудница (мастит).

Правда, она просила Хохрина не посылать ее на Ледигу, но... разве можно было разжалобить такого садиста? Что ему страдание женщины или смерть ее ребенка?

Тяжело было смотреть, как она, стиснув зубы от боли, целый день махала топором, и каждый удар топора причинял нечеловеческие страдания: поражена была правая грудь. Я бы с радостью помогла ей, но... я едва справлялась со своей работой. И все же обрубала хоть часть ее сучьев и помогала ей переворачивать более тяжелые бревна. Миша тоже хоть изредка выполнял часть ее работы — подкатывал бревна на небольшие штабеля, откуда их забирали возчики. Больше сделать он не мог: ему тоже надо было «перевыполнить» норму, чтобы получить пирожок с брусникой, — их тоже ждали двое ребят.

Однажды — уже вечерело — Хохрин обходил нашу делянку. Как всегда, он появился неожиданно из-за деревьев, откуда, очевидно, выслеживал, не отдыхаем ли мы.

На Валю было страшно смотреть: платок сбился набок, растрепанные волосы падали на глаза, в которых в полном смысле этого слова горел огонь безумия. Когда Хохрин поравнялся с нею, она вогнала топор в пень, который ошкуряла, ноги подкосились, и она рухнула в снег.

— Дмитрий Алексеевич! Не могу... — простонала она.

На мгновение он остановился, посмотрел на нее немигающими, мутными глазами, бросил скрипучим голосом:

— Не можешь? Умри!.. — И пошел дальше.

Я не знаю, где предел отчаяния? Где конец терпения? У меня потемнело в глазах... На этот раз не от слабости — рука судорожно стиснула топор.

«Убить, убить гада!» — пронеслось в голове. Но он уже шагал прочь, и расстояние быстро увеличивалось. У меня не было сил... на этот раз физических.

Мою работу в те февральские дни можно сравнить только с беспорядочными движениями тонущего, над которым уже сомкнулась вода.

Мне изменили не только физические силы — ноги подкашивались, руки дрожали, отказывало и зрение: все, на что я смотрела, начинало шевелиться и... исчезало. Я различала силуэты, но что это — лошадь или человек, я не могла сказать с уверенностью.

Я призывала на помощь всю свою гордость, чтобы скрыть слабость. Я не хотела сдаться!!!

Но самое унизительное — это была потеря памяти: я забывала, что мне нужно делать, какую работу я начала. Не могла вспомнить, где топор. Куда я положила пилу? А когда находила, то теряла вилы для подгребания хвои...

Я металась, хваталась то за то, то за это и останавливалась, как в столбняке, чтобы через минуту опять лихорадочно заторопиться.

Воспоминания о последних днях моей работы на лесоповале у меня как-то перепутались, и осталось лишь тяжелое и мучительное чувство безнадежной, но отчаянной борьбы.

И все же настал день, когда часам к 12 Миша Скворцов сказал мне:

— Ступай-ка ты домой, Фрося! Пока ты еще на ногах стоишь... К вечеру, гляди, свалишься, а я и сам к вечеру едва держусь... Тогда мне тебя не дотащить...

И я пошла...

Пошла? Нет, поплелась.

Впервые видела я эту местность при свете дня... А то идешь на работу — ночь; идешь с работы — опять ночь. А теперь был яркий, солнечный день. Ели, пихты, сосны, кедры под шапками ослепительно-яркого снега. Тропа вилась то через чащобу, то через замерзшие болота.

Но все это я смутно помню: каждый шаг давался мне с таким трудом! От слабости или от яркого света кружилась голова. Мне хотелось лечь, отдохнуть, и невероятного усилия стоило продолжать путь.

Первым делом я направилась в контору: ведь нужно было сказать, что я ушла с работы! Иначе моя невыполненная норма ляжет на плечи Миши Скворцова и Вали Яременко, а им так необходимы эти пироги с брусникой!

Я сказала, что мне было до того плохо, что бригадир отправил меня, пока я еще держалась на ногах.

Хохрин сидел, ссутулясь, за своим письменным столом и барабанил скрюченными, как паучьи лапы, пальцами. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Ступайте назад, возвращайтесь на работу, — проскрипел его безжизненный голос, — и не прекращайте работы, пока норма не будет выполнена...

О чем он думал? Я не понимаю! Ведь ясно было, что я едва на ногах держусь! Четыре часа понадобилось мне, чтобы дойти эти семь километров. И солнце уже заходило...

Я с трудом добралась до колхозного барака и свалилась на доски нар — не то в забытьи, не то в обмороке.

Вечером, когда открыли магазин, я пошла в очередь за хлебом. Когда подошла моя очередь, продавец Щукин сказал:

— Вас нет в списке на получение хлеба! Хохрин велел вас вычеркнуть!

Я пошла в столовую и похлебала жидкую баланду из ржаных «галушек» (читай — отрубей).

Спать... отдохнуть... забыть голод, забыть Хохрина.

И все же на следующий день, голодная и окончательно обессиленная, похлебав порцию пустой баланды, я пошла на работу и, стиснув зубы, в холодном поту рубила, пилила и катила бревна... пока не очнулась, лежа носом в снегу.

Миша Скворцов помог мне встать и отправил домой: «Зайди в медпункт к Оле Поповой! Мало надежды, что она тебя освободит от работы, очень уж она боится не угодить Хохрину, но попытайся!»

И опять бесконечный путь. Но, как это ни странно, чувствовала я себя лучше: в ушах стоял звон, и перед глазами все плыло, но какая-то сила меня поддерживала.

Дойдя до Суйги, я зашла в первый дом, так как ужасно захотелось пить.

В этом доме в клетушке помещалась жена (или вдова?) нашего сорокского начальника полиции Пражина и ее трое детей-подростков.

Тяжело, очень тяжело жилось им, однако они еще были живы (тогда по крайней мере): она сумела прихватить с собой очень много ценных вещей, щедро «угостив» тех, кто пришел их арестовывать тогда, в ту памятную ночь, 13 июня...

Она меня напоила кипятком, и мне стало лучше.

— Domnisoara Керсновская,—сказала она,—вы больны. Смерьте температуру (у нее, оказывается, был и термометр).

Она была права: температура у меня была 38,6°.

И я пошла в медпункт.

Оля Попова не только не была медсестрой, но даже не была умной бабой, способной помочь. Просто Хохрин избрал ее.

Смела ли она в чем-нибудь его ослушаться?

Когда Боря (фамилии его я не знаю) получил травму в области печени, он сильно страдал, желчь разлилась. Но температура была нормальная, и от работы его не освободили. Ему становилось хуже, он слег и дня через три умер... а еще через три дня Попова составила на него «акт о невыходе на работу». Когда он был уже похоронен...

Когда десять дней умирал от черепной травмы колхозник («головушка, ох, головушка! За что?»), она соглашалась с Хохриным, что он симулянт и просто не хочет работать... (Подробность, которая может показаться неправдоподобной: за трупом умершего должны были приехать родственники, а в ожидании труп поместили... на продуктовом складе в прихожей, и когда за ним приехала сестра, то оказалось, что его почти всего съели крысы... Сообщила мне об этом та же Оля Попова! Когда меня втолкнули в темную, битком набитую камеру, и она узнала меня, то кинулась ко мне с воплем: «Фрося! И чего ты его гада не зарубила? Ты бы хоть и погибла, но все бы за тебя Богу молились бы!» Но это было позже. А тогда она еще была зав. медпунктом, пока и ее за саботаж, ст. 58 14, Хохрин также не упек.)

И вот я в медпункте.

— Поверьте, Фрося, я понимаю, вам плохо, вы... болеете (с тем же успехом она могла бы сказать: вы умираете), я могу вам дать порошок, ну, два. Но я не могу, не имею права дать вам больничный, освободить от работы... Распоряжение Дмитрия Алексеевича относительно вас не допускает подобной возможности...

Да! План мести Хохрина предусмотрел и это.

Я встала и пошла на свои нары. Но опять же зашла в контору, чтобы не подвести своих товарищей. Я не вникала в то, о чем мне скрипел Хохрин: это было повторение вчерашнего—вернуться в лес и выполнять норму.

Вечером в столовой мне отказали и в черпаке баланды: по распоряжению Хохрина я была вычеркнута из списка тех, кто имеет право покупать суп...

Все! Могильная плита упала. Выхода нет. Впереди смерть.

Барзах мог валяться в ногах и целовать сапоги. Я—нет.

Весь этот день 26 февраля я лежала пластом в каком-то лихорадочном полузабытьи. Я не спала и, должна признаться, не слишком страдала от голода. Должно быть, оттого, что была больна. И ни одной близкой души, ни одного сочувствующего взгляда, ни одного доброго слова.

Одна, совершенно одна.

Но вот в пустой барак вошли какие-то женщины. Сон или явь? Может, это бред или мне снится?

Нет, это живые люди. Женщины здешние, суйгинские. Я даже узнаю Валину свекровь, старуху Яременко и Арину Попову, мать лучшего возчика.

Они подходят, крестятся, кланяются земным поклоном. Я слышу отдельные фразы, хоть не разбираю, кто и что сказал:

— Ты умираешь, Фрося! Ангельская твоя душа! Ты за правду стояла... Жалела нас и детей наших... Господи, будь милостив к рабе Твоей Афросинии! Пошли ей легкую кончину... Прости нас, грешных! Мы не забудем помянуть тебя в молитвах...

Я слышала отдельные фразы, но чаще жужжание голосов. Что-то говорили о «Феодоре Тироне», и «прощеванном дне», о Великом посте и о «заговении».

— Однако женщине срамно быть похороненной в мужском обличье,—дошло до моего сознания,—и мы принесли тебе все, чтобы обрядить в могилу. Вот медные пятаки, чтоб глаза закрыть, вот что кто может тебе на заговение, а вот и свеча восковая...

В руку мне вложили зажженную свечу, и, крестясь и кланяясь, женщины ушли.

Проходя мимо изголовья, они земно кланялись со словами: «Прости, ради Бога, меня грешную»,—и у меня хватило силы отвечать: «Бог простит. Живите долго».

Уходя, каждая клала к изголовью что-то из «женского снаряжения», а на скамейку—кое-что съестное.

Вот точный перечень этих «прощальных даров»:

Юбка из грубой шерсти, домотканая, полосатая, серая с белым, широченная, в сборку.

Сорочка льняная, белая, домотканая.

Кофта зеленоватая, сильно полинявшая.

Пара белых чулок, льняных, домашней вязки.

Головной платок серый в белую клеточку с бахромой.

Полный погребальный комплект. Продукты же, принесенные ими, были в самом хаотическом ассортименте:

2 картофелины вареные, 3 сырые (величиной с орех); 2 мелкие луковицы и головка чеснока; кусок, с ладонь величиною, замерзшей кислой капусты; с полкило замерзшей сыворотки; горсть творогу и самый ценный подарок—граммов 100 хлеба, принесенного Ариной Поповой.

Кроме того, 2 свечи (из них одна зажженная, которую мне вложили в руку) и 2 медных пятака, чтобы прижать веки.

Дай вам Господь счастливой жизни и праведной кончины, добрые обездоленные женщины.

Я осталась опять одна. Одна во всем бараке. Но почему-то мне стало легче: я поняла, что я не совсем одинока в этом поселке. Ведь пришли же со мной попрощаться эти почти незнакомые женщины. Ведь обещали они молиться обо мне.

Да и на всем свете я не одна! Может, жива моя мать? Может, где-то там, далеко, молится обо мне? Завтра начинается Великий Пост; люди примиряются и просят прощения... Сколько крестьян, наших, цепиловских, вспоминают сегодня нас с мамой, так часто приходивших на помощь тем, кто был в нужде или болен?

Вечерело. Те, кто успел уже вернуться с работы, преимущественно сдельщики, усталые и голодные, торопились в ларек за хлебом или занять очередь к открытию столовой, но все с удивлением смотрели на странную фигуру: без шапки, растрепанная, с безумным взглядом, с расстегнутым воротом рубахи спешила я почти бегом, сжимая в руке топор.

Никто меня не останавливал; никто и не задавал вопросов — голодные спешат к «кормушке», но с удивлением оглядывались...

Вот освещенные окна. Контора. Там не жгут лучину, там не чадит подслеповатая коптилка на пихтовом масле; там горит лампа, и за письменным столом лицом к двери сидит этот изверг—тот, кому сейчас рассеку голову до самых плеч! В последний раз гляну в его трупные глаза и всажу ему топор между глаз.

Рука не дрогнет, и топор не подведет... Мой топор, как бритва, режет волос.

Вот только глянуть в его глаза!..

Должно быть, сатана взял его под свою защиту или... или Бог не допустил меня стать убийцей?!.

Я взбежала по ступенькам, резким движением рванула дверь и... стала как вкопанная: Хохрин сидел по эту сторону стола, и я чуть не наткнулась на него. Его лысина была передо мной, но... его глаз я не увидела, а я... Нет! Я не убийца! Нанести удар из-за спины... Нет!

Как долго я стояла за его спиной, не знаю. Было тихо; я слышала колотящееся в груди сердце. Затем медленно повернулась и ушла. Минуту в нерешительности стояла я на крыльце; затем бросила топор под крыльцо, прошептав: «Папа! Я не убийца! Из-за спины... нет, не могу...»—и поспешно зашагала назад в барак.

(Через год—я это узнала из показаний Хохрина в судебных материалах—Хохрин говорил, что слышал, когда я вошла, но думал, что это

уборщица Груня Серебрянникова принесла дрова; топор же был найден там, куда я его бросила, под крыльцом.)

Я в бараке. Но здесь я не останусь! Я умру, это неизбежно, но... не на глазах у Хохрина! Это унизительно — умирать от истощения! А Хохрин будет торжествовать! А когда все будет кончено, он вычеркнет мою фамилию. Его лесозаготовка даст самый высокий выход деловой древесины при самой низкой себестоимости. Его премируют...

Но на его глазах я не умру!

С лихорадочной поспешностью я сгребла в рюкзак все свои вещи, скатала и привязала сверху одеяло, надела на себя вторую телогрейку, шапку, рукавицы, натолкала в карманы все «прощеванные дары» — даже свечки и пятаки, подаренные мне женщинами, подошла к порогу и с удовлетворением оглянулась: пустые нары! Как будто бы никогда меня там не было! Слава Богу, и не будет!..

Стемнело. Люди, как черные тени, неслись к столовой, к ларьку... Снег скрипел под их ногами, и они спешили что есть духу.

Колхозный барак стоял на отшибе: несколько шагов — и я была на берегу реки. Крутой спуск — и белая лента покрытой снегом реки. На ней чернеют проруби.

Суйга — глубокая, полноводная, быстрая река.

Прорубь... В ней кончается власть Хохрина. В ней конец всех мучений, конец издевательствам... Всему конец!..

Я сдернула с себя рюкзак, шагнула на самый край проруби и заглянула в нее.

Я была увереиа, что и здесь, как в Днестре, вода сразу подо льдом; я не учла того, что уровень в лесных реках Сибири зимой резко падает, а лед толстый и прогибается более медленно. Вода оказывается куда ниже уровня льда.

Так или иначе, если уж решено прыгать в прорубь, то не надо в нее заглядывать...

Я склонилась над прорубью, и где-то из глубины на меня глянула черная вода, которая, урча и свиваясь в воронки, текла... как Стикс — река подземного царства.

Непонятный ужас охватил меня. Я шагнула... через прорубь и, волоча за лямку рюкзак, побежала через реку — подальше от этого жуткого Стикса, чье ворчание, казалось, преследует меня.

Взобравшись на противоположный, также крутой берег, тяжело дыша, выбившись из сил, я упала на колени.

— Боже! — прошептала я, сложив, как в детстве, для молитвы руки. — Боже! Укажи мне, что мне делать? И что бы ни случилось — да будет воля Твоя!.. — И будто услышала я слова Кравченко: «Кто-то молится, крепко молится за тебя, Фрося!..» Но кто, кто? И я почувствовала, будто ласковая рука провела по моим волосам. Мама. Живая или мертвая, но душа ее со мной, и молитва ее в критические минуты моей судьбы придает мие силы. А может быть, папа, чей пример был для меня всегда лучшим компасом?

Я еще раз посмотрела в сторону Суйги. Ветер крепчал. Поднялась поземка и затянула белесоватым туманом ряды домиков и бараков. Поселок был погружен во тьму, и лишь одно окно светилось — окно конторы, как глаз циклопа, который не спит и замышляет новые козни против несчастных людей, подвластных его произволу.

Над Суйгой сквозь облака несся месяц с такой скоростью, что у меня закружилась голова, и я от слабости опустила глаза. Взгляд мой упал на черную прорубь.

Я вскочила на ноги, подхватила рюкзак, нахлобучила шапку и повернулась спиной к Суйге, чтобы никогда, никогда ее больше не видеть.

Впереди была тайга. Темная, жуткая, чужая и... враждебная. Впереди, должно быть, смерть, но позади — это уж наверняка — смерть! Смерть — в рабстве. Смерть — на воле. Я сделала выбор.

Передо мной открывалась первая страница новой книги... И я еще не знала, что на ней будет написано.

Окончание следует

Мария Аввакумова

ТАМ ЗРЕЕТ СВЕТ...

Трамвай

Плещется радостный май.
Женщина входит в трамвай.
Имя его — Россия.
Женщина сумки несет.
Имя ее — народ.
Имя народа — стихия.

Выйдет измятая вся.
В доме ее не семья —
в доме несчастный приблуда.
Женщина тем и живет —
этот приблуда не в счет —
что ожидает чуда.

Видели ж вы, небеса,
эти святые глаза,
эти упрямые длани.
О! сотворите еще один раз
чудо во имя Марииных глаз
тысячелетья на грани.

Чтобы звездой среди звезд
сын продышался Христос —
мира безбожьего мрия.
...Локти, авоськи, лай.
Кровью пропитан трамвай.
Имя печальной — Мария.

●

Я — куст в овраге. Я давно молчу.
Мучительно молчу всегда и всюду.
Лишь на бумаге кое-что мычу
да бью в злобе́ невинную посуду.

Я — дом на снос. Я, как и всё, больна.
Но мне не нужен психоаналитик.
Я знаю все причины: да, война...
не тот обмен веществ... грызня политик,
идеи клеть — проклятие небес...
прививки зла... гниенье веры,
тайга порубленных — наш вклад в этногенез
грядущего, в его химеры.

Но я сопротивляюсь, как могу,
хоть, кажется, и незачем и нечем.
Я никому молчанием не лгу.
И никого молчаньем не калечу.
Нет смысла в крике, в слове — больше нет.
Ищу я смысла в помнящем **м о л ч а н ь е.**
О, не темно оно! там зреет свет.
Дай отмолчаться музыке страданья.
Дай отдышаться веку истерий.
Дай воздуху безумий отстояться. —
Тогда войдут лучи эзотерий,
чтоб **и с ц е л и т ь.** Не будем их бояться.

...Нет, не темно оно. Там зреет свет.
А в свете зреют звуки воссозданья
всего того — чего меж нами нет,
но без чего продолжатся страданья.

Красный Полифем

В крутящемся мире судьбы заварушка,
где плоть облетает, как с дерева стружка,
где черное белым привычно считать;
а кто надо всем попытался привстать,
тот камни грызет по ущельям поныне
в беспамятстве сини, в бездонности стыни.

Он камни в норе Полифема грызет.
Завален булыгой и выход и вход.
Там чистые чахнут без света в пещере
в покинутых землях, в отринутой эре.
Усач Полифем, как косач на брегу.
Ослеп грозный пастырь — тем хуже врагу.

Ослеп, но при нем аппетит и так далее,
он семью семь съел и еще семью семь
(чем синедрион государства бездарнее,
тем хуже врагу, получается — всем).
И **э т а** история кончилась плохо бы —
сквозь камни слабó прошмыгнуть полифемовы, —
но стаду овец, заедаемых блохами,
в итоге всего уподобились все мы:
сопел Полифем. Овцы мирно паслись,
покуда... Любая кончается жизнь.

Когда бы не страх, не овечье молчание,
гулять бы нам всем по кишкам по отеческим...
Такое вот новое окончание
у нас получилось к сюжету по-гречески.

Черный список

Мертвые зоны
черные дыры
аэрозоли
нитраты
кефиры...
мертвые звоны

синтетика
СПИД
смоги
Чернобыль
Афган
Сумгаит...
Ладога
реки в упряжке
консервы
лето зимой
импотенция
нервы...
ингредиенты
дефолианты...
Время,
текущее в (?)
сквозь куранты...
Судьбы,
текущие в папки ЧК...
. . . .
Кружку парного бы
молочка!

●

О чем молилась ты в церквушке под откосом,
у самых вод большой старательной реки?
Мы были там одни. В углу дьячок гундосил,
простуженный, смешной, старинные стихи.

О чем просила ты у стен златоубранных,
старательно крестясь ухоженной рукой:
о том ли, что не шел супруг твой богоданный?
о том ли, что не шел к реке твоей покой?

Я вышла. Я ушла — одну оставив с Богом:
кого еще просить?! Здесь каждый изнемог.
...Гудки... Колокола... Разбойный посвист... Гогот.
Домой дьячок спешил. Он сделал все что мог.

Ночным лучом пройдешь сквозь город миллионный,
пронзенный и больной твоей красой, мадам.
И только я тебя — коленопреклоненной...
Не бойся — не скажу. Не бойся — не предам.

●

В горном орешнике много пустых колыбелей.
Мертвые стали детьми и хотят, чтобы их пожалели.

О. Седакова

И вижу я отца лежащим в колыбели.
Младенцем стал отец. Глаза повеселели.
Но старенький пиджак и в седине щетина...
Он в колыбели так лежал, похож на сына.

Я чувствовала: он как за какой стеною,
не дотянусь рукой — а он передо мною.
И даже если шаг я сделаю навстречу,
шаг упадет во мрак — и я разрушу встречу.

Я видела отца. И он мне улыбался,
как если бы он в рай в конце концов добрался.
Но старенький пиджак и в седине щетина...
О, сделать бы тогда хотя бы шаг единый! —

была на грани я познания т а к о г о,
что не способно дать и Главной Книги слово.
Сон кончился. А явь — ничтожней и бессильней.
И слез, и слез потом час от часу обильней...

Но эту встречу нам устроившая сила
передала отцу, как я его любила.

. . . .

Не плоть, не плоть, но Дух — связной для всех дыханий,
твержу себе не вслух, стоявшая на грани.

Покаянное слово

Опускатели глаз...
Умыватели рук...
Да и я — среди вас.
Да и я — в этот круг
затесалась, его обживая, —
если все еще вроде живая.

Какое-то другое тесто

Какое-то другое тесто...
с примесом дикости и чуда.
Ему в лоханке общей тесно.
Оно, чуть что, ползет оттуда.

Оно выламывает крышку
иль даже стенку у лоханки
и на свободе гордо дышит
на все возможности дыхалки.

Потом его сгребут и шмякнут,
сомнут под брань домохозяйки, —
но это после
ребра крякнут
и натуго закрутят гайки.

В хорошем тесте — страсть побега.
В хорошем тесте — дух свободы.
Такому тесту час победы
вынашивает ночь невзгоды.

...Какое-то другое тесто,
с оттенком лихости и чуда.
Ему в лоханке общей тесно.
Ползи! ползи, дружок, оттуда!

Федор Колунцев

АНГЛИЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МОЛОТОК

РАССКАЗ

Я не помню, кто из нас первым швырнул камень в мраморное распятие над заброшенной могилой. Кажется, это был Ашот Аракелян — мальчишка с повадками и бицепсами взрослого мужчины. А может, Юрка Посербский — надменный потомок польских шляхтичей, неизвестно как, еще до революции, оказавшихся в Тбилиси.

Я не помню, кто это сделал первым — с тех пор прошло без малого полвека. Помню только, как брызнули в разные стороны мраморные осколки и каким жалким показался нам Иисус, оказавшийся на своем кресте без головы...

В ту солнечную осень мы раз в неделю ходили на заброшенное, подлежащее сносу католическое кладбище и ломали ограды вокруг могил. Не из кощунства, а для дела.

В ту осень мы дружили втроем: Ашот, Юрка и я — Сурен, или Сурик, как меня называли тогда. Нам было по двенадцать-тринадцать лет. На мальчишеских шеях наших были повязаны галстуки из реденького кумача, защелкнутые у горла никелированной застежкой с тремя веселыми алыми язычками пионерского костра.

Мы дружно, с криками наваливались на очередную ограду и начинали раскачивать ее. Мы с хрустом и скрипом выворачивали ее из земли, пахнущей прелью. Бледно-коричневые мокрицы, которых на юге великое множество, в панике разбегались из-под наших подошв.

Кладбище было красивое и строгое, как и все католические кладбища. Оно террасами поднималось по склону горы. Каждая могила была отмечена гигантской траурной свечой кипариса. Коленопреклоненные каменные женщины безответно протягивали потрескавшиеся руки к наглухо закрытым дверям фамильных мавзолеев. Мраморные Иисусы висели на крестах, обессиленно склонив набок головы в терновых венках.

Откровенная немощность их вызывала у нас презрение. Они напоминали нам лягушек — раздутая грудь, втянутый живот и жидкие ноги. Нам были противны выточенные неумелым резцом жилы на их расплющенных ступнях и ладонях. Страна готовила нас к подвигу, и нашим душам полагалось быть свободными от предрассудков. К тому же никто из нас еще не видел смерти, и надгробья были для нас всего лишь лежащими в траве каменными плитами, под которыми не было ничего. Легкий запашок тления, витавший между крестами, не бередил наших душ. Мы были бессмертны, как все дети. Стократно повторенный мертвый человек на кресте был враждебен нам. Но мы его поначалу не трогали.

Мы выворачивали из земли очередную ограду и волокли ее в нашу школу, находившуюся напротив кладбищенских ворот.

Тогда — в году тридцать третьем — средние школы почему-то назывались фабрично-заводскими. По крайней мере, так было у нас в Тбилиси.

Школа наша была обычная — с арифметикой, историей, географией. Но был еще раз в неделю урок труда. Одну неделю мы работали в слесарной мастерской, вторую — учились вышивать крестиком и гладью. И мальчики, и девочки занимались и тем и другим. Слесарная мастерская должна была, наверное, приобщить нас к труду заводскому, а вышивание — к фабричному.

Мы рубили в мастерской металлические прутья кладбищенских оград на куски по восемь сантиметров длиной, а потом вручную напильниками вытачивали из них молотки сложной конфигурации, так называемые английские инструментальные.

Это была интересная работа. Зажмешь в тиски изъеденный временем брусок металла, кажется, ни на что уже не годный. Сначала напильник скользит по ржавой поверхности, срывается. Потом ход его становится ровным, мягким, серебряными искорками вспыхивают опилки. И под слоем ржавчины вдруг обнаруживается прекрасное, сияющее тело металла.

Молотки получались красивые, один к одному, и это было чудом, что из ржавых кладбищенских оград они получались такие новенькие, с отполированными гранями.

Приобщал нас к заводскому труду некто товарищ Саркисян. Почему-то он не разрешал нам называть себя по имени-отчеству и требовал, чтобы мы называли его вот так официально: «товарищ Саркисян».

Полвека прошло с того момента, когда я видел его в последний раз. Это было в тот день, когда два милиционера и один человек в штатском навсегда увели его из мастерской прямо с урока. Милиционеры держали его с двух сторон за худые локти, хотя он и не думал вырываться, а человек в штатском шел сзади, зажав под мышкой какую-то красную папку. Я ее очень хорошо помню, эту папку, наверное, потому, что красный цвет всегда вызывал в наших душах уважение и трепет... На пороге товарищ Саркисян обернулся, изогнувшись в цепких руках милиционеров, и через плечо человека в штатском глянул на нас — на меня, на Ашота и Юрку — поочередно.

Ашот и Юрка погибли через несколько лет на войне, и только мне одному досталось пожизненно помнить этот взгляд очень черных с желтоватыми белками глаз Саркисяна — взгляд умирающего пса, которому внезапно переломили хребет. И я, как сегодня, помню его. И помню, как мы потом все кинулись к окну и смотрели вслед милиционерам, человеку в штатском и Саркисяну, и помню, как он шел, обессиленно шаркая по пыльному школьному двору сандалиями, надетыми на босу ногу.

Никто, кроме нас троих, не понимал, что же такое произошло. А мы трое смотрели вслед Саркисяну со смятением и гордым чувством исполненного долга. Да, вот так оно и произошло: два милиционера и человек с красной папкой вошли в мастерскую в середине урока, взяли учителя за острые локти и увели его. Наверное, не обязательно было брать его в школе в середине урока, но они сделали так. Сандалии у Саркисяна были с узором из дырочек, а из-под коротких, затасканных брюк виднелись изжелта-смуглые костлявые щиколотки... Давно уже вышли из моды, канули в вечность эти сандалии с дырочками — символ того голодного и возвышенного времени...

А до этого дня мы с товарищем Саркисяном ходили на кладбище и ломали ограды. Он, правда, оград не ломал, он только выбирал очередную, а потом усаживался где-нибудь поодаль и, глядя в сторону, дымил дешевой маленькой папироской, словно не имел к нашим действиям никакого отношения. Но то, что он сидит отвернувшись, мы заметили позже — после того, как Юрка (или Ашот) разбил первого Иисуса. После этого случая с Иисусом у нас словно открылись глаза, и нехорошие подозрения закрались в наши души. И мы втроем начали подмечать каждый шаг товарища Саркисяна. А до этого он был для нас просто учителем, который учил нас вытачивать английские инструментальные молотки и еще по совместительству преподавал географию. Мы даже любили его за эти уроки географии. Ему было наплевать на программы и учебники. Он был врун, такой же, как и мы все — двенадцатилетние, и плел нам на уроках всякую фантастическую чушь про нильских крокодилов, про то, как он ездил на слонах по Индии и взбирался на египетские пирамиды. Мы знали, что он врет, но нам хотелось верить ему. Мы знали, что у него четверо детей и парализованная жена и что он влачит с ними полуголодное существование где-то на Авлабаре[1]. Но нам хотелось верить, что перед нами человек, на долю которого выпала удивительная жизнь.

[1] Район Тбилиси.

— Мы вошли в джунгли. Была темная ночь,— начинал он с тягучим армянским акцентом, всегда тихо, наверное, для того, чтобы придать своему рассказу побольше таинственности.— Была очень темная ночь,— добавлял он чуть погромче.— В нэбэ сияли звезды. А вокруг рычали тигры и львы, выли гиены и удавы.

Он распалялся все больше. Желтое, всегда обросшее жесткой щетиной лицо его розовело.

— Они охотились за своими жертвами и, настигнув их, разрывали в ночной тьме на кльёчья! Но мы шли вперед!

Голос его рокотал... В те далекие времена дело народного образования еще не было поднято на должный уровень и никто не мешал Саркисяну одаривать нас вместо знаний плодами своей фантазии. Он бескорыстно дарил нам свои мечты и требовал взамен только тишины в классе и абсолютного внимания. А если кто-нибудь начинал ерзать или шушукаться с соседом, Саркисян внезапно замолкал, протягивал в сторону провинившегося руку и растопыривал костлявые, поросшие черными волосками пальцы, словно собирался схватить провинившегося за горло. Голос его снова падал до шепота и начинал вздрагивать от ярости.

— Эй ты, шакал! — цедил он сквозь зубы.— Сейчас я доберусь до тебя. И вирву твой паршивый язык. И прибью его к дверям с той стороны, чтобы каждый, кто захочет войти сюда, видел, что здесь делают с болтунами, которые размахивают языком, как тряпкой! Вот я сейчас доберусь до тебя и пэ-рэ-ломаю твои худосочные кости! И ты до конца своих днэй будешь ползать по Сабурталинскому базару и надеяться только на милость порядочных людей!

Он уже не мог остановиться, придумывая для провинившегося казни, одна страшней другой. Но мы знали, что все это только игра и ему просто некуда девать клокотавшей в его узкой груди энергии...

Он ни минуты не мог оставаться без дела и вмешивался во все, что происходило в школе. Если наш дворник старик Мартирос начинал при нем подметать двор, товарищ Саркисян немедленно вырывал у него метлу и сам принимался размахивать ею, поднимая клубы пыли. На большой перемене он мчался в буфет и помогал буфетчице резать хлеб и раздавал нам бутерброды с повидлом и стаканы с чаем. Мечта нашего полуголодного детства: тонкий ломтик ржаного хлеба, смазанный липким коричневым повидлом и стакан бледного чая с двумя ложками сахарного песку... Мы получали все это из рук товарища Саркисяна. Он сам чинил испортившуюся электропроводку, вставлял выбитые стекла. Как сейчас вижу, как он мчится по школьному коридору, пропахшему детской мочой и чернилами, зыркая своими черными глазами направо и налево, а непомерно широкие брюки его как флаги полощутся на ходу над тощими, смуглыми щиколотками.

Да, мы любили его до того самого дня, пока Ашот (или Юрка) не разбил распятие и тяжкие подозрения не запали в наши строгие души. Мы любили его уроки (кто, кроме него, мог придумать воющих удавов?). И на кладбище любили ходить. Устав от разрушений, мы ложились на теплые, шершавые могильные плиты, подставляя лица мягкому осеннему солнцу. Со склона, на котором находилось кладбище, был виден весь город, вытянувшийся в горной долине вдоль берегов желтой Куры: красные крыши в зелени еще не тронутых осенью деревьев, конусообразные купола грузинских церквей.

Мы грелись на солнышке, а товарищ Саркисян сидел в стороне, спиной к нам, притихший (он только здесь, на кладбище, бывал притихшим), сняв сандалии, поставив корявые ступни в теплую траву. Голубой папиросный дымок вился над его всклокоченной головой...

И все-таки, наверное, мертвый человек на кресте исподволь бередил наши свободные от предрассудков души. Что-то, наверное, копилось и зрело в них. И запашок тления, хотя мы и не улавливали его, раздражал наши ноздри. И тяжесть лежавших в траве многопудовых могильных плит так или иначе ощущалась нами и угнетала нас. Молодость должна ненавидеть смерть. Человек на кресте бросал нам, собиравшимся жить вечно, безмолвный вызов.

В тот день нам попалась какая-то особенно прочная ограда. Наверное, родственники умершего знали, что на любую могилу рано или поздно является осквернитель. Мы раскачивали ограду, мы по очереди долбили ломами цементное ее основание. Но она не поддавалась. И тогда Ашот (да, это все-таки был Ашот, у Юрки не хватило бы сил) поднял над головой в своих не по-детски мускулистых руках каменный осколок, не меньше чем в полпуда весом, и, размахнувшись, швырнул его в мраморное распятие, возвышавшееся за злополучной оградой. И тонконогий Иисус с голодными ребрами в одну секунду остался без головы.

А дальше все пошло так, как и должно было после этого пойти: сразу же под градом камней развалилось распятие на соседней могиле, удар лома разнес голову коленопреклоненной женщине. С громким смехом и криками мы били чем попало: камнями, металлическими прутьями от уже разрушенных оград. И не обращали внимания на Саркисяна, который, сорвавшись со своего места, метался босиком между нами, оттаскивая нас от могил, пытаясь разогнать в разные стороны.

— Нэльзя! Нэльзя! Вы что?! Вай-вай! Юра, Сурен, Ашот! Как можно?! Зачем?

Юрка орудовал ломом: не торопясь (он все делал не торопясь), переходил от одной могилы к другой и работал, как заведенный. Саркисян вцепился в ворот его рубахи.

— Стой! Кому я говорю?! Нэльзя! Мальчишка! Нэгодяй! Зверь!

Тут уже ярость Саркисяна была настоящей. Юрка вырвался из его рук, передернул плечами, поправляя рубаху, и спокойно взглянул в бледное от гнева лицо Саркисяна.

— Почему нельзя?

Юрка был взрослее всех нас и знал многое из того, что не полагалось знать в нашем возрасте. Он знал, например, зачем мужчина и женщина ложатся в одну постель, как курят анашу и впрыскивают наркотики, почему мальчишкам опасно по вечерам в одиночку шататься по переулкам в мусульманском районе возле серных бань. Он знал и многое другое и во всем любил докапываться до сути. И сейчас он хотел знать: почему, если разрешалось ломать ограды, надо было щадить распятия? Ему были непонятны испуг и гнев Саркисяна, и мы тоже не понимали, почему это товарищ Саркисян так разволновался.

Азарт наш угас так же внезапно, как и возник, и мы, человек тридцать, почти весь наш класс, уже притихшие, столпились вокруг Саркисяна и Юрки.

— Почему? — холодно повторил Юрка. — Ведь это бог. Скажете, нет?

Мы все вместе с Юркой ждали ответа. Бог был нашим врагом, одним из главных наших врагов, — так нас учили. И мы вовсе не ради красоты носили свои красные галстуки.

Юрка ждал ответа, с интересом глядя в лицо Саркисяну своими серыми, многоопытными глазами, сжав тонкие губы. И мы все ждали. Но Саркисян не ответил на Юркин вопрос. Он отер вздрагивающими ладонями пот с лба, молча выбрался из плотного нашего кольца, и, сунув ноги в стоявшие поодаль сандалии, побрел к выходу с кладбища.

Нет, не должен был он делать этого! Он обязан был ответить нам. А он ушел, даже забыв в растерянности застегнуть перемычки на своих сандалиях. Оставалось ли у него после этого право винить нас за все, что произошло потом? Он ведь сам водил нас на кладбище и сам освобождал наши души от предрассудков... Вечером того же дня мы втроем — Юрка, Ашот и я — сидели на ступенях моего подъезда в нашем переулке. Мы все трое жили в одном переулке у подножия горы Мтацминда. Это был старинный узкий переулок, вымощенный кривым булыжником. Он круто взбирался в гору, дома, выложенные из плоского азиатского кирпича, были опоясаны деревянными резными балконами и винтовыми лестницами. В переулке этом не было фонарей, а окна домов закрывались ставнями, и по вечерам на переулок опускалась густая южная тьма, и звезды в небе были яркими и крупными.

Мы сидели на согревшихся за день каменных ступенях и курили, пряча в ладонях оранжевые огоньки папирос. Мы каждый вечер сидели здесь на этих ступенях, отдыхая от дневного солнца и кашляя от табачного дыма, к которому никак не хотели привыкать наши детские легкие.

В этот вечер мы говорили о вдруг обнаружившейся тайне товарища Саркисяна. А тайна была, она завораживала нас, разжигала наше воображение.

— Наверное, он в бога верит, а, Сурик? — спросил Юрка.

— Наверное, — согласились мы с Ашотом.

В те годы это было невероятным, немыслимым: верующий учитель!

— И, может, он шпион Ватикана, — добавил Юрка. — Скажешь, нет?

— А что это такое, Ватикан? — спросил Ашот.

— Место, где живут самые главные попы, — сказал Юрка. — Оттуда они присылают к нам шпионов, чтобы задуривать людям головы. Поляков, например, они задурили, и потому у них еще нет Советской власти. Мне отец рассказывал. В Ватикане живут самые страшные попы — католические... И кладбище это католическое. Скажешь, нет?

Некоторое время мы сидели молча, испуганные собственными предположениями. Тайна Саркисяна приобретала реальные очертания. Ведь так и могло быть, что католические попы из Ватикана приставили Саркисяна охранять эти распятия на их кладбище.

Мы сидели молча. Только Ашот вздыхал в темноте. Впрочем, он был меланхоликом и вообще часто вздыхал. Он все время мечтал о женитьбе и очень сокрушался, что ждать предстоит еще никак не меньше десяти лет. Азиатская кровь текла в его жилах; он уже вполне был готов к тому, чтобы создавать себе подобных, но заботливые учителя и пионервожатые задуряли ему голову арифметикой, диктантами и пионерскими сборами и больше всего на свете боялись, как бы он не докопался до тайны деторождения. Но в этот вечер его, кажется, больше занимала тайна Саркисяна.

Да, Саркисян обязан был ответить на Юркин вопрос. А он струсил и сам решил свою судьбу в тот момент, когда побрел с кладбища в незастегнутых сандалиях... Невероятные силы высвобождаются в душе, если с нее снять гнет предрассудков. Что значит перед этим энергия атомного ядра? Ясные Юркины глаза ни на кого не смотрели с жалостью. И Саркисян дрогнул, взглянув в них. Дрогнул и погиб...

Мы решили в тот вечер, что не отступим и разгадаем тайну.

Саркисян продолжал жить, как жил: подметал двор, намазывал повидлом ломтики ржаного хлеба, обрушивал на наши головы чудовищные проклятия, преподавал географию. И ему в голову не приходило, что три пары неподкупных, безжалостных глаз следят за каждым его движением.

Мы начали свои наблюдения с понедельника. К субботе мы знали о нем все.

Мы узнали, что у него трое сыновей, старший из которых оказался нашим ровесником, и дочь. Что жену его, не по летам располнéвшую, ковыляющую на костылях женщину, зовут Аршалуйс, что у нее визгливый голос. Мы узнали, что Саркисян встает по утрам раньше всех в семье, в шесть часов и, прихватив плетеную кошелку, мчится по спуску мимо Метехского замка, через Ишачий мост на мусульманский базар на Майдан. Там он покупает несколько кувшинов с мацони, кусок баранины подешевле, пучки зеленого лука и тархуна, а на обратном пути в пекарне возле мечети берет два свежевыпеченных чурека из самой дешевой серой муки. Все это он покупал, долго и яростно торгуясь, борясь за каждую копейку с остервенением замученного нуждой человека.

По улицам и по базару он, так же, как и по школьным коридорам, не ходил, а бегал. А мы бежали следом, прячась за спинами прохожих или ныряя в какой-нибудь подъезд, если нам казалось, что Саркисян вот-вот обернется.

Вернувшись с базара, он снимал свою пропотевшую синюю сатиновую косоворотку, и, сидя на веранде в одной нательной рубахе, пил чай и ел чурек с тушинским сыром и луком, одновременно покрикивая на детей, переругиваясь с настырной Аршалуйс. Мы следили за ним сквозь щели в старых воротах. Как сейчас, встает в моей памяти его носатый

профиль, острые лопатки под желтоватой застиранной рубахой. И, словно это было не полвека назад, а совсем недавно, вижу я, как он, комкая худыми пальцами зеленые стебли лука, торопливо засовывает их в рот, как ломает теплый чурек и щепоткой подбирает с тарелки крошки сыра. И слышу пронзительный голос его Аршалуйс.

Покончив с едой, он мчался в школу, всегда пешком, через весь город, никогда не пользуясь трамваем. Мы едва поспевали за ним.

После школы он тем же путем возвращался домой и допоздна играл во дворе в нарды с соседом-татарином.

Не обнаруживалась в его жизни никакая тайна. Но нам она была необходима. Мы снова и снова вспоминали каждый шаг Саркисяна, каждое его слово.

Кое-что подозрительное все-таки было в его поведении. Например, отправляясь в школу, он прихватывал с собой небольшой коричневый чемоданчик... Так вот, из дома он шел с пустым чемоданчиком, а когда возвращался, в нем всегда что-то лежало. Об этом нетрудно было догадаться, приглядевшись к тому, как он его несет. И второе: в положенный день он не повел нас на кладбище ломать ограды, а заставил убирать мастерскую...

Это было немного, но мы чуяли, что тайна все-таки есть. И оказались правы. Она открылась нам на седьмой день, в воскресенье. Но была она до обидного простенькой. И загадочные священники из Ватикана оказались здесь ни при чем. К нашему разочарованию.

В воскресенье в шесть утра он, как обычно, отправился на Майдан, но шел медленнее, чем всегда, и несколько раз перекладывал свою кошелку из руки в руку. В ней лежало что-то тяжелое. А придя на базар, он пошел не в мясные ряды, а направился в ту часть базара, где находились мастерские лудильщиков и где продавали медные азиатские казаны, кувшины и всякую металлическую рухлядь. Тут же жарили на мангалах шашлыки и едкий, синий в солнечных лучах дым висел над шумной толпой. В темных чревах мастерских жарко пылали кузнечные горны, запах горелого угля смешивался со сладковатым, запретным запахом анаши.

На несколько минут мы потеряли Саркисяна из вида. Озираясь, мы пробивались сквозь толпу и вдруг чуть не налетели на него. Он сидел на корточках в ряду продавцов металлической рухляди. На земле перед ним были расстелены газеты, а на них, уложенные аккуратными рядами, лежали сияющие отполированными гранями молотки, которые под его руководством мы вытачивали в мастерской. Вот и все! Не был он никаким шпионом Ватикана. Он просто уносил из мастерской сделанные нами молотки и продавал их здесь по воскресеньям...

Он поднял глаза и увидел нас... Не приведи бог, чтобы кто-нибудь еще раз взглянул на меня так! Нельзя видеть на обращенном к тебе лице ужас перед тобой. Нельзя! Он вдруг весь оказался в нашей власти, и взгляд его черных с желтоватыми белками глаз открыл нам это. Мы молча стояли над ним в своих красных галстуках из реденького кумача, и весь он, со своей нелепо прожитой жизнью, с детьми и крикливой Аршалуйс, с рассказами о нильских крокодилах и со всем своим будущим и будущим жены и детей, вдруг оказался в наших руках. Как птенец в безжалостном кулаке, когда остается только ждать, когда сожмутся пальцы.

В те давние, теперь уже кажущиеся легендарными времена нас не учили жалости. Нас учили справедливой и святой ненависти. И по тогдашним нашим понятиям воры, безусловно, подлежали немедленному наказанию, как и тайно верующие, и шпионы. Да, мы тогда были выше постыдных сомнений. И он знал это и потому, наверное, не сказал нам ни слова и не окликнул нас, когда, разом повернувшись, мы молча пошли от него...

Конечно, милиционерам и человеку с красной папкой не обязательно было заявляться в школу в середине урока. И держать Саркисяна за локти тоже не было никакой необходимости, он ведь совсем не сопротивлялся и только на пороге приостановился, чтобы взглянуть на нас троих...

Но они пришли в середине урока. Человек с красной папкой встал посреди мастерской, легко, как в танце поднял руку, требуя, чтобы мы перестали скрежетать своими напильниками. В кремовой чесучевой рубахе, с тонкой талией, перетянутой шелковым шнуром с кистями, и в мягких сапогах, он и в самом деле был похож на танцора. Он раскрыл свою папку, заглянул в лежавшую в ней бумагу и спросил в наступившей тишине Саркисяна, действительно ли он Саркисян и действительно ли его зовут Арташесом Вагановичем. Только тут мы узнали, как зовут Саркисяна. Потом они увели его, и мы из окон мастерской смотрели, как Саркисян шаркал по пыли своими сандалиями, а человек с красной папкой, наоборот, переступал осторожно, стараясь, видимо, не запылить своих легких кавказских сапог из мягкой кожи.

Никто в классе, кроме нас троих, не понимал, что же такое произошло. А мы трое смотрели вслед этой процессии со смятением и гордым чувством исполненного долга. Ведь это мы вызвали из небытия двух милиционеров в мундирах, с пистолетами и красивого человека с осиной талией и стройными женскими икрами, затянутыми в дорогую кожу, с красной папкой под мышкой. Мы, мальчишки, заставили действовать взрослых людей! Мы не дрогнули и выполнили свой долг до конца! Как тут было не загордиться?.. Нас предупредили, что подвиг наш до времени должен оставаться неизвестным, и это еще добавляло нам гордости: взрослые доверились нам, приняли нас, тринадцатилетних, в свои секретные игры! Но они, как и следовало ожидать, оказались умелее нас: вскоре стало достоверно известно, что Саркисян действительно оказался иностранным шпионом...

Вечером того же дня, когда увели Саркисяна, мы, как всегда, сидели в нашем переулке на теплых ступенях. И Ашот, как всегда, вздыхал: ему мерещились смуглые груди и могучие бедра той, которая в далеком будущем должна была стать его женой. Он ведь не знал, что ему предстоит погибнуть под немецким танком через каких-то семь лет, так и не дожив до свадьбы. И Юрка не знал, что жить ему только до сорок третьего года. Как всегда, над нашими головами сияли крупные южные звезды. И души наши были чисты и возвышенны, и будущее представлялось нам суровым и прекрасным...

Осквернитель могил в прошлом, я и сейчас умею вытачивать английские инструментальные молотки. Только не занимаюсь этим.

Октябрь 1970 г. — май 1971 г.
Москва

Публикация А. Беляковой-Колунцевой

Александр Левиков

КУДА ИДЕМ?..

ПИСЬМА О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

По обязанностям экономического обозревателя я регулярно читаю почту. Сейчас она не о деталях хозяйственной реформы, не о мясе и мыле, будь их дефицит трижды неладен, а о сути социализма. Это в почте новое. Так еще не размышляли, не спорили. Не доходили в спорах до такой степени ожесточения. Что стоит за этим расколом общественного сознания?

Волградец Ю. Щербаков, очень рассердившийся на мою статью «Цена и рынок» в «Литературной газете», предложил: «Давайте еще раз, если Вы, конечно, уже читали, вместе прочтем то место в работе В. И. Ленина «О кооперации», на которое вы ссылаетесь».

Вот какую ленинскую цитату воспроизводит мой оппонент: «...Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную «культурную» работу».

«Как видите, ни о какой собственности, ни об организации социалистического рынка здесь и речи нет,— подводит автор письма итог «совместного прочтения».— Ваше желание как-то подкрепить свою концепцию ссылками на классиков объяснимо, но для этого совсем не обязательно подправлять их».

Однако признать себя виновным в «подчистке» Ленина я никак не могу. Что еще за «культурную работу», если не культуру рынка, имел он в виду в статье «О кооперации»? Ведь в одном из предыдущих абзацев Владимир Ильич специально разъясняет: «Под уменьем быть торгашом я понимаю уменье быть культурным торгашом». А далее — о необходимости привилегий для кооперации, для культурной торговли — «экономических, финансовых и банковских». Кто говорит, что все это не о рынке, не о собственности, тот думает, будто торговать можно вне рынка и кооператор торгует не своей собственностью.

И тем не менее вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.

До 1921 года Ленин неотступно следовал за Марксом и Энгельсом, ругательски ругая всяческих «ренегатов». Малейшее замечал несоответствие в их писаниях и крушил нещадно. Он был противником торговли, рынка, товарно-денежных отношений при социализме — противником в духе марксизма, как его понимали большевики. Верил во всемогущество национализированной собственности, в распределительную мудрость государства «диктатуры пролетариата», в прямой продуктообмен. Это и называл социализмом. «Военный коммунизм» был для Ленина и его единомышленников не конъюнктурой, а принципом, символом веры, их кредо. Но — дело не пошло! Хозяйство страны разваливалось на глазах, крестьяне там и тут восставали, само существование советской власти оказалось под угрозой. И тогда...

Переосмысление Лениным... Ленина (то есть Маркса) в столь ключевом вопросе, как концепция социализма, еще ждет своего научного и художественно-

психологического исследования. Осуществлены лишь первые попытки. Почему Ленин прежде не верил ничьим предостережениям? Почему неотступно следовал Марксу и Энгельсу, которые сами предупреждали, что далеки от мысли считать свои идеи практическими рекомендациями для кого бы то ни было? Почему, наконец, не поверил даже лучшему в России знатоку марксизма, первому русскому марксисту Г. В. Плеханову, который столь многое предвидел?

И то, что «совершившаяся революция может привести к политическому уродству, вроде древней китайской или перувианской империи, т. е. к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке». И то, что «...Русская история еще не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма...» И что при отсутствии «высокой степени развития производительных сил» и «весьма высокого уровня сознательности в трудящемся населении страны» — при отсутствии этих «по крайней мере двух непременных условий» — «толковать об организации социалистического общества в нынешней России значит вдаваться в несомненную и притом крайне вредную утопию». И то, что капитализм в России далеко не исчерпал себя: «...Если бы наш рабочий класс захотел стеснять дальнейшее развитие капиталистического способа производства, он тем самым нанес бы жестокий вред как всей стране, так и своим собственным интересам». И то, что партия, став монопольно правящей, обретет опасные черты: «...в ее рядах очень скоро не осталось бы места ни для умных людей, ни для закаленных борцов: в ней остались бы лишь лягушки, получившие, наконец, желанного царя, да Центральный Журавль, беспрепятственно глотающий этих лягушек одну за другою».

Ни этим плехановским, ни другим подобным предостережениям ни Ленин, ни его сподвижники не вняли. Ибо свято верили в марксов прогноз социализма как бестоварного царства свободы на земле. Но в итоге ленинского «военного коммунизма», построенного по каноническим законам, в итоге «военного коммунизма» Сталина (после сокрушения им нэпа), продолжавшегося с некоторыми смягчениями до конца брежневских времен (а основные его черты, к примеру, в экономике живы и по сей день!) — в итоге такого курса мы оказались опять, подобно Ленину двадцать первого года, на перепутье, в томительном размышлении, в споре с приверженцами незыблемости формулы марксовского социализма.

«Подлинным ленинским теоретическим наследием», к которому мы должны, «очистив социализм от деформаций», вернуться в ходе перестройки, сейчас провозглашены несколько кратких, фактически уже предсмертных его статей, речей, записок. Но на противоположной чаше весов — тома и тома, написанные им о другом: о борьбе с идейными врагами, о строительстве партии нового типа, о подготовке революции и захвате власти, о схватке с послеоктябрьской контрреволюцией, преодолении голода и разрухи... Книгу «Государство и революция», в которой Ленин развивает взгляды Маркса и Энгельса на этот предмет, автор сопровождает информацией о своих, увы, несбывшихся планах: хотел написать продолжение — об опыте русских революций, но не успел, однако не огорчен: «приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

Наброски, конспекты не есть готовая, тщательно продуманная концепция. Эти последние ленинские работы заметно противоречили марксизму, усвоенному ранее большевистским руководством, в том числе и по темпераментным урокам самого Ленина. Многим, очень многим трудно тогда было новые идеи принять. Выскажи их кто-нибудь другой, наверняка бы отвергли и заклеймили отступничество. Даже Ленину пришлось нелегко. Он был вынужден соотноситься с уровнем господствующих в партии теоретических представлений, лавировал, прибегал не только к стратегическим, но и тактическим, а то и прагматическим аргументам. С ним соглашались, но как? Принимали новые подходы в качестве вынужденных, продиктованных конкретной политической и хозяйственной ситуацией, голодом, сопротивлением крестьянства, необходимостью кормить город. Но отказывались видеть в них «коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм».

Отказываются — очень многие! — и до сих пор. Люди противоположных взглядов находят в сочинениях Ленина десятилетия спустя после его смерти

подтверждение своей правоте. Столь разной правоте! Находят потому, что вождь партии и государства, убеждая сотоварищей своих по борьбе, снисходил к их чувствам и пониманию. А может быть — позволим себе и такое крамольное допущение,— сам до конца не разобрался. Не успел. Шел к постепенному признанию того, что социализм — это общество с товарным производством, рынком. Но не суждено ему было пройти даже малую часть новой дороги. Смерть оборвала эти размышления не в зените их, а в начальной стадии. Не поэтому ли выходило у Ленина, что «коренная перемена» соседствовала с «временным отступлением», а концептуальный взгляд на социализм — с конъюнктурной уступкой «частнику» и «торгашу»? Почти на одних и тех же страницах, в соседних работах, в стоящих рядом абзацах. Сталину было из чего выбирать, и он предпочел опереться на «более марксистские», в его представлении, тезисы Ленина, использовав их в качестве ширмы для развязывания террора, диктатуры личной власти.

Споры наши с волгоградцем Ю. Щербаковым и многими его единомышленниками тянутся оттуда — из двадцатых годов, из ленинского противоречивого поворота, из отступничества вождя от канона, из теоретической непроясненности, из последующего «весьма убедительного» (при помощи пыточных камер, расстрелов и каторги) сталинского разъяснения, что есть правоверный марксизм-ленинизм и чем чреваты сомнения. Нынешняя, полная трагического раззора ситуация в стране лишь подлила масла в огонь. Неоднозначная реальность перестройки придала давним спорам новую страсть.

«Оправданы ли ссылки на авторитет В. И. Ленина при попытках доказать, что «нэп, по сути дела, означал переход от «административного социализма» к «хозрасчетному социализму» (Н. Шмелев) и уверения, будто «Ленин говорил, что нэп вводится всерьез и надолго, но большинству виделось временное отступление...» (А. Левиков)? — спрашивает Н. Бойков из Алма-Аты.— Ясно, конечно, что «всерьез и надолго» не означает «навсегда». Но для того, чтобы опровергнуть довод в целом, надо всего лишь обратиться к первоисточникам, к статьям В. И. Ленина по вопросу о нэпе. В статье «О продовольственном налоге» В. И. Ленин указывал: «Кооперация мелких товаропроизводителей... неизбежно порождает мелкобуржуазные, капиталистические отношения, содействует их развитию, выдвигает на первый план капиталистиков, им дает наибольшую выгоду... Свобода и права кооперации... означают свободу и права капитализму. Закрывать глаза на эту очевидную истину было бы глупостью или преступлением»... Нет, В. И. Ленин никогда не считал нэп путем развития социализма. Для него это было временное отступление. Он пишет в статье «О значении золота...»: «...отступить хотя бы и далеко назад, но в меру, отступить так, чтобы вовремя приостановить отступление и перейти опять в наступление». Ссылки на авторитет В. И. Ленина, мягко выражаясь, не выдерживают критики. «Товарники» попросту беззастенчиво используют доверие своих читателей, отсутствие их работы с первоисточниками.

Время спорить о главном и откровенно. За что же мы боролись семьдесят послеоктябрьских лет? Какое общество и производство создали в итоге? Разумно ли в век НТР держаться за утопический прогноз социализма, высказанный еще в «век пара»? Признавать ли и далее безрыночный социализм правотой Маркса и Энгельса или посчитать это предсказание ошибкой классиков? Был ли на самом деле у Ленина поворот от марксового социализма к социализму с рынком или такая перемена взглядов вождя революции — лишь плод фантазии, мистификация, на которую отважилась часть политиков, публицистов, экономистов и историков? Как быть с монополией государственной собственности, камнем лежащей на пути к рынку, с «краеугольными камнями», сплошь завалившими эту вожделенную для одних и неприятную для других дорогу? Надо ли судорожно цепляться за идеологизацию экономики, превращать ее, как остроумно выразился один психолог, в «экономику священных коров»?

Можно посчитать эти вопросы «риторическими», но, избегая «абстрактного», не получим и «конкретного». Ни продовольствия, ни потребительских товаров, ни жилья в достатке, ни здорового здравоохранения, ни просвещенного просвещения. Такие это проклятые вопросы! Когда подошел к развилке дорог, желательно все-таки сообразить, куда тебе двигаться далее.

Взгляды тех, кто отвергает рыночный путь развития социализма, до перестройки господствовали и воспринимались как «естественный фон». Тогда «товарники» высовывались чуть ли не из подполья. Теперь наоборот. «Антитоварники» жалуются, что их не печатают. Корабль лег на другой курс, и некоторые прежние авторы, ощущавшие себя пассажирами кают первого класса, вдруг оказались в положении опоздавших, забытых на захолустной пристани. Но я считаю важной аргументацию антитоварников, их способ самозащиты, их суждения о путях спасения Отечества. Нельзя отмахиваться и от тех высказываний Маркса, Энгельса и Ленина, которые они — воистину знатоки классики! — приводят в подтверждение своей позиции. Это не просто «цитатная война» — за ней стоит идеологический спор, на многое проливающий свет.

Речь идет о социальном феномене, целом пласте «отдрессированного» мышления. Можно не принимать, но согласитесь: похвальна крепость в вере. Вера, конечно же, бывает разной. Мы имеем дело с материалистическим богопочитанием, или, сказать иначе, религиозным атеизмом. У этой веры свои святые, свои пророки и апостолы, свои инквизиторы и послушники, свои затворники, свои мученики, свои еретики и отступники. Рая их веры мы еще не видели, но в их аду многие уже сгорели. Отступники в их глазах — те, что «предали социализм». А себя они числят в праведниках.

Разумеется, не все оппоненты мазаны одним миром. Это весьма пестрая по своим взглядам часть больного общества. Их не определишь одним хлестким словом — «догматики». Есть заскорузлые, но есть и мятущиеся, ищущие, пытающиеся преодолеть разлад в душе, как-то связать оборвавшиеся нити между тем, чему их учили с детства, что впитали, по выражению архитектора и публициста Феликса Новикова, «с молоком альма-матер», и тем непонятным, что происходит сейчас в стране: то ли одолели ревизионисты, то ли и впрямь пришла пора поворачивать мозги. Еще их страшат «безудержный» рынок, «стихия»...

Давайте раз и навсегда договоримся об элементарном не спорить: «рыночной стихии» никто не предлагает. Такого рынка нет и в современном капиталистическом мире. Всюду так или иначе государство оказывает свое влияние. А уж тем более наш рынок не мыслится без разнообразного, но тонкого — экономического — регулирования государством. Почему «рыночники» упор делают не на регулировании, лишь вскользь говорят о нем? Да потому, что есть сильный перекос в противоположную сторону — все напрочь (вплоть до мышления) зарегулировано! А клин надо вышибать клином.

Вполне в духе этой зарегулированности инженер и экономист А. Денисенко (г. Саки Крымской области) аттестует себя как человека, «ненавидящего все рыночное, торгашеское» и вполне доверяющего ученым доказательствам о преимуществе планомерного развития и загнивания капитализма. Ему не по душе идея пересмотра экономической сущности социализма и принятие рыночного варианта. «А будет или не будет такая экономика социалистической,— пишет Денисенко,— зависит, по мнению сторонников этой позиции, от того, как понимать социализм (оказывается, мы еще до сих пор не уяснили для себя, как понимать социализм!)». Сам он давным-давно «уяснил». Инженер согласен, что в условиях рынка работник «должен работать больше и лучше»: «Это то, чего вы хотите достигнуть? Но это и есть система принуждения или эксплуатации. Какой же может быть социализм при эксплуатации? Или вы понимаете социализм только как изобилие товаров? А нас, «обывателей», интересует не только это. И мне страшно подумать, что мы можем дойти и до конкуренции, и до настоящих акционерных обществ».

Перед самым нэпом, напоминает Денисенко, 2 октября 1920 года, на съезде комсомола, В. И. Ленин говорил, что тот, кому в ту пору было пятнадцать лет, «через 10—20 лет будет жить в коммунистическом обществе...». Если это так (а Ленин действительно так говорил, и мы напрасно отдали тут приоритет Хрущеву, объявившему: «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»), то как же можно утверждать, будто Ленин готов был допустить товарно-денежные отношения в качестве экономической основы социализма?

Как в таком случае понимать речь Ленина на пленуме Моссовета 20 ноября 1922 года: «Эта политика названа новой экономической политикой потому, что она поворачивает назад. Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед».

После такой цитаты, полагает оппонент, уже не может быть никакого сомнения, что «нэп — это отступление, нэп — это шаг назад, необходимый, чтобы разбежаться (построить фундамент социалистической экономики) и сильнее прыгнуть вперед (к социалистической экономике в соответствии с учением марксизма)».

Далее следует очень интересное рассуждение, прошу внимательно следить за мыслью критика. Он считает доказанным, что Ленин рассчитывал нэп «не более, чем на 10—20 лет». «После построения фундамента социалистической экономики,— утверждает он,— необходимо было уничтожить товарно-денежные отношения и перейти к истинно социалистическому производству на основе марксовой концепции социализма. Но прошло уже в три раза больше времени, а мы так и не построили справедливое социалистическое общество. Почему?»

Действительно — почему?

Сталина, по его мнению, надо критиковать не за то, что он почти уничтожил рыночную экономику, а за то, что до конца не уничтожил товарное производство и не построил социализм по Марксу: «наша ошибка заключается именно в том, что, вопреки учению марксизма, мы пытаемся строить социализм на основе товарно-денежных отношений». А между тем, по его представлениям, «научный социализм построить на основе товарно-денежных отношений невозможно»: «Вот эту ошибку не хотят признать ни экономисты, ни политические деятели... Лить слезы о том, как сворачивали шею нэпу, значит не понимать Ленина, не понимать научной концепции социализма, либо сознательно извращать факты, подспудно преследуя цель окончательно свернуть шею социализму». И далее: «Трудновато будет доказать, что рыночная экономика социализма соответствует «ленинским идеям».

«Цитатной войной» действительно ничего не докажешь. Аргументы могут сыскаться не в текстологическом толковании канонов, что больше подходило бы древним схоластам, а в живой жизни. Однако к ней приходится продираться сквозь джунгли теоретических зарослей. Иначе уважаемое дискуссионное собрание, каковым сегодня является все наше общество, чего доброго и жизнь отриниет во имя непорочности канона.

Обострим дискуссию, спросив себя: может ли наш народ, наша страна, наше общество развиваться «не вполне по Марксу»? Или даже «вопреки Марксу»? Сейчас пишут, что все сталинско-брежневские десятилетия были деформацией марксизма-ленинизма, отступлением от верного курса, но речь не о том. В самом-то курсе, пусть не во всем, но в каких-то существенных для нашей жизни предписаниях его можно ли усомниться? Можем ли в конце столетия сделать шаг, который не был бы санкционирован Лениным из двадцатых годов? Спорящие стороны хлещут друг друга ссылками на «источники», но задача состоит в том, чтобы доказать по существу, а не в том, чтобы ссылаться на авторитеты. Я не принимаю главного возражения моих оппонентов: «противоречит сказанному классиком, а потому ошибочно».

Коллективная общественная мысль в состоянии идти дальше того, что предполагали мыслители прошлого. Не прометеи же мы, прикованные к скале незыблемых формул! Материал для умозаключений у современного человека несравненно богаче того, которым располагали ушедшие от нас пророки. В конце концов, является ли практика критерием истины или нет? Со школы, с вузовской скамьи, из газеты, из радиоприемника, с экрана телевизора десятилетиями усваивали мы мысль о том, что «жизнь неопровержимо подтвердила правильность великого учения». Теперь ясно, что это не так. В чем-то подтвердила, а в чем-то и опровергла. Народ наш стал другим. И страна другая, и мир другой. Революцию в науке и технике, особенно в информатике, классики вообще не могли себе представить. В сущности, мы живем в совершенно иной цивилизации, где общечеловеческие проблемы поднялись над классовыми. Неужто и теперь слова-

ми «не по Марксу», «не по Ленину» позволительно запрещать и «не пущать»? Оказывается, вполне.

«Возможна ли более открытая ревизия марксизма? Марксистская философия как всеобще признанная методология познания природы, общества и мышления одним махом заменяется аксиоматически нормативным методом С. Шаталина, и этот факт не вызвал бурн негодования ни у рецензентов монографии, ни у ведущих экономистов и философов». За что же так честят известного ученого двое читателей-калужан? За то, что позволил себе (еще в застой, в 1982 году) усомниться: логично ли строить научную систему политической экономии социализма, заимствовав методологию, применявшуюся Марксом для изучения иной общественно-экономической формации? И вот уже в годы перестроечные два уважаемых автора отправляют письмо, изготовленное на копировальной технике и, вероятно, не только одной редакции предназначенное, с обвинениями ученого в «движении назад от материализма — к идеализму, от марксизма — к ревизионизму!».

И академика Л. Абалкина, посмевшего высказаться о перспективах развития социалистической собственности, бдительные стражи «краеугольных камней» будто ослушника тотчас же хлопают по рукам: «...Здесь отражена позиция определенной части ученых, которые считают, что государственная собственность на средства производства «не оправдала» себя и предлагают «обогатить» формы собственности, уточним, на средства производства, собственностью кооперативной, частной (с «ограниченным» применением наемного труда), корпоративной (?), смешанной с капиталистической формой (совместные предприятия) и т. д. Это направление является прямым отрицанием возможностей построения социализма на основе государственной собственности на средства производства, отказом от экономического фундамента власти рабочих. Авторы этой «концепции» развития социализма «проглатывают» давно навязываемую нам буржуазной наукой теорию конвергенции, постиндустриального общества, теорию сращивания двух систем. Возможно ли большее предательство революции, интересов рабочего класса?»

Между прочим, «рабочий класс» своими забастовками доказал недавно, что государственная собственность отнюдь не защищает его экономические интересы. «Рабочий класс» тут привлечен для вящей солидности, а дело в другом: опять кому-то не спится из-за «открытой ревизии марксизма». Что же его, марксизм, в закрытом, что ли, порядке «ревизовать»? Или официально признать не наукой, а верой?

Наука требует дискуссии и не боится критики, опровержений. Истина бесстрашна и благородна. Она живет, торжествуя, а умирает достойно, склоняясь перед Истиной следующего поколения. В отличие от науки вера объявляет себя изначально бессмертной, требуя костров и отлучения для еретиков. «Научный социализм» не может выпадать из общего процесса развития науки. Его нельзя объявлять неприкасаемым, высшим, конечным достижением человеческого разума. Мы заплатили слишком дорого за отношение к наследию Маркса как к Священному писанию. Сколько великих умов, сколько деятельных направлений философской, экономической, политической мысли было отнято у народа, растоптано и предано забвению! Их единственная вина состояла в «несоответствии марксизму», потом — «марксизму-ленинизму», еще позже — «марксизму-ленинизму-сталинизму». Ни Маркс, ни Ленин не считали любое сказанное ими слово «бесспорной научной истиной», не раз признавали свои заблуждения и ошибки. Мы же дошли до того, что десятилетиями всякое мало-мальски самостоятельное суждение тотчас же измеряли циркулем «марксизма-ленинизма»: соответствует или нет? И горе тому, кто хоть кончиком волоса не укладывался в эти неподвижные рамки!..

Почему нужно считать «марксизмом» все, что когда-либо, даже в порядке предположения, было высказано Марксом? Есть законы, открытые ученым, есть его гипотезы, не подтвердившиеся впоследствии практикой, а есть и заблуждения.

Похоже, наиболее «твердые марксисты» сосредоточились у нас в Крыму. А. Денисенко, который обвинил сторонников поворота к рыночной экономике в

«явном отступлении и от марксизма, и от ленинизма», живет в Саки, а его единомышленник В. Романов — в Севастополе. С прославленных бастионов и редутов хорошо дать залп главным калибром: «Фактически ставится вопрос о целесообразности основы завоевания Октябрьской революции — общего владения средствами производства и организации коллективного производства в масштабах всей страны. В своем откровении авторы трактуют это понятие в сознании честных людей как догматическое. Единственный путь подъема нашей экономики видят, будем называть вещи своими именами, в переходе к капиталистическим формам — акционерным обществам и фондовым биржам, к частнокооперативным предприятиям и научно-техническим объединениям, не исключая машиностроительных, автомобильных и радиотехнических... Видят преодоление бюрократического партийно-государственного управления в социалистическом рынке, где будут взаимодействовать независимые от государства коллективные собственники и арендаторы. На взгляд таких авторов, этот спасительный рынок несовместим с монополизмом государственной собственности».

А на его-то взгляд, как должно быть?

Государственные предприятия стреножены и спеленуты — так этот читатель, вполне обоснованно, считает. Свободно не могут ни вздохнуть, ни ступить. Именно! «Таким образом, выступая на социалистическом рынке, госпредприятие представлено как партнер, у которого завязаны глаза и связаны назад руки, а частный предприниматель запускает свободно руки в карманы государственного партнера. Если ставить вопрос о рынке, то следует начинать с предоставления государственным предприятиям хозрасчетной экономической свободы». Хорошо бы! Да мало надежды. Сколько раз обещали и даже «предоставляли» государственным заводам самостоятельность, а потом обманывали, отбирали назад. Все наши провалившиеся прошлые реформы сводились к фарисейской игре в «даю — отнимаю». Монополисты — государство и ведомства — прав не отдадут. При любом законе найдут способ «завязать глаза и связать назад руки».

Государственные предприятия, даже став арендаторами, экономической свободы не получат, это как пить дать. Однако соображения идеологического порядка вытесняют здравый смысл: как же так — негосударственная собственность? А чья? Неужто... Да это ведь подрыв «основы завоевания Октябрьской революции»! И тянет креститься: изыди, сгинь!

В конце 89-го года по всей Москве была расклеена листовка Объединенного фронта трудящихся (ОФТ), утверждающего, будто суть предлагаемого Закона о собственности — «создать условия для распродажи экономики страны в частные руки, то есть посадить на шею трудящихся не только коррумпированных управленцев (не станет ли Чурбанов по окончании отсидки одним из первейших акционеров и частных собственников страны?), но и дельцов теневой экономики вкупе с иностранными капиталистами». Прокламация эта, завершающаяся призывом «Трудящиеся страны Советов, объединяйтесь!», в подходе к проблеме собственности отнюдь не случайно совпадает и с некоторыми заявлениями первого секретаря ленинградских обкома и горкома партии Б. Гидаспова («...Нетрудно представить, кто в этих условиях стал бы реальным хозяином фабрик и заводов, газет и банков...»), и с ораторскими страстями на достопамятном митинге в Лужниках, организованном профсоюзными бюрократами, где обывателя ошарашивали «100 тысячами миллионеров, на руках у которых 500 миллиардов рублей». Подобные измышления, неоднократно опровергнутые в печати на основе строгих статистических данных, вновь и вновь используются для защиты догматических крепостей.

«Не ясно, почему государственные предприятия, в случае приобретения полной самостоятельности, не могут выступать на социалистическом рынке, конкурировать с такими же государственными предприятиями?» — недоумевает один из читателей. Действительно — почему? За семьдесят лет так и не удалось понять. Автор письма вносит свои конструктивные предложения: «Перестройка и дальнейшее развитие социалистического хозяйства, если мы хотим, чтобы оно было социалистическим, должны идти по пути обобществления «свободно гуляющих» денег в руках государства, подобно тому как это было сделано со средствами производства». Надо было бы добавить — и с тем же успехом. Но боюсь, «успех» от конфискации денег будет почище. На всякий случай сообщаю, что паниковать не стоит: экспроприация наличных не планируется. Читатель, вероятно, сожалеет об этом. Ему в мечтах видится радужная картина «подлинной перестройки»: «слияние всех оборотных средств с общественными средствами производства... контроль за всеми без исключения денежными расчетами, осуществляемый Госбанком... распределение продуктов по новому способу, свойственному только социализму, когда каждый труженик будет получать от общественного продукта свою именную долю...».

Нет, идея не нова: в тюрьме и в казарме «именную долю» распределяют испокон веку.

«Итак, победоносное шествие теории социалистического товарного производства, в корне противоречащей учению К. Маркса о социализме, ориентировавшей практику социалистического строительства в течение ряда десятилетий на максимализацию прибыли, привело страну к образованию огромной внутренней задолженности (да и внешней тоже), убожеству торговой сети, крайне низкому уровню жизни большинства населения, космическому росту цен, распределению скудного продукта непроизводственного назначения по карточкам, столам заказов, спискам очередности и т. д.; росту социальной неоднородности населения, процветанию «блата», спекуляции, коррупции, взяточничества, преступности...»

Прочитав такое в обширном письме белорусского ученого — доктора экономических наук, профессора, я поначалу опешил: где это уважаемый профессор наблюдал в СССР «победоносное шествие теории товарного производства»? Откуда это? Приснилось, прибредилось, галлюцинации одолели? Чтобы хозяйственную нашу систему, не имеющую, по существу, ни одного элемента рынка — ни оптовой торговли средствами производства, ни цен спроса и предложения, ни экономической свободы предприятий, ни диктата потребителя, ни права производителя распоряжаться своими доходами после выплаты налогов и процентов за кредиты, ни самой налоговой системы, ни возможности выбора продавцов и покупателей, ни рынка капиталов, ни нормального банковского обслуживания, ни конкуренции, охраняемой антимонопольным законодательством, ни... — да что там говорить — ровным счетом ничего, даже денег (безналичные наши да и наличные — не деньги) — чтобы не имеющую ничего этого систему считать товарным производством, надо обладать не просто богатым воображением, а прямо-таки безудержной фантазией.

Все перевернуто с ног на голову. Несуществующий рынок обвиняется в бедах нашей экономики.

«Преимущества социализма перед капитализмом,— пишет далее профессор,— теоретически обоснованы К. Марксом и Ф. Энгельсом. Никаких научных опровержений этого учения нет. Революционное движение в России (как и в других странах) шло и ширилось под знаменем марксизма и вдохновлялось его идеями. Именно за тот социализм, который виделся Марксу, революционеры жертвовали всем».

Отсутствие *научных опровержений* — довод ли это в нашей стране, где за одни лишь подозрения в «антимарксизме» ставили к стенке, гноили в лагерях, гнали с кафедр и предавали остракизму?! Но и отсутствие *практических подтверждений* тоже, согласитесь, многого стоит.

Вот еще одна логическая шарада из того же текста: «Пройденный более чем за 70 лет путь строительства социализма привел к образованию передового в мире общества в части отношений собственности, но безнадежно отставшего от стран Запада во всех других отношениях: техническом, экономическом, социальном». И третья шарада, виртуозно-элегантная: «Между тем социализм в нашей стране, какой он ни есть, стоил очень дорого: репрессии царской охранки, гражданская война, голод, индустриализация, сталинские репрессии, вторая мировая война. Народ не позволит загубить то, что так выстрадано им».

«Какой он ни есть» — за него хорошо заплачено, и другого нам не надо!

Сожалея, что Сталин не удушил товарное производство до степени полного его посинения, говорят: экономическая наша модель была далека от мечты Маркса. Пусть хоть и недорезанный, недоразвитый, рахитичный, но рыночек кой-какой теплился в сфере потребительских товаров, продуктов питания. А раз не по Марксу, то нечего на классика и списывать! Вот если бы все по его чертежу, линия к линии, размер к размеру... Но, во-первых, чертежа социализма основоположники нам не оставили, не будем преувеличивать, в наследстве оказались лишь эскизы. «Капитал» не про социализм, а несколько прогнозов в «Критике Готской программы», «Анти-Дюринге» и ряде других работ — это, право же, не «Капитал». Маркс и Энгельс из-за отсутствия в их время социалистической практики не могли при всем желании создать полноценную концепцию социализма и не ставили перед собой столь нереальной задачи. Мы слишком перебираем по части мифологии, когда требуем ни на шаг не отступать от «призрака, шагавшего по Европе» в XIX веке и в преддверии века XXI подчеркиваем свою готовность вернуться к этому бесплотному существу.

Право же, гораздо благоразумнее обратиться к практике. Оставим пока в стороне подпорченную ложкой товарного дегтя медовую бочку нашей экономики времен «от Сталина и доныне». Я согласен: эксперимент должен быть чистым! Сравним «военный коммунизм» (все по Марксу, ни капли дегтя) с нэпом (все разительно не по Марксу, сплошной деготь) — и что же? В первом случае мы имели развал и голод, а во втором — крепнущее не по дням, а по часам хозяйство. Это доказано множеством научных исследований как того времени, так и нынешнего, и нашло отражение даже в поэзии: человек, отправляясь «к любимой в гости», нес ей «морковинку за морковий хвостик» («военный коммунизм»), и вдруг возликовал: «сыры не засижены, цены снижены» (нэп). Как видим, эксперимент был не в пользу бестоварного социализма.

Теперь сравним ГДР и ФРГ, Северную Корею и Южную Корею. Народ тот же, географические условия, исторические и национальные традиции трудолюбия те же самые. А экономические результаты? В обоих случаях гораздо эффективнее проявляет себя экономика рыночного типа. Социализму здесь не удалось перетянуть канат. Наглядность сопоставления очевидна. Северная Корея — одна из прозябающих стран, кое-как сводит концы с концами. А Южная? Экспортирует сотни тысяч автомобилей в США и Канаду, продает по всему миру высококлассную радиоэлектронику, за 25 лет прошла путь, на который Японии понадобился целый век, в 40 раз подняла доход на душу населения.

В пору сказать, что Маркс ошибся и в прогнозировании обнищания трудящихся при капитализме, неизбежного общего упадка этой рыночной системы, исторической обреченности ее. По части «загнивания» как-то не получилось... И вот ведь что интересно: строго по Марксу, по теории, «там» все и происходит — прибавочная стоимость изымается в пользу собственника, а значит, налицо эксплуатация; за ней должны следовать «язвы». Но где же предсказанное классиками «абсолютное и относительное обнищание»?

Давайте-ка заглянем еще раз на Запад, посмотрим, прикинем, что к чему. Меня заинтересовал образ, предложенный профессором из Белоруссии: «Социалистическую экономику можно сравнить с капиталистической как автомобиль с телегой, запряженной лошадью. Старая лошадь сама знает, куда и как ей ехать, и по плохой дороге привезет домой или к другому месту назначения своего пьяного вдрызг хозяина. Автомобиль сам не пойдет. Им нужно управлять, его надо знать, ему нужна хорошая дорога. Совсем плохо, если за руль автомобиля сядет параноик или дурак». Вы поняли, что, по профессору, «автомобиль» — это мы, социализм, а старая лошадь и пьяный вдрызг — «они», капитализм. Автор сожалеет, что мы худо изучаем свой автомобиль, не учимся им управлять, не строим дороги, в то время как их старая лошадь «сама»... (Первооснова сравнения несколько хромает, поскольку у нас в отличие от них как раз и нет автомобиля в буквальном смысле слова, а лошадей своих мы тоже давно истребили, но не будем придираться, образ есть образ). Итак, куда же их «старая» с «пьяным вдрызг» доплелась? Может, и впрямь не «домой», как теоретики велели — предсказывали, а именно «к другому месту назначения»? Посмотрим. Тем более, что

и многие читатели этого желают. «Надо гласно показать, как мы сегодня живем в сравнении с другими, что мы и они имеем. Сразу станет ясно: тот ли путь», — пишет, например, ленинградец А. Гусев.

Последуем мудрому совету...

Швеция. Господствует частная собственность. Жесткая налоговая политика правительства при невмешательстве государства в дела рынка, производство товаров. Высокоэффективное хозяйство: 0,2 процента населения планеты, а вклад шведов в мировое производство — один процент, в международную торговлю — два процента. Фермер-собственник в среднем имеет 78 гектаров. А средний удой на корову в стране — 5600 кг, средняя урожайность озимой пшеницы — 59 центнеров, картофеля — 340 центнеров с гектара. В сельском хозяйстве занято менее четырех процентов работающего населения Швеции.

Так работают. А живут как? При рынке-то, конкуренции, изъятии прибавочной стоимости (эксплуатации)? При социальной поляризации и прочем? Безработицы в стране нет. Правительство дает субсидии для найма, осуществляются продуманные программы создания новых рабочих мест, переквалификации, мобильности трудовых ресурсов. Образование бесплатное и здравоохранение — тоже. Лекарства шведы покупают по символической цене в 65 крон (при средней зарплате рабочих около 10 тысяч в месяц). Пенсии составляют более половины зарплаты. Оказывается разнообразная помощь инвалидам, существенны материальные пособия семьям, имеющим детей. На каждого ребенка до 16 лет предоставляется государственное пособие — 560 крон в месяц. Пенсия по инвалидности 4,5 тысячи крон, а к ней еще полагается дотация в зависимости от степени потери трудоспособности — до полутора тысяч крон. В целом один из самых высоких в мире уровней жизни. Детская смертность — ниже, чем во всех других странах (6,1 на 1000), а продолжительность жизни, наоборот, высокая: в среднем 77 лет. В просторных квартирах или отдельных домах с удобствами живет 96 процентов шведов.

Великобритания. Тоже частнорыночная модель экономики. Сущность этой системы премьер-министр Маргарет Тэтчер обрисовывает в простых выражениях: «Ведь ясно, что правительства не знают, как руководить предприятиями, — поэтому мы не участвуем в делах самого предприятия. Предприниматели же, бизнесмены, которые годами привыкли вести все эти дела, улавливать перемены, создавать новые товары, знают, что нужно людям... Наша проблема не в том, чтобы наполнить магазины, мы можем наполнять их вновь и вновь. Люди должны выбирать, что покупать...» Полки английских магазинов действительно ломятся от хороших товаров, но нам важно вот что отметить: здесь один из самых низких в западном мире уровней безработицы за последние восемь лет. Этому способствует и... Япония: «Тоёта», «Сони», «Ниссан» и многие другие японские фирмы, ориентируясь на высококвалифицированные английские кадры, охотно открывают в Великобритании свои филиалы, создавая тысячи дополнительных рабочих мест.

Почти все люди физического труда имеют в Англии четырехнедельный отпуск, а около двадцати процентов — пять и более недель. Собственными домами владеет 64 процента населения страны. Фирмы, скажем, «Бритиш петролеум», нефтегазовая компания, где директор получает в год больше премьер-министра, купила для своих специалистов, начиная со старшего инженера, машины (без шофера) для деловых поездок, платит за медицинское обслуживание сотрудников и их семейств, предоставляет им вкусные обеды за... 5 пенсов с каждого фунта стерлингов (купил на два фунта — платишь десять пенсов и т. д.); это лишь символ, так как бесплатные обеды запрещает закон. Пенсия, назначаемая компаниями, зависит от стажа, а ветераны труда, по нашему выражаясь, получают ее в размере двух третей зарплаты. Рабочий может купить акции своей фирмы, получая по ним ежегодно дивиденды. Акции сохраняются при выходе на пенсию, передаются по наследству. Словом, это уже совсем не та Англия, в которой некогда Маркс и Энгельс черпали доказательства «абсолютного и относительного обнищания» пролетариата. Известинец Б. Коновалов, изучавший нынешнюю бри-

таискую экономику, приходит к выводу: «Каждый постоянный сотрудник компании заинтересован в ее экономическом процветании».

С Ш А. Вот уж где классические, по нашим понятиям, «акулы капитализма»! Миллионеров и миллиардеров там действительно не занимать. И «язв» предостаточно, хорошо известных. Но вот что любопытно: еще в 1974 году разоряющаяся сталелитейная компания «Вейртон стил компани» была выкуплена самими рабочими. Семь тысяч металлургов «скинулись» и приобрели все акции. Стали совладельцами. Дела хорошо пошли, издержки — вниз: рабочие знали, где «узкие» места и как их расшить. Сейчас это одна из процветающих фирм в сталелитейной промышленности Америки. Доктор экономических наук В. Рутгайзер, побывавший в Оксфорде на международной конференции по проблемам собственности предприятий, принадлежащих тем, кто на них работает (!), свидетельствует: «Прежде они были наемными. Их интересовали только заработки. Теперь же, став владельцами фирм, они оказались заинтересованными в обновлении производства, в укреплении его финансовой мощи». Доходы рабочих-хозяев складываются так: зарплата плюс дивиденды. Доли акций у всех одинаковые, чтобы никто не мог «заграбастать» себе большую часть капитала.

Островок в капиталистическом океане Америки? Как сказать. «На предприятиях, полностью или частично выкупленных самими работниками, занято в США 10 миллионов человек на одиннадцати тысячах фирм. Это 9 процентов используемой совокупной рабочей силы». Собственники-работники объединены в национальную ассоциацию. При увольнении из фирмы «Бофорс» (полиграфическая промышленность) в 1986 г. троим было выплачено по 400 тысяч долларов, а двоим — по 200 тысяч; в 1987 г. уволившиеся получили 900 тысяч, а один — полмиллиона; в 1988-м выдано полтора миллиона долларов — от 100 тысяч до 500 тысяч каждому уволившемуся. Собственность «отрезать» нельзя, получают только деньгами. Новичку в первый год начисляют 10 процентов от полной суммы, но с годами доля отчислений повышается. Один из руководителей посреднической фирмы «Келсо и К°», взявшейся содействовать переходу отдельных компаний в коллективное владение, Дж. Гейтс, видит такой путь исторического развития: раб — крепостной — наемный работник — собственник своего предприятия.

Голландия, Италия. Почему беру их вместе? Там и тут развитая кооперация. У нас на кооператоров спустили собак, поносят их, разогревая себя и других в благородном гневе: «хапуги», «разорители казны», «пена», «саранча, опустошающая государственные магазины» — это еще скромные эпитеты, есть и похуже. Один оппонент написал мне: «Нужно быть большим авантюристом, чтобы защищать кооператоров, которых ненавидит весь народ».

В Голландии, где «ненависть к кооперации» посчитали бы шизофренией, 1300 кооперативов девятнадцати типов объединяют практически все крестьянские хозяйства: каждый фермер — член нескольких кооперативов. Нет, они свою кооперацию не поносят, очень ею довольны. Она помогла и в том, что небольшая страна стала вторым, после США, экспортером сельхозпродукции. Один голландский фермер кормит 50 человек в своей и других странах. Кооперативы добровольные,— хочешь вступай, хочешь выходи,— действуют в соответствии с законами рынка. «Рабобанк» объединяет 922 местных кооперативных банка, по размерам капитала это второй банк страны. Ю. Харламов, не пожалевший времени для знакомства с голландскими кооператорами, имел возможность наблюдать такие вещи. Если фермеру нужно два мешка удобрений, он снимает трубку и сообщает об этом в свой кооператив. Наутро два мешка лежат на пороге его дома. «Посредников прижать!» — наш любимый клич. В Голландии 98 снабженческих (посреднических) кооперативов поставляют все, что нужно, в кратчайшие сроки и по ценам меньше магазинных. Посылают агрохимиков взять пробу травы и силоса на твоем участке, и каждому фермеру по индивидуальному рецепту готовят комбикорм с минеральными и витаминными добавками. Предлагают семена, строят животноводческие помещения, зернохранилища, развозят горючее по хозяйствам, продают все, что душе угодно, начиная от граблей.

Национальная лига кооператоров Италии охватывает 5 миллионов человек, 16 тысяч предприятий. По экспорту лига занимает четвертое место в стране после «Фиат», «Монтэдисон», «Оливетти». В кооперативы объединились строители, плотники, пекари, транспортники, архитекторы, торговцы, механики, агенты страховой службы, есть кооперативное туристическое агентство. Конкурируют на рынке в духе его «волчьих» законов и небезуспешно: продукция итальянских кооператоров известна во многих странах Европы, например, оборудование для зубоврачебных кабинетов. Водитель частного такси (член кооператива автомобилистов) предложил советским гостям, М. Ильинскому и И. Круглянской: «Если хотите, можете из автомобиля позвонить в Москву». Часть доходов кооператоры вкладывают в создание культурной среды — дают на библиотеки, кинозалы, помогают театральным группам. И живут, между нами, не худо. Советские гости побывали у кооператора-скотника Джино Каттоли, он бычков откармливает. Имеет дом из двенадцати комнат, обставленный старинной мебелью, три японских телевизора, в кладовой на крюках висят колбасы, окорока, копчености, сыры... Гостям понравилось, как мыслит кооператор: «Здесь, в Италии, им легче, наверное, осуществлять свою перестройку, если местный скотник рассуждает об экономике, как наш Николай Шмелев, а у нас Шмелева не всегда понимают министры».

А доктора экономики понимают своих коллег, сторонников рынка? Тот же профессор из Белоруссии, рассуждая об «автомобиле» и «старой лошади», пишет: «Некоторые экономисты ищут путь возврата к капитализму и находят его в развитии кооперативов». Ну, дался нам этот проклятый капитализм! Все хорошее «захапал», и теперь что ни возьми — чуждое, не наше, не марксизм! Плюрализм, парламентская демократия, гласность до последнего времени считались «буржуазными», годными лишь для обмана народа. Новые направления в исследованиях с ходу объявлялись «антимарксистской лженаукой». Обмен товарами на рынке, самое естественное человеческое дело,— «капиталистическая форма». Вот теперь и кооператоры, за которых в преддверии нэпа В. И. Ленин ухватился, тщательно проштудировав глубокие работы знаменитых наших ученых-экономистов (благополучно расстрелянных при Сталине),— тоже «путь возврата к капитализму». А нам, получается, хорошо лишь то, что всему миру плохо!

Мы так взбаламутили сами себя и запутали, что хоть какой-нибудь «соц», а нужно приставить. Без идеологической подпитки — нам хана. И вот инженер-строитель Ю. Черняк из г. Капчагая Алма-Атинской области, опытный проектировщик, выйдя на пенсию, подался в строительно-проектный кооператив, который, между прочим, ведет расчеты строго по госрасценкам. Но дошло до того, что человеку стыдно признаться друзьям, где он работает: «Да они руки мне не подадут при встрече, если узнают. Разве не за социализм, скажут, гибли мы на фронте?» Поскольку «весь народ с самой настоящей ненавистью относится к кооператорам», то Черняк предлагает — вы послушайте! — «все кооперативы, занимающиеся не торговлей-перепродажей, а производством товаров, услуг, продуктов и работающие по государственным ценам, называть «социатив». Да-а...

В почте часто встречается суждение: «Нам тяжело — пережили войну, а американцы на ней только нажились». И насчет американцев не вполне справедливо, но дело не в том. Мы хоть и тяжкой кровью, ценой разорения, но все же выиграли войну. А были ведь и побежденные. Давайте-ка посмотрим на них сейчас.

Япония. После поражения, в 1945 г., занимала последнее место в мире по темпам роста производства. А сегодня перед японскими товарами, самыми современными, в изумлении склонился белый свет. Что предшествовало тому? Серия послевоенных реформ: политическая — уничтожение милитаристского режима, переход к многопартийной демократии; земельная — продали крестьянам 80 процентов земли, которую они прежде арендовали у помещиков; промышленная — отменили монополизм производителей, обеспечили расцвет конкуренции. Работают японцы много, не так, как мы. Но и результат у побежденных получше, чем у победителей. Последние социологические исследования показали, что в «средний класс» Японии входит уже 90 процентов населения. В семидесятые годы непременный набор благ в этой среде включал кондиционер, цветной телевизор, автомобиль, а ныне вдобавок к тому — видиосистему, факсимильный аппарат и «уордпроцессор, вытесняющий (!) персональный компьютер». Что там уже «вы-

тесняется», то для наших просвещенных умов — розовая мечта, а для большинства населения — неизвестная вещь.

ФРГ. Еще одна проигравшая войну страна. Ее «экономическое чудо» тоже ведь «начиналось с послевоенной разрухи, руин, сказывалось и тяжелейшее нацистское наследие»,— размышляет в отчете о своей поездке в Западную Германию Г. Кондратенко («Советская культура»). Поворот от капиталистического, но чрезмерно зарегулированного государством хозяйства — смысл проведенной после войны реформы. «Наш лозунг,— сказали М. Бергеру («Известия») в министерстве финансов ФРГ,— настолько рынка, насколько это возможно, и настолько меньше государственного влияния, насколько это возможно». Половину цен все же они так или иначе контролируют: на уголь, тарифы почтового ведомства, федеральных железных дорог, проезд в муниципальном транспорте и т. п. Но специалисты ФРГ опасаются: «Кажущаяся полезность государственного вмешательства в цены может в итоге обратиться во вред».

По своему горькому опыту знаем: реформы ценятся результатом. Мы четвертый раз делаем робкий поворот к рынку, но опять и опять, испугавшись собственной тени, с ужасом пятимся назад, к «бестоварной модели Маркса», но и до этой кочерыжки кочан своей экономики тоже очистить не решаемся, как того «антитоварники» требуют,— обожглись на «военном коммунизме». Дергаемся туда-сюда. А в ФРГ, где реформа была последовательно рыночной (с разумным государственным регулированием), итог такой. По экспорту опередили США, Францию, Англию, Японию. Самая низкая в мире инфляция. Самая короткая в мире годовая продолжительность рабочего времени. Наиболее высокая оплата труда. Истинной стоимости лекарств и лечения гражданин ФРГ не знает — за него расплачиваются больничные кассы. Улицы, дороги, коммунальное хозяйство всех городов и поселков — в завидном благополучии. В поезде советских путешественников удивил «обычный телефон-автомат», и они «по очереди на ходу звонили к себе на Родину, чем немало изумили домашних». (Хоть чуточку отдышались в этой неметчине, создав родной микроклимат — «по очереди»). Магазины завалены товарами, которые ищут тебя. Культ качества во всем. И не скажешь, мол, немец — испокон века работник, не утешишься этим. Немец — он и в ГДР немец. А разве там, при сплошной госсобственности, такой же культ качества, такое же экономическое преуспевание? Последние события в ГДР всех просветили. Я не раз там бывал, знаю, что нам до них далеко, но и им до ФРГ — тоже. Эксплуатация? Строго говоря, по теории, оно конечно... прибавочный труд изымают... Но вот известнейшая у нас обувная фирма «Саламандер» платит рабочему до 20 марок в час, сумму, на которую там можно купить 25 плиток шоколада. Сотни моделей обуви выпускает фирма, и любую из них рабочие могут купить в своем магазине в неограниченном количестве с двадцатипроцентной скидкой, а по две пары в год — со скидкой 40 процентов.

Предвижу: «Выискал позитивное, устроил рекламу капитализму. Разве там нет социальных конфликтов? Коррупции, гангстеризма, безработицы, расслоения?» Да, есть. Но в том и фокус, что это есть и у нас. Дело не в счете — где дурного больше? Мы медленно, неохотно шли на признание «язв социализма», но зато о «язвах капитализма» трубили на всех углах. Язвы везде более или менее одинаковые — таково, увы, лицо мировой цивилизации в конце XX века. Я хотел выделить черты жизни, отличающиеся от наших, причем не в худшую сторону.

Когда рухнул «железный занавес», люди, живущие по обе стороны его, увидели реальную картину и поразились. Оказалось, что взаимные заблуждения достигли гималайских высот. Поток командировочных и туристов, хлынувший туда и сюда (массовый туризм все еще только «сюда»), лавина информации о качестве «забугорной» жизни, обрушившаяся на головы стоящих в очередях, телемосты — все это с непривычки способно свихнуть мозги хоть кому. Воспитанные на пропаганде («самое передовое общество в мире»), на лозунгах («советское — значит отличное»), на определенного сорта поэзии («у советских собственная гордость — на буржуев смотрим свысока»), на песнях («я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»), на дезинформации печати, воспитанные на всем этом, мы прозревали крошечными порциями, по капле, по чуть-чуть, будто оттаи-

вали, вынутые из морозильника, где десятилетиями сохранялись в свежести наша детская доверчивость и непросвещенность. Комок подступает к горлу от этого узнавания себя и других, мысли путаются, и каждый пытается найти свой ответ.

И. Назаров из Коканда задумывается, как преодолеть дефицит, заполнить магазины товарами. Способ есть, убежден он, но способ неприемлем: «То, что у нас сейчас вводится в экономику, в хозяйственную жизнь, и то, что вы предлагаете по образцу развитых стран капитализма, может дать эффект только вкупе с безработицей. Да, безработица обеспечивает качество и рост продукции, но на другом полюсе — драма миллионов, рост преступности». Я помечаю карандашом заинтересовавшие меня строки в письме Назарова о связи безработицы с преступностью, а радио, как по заказу, передает интервью с ответственным работником МВД, который рассказывает о росте преступности у нас, о задержании лиц с большими партиями наркотиков, подчеркивая всякий раз: «нигде не работающий... не работал, занимался преступным промыслом...»

Бродяги, «бомжи» — сколько их?.. Миллионы молодых безработных в южных республиках, не находящих для себя никакого общественно полезного дела... А есть и временно неработающие — переходы, переезды, затягивающиеся порой надолго... Множество девушек, не попавших в вуз, год, а то и два сидят дома и готовятся вновь... Да и после института не всякий сразу определяется, ищет, я сам в молодости полтора года был безработным: по специальности не мог устроиться после юридического (в год нашего выпуска даже институт закрыли «из-за перепроизводства юридических кадров»), а на неквалифицированную работу тогда еще с дипломами не брали; около двух лет, по возвращении из зарубежной командировки, моя родственница не могла ничего подыскать по прежней своей, довольно редкой, профессии, а ничего другого она делать не умела, да и переучиваться в зрелом возрасте трудновато... Сколько таких временных безработных у нас в стране? Статистика, многое приоткрывшая, здесь как в рот воды набрала, умудрилась даже целую армию безработных в Средней Азии «не заметить». Все еще цепляемся за призраки «социальных преимуществ», любым способом создаем их видимость. Между тем, если считать по западным методикам, то все упомянутые мною категории незанятых к моменту учета оказались бы в графе, характеризующей динамику безработицы. А «липовая» наша занятость? Сто человек, где достаточно десяти? Искусственно создаваемое благополучие за счет ухудшения жизни народа: при столь низкой эффективности производства о больших достатках не приходится и мечтать.

Пробуждение, первые попытки узнать и понять, путаница... Все это объяснимо, но какая же крупномасштабная дезинформированность общества! Столько разъяснено в последние годы, а все равно, все равно... Отчеркиваю в письмах: «Мы можем через год-два строить жилья в четыре раза больше, чем в США, но для этого надо сделать, как у них, медицинское обслуживание платным»..., «у них оплачиваемые отпуска меньше в 4—5 раз»..., «обучение студента у нас обходится в стоимость легковой машины, сделать, как у них, обучение платным — вот еще миллиарды для решения продовольственной проблемы»..., «зато у нас бесплатное медицинское обслуживание»..., «отсутствие очередей в магазинах и прилавки с хорошими товарами у них за счет некой дегуманизации»..., «у нас самая низкая квартплата»..., «они чересчур интенсивно работают, и если такой интенсивный труд внедрять у нас, то как быть с положением К. Маркса, который сказал, что богатство человека измеряется мерой его свободного времени»...

Маркс называл богатством свободное время, остающееся после труда во имя удовлетворения необходимых материальных потребностей. Чем больше хороших и разных вещей сделают люди за свой рабочий час, тем больше часов останется у них на отдых, образование, культуру. При нашей-то производительности да при наших очередях я бы поостерегся говорить о нашем преимуществе в свободном времени. Да и насколько оправдан оптимистический патриотизм по поводу «бесплатности медицины, образования», по поводу нашей «большей культуры и духовности»? Сегодня мы уже кое-что знаем и на этот счет.

Здоровье. В СССР каждая шестая больничная койка не обеспечена водой, около 30 процентов наших больниц не имеют канализации. В целом осна-

щенность средней больничной койки у нас в 7—10 раз ниже, чем в США. По выделению средств на охрану здоровья мы занимаем последнее место среди развитых стран. СССР тратит на это 3,9 от валового продукта, а другие — 5—8 процентов. Еще в 1985 г. американцы тратили на здравоохранение 174,8 млрд. долларов, а мы — 20 млрд. рублей. Разрыв не уменьшается. Уже 15 лет все показатели заболеваемости и смертности в СССР непрерывно ухудшаются, а везде в мире, в том числе и в слаборазвитых странах, они улучшаются. Душевое потребление медицинских услуг в СССР составляет 33 процента от американского уровня. Верно, медицина в США дорогая, платная, день пребывания в больнице 400 долларов, визит к врачу 50 долларов. Но 85 процентов населения охвачены государственным и частным страхованием, групповым и личным. Большую часть страховых выплат по медицинскому обслуживанию берет на себя государство и частный сектор. В итоге американская семья тратит на здравоохранение 4,4 процента своего бюджета. Объем производства лекарств на одного жителя у нас в 8—10 раз ниже, чем в развитых капстранах. Потребность в медикаментах, даже с учетом внешних закупок, удовлетворяется лишь на три четверти. А лечебные учреждения обеспечены на 42 процента. Фармацевтическая наука и промышленность в загоне. За последние 25 лет в мире создано 493 новых препарата, но ни одного советского среди них не зарегистрировано.

Социальное обеспечение, страхование. США тратят на эти цели в семь раз больше средств, чем мы. Средний размер пенсии по старости в СССР 87,2 руб., а в США— 479 долларов, но когда на иждивении жена — 814 долларов. К этому добавляются значительные пенсии от фирм.

Отпуск. Промышленные рабочие в Нидерландах имеют оплачиваемый отпуск 36,5 рабочего дня, Финляндии — 33, Италии — 31. В ФРГ — 30, Люксембурге — 27, Австрии — 26,5, Франции — 26,5, Дании, Швеции, Великобритании — 25. Нас в этом отношении обогнали также Швейцария, Португалия, Греция, Испания, Норвегия, Бельгия, Ирландия, где отпуск промышленных рабочих от 20 до 22,5 дня.

Жилище. По числу «жилых единиц» (квартир и отдельных домов) на 1000 жителей СССР (199) намного отстает от США (380), Канады (351), Японии (322), Нидерландов (354), Испании (393), а тем более Дании, Франции, ФРГ, Швеции, Швейцарии и ряда других стран, где этот показатель значительно превышает цифру 400. В Швеции, например, 441. Причем наша стандартная «единица» ничего общего не имеет по размерам, качеству и оборудованию с квартирами и отдельными домами, в которых обитают жители развитых капиталистических стран. Средняя площадь отдельного жилища у нас (без разделения на одного человека) равна 57 кв. м. Сопоставьте: в США и большинстве европейских стран это 130—140 кв. м. Соответственно приходится и на «душу» — у нас 15,2 полезной площади, а в США — 49. В европейских странах — до 36. Словом, жильем мы обеспечены хуже всех. Из развитых стран ни у кого нет такой стесненности в жилище, из развивающихся — лишь в Кении, Уганде. А Тайвань Южная Корея и Сингапур по обеспеченности квартирами и просторности их нас обогнали.

Можно предположить, что при таком отставании мы хотя бы наверстываем изо всех сил, а темпы строительства и ввода жилья имеем превосходящие. Так и принято думать. Годами восторгались газеты: «У нас чуть ли не на каждой улице виден журавль башенного крана — примета городского пейзажа». Миф стойко держится и поныне. Не так давно в одной из международных панорам ЦТ комментатор сказал: «То, что мы строим больше всех, широко известно, а вот качеству жилищ нам стоит у американцев поучиться». Однако по темпам роста жилья в сравнении с приростом населения мы значительно уступаем всем, лишь у Монголии дела похуже. США ежегодно вводят жилья вдвое больше нашего. «Но слишком дорогое у них жилье, а мы получаем бесплатно и квартплата мизерная!» Но, во-первых, не все бесплатно: есть весьма дорогие кооперативные квартиры, много индивидуального строительства, особенно в малых городах и на селе. Но важно понять другое: сколько нужно работать для оплаты одного квадратного метра? И тут выясняется, что ради метра квартиры, учитывая заработки и несравнимые размеры жилищ, нашему жителю приходится трудиться в полтора раза больше, чем американцу.

Потребление. Чтобы купить кило мяса, советский человек должен работать в десять раз больше жителя США. (Не говоря уже о «доступности» у нас мяса.) Семья из четырех человек с двумя работающими тратит у нас на питание 52 процента зарплаты, а в США — 15,2 процента, в Греции — 23, Франции — 24,9, в Западной Европе в целом — 21, в Японии — 19,9... В одной из статей я упомянул об этих исследованиях советского американиста А. Зайченко, привел две-три цифры. Читатели интересуются подробностями. Можно и подробнее, тем более что автор опубликовал уже и новые данные. Сопоставляя душевое потребление по 110 наименованиям продуктов питания, 163 типам одежды и товаров длительного пользования, 59 видам услуг, ученый приходит к выводу: объем потребления в СССР не превышает 35 процентов американского. Доля личного потребления в валовом национальном продукте СССР составляет 41 процент, а в развитых странах мира — 60—70 процентов. «Близкая к нам доля отмечается лишь в Габоне и Конго».

Зарплата. Доктор экономических наук Г. Лисичкин, полагая, что «у нас платят за труд не больше, чем в Югославии», приводит такую таблицу: в Югославии — 1 доллар в час, Франции — 15, Австрии — 23, ФРГ — 28, Швейцарии — 30. По расчетам А. Зайченко, во всех странах, где собиралась статистика, доля общего фонда заработной платы в национальном доходе, созданном в промышленности, за многие десятилетия не менялась: 60—70 процентов. У нас же — 37,7! «Это одна из самых низких в мире долей оплаты труда в чистой продукции».

Общественные фонды. Это предмет традиционной гордости прежней нашей пропаганды, хорошо усвоенной населением. Помните в письмах: «зато у нас...» Но статистика безжалостна к патриотическим чувствам. Увы, и на душу населения, и по доле в валовом национальном продукте наши общественные фонды уступают почти всем развитым странам мира. В США объем общественного фонда потребления равен 250 млрд. долларов — в несколько раз выше, чем у нас. Доля средств, идущих на эти цели, в валовом национальном продукте у американцев значительно превосходит нашу: 28,5 процента и 19,7. Скажем, на образование американцы расходуют свыше 178 млрд. долларов в год, а мы — около 40 млрд. рублей.

С какой стороны ни зайди, живем мы плохо, гораздо хуже других. Вот совсем недавно стало известно, что миллионы людей имеют зарплату до 80 рублей в месяц (работающий американец многократно больше получает в неделю!), что 43 миллиона советских граждан оказались за чертой бедности — получают до 75 рублей. Но когда «Правда» написала об этом, некоторые читатели возмутились. «Многие прибедняются к бедным, а сами в чулках деньги имеют,— рассуждает ветеран труда А. Вилкова из Челябинска.— Другие просто пытаются очернить наш строй. Вы посмотрите, как мы стали хорошо жить. Транспорт во все концы за пять копеек. В каждой семье телевизор, стиральная и швейная машины, холодильник и много другого. В магазинах овощи, мучные и консервированные продукты всех сортов, печенье, пряники, хлеб... Есть недостатки, но они не так уж велики, как отдельные товарищи их возводят...» И еще мнение: «Да оглянитесь вокруг! Хорошо мы живем, вид у всех хороший, а хлеб — тот даже выбрасываем. Я вырастила троих детей, четырех внуков подняла, всю жизнь работала. И говорю спасибо за такую нашу жизнь» (Н. Михлик, г. Днепропетровск).

Вот и опять «абсолютное и относительное»... Сравнивая со своей прошлой ужасающей нищетой, с продуваемыми бараками, клоповными коммуналками, с голодухой, с тем, как горбились на стройках, заводах и в поле, люди пожилого возраста думают: зажрались, что им еще надо, нынешним?! Когда полжизни стоишь в очереди за малометражной квартиркой в панельном доме, дождавшись ее, чувствуешь себя на седьмом небе. Есть «консервированные продукты всех сортов» да на хлеб хватает — хорошо живем. И трудно, порой просто невозможно представить, что люди в других странах, не буржуи, а обыкновенные крестьяне, рабочие, интеллигенты живут куда просторнее и богаче. На Запад надо посылать не только ученых, деловых людей и журналистов, но и делегации наших заско-

рузлых догматиков, а также группы людей из отечественных глубинок: чтобы посмотрели да посравнивали, другим порассказали. Надо ведь народу знать, к чему стремиться, какие требования предъявлять к системе, называющей себя социалистической, и, стало быть, обязанной быть гуманной и доброй в отношении своих сограждан, и какие — к себе самим.

Еще в студенческой молодости, конспектируя известную ленинскую работу, я раз и навсегда усвоил, что монополизм ведет к загниванию и умиранию. Это было вкладом В. И. Ленина в марксизм домонополистической поры, развитием учения классиков на новом материале. То был, как нас учили, окончательный приговор капитализму. За монопольно-империалистической стадией ничего хорошего для него не просматривалось даже с вышки ленинского зрения. А курилка жив...

Во всех развитых странах Запада в интересах развития конкуренции давно приняли антитрестовские (антимонопольные) законы. Они не допускают появления в отрасли единственного производителя. Полюбуйтесь на «Бритиш петролеум», упоминавшуюся в этих заметках крупнейшую компанию мирового нефтегазового бизнеса. Она в 70 странах ведет геологические изыскания, добычу, строит трубопроводы, имеет свой флот для транспортировки, владеет крупным химическим производством и т. д. Монополист? Ничуть не бывало! «Бритиш петролеум» отведено лишь 30 процентов площадей нефтегазовых разработок Великобритании.

Любопытный факт из жизни лондонской фондовой биржи подсмотрел и рассказал в печати Б. Коновалов. Вот какой-то удачливый скупщик приобрел 5 процентов акций одной компании, по его представлениям, весьма перспективной. И что же? Обязан сделать об этом публичное заявление. Купил 29,9 процента акций — изволь выступить с официальным заявлением о своих будущих намерениях. При угрозе скупки всей компании дело рассматривает правительственная комиссия, которая вправе запретить дальнейшие сделки и дать указание намечающемуся монополисту распродать часть акций.

Монополистом в западной экономике считается тот, кто удерживает в своих руках 30 процентов рынка. А у нас, в социалистической экономике? Четыре с лишним тысячи НПО, объединяющих около восьми тысяч предприятий — примерно 17 процентов от их общего числа в промышленности,— создают более половины всей советской продукции. На них же сконцентрировано 55 процентов промышленного персонала. Есть немало предприятий, которые союзный рынок оседлали на 100 процентов!

Когда-то «лучший, талантливейший» советский поэт, посетив Америку, в шутку решил пристыдить Форда: разве для его «высохшего зада» мало «двух просторнейших машин»? Посоветовал лишнее отдать, хотя и понимал — не отдаст. Отчего же нынешние форды многое отдают своим рабочим? Дело не в проснувшейся совести, не в «сентиментальности», охватившей капитализм «под старость». Сильные мира того восприняли уроки истории, в том числе и нашей революции, посчитали, что «классовый мир» обойдется им дешевле «классовых битв». К аналогичной мысли постепенно там приходят и профсоюзы, представляющие интересы рабочих. А главное — есть, из чего «отстегивать»: эффективность западной экономики принесла нешуточное богатство.

Хорошо работают и хорошо живут. А у нас спорят: «живем, как работаем» или «живем лучше, чем работаем»?

И не на кого сетовать. На Маркса не пожалуешься, он в другом веке жил. При нынешней модели социализма — и это мы доказали сами — работать хорошо невозможно. А по поводу новой — надрываем горло, спорим: надо — не надо, можно — нельзя, получится — не получится, по Марксу — не по Марксу, по Ленину — не по Ленину... Пока одни сдирают с несчастной экономики идеологическую робу, а другие силятся напялить ее на бедняжку опять,— «там» просто работают. И как работают, так и живут.

Один из оппонентов начинает свое письмо таким ленинским эпиграфом: «А я позволяю себе думать по старинке, что после Маркса говорить о какой-нибудь другой, немарксовой политической экономии можно только для одурачивания мещан, хотя бы и «высокоцивилизованных» мещан».

Если речь идет о марксовой модели социализма без рынка, то меня лично, извините, эти слова не убеждают. Теперь, спустя семь десятилетий, все мы знаем нечто такое, что не было видно из исторического далека. И может показаться, что алма-атинский автор Н. Бойков хочет этим эпиграфом «добить» «товарников», с которыми темпераментно спорит, подкрепить собственные антирыночные симпатии. Однако приглядимся повнимательнее: такие ли уж они у него антирыночные?

Алмаатинец критикует Н. Шмелева за утверждение, что у Маркса и Энгельса «имелись лишь догадки» о том, какой должна быть экономика после победы социалистической революции. Достаточно распространенное мнение, я тоже его разделяю. И вот с этим-то как раз Н. Бойков решительно не согласен: «Наши ученые любят цитировать классиков марксизма, но остаются при мнении, что экономическая теория К. Маркса создана в условиях капитализма для анализа капитализма, а при социализме неприемлема». И далее, неожиданное: «Короче говоря, даже те ученые, которые признают объективную реальность товарно-денежных отношений при социализме, не желают заметить существования теории этих отношений — марксовой теории стоимости. Так уж случилось, что наша экономическая наука без достаточных оснований отвергла экономическую теорию К. Марьса, одну из трех составных частей марксизма. Сейчас нет смысла искать и указывать виновников. Ничего взамен этой теории наши ученые создать не смогли. Вместо того чтобы идти по пути этой теории, они разбрелись по множеству тропинок и застряли в болоте бесконечных споров между собой. При всей несогласованности взглядов ученые разделились на два лагеря, находящихся на диаметрально противоположных позициях».

Себя Н. Бойков ни к одному из этих лагерей не относит? Да нет, он тоже «товарник», но особого рода: «Я считаю, что мало признать объективную реальность товарно-денежных отношений. Пора признать и теорию этих отношений, т. е. марксову теорию стоимости. Признать, развить для условий социализма и применить. Только на базе теории стоимости возможно создать политэкономию социализма».

Стоп! А Карл Маркс согласился бы с этим? Маркс, исключивший для социализма путь рынка, товарного производства? Маркс против Маркса?

Рассудим. Если применить к социализму теорию стоимости Маркса, то социализм получится... вовсе не по Марксу! По Марксу «Капитала» (где он ведет речь о капитализме), но не по Марксу «Критики Готской программы» (где он рисует эскиз будущего социалистического общества) — как же быть? Как выкрутиться из этого противоречия?

Наша политэкономия еще со сталинских времен выход нашла: она и не прикладывает теорию стоимости к социализму. Да и как ее прикладывать, когда по марксовой теории трудовой стоимости общественно необходимое время, затраченное на производство товара, выявляется только на рынке — нигде более!

Однако позвольте... А если признать совместимость социализма и рынка, а мы к этому вроде бы идем, то чем же тогда неугодна марксова теория стоимости? Социалистический ли рынок, коли всерьез, капиталистический ли — закон стоимости один и тот же. Не так ли?

И не одному алмаатинцу эта мысль пришла в голову. Смотрите, что пишет политэконом И. Ревинский из Новосибирска, решительный сторонник развития социалистического рынка («или развивать товарно-денежные отношения, или перестройка не состоится»): «В общественных науках усиленно начала пробивать себе дорогу позиция, согласно которой марксова теория трудовой стоимости устарела для анализа новых явлений современного капитализма, и тем более с ее позиций нельзя объяснить процессы, происходящие при социализме. Политэкономы любят повторять: «Хватит сидеть на «Капитале». Верно, сидеть нужно на стуле и не механически использовать «Капитал», а в диалектическом единстве с современностью. Парадокс заключается в том, что обществоведы строят свои исследования экономики социализма на цитатах Маркса, а в целом его теорию считают прокапиталистической. Но теория трудовой стоимости имеет универсальный

характер, и заслуга Маркса состоит прежде всего в том, что он ее развил и обогатил, анализируя капиталистический способ производства. Маркс показал ее «в деле», в процессе исследования конкретной действительности».

Особое внимание обратим на вывод, который делает, опираясь на Маркса, новосибирский политэконом: «товарно-денежные отношения — это экономическая свобода не только предприятия, но и отдельного человека». Ведь не кто иной, как сам Маркс, определивший для социализма безрыночную судьбу, подчеркивал в другом случае, что свобода и равенство в обмене представляют собой «реальный базис всякого равенства и всякой свободы».

Демаркационная линия между «социализмом» и «капитализмом» в общественном сознании передвигалась не единожды. Если начать вспоминать все, что мы в разные годы объявляли «чуждым нашему строю» не только в экономике, но и в науке, культуре, искусстве, быту, то начинать, вероятно, придется... со шляп и галстуков, ширины брюк и длины юбок. По поводу конвейерной технологии Ленину пришлось специально разъяснять, что это хоть и «система выжимания пота», а стало быть, дело насквозь капиталистическое, но и у капиталистов в области организации производства можно кое-что почерпнуть полезное, разумеется, отбросив социально-эксплуататорскую сущность. В «реакционных буржуазных» философах и художниках десятилетиями пребывали выдающиеся деятели русской и западной культуры. Даже робкие попытки национального самосознания народов СССР тотчас же пресекались как «буржуазный национализм». В области хозяйственной деятельности ярлык «капиталистический» долго носила прибыль. Лишь совсем недавно акции сбросили с себя неприличный для нас «капнаряд» и переоделись в скромные советские платья. Но акционерные общества, фондовые биржи все еще под большим подозрением — идеологическая стерильность! Медленно, кривясь и вздыхая, соглашались принять конкуренцию, но только с приставкой «социалистическая» — иначе нет! И предпринимательство нам слаще от этой добавки сахарной пудры, и сам рынок.

Теперь говорим: экономике социализма подходит все, кроме эксплуатации! Но и здесь граница, если хорошенько, не горячась, подумать, самая призрачная. Что есть эксплуатация? Присвоение собственником части чужого — наемного — труда. Эта часть и создает «прибавочную стоимость», идущую в карман капиталиста. Наш собственник — государство, и оно тоже изымает «прибавочную стоимость», пардон, «прибавочный продукт», ибо в представлении нашей консервативной политэкономии от малой подчистки термина, от замены одного слова чудесным образом все изменяется. Но эксплуатация, пусть и в каком-то ином виде, остается. Это ведь не больше, чем теоретическая уловка,— объявлять каждого из нас собственником в масштабе государства. Собственник тот, кто сам может своим имуществом распоряжаться совершенно свободно, независимо от кого бы то ни было: хочу — продам, хочу — раздарю, хочу, как Нобель, учрежу премию своего имени, хочу — промотаю... Собственник — понятие строгое. И наш собственник, государство, в лице своего ведомственного аппарата, действительно имуществом распоряжается по своему желанию: хочу — продам (невозобновляемые ресурсы), хочу — раздарю (дворец в Варшаве, «интернациональная помощь»), хочу — учрежу премию (международная Ленинская премия), хочу — промотаю (многомиллиардные убытки, расходы на бесполезное)... Государство — да! Но я лично как «собственник в масштабе государства» — что могу? Имею право получить положенное, то есть то, что кто-то сверху мне положил. А частенько, как Райкин говаривал, «забывает положить»! На этом мои права собственника начинаются и кончаются. Интереса «рвать тельняшку» ради приумножения такой, отчужденной от человека, собственности ни у кого нет. Интереснее портить ее безразличным, наплевательским отношением, растаскивать.

Если других собственников, кроме государства, нет, то кто же мы все, работники «общегосударственного завода» и «общегосударственной фермы»? (Кооперативно-колхозную собственность, всегда у нас занимавшую скромное, второстепенное место, я в этом рассуждении не беру в расчет.) Кто мы? Однозначно: люди наемного труда.

Перестроечная мысль лихорадочно ищет выхода из теоретической ловушки,

именуемой общенародной (государственной) собственностью. Выход видят в аренде. За это ухватились. Дело неплохое, арендатор гораздо больше заинтересован в успехе, чем просто наемный работник. Но с рвением собственника ему никогда не сравниться. Арендатору трудно преодолеть психологию временщика. Он чувствует себя, как человек, снявший чужую дачу: надо бы перегородку переставить, да нельзя, мебель обновить — нельзя, этаж надстроить — тоже, не говоря уже о том, чтобы продать... На производстве этот «комплекс неполноценности» толкает к получению сиюминутной выгоды, а вложения средств в цели долговременные, развитие мощностей во имя будущей прибыли, серьезное техническое перевооружение — это все для арендатора область тяжких сомнений. «А вдруг выселят?» — думает он, подобно квартиранту. Арендатор попадает в зависимость с самого первого шага — процедуры оформления разрешения на аренду — и на «всю оставшуюся жизнь». Тьма конфликтов возникает сейчас на этой почве, пресса сообщает о них постоянно. И будут возникать! Закон об аренде способен дать лишь некоторое облегчение, а попытки обойти его, «укоротить» арендатора собственник будет предпринимать постоянно, и с тем большим рвением, чем строже окажется закон. Новый закон о собственности? Поздно. Полумеры...

Я убежден, что надо идти на радикальную реформу **государственной** собственности, предусматривающую ее **денационализацию** по крайней мере, наполовину, лучше — на две трети. Смешанная экономика — то, что нам нужно, на мой взгляд, может сделать рыночную систему реальной. Государственные собственники (среди них — арендаторы, концерны), акционерные общества (сложение капиталов любых секторов и в любом сочетании), кооперативные предприятия и объединения (крупные, созданные в разных отраслях, и мелкие, нынешнего типа), частно-индивидуальный сектор — все одинаково взаимосвязаны рынком, конкуренцией. Рынок товаров, рынок средств производства, рынок капитала, рынок труда — все элементы полнокровного рынка. Не исключая и давно изобретенные человечеством, проверенные жизнью методы управления рынком, в частности, фондовую биржу.

Однако не «рыночная стихия» — повторюсь еще раз, хотя мы уже договаривались выше, что это аксиома. Рынок, регулируемый государством, осуществляющим активную правовую, финансовую, налоговую и социальную политику. А также планирование, преследующее отнюдь не оперативные цели, а нечто иное: определение пропорций, приоритетов, поддержание структурного равновесия, создание новых производств, рождаемых научно-техническим прогрессом.

При господстве государственной собственности, даже и отданной арендаторам, никакого рынка мы не создадим, это очередная иллюзия. Но просто раздать собственность коллективам тоже нельзя — прав член-корреспондент АН СССР П. Г. Бунич, обосновывающий идею постепенного выкупа. То, что арендаторы приобретут на свои деньги или средства, взятые в кредит, а также произведенная ими продукция становится их собственностью. Разумеется, за вычетом налога государству, процентов за кредиты, платы в местный бюджет и т. д. На предприятии образуются одновременно два вида собственности — прежняя («гос») и групповая, принадлежащая коллективу арендаторов. Поначалу первая значительно преобладает — производственные помещения, оборудование. Но постепенно, по мере амортизации, устаревшие станки и машины списываются, заменяются новыми, государству не принадлежащими. То же происходит и с помещениями. Это здравый, вполне реальный для нашей экономики путь.

Имея такую интересную перспективу — стать собственниками, коллективы предприятий наверняка приложат все силы, чтобы сработать и заработать не хуже, чем американские сталелитейщики, скупившие акции своей компании.

Догматики от марксизма видят в коллективной собственности «частную». И уже по этому признаку отвергают. То, что государственная собственность в экономике страны ужмется наполовину (в перспективе до 30—40 процентов), иным кажется «изменой революции», «предательством социализма». Национализация, осуществленная после Октября, и выкормившийся с годами монстр государственной собственности, подмявший общество, воспринимаются многими непременным атрибутом социализма. Коллективная собственность «ассоциаций сво-

бодных производителей» отпугивает неизвестностью, неким «капиталистическим запашком», опасностью растаскивания народного хозяйства на куски. Помилуйте, да что уж растаскивать?

Каждый волен думать, как хочет. Но когда я говорю — рынок, то имею в виду значительную денационализацию госсобственности, а затем — конкуренцию самых разных, не только коллективных (акционерных), но и частных собственников при экономическом регулировании со стороны государства. Для меня это и есть смешанная экономика.

Послушаем мнения других.

«Закон стоимости и вытекающие из него следствия, в том числе рыночные отношения,— объективные законы природы. Пора убедить общественность в этом вопросе. Положение очень тревожное. Мы отчалили от командно-административного берега, но не пристали к рыночному. Нас может снести бог весть куда. Я работаю в НИИ химволокна и достаточно тесно связан с одной стороны с заводами, с другой — с министерством. Эта неопределенность особенно сильно ощущается. Министерство потеряло права, его работники из кожи лезут вон, чтобы играть роль, быть при деле. А заводы — кто куда...» (А. Серков, профессор, доктор технических наук, Москва).

«Думаю, вам будет интересно да и полезно ознакомиться с точкой зрения рабочего. Вот что я предлагаю: полностью отказаться от государственной собственности на средства производства и заменить ее собственностью коллективной, причем на основе низовых звеньев — цехов, небольших фабрик, производств, имеющих свой расчетный счет и являющихся наряду с другими такими же звеньями совладельцами данного предприятия. Это не аренда и не кооператив в нынешнем его понимании, а несколько иной тип социалистического предприятия. Хотя в основе принцип кооператива, артели. Практически каждый рабочий будет совладельцем. Я за социалистический рынок, построенный на такой основе, но категорически против продажи акций в частные руки. Право покупать акции как своих, так и других предприятий должны иметь лишь коллективы... Дайте рабочим волю, и проснутся от спячки современные кулибины, отойдут от похмелья нынешние братья черепановы, и все увидят, поймут, что такое свободный, раскрепощенный труд» (Г. Горбачев, машинист экскаватора).

«В правильном ли направлении мы ведем свой народ? Не попадем ли в очередной тупик? Этот вопрос меня, как члена партии, сильно волнует. Мы не имеем права еще раз ошибиться. Считаю, что государственная собственность на средства производства — основная причина всех наших бед. Это тупиковый путь развития, мы же упорно цепляемся за него, считая госсобственность «общенародной». Но народ ею не владеет, народ при ней — наемная рабочая сила. Всякие попытки уничтожить командно-бюрократический аппарат при сохранении государственной собственности на средства производства успеха не дадут, так как без него вообще некому будет понуждать наемную силу к работе. Полагаю, сначала мы должны прийти к государственно-коллективной собственности, в которой определенная доля принадлежит каждому работнику в виде заработанных его трудом акций. Государство, как равный партнер, должно получать свою долю прибыли в соответствии с принадлежащей ему суммой акций. Трудовым коллективам должен быть разрешен выпуск и продажа акций в неограниченных количествах» (И. Патратий, зав. отделом НИИ планирования Госплана Молдавской ССР).

«Пора, наконец, честно признать, что тотальная госсобственность является гораздо большим и худшим злом, чем даже частная, и автоматически приводит к таким порочным следствиям, как несбалансированность экономики, дефицит, более жесткая эксплуатация трудящихся, чем при частной собственности, низкий уровень жизни, бесхозяйственность, моральная деградация общества и личности и т. д. В книге «Перестройка и новое мышление» М. С. Горбачев пишет: «Мы шли по бездорожью». Но что это означает? Значит, мы знаем, что где-то есть дорога, по которой идут другие. По бездорожью — это по канавам, ямам, лужам, завалам. Так, если мы сами признаем свой путь бездорожьем, может, хватит по нему шагать? Сколько можно противопоставлять себя всему миру и гордиться своей самобытностью, пусть и на худший манер. Минимальная форма передачи собственности — это бессрочная аренда. А могут быть и другие формы — личная собственность, кооперативная, частная, акционерная и т. д. Совокупность многообразных форм собственности и будет представлять собой настоящую, а не декларируемую общенародную собственность» (В. Иванов, зам. директора ВЦП по научной работе, Москва).

Профессор, машинист экскаватора, плановик, руководитель научного центра... Я мог бы привести строки из множества других писем людей, в час судьбы размышляющих о выборе пути. Они идут от жизни, а не от схемы. Их огорчает и тревожит готовность части общества зубами держаться за «принципы», даже если эти «принципы» загоняют страну в угол, лишают народ надежды. Вновь и вновь они спрашивают: в чем же состоял «наш социалистический выбор»? Выбирали лучшую долю для народа или самоуничтожение ради абстрактных теорий? Ведь и те великие мыслители, именем которых ныне прикрывается заскорузлый догматизм, сами терпеть не могли коленопреклоненность перед авторитетами. Кредо Маркса: подвергать все сомнению. Относится ли это к самому Марксу, за каждое слово которого цепляются у нас до сих пор?

В почте, лежащей сейчас на моем столе, мощный заряд сомнения пробудившегося интеллекта. Привычное — отбрасывается, бесспорное — подвергается беспощадному пересмотру. Я суммирую мысли разных людей, отвергающих напрочь безрыночный, нетоварный социализм, его апостолов и адептов. Нам надоели, говорят читатели, заборы из цитат классиков, пустопорожние словопрения о том, «кто лучше понимает марксистскую теорию», высокомерные поучения «от имени великих». Мы хотим знать, в чем проявляется революционность происходящих изменений и как понимать призыв «больше социализма»? Сколько можно без «разрешения из прошлого века» опасаться тронуть фундаменты наших бед? Социализм, где он, извините,— может, в Швеции? Если будем ждать манны небесной от самого слова «социализм», то ничего не дождемся. Нет такой идеи, даже самой великой, которая была бы вправе закрывать естественные пути развития общества. Пора признать: передовым является лишь то, что ведет к прогрессу, как бы это ни называлось. Бездарная организация экономики базируется на совершенно ясном фундаменте — догматической идеологии. Не преодолев ее, мы не подберемся к рыночным отношениям. Как будто бы какое-то заклятье висит над нами. И это действительно так. Мы находимся во власти нами же выдуманных химер...

«Продукт опыта важнее абстракций,— пишет специалист ВАЗа Л. Голяс.— При желании у классиков марксизма можно найти множество не требующих доказательств ошибок. И это естественно, они же люди, а не боги, имеют право на ошибки. Если оглянуться назад, то почти вся советская история — это попытка построить социалистическое общество на базе тех рецептов, которые мы выискивали у плодовитых классиков. А фактически — на базе цитат. За каждой глупостью в экономике, за каждым фактом ее иррациональности можно найти тень цитаты. Подумать страшно — цитата была аргументом, была истиной в последней инстанции. Она, к сожалению, ею и остается в массовом сознании. И в этом — ахиллесова пята перестройки. Мы еще далеки от понимания того, что жить можно и должно только своим умом. Не сотвори себе кумира! Мы сотворили. Мир все усложняется. А мы пытаемся втиснуть его в прокрустово ложе мышления Маркса, безусловно великого, но вместе с тем и ограниченного. Ограниченного тем уровнем производительных сил, которые существовали в его время. Чем оперировал Маркс? Сюртук. Пшеница. Железо. Паровая машина и механический ткацкий станок были высшими достижениями техники. Электричество и телефон еще не вышли из лабораторий. Химизация, ядерная физика, генетика, автоматические линии, телексы, межконтинентальная авиация, компьютеры — все это уже возникло после Ленина. Ни Ленину, ни тем более Марксу не была известна наука об управлении — кибернетика. Основной ее закон гласит: с увеличением объемов и сложности систем (а народное хозяйство — набор сложнейших суперсистем) сама идея жестко регулировать их функционирование становится тормозом. «Капитализм развивается стихийно, а социализм — сознательно». Это иллюзия. И со-

циализм, и капитализм как общественные формации развиваются по объективным, не подвластным воле человека законам диалектики. Только капиталисты согласуют с этими законами свои действия и имеют позитивные результаты, мы же высокомерно пытаемся законами управлять, за что вполне заслуженно и получаем по зубам».

На мой взгляд, социализм и капитализм в современном мире отличаются друг от друга отнюдь не тем, что утверждалось во всех канонах. Не формами собственности (государственная — частная), не методами управления экономикой (плановая — рыночная), не видом демократии (социалистический плюрализм — буржуазный плюрализм), а господствующей формой присвоения.

Валовой национальный продукт везде производен от степени эффективности хозяйственного комплекса. А последний может нормально развиваться лишь в условиях рыночной системы. Ее можно назвать технологией хозяйствования для всех — и для Англии, где у власти консерваторы, и для Японии с ее специфическими, совершенно не похожими на европейские и американские, национальными традициями в социально-трудовых отношениях, и для Швеции, где более полувека бессменно правят социалисты, построившие — на базе частной собственности и конкуренции! — лучший пока в мире социализм, и для Венгрии, и для нас, грешных. Для всех! Не существует идеально чистой общественной формации, в той или иной степени повсюду (кроме нас, увы!) присутствует смешанная экономика: государственная, частная, кооперативная. Это никому не мешает, и нам не должно мешать достойно жить и развиваться в семье цивилизованных стран.

Социализм, если он хочет быть социализмом не по одному лишь названию, должен отличаться не способом добычи богатства (рынок — не рынок), а распределением добытого в интересах всего народа. Ради этого социализм осуществляет крупномасштабные программы финансирования социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения, милосердия, в целом — гуманизма. И вот по этим критериям — гуманизм, социально-культурное благополучие народа, включающее и демократию, степень обеспеченности для всего народа высокого уровня жизни и свободы — социализм и должен выделяться. А какие собственники будут действовать на его рынке и платить в бюджет налог — не принципиально. Чем больше разных, коллективных и частных — тем лучше.

Мы зациклились на сооружении «социализма» не для человека, а для Схемы, для Буквы, для Канона. Но сколько можно удовлетворять нездоровое свое пристрастие к абстрактному теоретизированию? Даже забастовки, как точно заметил на сессии Верховного Совета один из народных депутатов СССР, «не бывают ни капиталистическими, ни социалистическими — это крик боли». И рынка не бывает «капиталистического» и «социалистического». Культура, право, демократия и рынок — четыре колеса современной цивилизации, без которых не может обойтись ни одна страна, желающая своему народу свободы и благополучия.

«Я пребывал во власти трансцендентного магнетизма этих слов: социализм — капитализм, наравне с миллионами одураченных сограждан,— пишет Сергей Юрьевич Варшавский из Ленинграда.— Теперь понял: нет экономики социалистической и капиталистической! Есть административно-командная и рыночная. Первая неизбежно ведет к госмонополизму, застою, кризису. Во втором случае жизнь может сложиться разно. Зависит от политики государства. Последнее может не трогать крупный частный капитал, не препятствовать частным монополистическим тенденциям, оставаться в стороне от социальных проблем... Другой вариант: государство может организовать выкачивание средств из всех возможных источников и направлять их на вооружение, на аппарат власти, сыска и подавления. Несмотря на то, что формально при этом средства производства находятся в частном владении, экономика быстро огосударствливается и из рыночной превращается в административно-командную с последующим ее развалом. Ярким примером такого течения событий была фашистская Германия, где, кстати, огосударствление также приравнивалось к социализму. Ну, и третий вариант: государство может избрать политику, препятствующую монополизации производства, максимально поддерживающую частное предпринимательство, и путем тонкого манипулирования финансами, кредитами, налогами и еще черт знает чем создать одновременно мощнейший рынок товаров и услуг и огромнейший государственный бюджет. Последний при этом направляется преимущественно на социальные нужды, обеспечивая процветание старикам, инвалидам, пособия безработным и т. д. Такой путь является единственно стабильным и безопасным. Он может быть осуществлен только в условиях реальной демократии. Демократия и свободный рынок порождают социальные гарантии»...

В декабре 1988-го в «литгазетовской» статье «Цена и рынок» я высказал свою тревогу в связи с тем, что реформы развиваются вслепую: нет теории «социалистического» рынка, нет и концепции новой модели социализма. А летом 1989-го, когда работал над этими заметками, вышла «Правда» с набросками «К современной концепции социализма», подготовленными секцией общественных наук Президиума АН СССР на основе семинара ученых-обществоведов. В конце ноября мы смогли прочитать статью М. С. Горбачева «Социалистическая идея и революционная перестройка». Теперь известны уже и Платформа ЦК партии, и взгляды сторонников «Демократической платформы»...

Ясная перспектива нужна как воздух, без нее перестройка уже задыхается. Мы лишь на дальних подступах к цели. Наверняка предстоят острые дискуссии, и кто знает, сколько еще пройдет времени, пока черновые наброски, прикидки, переплавившись в огне полемики, отольются в законченную концепцию новой модели социализма. От чьего имени будет она нам предложена?

Так или иначе, но лед тронулся, работа над концепцией началась, продолжается, и активный поиск путей преобразования общества — хочется в это верить — выведет на более глубокий уровень понимания того, за что мы боролись все эти семьдесят роковых лет и куда идем.

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Галина Кузнецова

ГРАССКИЙ ДНЕВНИК

Г. Н. Кузнецова писала автору данной заметки: «Родилась я в Киеве 10 декабря (27 ноября ст. стиля) 1900 г. Там же окончила гимназию в 1918 г.». Оставила Россию в 1920 г., осенью, по-видимому, в ноябре. Через Константинополь уехала в Прагу. «Литературная моя деятельность,— продолжает она,— началась, собственно, в Праге, где я была студенткой Французского Института (первые стихи были напечатаны в «Студенческих годах», 1922 г.). Из Праги я переехала в Париж, где познакомилась с И. А. Буниным и начала уже постоянно печататься в местных газетах и периодических изданиях, главным образом в «Современных записках». В их издательстве вышли последовательно мои книги: «Утро» (1930), «Пролог» (1933), сборник стихов «Оливковый сад» (1937), перевод романа Ф. Мориака Genitrix («Волчица») в издательстве «Русские записки» (1938), с предисловием И. А. Бунина. В 1967 г. вышла моя книга «Грасский дневник» (Вашингтон), записи (неполные), сделанные в годы моей жизни в доме Буниных. (Письмо 8 ноября 1971 г.).

О знакомстве с Буниным Галина Николаевна вспоминает:

«Я в первый раз говорила с Буниным у него дома, придя по поручению пражского профессора, выдумавшего это поручение, чтобы познакомить нас. «Вы едете в Париж? Не можете ли вы передать Бунину эту книгу... Думаю, что для вас, молодой поэтессы, будет весьма полезно познакомиться с ним».

И вот я сидела перед Буниным и смотрела на свою тетрадь в черном клеенчатом переплете, которую он бегло перелистывал. Не помню, о чем мы говорили. Помню, что он спросил меня, на каком факультете я была в Праге, когда приехала, что думаю делать дальше. Потом спросил:

«Кого же из поэтов вы больше всего любите?»

Я ответила не совсем честно — я любила не одного, а нескольких. Ахматову, Блока и, конечно, Пушкина:

— Гумилева.

Он иронически засмеялся.

— Ну, невелик ваш бог!

Я ушла охлажденная, разочарованная. Бунин показался мне надменным, холодным. Даже внешность его — он, впрочем, был очень моложав, с едва седеющими висками,— показалась мне неприятной, высокомерной.

Я решила забыть о своей тетради и о своем знакомстве с ним.

Я не знала, что этот человек в свое время окажет на меня большое влияние, что я буду жить в его доме, многому учиться у него, писать о нем.

Через много лет, в одном из своих писем ко мне (я жила в Америке, он — все на той же улице Оффенбаха в Париже), больной, задыхающийся от астмы, в одну из своих бесконечных ночей, стараясь отвлечь себя от болей, он писал мне то о том, то о другом, и между прочим написал об одном знакомом, рассказывавшем ему разные небылицы о дикарях, удавах и львах...

«Вот так же охотился на львов в Эфиопии и Гумилев, которого я недавно пересматривал и нашел, что у него на пятьдесят глупых надуманных виршей есть два-три неплохих стихотворения. И прочел у него между прочим такое:

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

И, прочитав, написал на книге своих «Избранных стихов»:

— Завидую! Как прославился стихами! А я? И все потому, что драконы-то — не чета пиджакам и темным платьям,— они понимают толк в стихах! А я облаков видел сколько угодно, водопады тоже видал, а вот драконов — ни единого! Поневоле читал иногда пиджакам».

...По живости своего темперамента он многих бранил, но часто тут же, в той же фразе, напоминал обо всем талантливом, обещающем, что находил в них. Бранил он легко, очень легко, но это зависело от многого: он был безгранично требователен к себе и хотел того же от других.

Я не избегла общей участи: бранил он и меня, и как страстно! «В своем последнем письме ко мне ты назвала свой рассказ «несовременным»: постыдись,— **разве можно писать что-нибудь художественное, думая о временном?»** [1]

На «Бельведере» жизнь Кузнецовой началась в 1927 г., а первый раз она была у Буниных в августе 1926 г. Она прожила у Буниных, уезжая время от времени на два-три месяца, до апреля 1942 г., когда совсем переселилась в Канны. В 1949 г. переехала в Америку. «Хотя я,— писала она 6 ноября 1969 г.,— и уехала из Грасса «во время голода», как написал Зуров, но, конечно, не голод был этому причиной. В то время всюду было голодно, и в Каннах еще больше, чем в Грассе, где были все же кое-какие связи. Причин моего отъезда было много, в частности были и чисто личные. Разумеется, отъезд мой на некоторое время создал атмосферу болезненного разрыва с Иваном Алексеевичем, что и ему и мне было нелегко. Однако связь с бунинским домом не была до конца разорвана: впоследствии завязалась переписка, частью и деловая, так как в 52-м, 53-м годах (по желанию И. А.) мне и М. А. Степун была поручена корректура его книг, издававшихся в Нью-Йорке, в Чеховском издательстве («Жизнь Арсеньева», «Митина любовь» и др.). Обе мы вели с ним по этому поводу оживленную переписку. [...] Всякий оттенок горечи исчез из его писем, некоторые из них были трогательно-сердечны. Вера Николаевна написала мне, что последнее письмо, которое он получил и прочел, было от меня.

В Америке я прожила десять лет. В 55-м году поступила в ООН, где и прослужила в издательском отделе корректором семь лет. В 59-м году наш русский отдел в уменьшенном составе (В. Андреева, М. А. Степун и меня) перевели в Женеву».

Последние годы Кузнецова жила в Мюнхене. Скончалась 8 февраля 1976 г.

«Грасский дневник» в громадной степени книга о Бунине; это важнейший источник достоверных и точных данных для изучения его биографии и творчества; изо дня в день она записывала свои разговоры с ним, его споры со многими знаменитыми людьми и то, как создавались рассказы, как писался роман «Жизнь Арсеньева». «Жизнь в доме Бунина,— свидетельствует А. Седых,— была сложная, атмосфера не всегда легкая. Г. Н. Кузнецова при отборе записей проявила величайший такт».

«Грасский дневник» печатался отрывками по-английски, эта журнальная публикация вызвала большой интерес в литературных кругах в Америке. Часть записей напечатана в «Литературном наследстве» (т. 84, кн. 2).

Публикуем текст с сокращениями по вашингтонскому изданию 1967 г.

А. БАБОРЕКО

19 мая 1927

ГРАСС

Живу здесь почти три недели, а дела не делаю. Написала всего два стихотворения, прозы же никакой. Все хожу, смотрю вокруг, обещаю себе насладиться красотой окружающего как можно полнее, потом работать, писать, но да-

[1] «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1970, 25 октября.

же насладиться до конца не удается. Пустынные сады, террасами лежащие вокруг нашей виллы, меня манят большей частью платонически. Взбегаю туда на четверть часа, взгляну и назад в дом. Зато часто хожу по открытой площадке перед виллой, смотрю не насмотрюсь на долину, лежащую глубоко внизу до самого моря и нежно синеющую. На горизонте горы, те дикие Моры, в которых скитался Мопассан.

По утрам срезаю розы — ими увиты все изгороди,— выбрасываю из них зеленых жуков, поедающих сердцевину цветка. Последнему научил меня Фондаминский [1], в котором есть приятная, редкая в мужчине нежность к цветам. Обычно я же наполняю все кувшины в доме цветами, что И. А.[2] называет «заниматься эстетикой». Сам он любит цветы издали, говоря, что на столе они ему мешают и что вообще цветы хорошо держать в доме тогда, когда комнат много и есть целый штат прислуги. Последнее — один из образчиков его стремления всегда все преувеличивать, что вполне вытекает из его страстной, резкой натуры.

Впрочем, пахнущие цветы он любит и как-то раз даже сам попросил нарвать ему букет гелиотропа и поставить к нему в кабинет.

Кусты этого гелиотропа растут под окнами виллы Монфлери, лежащей ниже нашей виллы и сейчас пустой. Там на одной из террас есть пустой каменный водоем. На дне его среди веток и мусора лежит маленький, чисто вымытый дождями скелет кошки. Очевидно, она соскочила туда, а выбраться назад не смогла. И хотя умирала она, должно быть, медленно и мучительно — в скелетике ее, в аккуратно поджатых желтых косточках передних лапок есть какое-то глубокое, трогательное успокоение. Она так тихо лежит, и я невольно задумываюсь о том, что же такое эта смерть, которой мы все так страшимся? Может быть, ответ в этих чистых косточках, лежащих под тенью широкой фиговой ветки? В них точно символ полного мира, как бы обещание его всем существам на земле.

И. А., однако, предупредил меня, чтобы я не говорила о кошках в присутствии В. Н.[3] — у нее к ним какой-то болезненный страх. И. А. рассказывал, что позапрошлым летом они со Шмелевым[4] убили кошку, повадившуюся ходить к ним на дачу и пугавшую В. Н. Нельзя сказать, чтобы этот рассказ меня очень обрадовал. Я испытываю к кошкам дружелюбное чувство. Мне нравится их ловкость, грация и осторожность, таящаяся в глубине их зрачков. К тому же в них есть какое-то аристократическое сознание своего достоинства.

Я пишу, а тем временем совсем стемнело. Долина за пальмовыми ветвями стала мутно-синей, и на ее фоне тихо шевелятся мелкие листочки оливок и желтого бамбука, растущего под окнами. Проснулся в кустах соловей. Ночи здесь великолепные, засыпаю я под перекликание соловьев и неумолчный страстный хор лягушек, которых здесь необычайно много. Но ни одной из них я никогда не видела. Мы только слышим их каждую ночь.

25 июля

Ровное течение рабочей жизни было нарушено в последние дни. По случаю жары все двери в доме раскрыты, и это способствует разговорам, шуму и постоянному свободному входу друг к другу. Кроме того была портниха, а В. Н. в такие дни делается необыкновенно общительна, и я, следовательно, рассеиваюсь и даже печатание на машинке, которая теперь взята на дом и печатаем мы на ней обе попеременно, идет у меня довольно невнимательно. Ездили с И. А. в Канны, я в первый раз купалась, но были большие мутные волны и неприятный ветер с песком, засыпавшим глаза, и поэтому купанье не удалось.

Вчера же, в воскресенье, были гости — Ходасевичи, только что приехавшие из Парижа. Весь дом по этому случаю убрали и ждали их к завтраку, но они опоздали и приехали только к половине третьего. Мы с Рощиным дважды

[1] Илья Исидорович Фондаминский. (Здесь и далее примечания автора, за исключением оговоренных.)
[2] И. А. Бунин.
[3] В. Н. Бунина.
[4] Писатель Иван Шмелев.

ходили их встречать. Был очень жаркий, первый по-настоящему летний день, с нас пот лил градом, несмотря на крайне легкие костюмы. И все же мы их встретили уже у подъема на нашу гору, на бульваре, и сразу не узнали издали. На Нине Берберовой было голубое платье и пастушески простая шляпа с белой лентой, Ходасевич, лишенный пиджака и воротничка, придававших ему некоторую солидность в городе, казался необыкновенно тощим и от этого беспомощным. Пробыли они почти до вечера. После завтрака сидели под пальмой и разговаривали. Я посмотрела на них из своего окна сверху,— это было красиво, голубые платья женщин, белые костюмы мужчин и этот великолепный, жаркий, сине-золотой день. Разговоры велись, конечно, главным образом литературные. И. А. умеет быть иногда необыкновенно любезным и обаятельным хозяином, он поднимает настроение общества, зато к нему и стекаются всеобщее внимание и все взгляды.

Когда показывали гостям дом, Берберова задержалась в моей комнате и стала расспрашивать о моих литературных делах, причем рассказала, что ее рассказ принят в ноябрьскую книжку «Современных записок», т. е. в ту же, где должны быть мои стихи — а другой будет в «Звене», в ближайшем номере. Она была очень любезна, но на окружающую красоту совсем не смотрела, и мы все дружно напрасно обращали ее внимание то на то, то на другое. Еще раз я подивилась тому, какая у нее завидная твердость воли и уверенность в себе, которую она при всяком удобном случае высказывает. Было условлено, что мы в ближайшее время увидимся в Каннах, поедем вместе на острова, вообще будем часто встречаться. Когда гости уехали, я пошла ходить по саду и И. А. позвал меня и дал несколько листов, написанных за последние дни, с которыми я и забралась на верхнюю террасу и, сев на траву, принялась за чтение.

Когда кончила, подняла голову и засмотрелась: на нежном розово-голубом вечернем небе венцом лежали серые вершины оливок, воздух тихо холодел, был такой покой и нежность и какая-то задумчивость и в небе, и в оливках, и в моей душе. Почему-то вспомнилось детство, самые сокровенные его раздумья и мечты. В листах, лежавших на моих коленях, было тоже детство нежной впечатлительной души, родной всем мечтательным и страстным душам. Самые сокровенные, тонкие чувства и думы были затронуты там. И глава кончалась полувопросом, полуутверждением в том, что может быть для чувства любви, чувства эротического, двигающего миром, пришел писавший ее на землю. И я глубоко задумалась над этим и спросила себя — для чего живу я и что мне милее всего на свете? И ответ будет, пожалуй, тот же, так как в творчестве есть несомненно элемент эротический. Я сидела и думала об этом, когда внизу на дорожке показался И. А. Я махнула ему, позвала его. Он спросил меня, не портит ли он мне впечатление тем, что дает читать по кускам. Я сказала, что в этом есть своя и, может быть, еще более важная прелесть. В одном месте, указывая на фразу, как бы случайно, вскользь вставленную (о разнообразной прелести деревьев — их вершин, внизу темных, а сверху блестящих), он сказал: «Вот так надо, как бы случайно, уметь сказать о какой-нибудь детали и сказать щедро».

Он часто так учит меня — незаметно, мимоходом. Позднее вечером, во время прогулки он обратил мое внимание на огни, блестевшие «очень чисто», и на ясность и черноту горы: «это бывает в мистраль — это не летние мглистые вечера — это надо все замечать».

Недавно в автобусе он говорил, что вечно страдал из-за своего почерка — менял перья, писать ему бывает очень трудно, перо не идет, а ручку он держит между третьим и четвертым пальцами, а не между вторым и третьим, как все люди.

Я очень сокрушаюсь тем, что не записываю многого о нем, это так приятно перечитывать потом. Ведь многое забывается, хотя у меня отличная память. Сколько он говорил мне интересного, значительного, важного, а я не записала, поленилась, забыла... Хотя бы его присказки, пословицы, словечки. Он часто говорит с печалью и некоторой гордостью, что с ним умрет настоящий русский язык — его остроумие (народный язык), яркость, соль.

Правда, пословицы и песни часто неприличные, но как это сильно, метко, резко выражено. Рощин сказал, что будет записывать за ним, но что Рощин! Будь это кто-нибудь поярче, позначительней! Что сможет сделать с этим богатством Рощин! Он и не работает вовсе, да если бы и работал, нет у него главного в литературе — чувства меры.

26 июля

Вчера ездили в Канны всем домом купаться. Ходасевич не приехал, и только много позже в кафе под платанами пришла Берберова и сказала, что он пишет, а она искала и не нашла нас на пляже. Несколько минут пришлось пробыть с Мережковскими, что для меня всегда мучительно, т. к. З. Н.[1] нагоняет на меня уныние. Она не глядит и не слышит и вообще делает вид, как будто не подозревает о моем существовании. При этом она говорит И. А. одни неприятности, которые он принимает с самым любезным и милым видом. Для того, чтобы еще больше подчеркнуть свое незамечание меня, она держится чрезмерно любезно с Рощиным, дает ему милостиво-угрожающие обещания написать о нем по поводу его будущей книги. Руку она подает мне почти неощутимо и не видя меня. Все это делает то, что быть с ней для меня сущая мука. Впрочем, вчера из-за этого И. А. очень быстро собрался и всех увел с собой из кафе и дома торжественно обещал мне, что не будет принуждать меня бывать с Мережковскими. Сегодня никуда не поехали. Отстрадав жаркие часы за машинкой в комнате, я пишу на воздухе, в конце сада, на мраморном столе, который приятно холодит мне руки. Вечернее солнце мягким желтым светом обливает большую пышную ель, зеленым облаком лежащую на низкой равнине, а позади на бледном, туманном от зноя небе огромная волна Эстерели, с теплыми тенями в глубоких впадинах, встает как некое допотопное чудовище, огромное и прекрасное. Какая-то птица еле слышно журчит в кустах легколистного желтого бамбука за моей спиной. Мне хорошо и немного грустно, как всегда в такие минуты созерцательного покоя. Я не думаю о будущем, а прошлое рисуется затуманенно и кротко-грустно. Больше всего я люблю эти вечерние часы на воздухе.

8 августа

Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И. А. это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так, «Солнечный удар» явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее. «Ида» тоже от воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, убранных цветами; «Мордовский сарафан», где, по его собственным словам, сказано «о женском лоне» то, что еще никем не говорилось и не затрагивалось, ведет начало от какой-то женщины, вышивавшей черным узором рубаху во время беременности. Часто такие куски без начала и конца лежали долгое время, иногда годы, пока придумывался к ним конец.

А говорили об этом в автобусе, по пути в Грасс — мы возвращались с купанья. Все время справа в небе видна была горбушка той дальней сиреневой голой горы, что на востоке от нас. По краю ее стояли белые легкие облака с рваными краями. Я особенно люблю эту дикую гору.

29 августа

...Сегодня утром И. А. сказал мне в саду, когда мы по обыкновению вышли после кофе взглянуть на погоду: «Что же это утра пропадают? Надо не ждать вдохновения, а идти садиться за стол и писать». И я послушалась его и пошла к себе. Его совет как нельзя более соответствует моим желаниям. Только за работой я чувствую себя истинно счастливой, укрытой от всех болезненных влияний, столь мучительных для меня в последнее время.

[1] Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская.

15 сентября

Вчера были гости — Мережковские и Ходасевич, последние с прощальным визитом перед отъездом в Париж.

Опять был яркий, на редкость красивый день, все сидели в саду, ярко освещенном, вычищенном и выметенном накануне садовником и от этого нарядном, радующем осенней просторностью и праздничностью. Мы с И. А. и Берберовой ходили по дорожке, и я чувствовала, что Гиппиус, сидевшая под пальмой с В. Н., нас рассматривает. Мы отошли за мандариновые деревья и остановились там, разговаривая о стихах Берберовой, и туда к нам пришли Мережковский с Володей Злобиным[1], только что пришедшие, они завтракали где-то в городе внизу.

За чаем я рассматривала Гиппиус. Она сидела в кресле И. А. Всякий раз, когда вижу ее, дивлюсь ее щуплости, цыплячьей худобе, ее подслеповатым глазам и рыжим завитым волосам, завернутым с затылка на макушку, ее маленьким сухощавым рукам и перевязанной лентой шее. И несмотря на это такая пунктуальность во всех действиях, такая аккуратность в почерке, в ведении своих дел, что диву даешься! Я мало знаю ее, ее неприязнь ко мне не позволяет мне рассмотреть ее поближе, но все же всякий раз она меня чем-то болезненно поражает.

31 октября

Вчера по случаю великолепного дня поехали с И. А. в Канны необычным путем, через Оребо и Пегомас. В Каннэ долго ходили по горе: «искали виллу» — это любимейшее занятие вот уже несколько лет у И. А. Ему все мерещится какая-то необыкновенная, уютная, деревенская дача с огромным садом, со множеством комнат, со старинной деревянной мебелью и обоями, «высохшими от мистралей», где-то на высоте, над морем; словом, нечто возможное только в мечтах, так как ко всем этим качествам, быть может и находимым, присоединяется еще одно необыкновенно важное, но совершенно исключающее все вышеупомянутые,— дешевизна. Но все же каждый год, как только приближается время отъезда из Грасса, он начинает ездить по окрестностям и искать, мучимый давней мечтой о своем поместье, о своем доме. С каким наслаждением карабкались мы по каким-то отвесным тропинкам, заглядывали в ворота чужих вилл, обходили их кругом и даже забрались в одну, запертую, необитаемую, с неубранным садом, где плавали в бассейне покинутые золотые рыбки и свешивались с перил крыльца бледные ноябрьские розы. Потом, стоя на высоте, смотрели на закат с небывалыми переходами тонов, с лилово-синими, сиреневыми, гелиотроповыми грядами гор, точно волны на прибой, идущими на нас от горизонта, с мирным голубым, гладким, гладким морем, стелющимся нежным дымом до светящейся полосы горизонта. Какая красота, какое томление... И так заходило солнце и при цезарях, и еще раньше, и эти волны гор так же шли на прибой с запада...

В автобусах, в трамваях везли целые снопы цветов: белых восковых тубероз, похожих на пуки церковных свечей, тонко и крепко пахнущих; пушистых, пестрых хризантем, точно утомленных собственной пышностью и изобилием. Через день праздник Всех Святых.

Сегодня начала перепечатывать первую книгу «Арсеньева».

9 ноября

Рукопись сброшюрована, проверена, совсем готова для печати, но И. А. по обыкновению ходит и мучается последними сомнениями: посылать или не

[1] Поэт В. Злобин.

посылать? Печатать в январской книжке или не печатать? Но, думаю, исход предрешен,— он пошлет, помучив себя еще несколько дней. По складу его характера он не может работать дальше, не «отвязавшись» от предыдущего. В. Н. против печатания, во многом она права, но ведь приходится считаться с характером И. А., а она за все двадцать лет жизни рядом не может примириться с ним. [...]

Завтра предстоит завтрак у Мережковских и чтение дневника З. Н., колеблющейся перед печатанием его и просящей совета. Ее пугает то, что после появления в печати этого дневника (дело Корнилова и Керенского, осень семнадцатого года) ей придется «сжечь свои корабли по отношению к эсерам».

Должна ехать на этот прощальный завтрак — они уезжают в Париж — и я, как это ни неожиданно. После нашей последней встречи в Каннах, когда З. Н. впервые обратилась ко мне с несколькими вопросами, В. Н. получила письмо, в котором среди прочих фраз было приглашение и мне, «хотя она и известная дикарка». Наши посоветовали мне ехать, говоря, что это может быть интересно, и я согласилась.

10 ноября

Были и слушали. Посещение знаменательное и даже довольно волнующее. Множество новых впечатлений и от виллы, очень чистой, нарядно, даже с некоторой кокетливостью убранной (ковры, кретоновые абажуры в розах, мягкая мебель и хризантемы в вазе на камине), от хозяев в домашнем быту: Мережковский в драповом халате, ходит бочком, горбясь, она, кутаясь в шали и платки, протягивается в креслах, и, наконец, от чтения, во время которого хозяин удалился к себе — ничто не может нарушить привычек обитателей этого дома.

После завтрака (макароны, баранина с кашей, пирожки, сыр и печеные яблоки с вареньем и ко всему этому один маленький графинчик приторно-сладкого белого вина) перешли в гостиную, куда полногрудая, с черными как вакса волосами и первобытной улыбкой итальянка-горничная подала кофе. Володя [1] принес хозяйке папиросы, изящный дамский мундштук и зеленую папку, в которой оказалась аккуратная стопка скрепленных пачками белых листов, перепечатанных на машинке. Мы сели, и чтение началось. Обычно я плохо переношу чтение вслух и часто отвлекаюсь в первые же пять минут. Но здесь мне не пришлось отвлекаться. Дневник оказался очень интересным. В нем ярко выступает автор, хотя о себе он почти не упоминает. Керенский написан настолько художественно, что я, никогда в жизни его не видавшая, ощутила его как живого человека. Ярко передано и то сумбурное, жуткое время и передано при помощи очень простых скромных слов (без утрировки и почти без обычных для Мережковских восклицаний).

Меня, конечно, больше всего пленила в этом дневнике его художественность, позволяющая видеть политические события в виде обычных картин человеческой жизни. По одной, двум чертам обрисовываются люди и положенья. Таков Зензинов [2], сидящий как сыч у Амалии [3], обложенный газетами; таково утро, когда Керенский объявляет разинувшим рот министрам о том, что Корнилов ведет войска на Петроград; таков разговор с Корниловым по прямому проводу и вообще то время, когда обыватель ничего не понимал, а посланные Керенским войска шли на защиту Петрограда против войск Корнилова, шедших тоже на защиту Петрограда. «Кровопролития не вышло никакого. Недоумевающие войска постояли, постояли друг против друга, затем, вспомнив уроки полковых агитаторов о том, что с врагом надо брататься, принялись усиленно брататься».

Своеобразна манера чтения: скороговоркой, вполголоса, точно актриса на генеральной репетиции, не дающая полного голоса, с короткими недоговариваемыми пояснениями в сторону, чтобы избежать длиннот, и только в местах зна-

[1] В. Злобин.
[2] В. М. Зензинов, один из лидеров эсеров (ред.).
[3] А. О. Фондаминская

чительных, требующих от слушателей особого внимания и эмоций — повышение, медлительность, почти скандированье, упор на слова и даже на целые фразы.

Мы много говорили об этом дневнике в поезде, возвращаясь домой. Все сходились на том, что это лучшее из того, что написано Гиппиус. «Воображаю, что у нее там еще понаписано, ведь она прочла нам сотую долю!» — сказал И. А.

А в общем сегодня я впервые почувствовала в Гиппиус не только молодящуюся чудачку с ведьмовским началом в натуре; я поняла, что у нее можно многому учиться и с нее надо кое в чем брать пример.

5 декабря

И. А. дал мне пачку своих стихов для того, чтобы я отобрала их для книги, которую он хочет давно издать. Отбирая, невольно изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви — по сдержанности и стыдливости натуры и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства. Даже о таких стихах, как «Свет незакатный», «Накануне», «Морфей», говорит, что они нечто общее, навеянное извне. Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнаженья души.

30 декабря

Были в гостях Пилкины с сыном Колчака. Они милые симпатичные люди. Девочки принадлежат к новому народившемуся в эмиграции типу: ученые, увлекающиеся богословием, классиками. Старшая особенно мила бойкостью, живостью, застенчивой готовностью всякую минуту отвечать на вопросы старших.

И. А. был опять, как всегда с чужими, тонко и очаровательно любезен. Он ни разу не встал со своего кресла и говорил все время благодушным и любезным, почти царственным тоном. Я давно не видела его таким. Он большой актер в жизни. Я знаю, что так надо общаться с людьми, но воспоминанье о его часто невозможных ни для печати ни для произношения словечках, о его резкости временами заставляли меня в душе улыбаться. Впрочем, эта общедоступная любезность всех покрывает нивелирующим лаком, и дома он оригинальнее.

25 апреля [1928]

Ницца

Поселились в маленьком отеле, в котором 25 лет назад жил Боборыкин, что и дало И. А. мысль взять в нем комнаты. Живем мы в верхнем этаже — моя комната в другом конце коридора, окна выходят в пальмовый сад на юг.

В Ментоне, где мы прожили около двух недель, подали огромный счет, который произвел на всех впечатление. Здесь совсем скромно, прислуги только лакей и горничная на весь отель, хозяйка — монументальная усатая старуха, которая хранит в шкапу сочинения Боборыкина и говорит о нем с почтением. Вчера завтракали и обедали в русском ресторане.

Ницца веселее и оживленнее уже совсем замирающей Ментоны. Вечером ходили гулять, но очень ненадолго, т. к. И. А. валился с ног от усталости [...]

2 мая

Вчера, когда мы закусывали у В. Н. в номере, вдруг постучали. Она пошла отворять, и мы услышали из соседней комнаты ее радостные восклицания. Оказалось, что это Алданов, в тот же день приехавший из Парижа в Ниццу по

вызову кинематографической компании, которой он должен дать исторические справки для фильма. Все мы обрадовались, словно только сейчас поняли, как скучали до сих пор. Его усадили, начались расспросы. Он рассказывал, что был в Ницце 16 лет назад, молодым, и что испытал очень грустное чувство, объезжая знакомые места.

— Ну, что у меня теперь впереди! — сказал он грустно.

— А слава?

Он отмахнулся с досадой.

— Ах, слава! Полноте...

Мы пошли с ним в ресторан в старом городе, рекомендованный ему приятелем. Оказался кабачок под землей, в лабиринте улиц, узких, как коридоры. Вход через кухню. Хозяин наигранно напевает, называют его père Бутто, на меню написано, что заведению 60 лет. Обедал только Марк Александрович[1], а мы ели спаржу и пили розовое вино. Говорили о литературе, о молодых писателях. Потом проводили его в «Руль», где у него было назначено свидание с режиссером Волковым.

22 августа

Столько раз собиралась записать поподробнее о течении нашей жизни — о всех и о себе,— и никогда на это не находится времени. А между тем лето уже кончается, скоро сентябрь и с ним изменение жизни. Возможно, что И. А. поедет в Сербию, на съезд писателей, и тогда это выбьет всех нас из колеи. Живем мы очень однообразно, много тише, чем в прошлом году. И. А. долго бесплодно мучился над началом третьей книги «Арсеньева», исхудал и был очень грустен, но в конце концов сдвинулся с места, и теперь половина книги уже написана. Третья книга опять очень хороша, но мне чего-то жаль в маленьком Арсеньеве, который уже стал юношей, почти беспрестанно влюбленным и не могущим смотреть без замирания сердца на голые ноги склонившихся над бельем баб и девок...

Вообще И. А. не тот, что был раньше. Перемена эта трудно уловима, но я знаю, что она в отсутствии той молодой, веселой отваги, которая была в нем год-два назад и так пленяла. Он внутренне притих, глаза у него часто стали смотреть грустно... «Ничто так не старит, как забота»,— часто поговаривает он. Но все же он часто шутит, даже танцует по комнате, делает гримасы перед зеркалом, изображая кого-нибудь (и всегда изумительно талантливо), дразнит капитана[2] так, что тот приседает от смеха. Капитан тоже присмирел в это лето, не так часто ругает кого-то в пространство, аккуратно каждое утро уходит писать в сад под фигу, меньше ждет писем, не бросается к почтальону, меньше спорит с В. Н. (хотя все-таки спорит), глядит покорнее. Все же по-прежнему любит поездки и иногда, когда есть деньги, заливается куда-то на два-три дня на велосипеде: «в контрольную поездку», как дразнит его И. А. Возвращается «на голенищах», тоже по словам И. А., всегда почему-то немного виновато, а мы все его дружно расспрашиваем и поддразниваем.

В. Н. по-прежнему сидит постоянно за машинкой, не гуляет, бледна, и я часто чувствую сквозь стены как бы какое-то болезненное веяние. Это отражается на мне тяжкой тоской — я замечала несколько раз, что хуже себя чувствую, когда она в дурном состоянии, и веселею, когда оно делается легче. Иногда это меня пугает.

Сама я живу не очень хорошо. По-прежнему «безутешно грежу жизнью». По-прежнему сомневаюсь в себе, тоскую, браню себя за лень, хотя все время как будто что-то делаю. В это лето мне стало уже казаться, что моя первая молодость прошла...

Я давно ничего не пишу прозой и как-то привяла. Должно быть, жаркое лето меня обессилило. Правда, я пишу еще время от времени стихи, но они меня мало радуют. Единственное настоящее дело — подготовила книгу стихов И. А.— перепечатала две трети, а главное, затеяла это — без затеи же это бы никогда не сдвинулось с места. Перепечатывая стихи, многое узнала, увидела в них то, чего прежде не видела. Есть стихи изумительные, которые никто по-настоящему не оценил. Мы много говорим с И. А. об отдельных стихотворениях. Думаю, что могла бы написать о его поэзии большую статью, если бы не страх ответственности и не моя слабая воля [...]

[1] М. А. Алданов.
[2] Н. Я. Рощин (ред.).

27 августа

Вчера, в воскресенье, были в Горж дю Лу. Было очень хорошо, но И. А. зевал и утверждал, что будет дождь, а он в смысле предсказаний погоды лучше барометра. В ущелье прошли далеко над потоком, и я вспоминала, как была там первый раз «туристкой» три года назад. Потом мы ночевали в Грассе в отеле, и мне и в голову не приходило, когда я смотрела утром в окно, заслоненное горой, что в этом городе я буду скоро постоянно жить.

Небо над ущельем было водянисто-голубое, чистое, нежное. Под скалами апельсиновые сады, дальше виноградники, яблони с красными уже яблоками, фиги. А дальше совсем дико, ежевика цепляется за ноги и длиннолистые округлые деревья, напоминающие наши приречные вербы, наклоняют к воде длинные тонкие ветки. Сидели над потоком, ели виноград, фугасеты[1]; капитан из-за своего обычного молодчества лазил по отвесным голым камням к потоку, мочил ноги. И. А. его поддразнивал. Через час в ущелье стало скучно, огромные стены гор заслоняли солнце, да и вообще уже стало хмуриться. Когда мы вышли из ущелья на мост, предсказанье И. А. стало сбываться — небо затянуло серыми тучами, вершины гор стали дымиться. Пошли пешком по шоссе, по направлению к дому. Шли и спорили, главным образом, конечно, В. Н. с капитаном, на тему о том, достаточно ли было содержание офицеров в России лет двадцать назад. Капитан утверждал, что оттого и шли в офицеры, что соблазняла обеспеченность, а В. Н., наоборот, доказывала, что ее брат, офицер, нуждался и жил с трудом. И. А. поддерживал капитана, бранил Куприна за «Поединок», говоря, что того, что там написано, не было: краски безбожно сгущены. Я больше слушала, т. к. двадцать лет назад была совсем ребенком. Автобус нагнал нас только за Баром. Готовили обед дома сами, т. к. прислуга по случаю праздника была отпущена. За обедом разгорелся другой спор, в котором уже В. Н. и я были против И. А., поддерживаемого капитаном. Спорили о повести одной молодой писательницы, которую И. А. при Илюше очень хвалил, а теперь отрицал это и говорил, что «надо понимать оттенок» и что говорилось это в относительном смысле. Я разгорячилась забывая, что к И. А. обычные мерки неприменимы и что надо помнить о его беспрестанных противоречиях, нисколько, однако, не исключающих основного тона. Так о Чехове, о котором он говорил как-то восхищенно, как о величайшем оптимисте, в другой раз, не так давно, он говорил совершенно противоположно, порицая его, как пессимиста, неправильно изображавшего русскую провинциальную жизнь и находя непростым и нелюбезным его отношение к людям, восхищавшимся его произведениями.

Впрочем, вечером мы с ним вполне помирились. Сегодня он пишет статью для «Последних Новостей» о Толстом. Толстой неизменно живет с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни.

14 сентября

Сидели с Тэффи на поплавке у моря. Между прочим она говорила:

— Есть два сорта людей: одни все дают, другие все берут. Когда я знакомлюсь с человеком, всегда жду, что он скажет. Скажет «дайте ваш портрет» или «дайте вашу ленту» или еще что-нибудь или сам сейчас же принесет что-нибудь... Ну, хоть старинную монету. Первые — эгоисты, но зато интереснее. Вторые — все отдадут, раскроются — и дальше неинтересно [...]

[1] Провансальские белые хлебцы.

21 октября

В сумерки И. А. вошел ко мне и дал свои «Окаянные дни». Как тяжел этот дневник! Как ни будь он прав — тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства времени. Кротко сказала что-то по этому поводу — рассердился! Я виновата, конечно. Он это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал это — я же была во время всего этого девчонкой, и мой ужас и ненависть тех дней исчезли, сменились глубокой печалью.

22 октября

Разговор с И. А. у него в кабинете. В окнах красная горная заря, мохнатые лиловые тучи. Он ходит по комнате, смотря под ноги, и говорит об «Арсеньеве»:

— Сегодня весь день напряженно думал... В сотый раз говорю — дальше писать нельзя! Жизнь человеческую написать нельзя! Если бы передохнуть год, два, может быть и смог бы продолжать... а так... нет. Или в четвертую книгу, схематично, вместить всю остальную жизнь. Первые семнадцать лет — три книги, потом сорок лет — в одной — неравномерно... Знаю. Да что делать?

Как давно уже он мучается этим! Уже перед третьей книгой говорил то же. А теперь уж и не знаю, что будет. [...]

8 декабря

Читали вслух новую книгу Морана «Париж-Томбукту». И. А. в конце концов, прочтя страниц пятьдесят:

— И это все, что он мог сказать об Анатоле Франсе? И зачем он вообще пишет о таких пустяках? А еще талантливый! «У меня болит живот», «А если соединить козу со свиньей, то получится то-то», «А негры с женами поступают так-то»... Все это оттого, что он опустошенный. И вообще, до чего пала современная литература! Ведь это знаменитость на всю Европу! Подумайте! И все-таки он лучше вашего Моруа! Это хоть настоящее художество (хотя и фельетон). А там микроскоп и искусственность...

20 декабря

Прочли в газетах о трагической смерти критика Айхенвальда. И. А. расстроился так, как редко я видела. Весь как-то ослабел, лег, стал говорить: — «Вот и последний... Для кого теперь писать? Младое незнакомое племя... что мне с ним? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким. Я с ним знаком с 25 лет. Он написал мне когда-то первый... Ах, как страшна жизнь!»

28 декабря

Зашла перед обедом в кабинет. И. А. лежит и читает статью Полнера о дневниках С. А. Толстой. Прочел мне кое-какие выписки (о ревности С. А., о том, что она ревновала ко всему: к книгам, к народу, к прошлому, к будущему, к московским дамам, к той женщине, которую Толстой когда-то еще непременно должен был встретить), потом отложил книгу и стал восхищаться:

— Нет, это отлично! Надо непременно воспользоваться этим, как литературным материалом... «К народу, к прошлому, к будущему...» Замечательно! И как хорошо сказано, что она была «промокаема для всяких неприятностей!»

А немного погодя:

— И вообще нет ничего лучше дневника. Как ни описывают Софью Андреевну, в дневнике лучше видно. Тут жизнь, как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня! Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано... Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов... Жизнь — это вот когда какая-то там муть за Арбатом, вечереет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши... Да, что! Вот так бы и написать...

Потом о «Дыме», который читал по-французски:

— Нет, что-то плохо. Фамилии ненатуральные... Вот г-жа Суханчикова — к чему он заранее над ней издевается? Это как у Фонвизина: Правдин, Стародум, Милон... Поручик Стебельков какой-то!..

12 января [1929]

Сквозь сон все видела отрывки «Жизни Арсеньева» и все хотела сказать, что то место, где Арсеньев сидит у окна и пишет стихи на учебнике,— нечто особенное, тонкое, очаровательное. Потом проснулась и, лежа в постели, не решаясь по обыкновению встать от холода в комнате и сознания общего неуюта, додумывала то, что вчера говорила И. А. и что он просил записать.

Мы говорили о рецензиях на «Жизнь Арсеньева» и в частности о рецензии Вейдле, написавшего, что это произведение есть какой-то восторженный гимн жизни, красоте мира, самому себе, и сравнившему его с одой. Это очень правильно. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, поразившая меня.

Сейчас, когда все вокруг стонут о душевном оскудении эмиграции и не без оснований — горе, невзгоды, ряд смертей, все это оказало на нас действие — в то время, как прочие писатели пишут или нечто жалобно-кислое или экклезиастическое или просто похоронное, как почти все поэты; среди нужды, лишений, одиночества, лишенный родины и всего, что с ней связано, «фанатик», или, как его назвали большевики, «Великий инквизитор» Бунин, вдохновенно славит Творца, небо и землю, породивших его и давших ему видеть гораздо больше несчастий, унижений и горя, чем упоений и радостей. И еще когда? Во время, для себя тяжелое не только в общем, но и в личном, отдельном смысле... Да это настоящее чудо, и никто этого чуда не видит, не понимает! Каким же, значит, великим даром душевного и телесного (несмотря ни на что) здоровья одарил его Господь!..

Я с жаром высказала ему все это. У него были на глазах слезы.

5 мая, Католическая Пасха

Как-то скучно. Праздника в доме нет по обыкновению, хотя завтрак улучшен, на сладкое сбитые сливки, пирожные. И. А. капризничает больше, чем вчера, сердится на всех, раздражен беспрестанно. Илюша смотрит на это с обычной улыбкой, приговаривая время от времени: «Это и есть Империя!»

12 мая

Вчера за обедом Илья Исидорович рассказывал о том, что, читая два года об Империи, он только в последние дни почувствовал ее, стал представлять ее себе:

— Каждую вещь представляешь себе как-то издали. Империю я представляю себе, как какой-то ассирийский храм, величественный и мрачный. Люди сгибались от тяжести этого храма. Они любили царя, поклонялись ему, видели в нем отца, но на устах у них даже в праздники не было улыбки.

И. А.— Это зависит от свойств русского человека. Никто так тяжело не переносит праздник, как русский человек. Я много писал об этом И все остальное проистекает отсюда. В русском человеке все еще живет Азия, китайщина... Посмотрите на купца, когда он идет в праздник. Щеки ему подпирает невидимый охабень. Он еще в негнущихся ризах. И царь над этим народом под стать ему, и в конечном счете великомученик. Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой, радостной религии... ложь, ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги... А стояние по восемь часов, а ночные службы... Нет, не говорите мне о «светлой» милосердной нашей религии... Да мы и теперь недалеко от этого ушли. Тот же

наш Карташев [1], будь он иереем — жесток был бы! Был бы пастырем, но суровым, грозным... А Бердяев! Так бы лют был... Нет, уж какая тут милостивость. Самая лютая Азия. [...]

31 мая

Встретили на площади внизу процессию. Мальчики и девочки — причастницы несли на плечах грубую вызолоченную статую Мадонны и пели. Девочки в длинных белых покрывалах с большими свечами, убраными ветками лилий, шли слегка покачиваясь, с чем-то уже женским в походке. На них смотрела толпа. Мы тоже подошли и долго смотрели молча, с стесненным сердцем, пока они прошли, распевая свое Ave Maria.

— Только у нас этого нет! — сказал И. А.— Ничего у нас нет! Несчастная страна!

28 июня

Вдруг вспомнила один случай с И. А., вернее один его разговор со мной: Я читала о Николае I и о телесных наказаниях, о шпицрутенах. Дойдя до описания экзекуций, кончавшихся, как известно, по большей части смертью, и затем до ответа Николая одному из министров: «Я не могу его казнить. Разве вы не знаете, что в России нет смертной казни? Дать ему двести шпицрутенов» (что равносильно смерти) — я не могла удержаться от слез и, выйдя затем в коридор, говорила об этом с негодованием В. Н. и Илье Исидоровичу. И. А., услышав мои слова, позвал меня к себе в спальню, запер двери и, понизив голос, стал говорить, что понимает мои чувства, что они прекрасны, что он сам так же болел этим, как я, но что я не должна никому высказывать их.

— Все это так, все это так,— говорил он,— я сорок лет болел этим до революции и теперь десять лет болею зверствами революции. Я всю жизнь страдал сначала одним, потом другим... Но не надо говорить о том... не надо...

Так как у меня все еще текли слезы, он гладил меня по голове, продолжая говорить почти шепотом:

— Я сам страдал этим... Но не время...

7 июля

Вчера И. А. весь день писал, а я читала в саду Пруста. Совершенно погрузилась в это чтение.

Вчера, кажется, И. А. говорил мне, как надо было бы писать дневник: — Надо, кроме наблюдений о жизни, записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихи... Такой дневник есть нечто вечное. Да вот даже то, что делает Вера, записи разговоров знакомых гораздо важнее для нее, чем все ее попытки описывать Овсянико-Куликовского. Да разве она меня слушает?

Вчера было письмо от Илюши очень хорошее. От него опять повеяло на весь дом умиротвореньем. Ходили вдвоем с В. Н. гулять наверх, говорили о нем, и потом был интересный разговор по поводу Пруста. Я часто вообще думаю о ней. Есть одна В. Н., милая, сердечная, добрая, с которой приятно быть и разговаривать, и есть другая — которая воспламеняется из-за всякого пустяка и с которой быть, особенно человеку нервному, физически тяжело. Но как вызывать первую и успокаивать вторую — никто не знает, кроме Илюши, пожалуй, да и то потому, что он стоит на очень отвлеченной позиции и совершенно не зависит от нее.

[1] Проф. Богословской Академии в Париже А. В. Карташев.

11 июля

Вчера В. Н. опять ездила к Гиппиус, а мы работали. Написана новая очень интересная глава: вхождение молодого Арсеньева в революционную среду и описание этой среды, блестяще-беспощадное. С этих пор «Жизнь Арсеньева» собственно перестает быть романом одной жизни, «интимной» повестью, и делается картиной жизни России вообще, расширяется до пределов картины национальной. За завтраком И. А. прочел нам эту главу вслух. Мы говорили о том, что скажет Вишняк и даже Илюша. Во всяком случае, это блестяще и во многом вполне верно. Замечательно как изменились с тех пор русские люди. Наше поколенье (вспоминаю Киев, войну, университет в Праге) занималось другим. Конечно, пелись еще при случае те песни, но неуверенно и вообще потерявши для нас всякий прежний смысл. А в Праге уже больше занимались спортом да учением, если не романами. «О народе» никто никогда не думал, и «революционной среды» никакой не было. Мне все больше хочется написать роман нашего поколения.

25 июля

Вчера, возвратясь после купанья, застали у себя Неклюдова [1]. Остался обедать, и был интересный разговор. За год он очень подался. Уши совсем мертвенные, страшны также руки, да и в лице есть что-то отчужденно-умоляющее. Но в остальном все так же разговорчив, мил, весел, легок и прост, как в прошлом году. Разговор, однако, беспрестанно возвращается к смерти, отчасти, впрочем, потому, что И. А. несколько раз принимался расспрашивать, как он себя чувствует, замечает ли, что стареет; правда, все это под видом шутки. Он отвечал, что в этом году что-то в нем пошло на схождение, что началось это с того, что он зацепился где-то на площадке за дужку крокета и упал, разбил губу; потом в день собственного рождения должен был идти на похороны брата и уронил часы. Они остановились на 8-м часе его рождения. «А главное, я начинаю чувствовать, что устал...» Потом разговор пошел не такой печальный. Как всегда, он легко перешел к рассказам о разных случаях из жизни высокопоставленных особ, потом, направляемый расспросами И. А., заговорил о положении России (я видела, что И. А. интересуется этим для проверки себя, для «Арсеньева»).

— Россия была испорчена литературой,— говорил он.— Ведь все общество жило ею и ничего другого не желало видеть. Ведь даже погода в России должна была быть всегда дурной, по мнению писателей. Я как-то указал кому-то, что у Щедрина во всех его сочинениях ни разу нет солнечного дня, а все: «моросил дождик», да хмуро, да мерзко. И что же? Так и оказалось. Просмотрели всего Щедрина — так и оказалось!

— Совершенно правильно! Совершенно правильно! — горячо воскликнул И. А.— А всякие Шеллеры-Михайловы? А Щедрин? Ведь это в сущности сплошной фельетон и оборотная сторона «Нового времени»...

— В России страшно разлагалось низшее сословие. Я замечал это каждые два года, когда приезжал из-за границы. В семидесятых годах мужики еще были отличные. Крепостное право они и не вспоминали — им его напоминили позднее, искусственно. В восьмидесятых годах было уже много хуже, а в девяностых — совсем никуда. Главное, три четверти пили. Все пропивали. Помню, приехал я в Тверь, вечером страшно было смотреть, что делалось! Все эти телеги скакали домой, и все было полно бабами и мужиками — пьяными. Ужасно пили.

— Но ведь Россия шла к необычайному расцвету в царствование Александра III и в последнее царствование,— говорил И. А.

— Да, да...— соглашался Неклюдов,— и ведь в 1911 году государь мне лично сказал: помните, Неклюдов, войны у нас не может быть до 1918 года.

[1] А. В. Неклюдов — бывший русский посол в Мадриде.

Это он мне сказал лично, а уже было ясно — мы в это время изо всех сил старались завязать дружественные отношения между Болгарией и Сербией — что они соединятся и пойдут против турок... И к чему была нам эта Сербия! Один романтизм и больше ничего. [...]

1 августа

Вчера кончена 4-я книга «Арсеньева». Кончив ее, И. А. позвал меня, дал мне прочесть заключительные главы, и потом мы, сидя в саду, разбирали их.

Мне кажется, это самое значительное из всего того, что он написал. Как я была счастлива тем, что ему пригодились мои подробные записи о нашем посещении виллы Тенар! [1]

После окончания он как-то ослабел, как всегда, и вдруг сказал:

— Вот кончил и вдруг нашел на меня страх смерти...

Теперь вопрос: что запоет редакция Современных записок и, главное, Вишняк, получив описание Вел. князя Ник. Ник. в гробу?

14 ноября

Вчера, кажется, что-то поняла в Мережковских. Мы сами наивны, когда удивляемся, что они не чувствуют высокой красоты «Арсеньева». Или этот род искусства просто чужд им и оттого никак не воспринимается ими или даже воспринимается отрицательно.

Был разговор по поводу Сологуба, о котором кратко, но весьма для него невыгодно написал И. А. в прошлом фельетоне. Защищая род искусства, в котором действовал Сологуб, Мережковский сказал:

— Вы можете любить или не любить, но вы должны признавать, что, кроме вашего искусства, натуралистического, есть и другой род. В нем действуют не действительные фигуры, а символы, что может быть даже и выше первого. Для вас «манекены»? Но ведь и Дон Кихот манекен! А у Ибсена нет ни одного живого лица. А весь Гоголь такие манекены. Но я не отдам одного такого гоголевского манекена из «Мертвых душ» за всего вашего Толстого! А Гамлет? Разве живое лицо?

Зинаида Николаевна была мила, насколько это возможно для нее. За столом вскрикивала как капризная девочка, любимица в доме, приставляла лорнет к глазам и тянула: «Что это там? Володя! Дайте же мне этого... Налейте же мне белого...» или вдруг кричала, требуя, чтобы угощали чем-нибудь И. А.: «Дайте же ему салата! А вот это что? Акрида (креветка в майонезе)? Как ее есть? Кто хочет взять у меня акриду?..»

Подавала за столом молодая кухарка, которой особенно хвалилась З. Н. в пригласительной записочке, обещая, что их «молодая ведьма обещает приготовить майонез, филе из молодого барашка, салат и яблочную тарту...». Приготовлено все это было действительно очень тонко; ведьма же оказалась очень недурной женщиной с красивым левым профилем — правый испорчен,— одетой, как барышня. Мережковский сказал по поводу нее целую речь за столом, указывая на ее «профиль молодой римлянки», на тему о том, как тонки могут быть чувства, возбуждаемые такой молодой красивой женщиной в человеке пожилом и старом.

— Все воображение? Но ведь это куда тоньше того пожиранья, которое подобно тому, что вы съедите это филе молодого барашка. Недаром в Библии сказано, что если ты посмотрел с вожделением на женщину, ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Остальное грубо и в сущности неважно. Если ты хочешь иметь детей, основать брак — это совсем другое. Но наслаждение воображением — это самое тонкое, очаровательное. Самые глубокие, пленительные, настоящие страсти бывают только в детстве и в старости. Остальное — ерунда.

Гиппиус дала мне прочесть рассказ Сологуба «Жало смерти», с тем чтобы показать его значительность и пронзительность. Рассказ этот мы читали вслух вечером. Если даже допустить, что «два отрока» — символы двух душ, то сделано это все так, что действует отрицательно. Одна В. Н. утверждала, что «если это символы, то в этом что-то есть», но слабо и, должно быть, больше из желания быть «беспристрастной».

[1] Вилла Вел. князя Николая Николаевича.

Приятен у Мережковских некий эстетизм и вообще другой тон жизни. Меня мучит наша жизнь «спустя рукава». Но могу исправлять это в очень малой степени, да и то почти только у себя.

Возвращаться было утомительно в поезде с темнотой за окнами. В. Н., не умолкая, говорила, как всегда в возбуждении усталости.

26 ноября

...Вечером И. А. читал вслух Шмелева («Въезд в Париж»), показывая все неточности, ошибки, нагромождения. После этого чтения З.[1] говорил у нас наверху: «Я до сих пор не читал Шмелева так, как сегодня. Этот рассказ я читал в «Современных записках», и он мне нравился. А теперь я увидел...»

Перед И. А. он, видимо, в непрестанном восхищении. В. Н. ходила с ним гулять и расспрашивала его. Он ей нравится. Ходит он сейчас в замашной полотняной рубахе, похож на гимназиста. Глаза у него зеленые, узкие.

30 декабря

Вчера сделали большую прогулку мимо пустого сдающегося поместья и кругом вдоль кладбища в Грасс. Был какой-то северный закат. Оливковая роща, сплошь темная, была косо освещена унылым болезненным светом, в котором было много малинового. Свет этот, освещая целый угол рощи, левее поднимался и шел только по верхушкам, постепенно уменьшаясь и отдельными мазками трогая то одну, то другую вершину. И. А. как всегда не хотел идти мимо кладбища, кричал на меня за то, что я хотела заглянуть в него. З. зашагал вперед и, встав на камень у стены, все-таки заглянул. Это обычное французское кладбище с безобразными склепами и черными венками. Есть один очень красивый тонкий кипарис, остальные обыкновенные, плотные.

После обеда И. А. читал Сирина. Просмотрели писателя! Пишет лет 10, и ни здешняя критика, ни публика его не знает...

4 июня [1930]

И. А. читает дневники Блока, как обычно внимательно, с карандашом. Говорит, что мнение его о Блоке-человеке сильно повысилось. Для примера читает выдержки, большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. «Нет, он был не чета другим. Он многое понимал... И начало в нем было здоровое...» [...]

17 июня

Вчера ездили в Канны, и И. А. неожиданно захотел выкупаться, что и сделал, удивив меня своей отважностью. Еще никто не купается, и сам он обычно начинает не раньше половины июля. На обратном пути в автобусе он говорил, что «выдумал для меня весь мой роман». Что писать его надо несвязанными кусками, назвав каждый кусок отдельно, и что нужно это для того, чтобы было легче отношение к этим кускам, так как, по его мнению, меня «губит серьезность». «Надо относиться к своему писанию полегкомысленней» — часто повторяет он мне последнее время. Он очень прав, чувствую это, верю, понимаю, на минуту как будто загораюсь... но потом все исчезает при малейшей потуге на что-либо. Чувствую себя в этом году равнодушно-вяло...

...Вчера после обеда Илюша попросил у И. А. разрешения поговорить с ним «о делах» и, удалившись с ним в кабинет, сказал ему о том проекте ка-

[1] Л. Ф. Зуров, писатель (ред.).

сательно предоставления нам Бельведера на весь год, о котором у нас с ним шла речь еще на пикнике. Затем предложил ему издание книги рассказов, на что И. А. согласился при условии — 3 тыс. авансу, которые должны пойти на уплату виллы зимой. Впрочем, и это не мед. Книги И. А. не дают никакого дохода. За «Арсеньева» он получил 1000 франков, т. е. меньше чем Рощин за книгу рассказов, изданную в Белграде (1800). Денег нам хронически не хватает. Получается в месяц 2500 ф., а жизнь стоит больше трех, не считая квартиры, за нее уплачено деньгами с вечера И. А. [...]

Мы уже сегодня говорили с И. А., что делать? Работать надо, а как? Живя в Грассе, трудно доставать русские новинки. Когда мы все четверо посылаем в одну газету — трудно надеяться на общий успех. Да и вообще не нужны мы им, да и не умеем, откровенно говоря, угнаться за моментом, а для газеты только это и интересно. И все Илюшины посулы и искушенья — мираж, хотя не могу отказать ему во внимании и в известной заботе обо мне.

25 июня

Алданов приехал вчера днем. Около семи часов он с В. Н., ходившей его встречать, появился в нашем саду. Под мышкой у него была большая коробка конфет для Амалии (это был день ее рожденья, и все мы шли затем к ним на обед). Вышел И. А.— через минуту они сидели в столовой. Алданову, конечно, дали кресло. Он показался мне утомленным, лицо больше расплылось, и виски чуть поседели. С первых же слов заговорил об этом своем утомлении, и о седых висках, и о своей наследственности. И. А. его успокаивал, подшучивал над ним. Он же был как-то устало-мил, хвалил наши платья, был ровно-грустен.

Пошли к Фондаминским. Илья Ис. встретил нас подле Парк-Отеля. Нас уже давно ждали. Амалия вышла в сад в черном тюлевом платье, любезная, улыбающаяся. Мы все поздоровались, поздравили ее. В столовой тотчас сели за стол: хозяева по концам, друг против друга, с одной стороны И. А. и я, с другой — Алданов, В. Н. и З. между ними.

Знаменитый обед, который готовили три кухарки, включая нашу Камий, начался довольно принужденно. Алданов был устало-грустен. И. А. его поддразнивал так, что тот даже в конце концов кротко пожаловался на это. Потом постепенно разошлись. Разговор шел о продолжении «Ключа», романа, который Алданов сначала хотел назвать «Рабы на конях», а назвал «Бегство», потом об «исторической сцене примирения Мережковских с Вишняком», потом о Некрасове и многом другом.

Меню: бульон с волованами, форели, куры с разными салатами, земляника и клубника со сливками, персики, абрикосы, сыр и кофе, после чего перешли в соседнюю комнату, где И. А. тотчас лег на диван. Говорили о писательском быте, жаловались на ссоры и раздоры между всеми. «А у нотариусов не то же ли самое?» — говорил свое любимое И. А. «Нет, не то, Иван Алексеевич,— отвечал Алданов.— Ни у нотариусов, ни у почтовых чиновников, ни у офицеров, ни у обывателей. Это привилегия писателей».

Потом говорили о доброте и недоброте. Алданов сказал, что не встречал людей таких, как Илья Исидорович, по доброжелательному отношению к людям. «И. А. добрее, как ни странно»,— сказала В. Н. Алданов покачал головой: «И. А. замечательный человек, удивительный писатель, но нельзя сказать, что «доброта его душит», как говорят французы. «Жизнь Арсеньева» его самое доброе произведение. А посмотрите все другие? Да и «Арсеньев» добр только относительно».

Хозяева провожали нас домой. Амалия всю дорогу рассказывала о Степунах, особенно о Наталье Николаевне, о ее изумительной женственности и хозяйственности. [...]

5 июля

Вчера ездили с И. А. купаться. В автобу встретились с Марком Александровичем, отправлявшимся в Жюан-ле-Пэн уговариваться с Винтерфельдом.

Жена его приезжает на днях и им нужны комнаты. М. А. уже слегка раскис от жары, особенно если принять во внимание, что ходит он в темном суконном пиджаке и фетровой шляпе.

Сели в автобусе все на одну скамейку и всю дорогу разговаривали. И. А. в хорошем настроении. В Каннах разделились, условившись встретиться потом в кафе под платанами. За время отсутствия Алданова мы с И. А. успели зайти в английский магазин, переменить оказавшиеся негодными белые брюки на красную шерстяную рубашку, которые теперь модны, потом выкупались и напились у Рора чаю. Под платанами же тотчас увидели Мережковского, быстро, бочком пробиравшегося с видом похудевшего таракана — усы у него торчали. Увидев нас, подошел, стал здороваться, воскликнул, хлопая И. А. по спине:

— Отлично в красном! В профиль совсем римский прокуратор! Вас бы на медаль выбить, на монету...

Вскоре подошел Алданов, а затем и Зинаида Николаевна в таком же огненного цвета платье, как рубашка И. А. и какой-то целлулоидового вида панаме с пестрой лентой. Начались восклицания, разговоры. Но просидели мы вместе недолго, надо было спешить на автобус — Марк Александрович у нас обедал.

Винтерфельд дал ему две комнаты с пансионом по 45 фр. Алданов недавно выкупался и говорил, что юг его почти вылечил от хандры и что И. А. во всем прав — «человек создан для юга». Для него здесь большое удовольствие прогулки в автобусах, чего разделить, однако, с ним не могу. Впрочем, мы этим всем объелись, да и разные бывают автобусы, на некоторых рыдванах закачивает довольно противно, в то время как на море мне все нипочем.

8 июля

После обеда в кабинет И. А. внесены были полотняные кресла, все уселись. И. А. лег на постель, и чтение началось. Читал И. А. около часу. Основную идею его можно в нескольких словах пересказать так: Империя в России зиждилась на религиозном основании. Царь был Бог на земле и все подданные его рабами. Но состояние рабства самая ужасная вещь на земле. Поэтому едва родилось сознание себя человеком, личностью, состояние рабства — невыносимо. «Орден» и принялся за работу пробуждения этого сознания в толпе бессловесных, почти восточных рабов, но недостаточно успел в этом: на свободу с революцией вырвались рабы, и получился «бунт рабов».

Когда начались обсуждения, И. А. сказал, что написано очень хорошо, что все, что касается первой части, т. е. религиозного отношения к монарху, очень правильно. Разрушаться это отношение началось ко времени 1-й революции, и он сам слышал после японской войны, как мужик обозвал царя по-матерному.

Почти все время молчавший Алданов на вопрос, что он скажет, ответил, что у него очень много возражений.

— Я вперед знаю, что скажет Марк Александрович,— сказал Илюша,— он находит, что монархия у меня очень стилизована, что происходило все это много проще...

— Не совсем, но грубо говоря, так. Монархия, действительно, у вас «стилизована», и вы сами знаете, что происходило все это много проще. Прежде всего я не согласен с вами в том, что народ так уж любил некоторых монархов и что они были верующими... например, Екатерина. А что делал Петр I? Не будем говорить здесь об этом, но ведь вы знаете, что он делал...

— Но ведь провалы свойственны русскому народу,— вмешался И. А.— Он молится, а потом может так запалить в своего бога... как это свойственно всем дикарям, когда бог не исполняет их желаний. Но это не мешает ему потом опять поставить его перед собой, намазать ему губы салом, кланяться...

— Да я же и говорю,— Петр был первым комсомольцем,— спокойно сказал Алданов.— А больше всего я против того, что Илья Исидорович хочет вывести из этого. Он напирает на то, что вот, мол, есть Запад и есть Азия, т. е. Россия. На Западе все было по-иному, по-светлому, а у нас было рабство, дикость. Поэтому народу, собственно, и потребно такое правительство, какое сей-

час оно имеет, т. е. большевистское. Он, собственно, говорит то, что говорят о нас иностранцы, что сказал Эррио, например: «Для такого рабского народа — так и надо». А между тем на Западе было то же самое. Разве какой-нибудь Людовик не считал себя Богом? «Раб твой», подписываемое на челобитных, является простой формой вежливости. Я не согласен с тем сусанинским пафосом, который вы придаете всему этому...

— Марк Александрович, я ведь беру главное! Между Западом и нами все-таки было различие... Различие в оттенках...

— Нет, нет, самое ужасное, что вы роете этот ров между Западом и нами — «Азией». Все шло таким быстрым темпом последние несколько десятилетий, что удержись мы после войны — мы бы догнали Европу. Мы не Азия, а только запоздавшая Европа...

— Правда, правда, М. А.— закричал И. А.— И революцию можно было предотвратить...

— А по поводу любви народа к монархам, вспомните еще, что Л. Н. Толстой писал в письме к Николаю II: «Вы думаете, что народ Вас любит, Вы увидите, что никто не пошевельнет пальцем для Вашего спасения». И это оправдалось.

Потом, прощаясь, когда все вышли в сад, я спросила Илюшу, не смущают ли его возражения и считает ли он их правильными.

— Я проверил себя, Г. Н.,— ответил он.— Я работаю над этим уже 10 лет и могу сказать, что умру, веря в то, что пишу. Я знаю, как мне будут возражать. Но это нисколько не колеблет моего убеждения. Я хочу, кроме того, показать, что монархия в России была трагедией...

3 августа

Возвращаясь вечером с купанья, заметили внизу нашей горы чей-то великолепный темно-синий автомобиль. И. А. пошутил, что это, должно быть, какой-нибудь американский издатель, приехавший к нему, а когда мы вошли в калитку дачи, навстречу нам с кресла под пальмой поднялась высокая мужская фигура, а за ней что-то голубое. И. А. ждал Рахманинова с дочерью (Таней), приехавших на несколько дней в Канны.

Сели, заговорили. У Тани оказался с собой американский аппарат, маленький синема, который она наводила поочередно на всех нас. Одеты оба были с той дорогой очевидностью богатства, которая доступна очень немногим. Рахманинов еще раз поразил меня сходством в лице (особенно где-то вокруг глаз) с Керенским. Галстук, костюм, шляпа, кожа рук — все у него было чистейшее, особенно вымытое, выдающееся.

Разговор вертелся вокруг Шаляпина и его сына, живущего сейчас тоже на Ривьере, и предполагаемой постановки в кино Бориса Годунова, сценарий к которому «развивает» с пушкинского «Бориса» Мережковский. Через двадцать минут они поднялись, говоря, что им пора ехать домой обедать. Мы сначала неуверенно, а потом видя, что они готовы согласиться, с большей силой стали предлагать остаться на обед. После недолгих уговоров они остались.

Тотчас же были «мобилизованы» все съестные припасы в доме. Камий послали вниз за ветчиной и яйцами, я побежала за десертом, и через полчаса мы все уже сидели за столом. Р. попросил завесить лампу, жалуясь на то, что его глаза не выносят сильного света, и с его стороны был спущен с абажура кусок шелка.

Разговор был разбитый и малозначительный. Р., между прочим, все настаивал на том, что И. А. должен непременно написать книгу о Чехове, перед которым он сам, видимо, преклонялся. Был любезен, прост, интересовался тем, что пишет Зуров, что я, как и кто работает и вообще как мы живем. Остановились они в Каннах, в Гранд Отеле. У него какие-то дела с Борисом Григорьевым, очевидно тот будет писать его портрет. Видно, что он очень любит дочь, это было особенно заметно по его рассказу о ее падении с лошади в Рамбуйе, где у них вилла.

Они уехали часов в десять, предположительно решив встретиться с нами на другой день в Каннах.

Во время обеда я часто смотрела на него и на И. А. и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи — сравнивая также и их судьбу. Да, похожи, но И. А. весь суше, изящнее, легче, меньше, и кожа у него тоньше и черты лица правильнее.

5 августа

Вчера обедали на песке под лодкой с Алдановым и Рахманиновыми. Был настоящий песчаный смерч, так что нам ничего не оставалось, как забраться в это сравнительно тихое место и расположиться там. «Босяцкий обед», по выражению И. А., вышел оригинальным. Котлеты, помидоры, сыр и фрукты были с песком, и на всех было только четыре стакана. Рахманиновы подъехали тогда, когда все было разложено; у них были с собой бутерброды с ветчиной и бутылка Виши. И. А. представил Алданова и Рахманинова друг другу. У Алданова был особенно небрежный костюм: брюки и рубашка сидели кое-как, волосы висели. У него только что уехала в Париж жена, и он был немного грустен.

Рахманинов был с ним исключительно любезен, даже пригласил к концу вечера его к себе в Рамбуйе гостить, уверяя, что ему там будет очень удобно тихо писать, так как он сам очень много работает.

На другой день все мы были приглашены к Алданову в Juan les Pins завтракать. (На прощанье он успел шепнуть мне: «привезите непременно фотографический аппарат, не забудете?»).

Без числа

Сначала мы выкупались на маленьком пляже — вода была прозрачна, чиста, прелестна — потом пошли по направлению к вилле Алданова. Рахманиновы нас догнали на автомобиле. В. Н. и И. А. сели к ним, а Таня вышла к нам, и мы пошли, не торопясь, пешком.

У Алданова в салоне ждал нас накрытый круглый стол, уже заставленный закусками. Сели: с одной стороны И. А., Алданов и Рахманинов, с другой — я, Л., Таня и В. Н., завершая круг, рядом с Рахманиновым. В полуоткрытые двери приятно дул ветерок. Из уважения к «знаменитостям» нас отделили от прочих пансионеров, обедавших в соседней комнате. Рахманинов был очень мил, любезен, весел, поминутно обращался к нам, передавая то одно, то другое, сам заговаривал, помогал В. Н. раскладывать с общего блюда рыбу, курицу.

После жаркого нам подали десерт и кофе, закрыли двери и оставили нас одних. Рахманинов, мало пивший и евший очень умеренно, позволивший себе только лишнюю чашку кофе, стал рассказывать о своем визите к Толстому. Говорил он еле слышным голосом, почти шепотом, с придыханиями, произнося «р» вместо «л».

— Это неприятное воспоминание... Было это в 1900 году. Толстому сказали, что вот, мол, есть такой молодой человек, бросил работать, три года пьет, отчаялся в себе, а талантлив, надо поддержать... Играл я Бетховена, есть такая вещица с лейтмотивом, в котором выражается грусть молодых влюбленных, которых разлучают. Кончил, все вокруг в восторге, но хлопать боятся, смотрят, как Толстой? А он сидит в сторонке, руки сложил сурово и молчит. И все притихли, видят — ему не нравится... Ну, я, понятно, от него стал бегать. Но в конце вечера вижу: старик идет прямо на меня. «Вы, говорит, простите, что я вам должен сказать: нехорошо то, что вы играли». Я ему: «Да ведь это не мое, а Бетховен», а он: «Ну и что же, что Бетховен? Все равно нехорошо. Вы на меня не обиделись?» Тут я ему ответил дерзостью: «Как же я могу обижаться, если Бетховен может оказаться плохим?..»

Ну и сбежал. Меня туда потом приглашали, и Софья Андреевна потом звала, а я не пошел. До тех пор мечтал о Толстом, как о счастье, а тут все как рукой сняло! И не тем он меня поразил, что Бетховен ему не понра-

вился или что я играл плохо, а тем, что он, такой, как он был, мог обойтись с молодым начинающим, впавшим в отчаяние, которого привели к нему для утешения, так жестоко! И не пошел. Утешил меня потом только Чехов, сказавший по-врачебному:

— Да у него, может быть, желудок в тот день не подействовал — вот и все. А пришли бы в другой раз — было бы иначе.

Теперь бы побежал к нему, да некуда...

— Вот, Сергей Васильевич, этим последним вы себе приговор изрекли! — сказал И. А.— С начинающими, молодыми, жестокость необходима. Выживет — значит годен, если нет — туда и дорога.

— Нет, И. А., я с вами совершенно несогласен,— сказал Рахманинов.— Если ко мне придет молодой человек и будет спрашивать моего совета, да еще не в моем, а в чужом искусстве, и я буду видеть, что мое мнение для него важно — я лучше солгу, но не позволю себе быть бесчеловечным.

Поднялся спор. И. А. защищал Толстого, говорил, что он думает о нем «давно, лет сорок пять» и что нельзя судить его по нашим обычным меркам, что музыку он понимал, если, умирая, мог сказать: «Единственное, чего жаль — так это музыки!» Рахманинов, напротив, утверждал, что музыку он понимал плохо, что в Крейцеровой сонате, например, нет того, что он в ней находит, а что сам он Крейцерову сонату не любит и никогда не играет.

В конце разговора он спросил меня: «а вы работаете?» Я сказала, что сейчас нет, что у нас «каникулы», что у меня сравнительно недавно вышла книга. «Как недавно? Это уже когда было! — воскликнул он.— Я ведь знаю, когда ваша книжка вышла. Надо работать каждый день!»

Между прочим, он рассказал, что за столом у Толстого он ему сказал: «Я в себе сомневаюсь, боюсь, что у меня таланта мало...» На это Толстой ответил: «Об этом никогда не надо думать. Это ничего. Вы думаете, у меня никогда не бывает сомнений? Наша работа вовсе не удовольствие... Просто работайте...»

Снимались в этот день бесчисленное количество раз. Рахманинов, между прочим, очень убеждал меня в том, что надо дать писать с себя портрет, если Сорин возобновит этот разговор. Его очень поддерживал Алданов.

Простились очень дружелюбно, хотя уже и в большой толпе, собравшейся в саду. Таня звала к себе в Париж. Рахманинов, задержав мою руку, сказал, прощаясь: «Ну, работайте же, работайте... Смотрите...»

4 сентября

Разговаривали в саду на дальней скамейке.

Заговорили о Катаеве, рассказ которого «Отец» читали в газете «Сегодня».

— Нет, все-таки какая-то в нем дикая смесь меня и Рощина. Потом такая масса утомительных подробностей! Прешь через них и ничего не понимаешь! Многого я так и не понял. Что он, например, делает с обрывками газеты у следователя? Конечно, это из его жизни.

— А разве он сидел в тюрьме?

— Думаю, да.

— Он красивый,— сказала В. Н.— Помнишь его в Одессе у нас на даче?

— Да, помню, как он первый раз пришел. Вошел ко мне на балкон, представился: «Я — Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь, подражаю вам». И так это смело, с почтительностью, но на границе дерзости. Ну, тетрадка, конечно. Потом, когда он стал большевиком, я ему такие вещи говорил, что он раз сказал: «Я только от вас могу выслушивать подобные вещи».

10 сентября

Встала раньше всех, села за стол. Пробовала писать. Все утро В. Н. и Р. готовили в кухне, пока мы, остальные, писали у себя. И. А. занят фельетоном, сосредоточен, поглощен, добр, когда приходит в себя.

Вечером сидим в кабинете у И. А.

— Бывает с вами, И. А.— говорю я,— чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко?

— Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражанья. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не подражал. Никогда во мне не было восхищенья ни перед кем, кроме только Толстого.

— И ты воображаешь, что это хорошо? — спросила В. Н.

— В вас есть какая-то неподвижность,— сказала я.

— Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-нибудь собачий хвост, бьющий по стулу...

И он показал рукой как, так талантливо, что мы все дружно рассмеялись.

1 октября

Завтракал Адамович. Сразу начался разговор с И. А. о Толстом и Достоевском. И. А., как всегда, говорил, что Достоевский не производит на него никакого впечатления. Он многое просто забывает, сколько бы ни перечитывал. Потом говорили о советской литературе.

Говорили о Катаеве, о некоторых других, но все как-то бегло. Между прочим, И. А. сказал, что ему кажется, что надо писать совсем маленькие сжатые рассказы в несколько строк и что, в сущности, у всех самых больших писателей есть только хорошие места, а между ними — вода.

— Да, но тогда будет как с питательными пилюлями, сказал Ад., а хочется чего-то больше. [...]

15 октября

Ездили с И. А. в Ниццу. Подъезжать к ней, да еще солнечным утром, всегда приятно — какое-то особенно голубое и глубокое подле нее море, на котором особенно прелестна белая стая чаек, почему-то всегда собирающихся в одном месте, довольно далеко от берега. В автобусе говорили об «Алешке Толстом» и о его Петре I. Мне книга, несмотря на какую-то беглость, дерзость и, как говорит И. А., лубочность, все же нравится. В первый раз я почувствовала дело Петра, которое прежде воспринимала каким-то головным образом. Нравится она и И. А., хотя он и осуждает лубочность и говорит, что Петра видит мало, зато прекрасен Меншиков и тонка и нежна прелестная Анна Монс. «Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси,— говорил он о А. Н. Толстом.— Он ведь сам глубоко русский человек, в нем все это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с той средой, в которой он в данное время находится. Вот писал он свой холопский 1918 год и на время писания был против этих генералов. У него такая натура».

...После завтрака пошли каждый по своим делам. Я ходила в библиотеку. На вопрос мой, что теперь больше всего читают и спрашивают, библиотекарша ответила:

— Конечно, бульварное. А потом книги, где нет революции. Так и просят: «только, пожалуйста, без революции!» Хотят отдохнуть на мирной жизни. Очень читают Корсака «Записки одного контролера». Очень хорошо идет.

Я спросила о Сирине.

— Берут, но немного. Труден. И потом, правда, что вот хотя бы «Машенька». Ехала, ехала и не доехала! Читатель таких концов не любит! [...]

23 октября

День рождения И. А. Шестьдесят лет. Совсем обыкновенный день, ни поздравлений, ни писем, даже меню обыкновенное.

В. Н. говорит, что в прежние годы он «с ума сходил перед днями своего

рожденья, часто уезжал куда-нибудь накануне, то в Петербург, то в Ефремов». На этот раз очень тих, очень сердечен был вчера вечером и сегодня все утро. Гуляли по саду. Очень теплый солнечный день. Он шутил с Р., гулял с нами всеми тремя перед завтраком, хотя даже и не переоделся, все в том же старом полосатом халате с растрепанными завязками. [...]

27 ноября

Вчера были на прощальном (они уезжают в Париж) завтраке у Мережковских. День был серый, тяжелый. Настроение у всех сумрачное, сам Мережковский был очень молчалив, мрачен, цвет лица у него пепельно-серый. Зинаида Николаевна в ярко-фиолетовом бархатном платье, дурно сшитом, но идущем к золотистому каштану ее волос, была в благосклонном расположении духа. Она старательно угощала крохотными нежными пирожками, говоря, что они так легки, что исчезают «à vol d'oiseau», и немилосердно теребила Володю, который у них и кушанье раскладывает, и убирает, и телеграммы отсылает.

После завтрака Дмитрий Серг. по обыкновению ушел отдыхать, Володя отправился заказывать билеты, а мы втроем остались с З. Н. Я рассматривала ее, лишний раз дивясь ее вычурным позам,— рука за голову, нога за ногу, голова далеко закинута, и сама она полулежит в кресле, с которого свисают фиолетовые углы платья, а ручки маленькие, хрупкие, и все она щурится или таращит глаза. На этот раз она была мила и старалась говорить откровеннее и понять нас. Говорила, что теперь нет ничего интересного для нее в молодых писателях, что все «Фельзены и Поплавские ее разочаровали». А «как расталкивают всех локтями! Вам, Галина Николаевна, за ними не угнаться...»

Потом говорила о Сирине. Он ей тоже не нравится. «В конце концов так путает, что не знаешь, правда или неправда, и сам он — он или не он... И так хочется чего-нибудь простого...»

Много было толков и об Илюше, речь которого напечатана в «Днях». Смысл ее таков, что Сов. Россия сейчас вовсе не слаба, не накануне краха, как думают многие, а напротив, очень сильна, и в ней, и только в ней одной страшная угроза войны с Западом, причем плацдармом должна служить Германия. Но бороться с ней он предлагает тем же отвлеченным литературным «разложением и уводом душ»... А как это сделать — опять не говорит. Об этом было много толков у нас вечером, когда мы все после обеда пошли в кабинет И. А., где он читал эту речь вслух.

2 декабря

Отослали с И. А. рукопись его книги «Божье древо». Зашли в церковь. В ней, пустой, гремел какими-то железными трубами орган.

Сидела у моря одна, пока И. А. ездил к Мережковским. Оно было желтовато-голубое, не очень красивое, но все-таки было хорошо дышать морским воздухом, смотреть на чаек, которых было особенно много в этот раз. Они белой толпой стояли на песке, быстро семенили по нем коралловыми ножками, временами их как бы сдувало ветром, и они белыми облаками отлетали.

Солнце зашло в мутный дымный газ неба, на котором стройно рисовались снасти стоявшей у мола одинокой яхты. Поверхность моря была серая, бугристая с прерывистым неприютным блеском по ней. И. А. шел и говорил, что у него бывает иногда страстная потребность увидеть северное море, что должно быть это во всех нас, русских, заложено.

— Да ведь, бывало, выйдешь из Босфора в Черное море — так сейчас и пошел ветер, и пошло валять, и труба начинает сипеть как-то по-особенному...

На обратном пути все говорил, что пора приниматься за «Арсеньева». Он сейчас после отправки книжки очень устал, как-то весь обмяк, но маленький отдых — и он опять может писать. Говорили и обо мне. Я сейчас с величайшим страхом, правда, чтобы это не прекратилось, пишу. Выплыла на какую-то вольную воду. Кажется, это длится несколько дней, но написаны две главы дальше. Последняя переработана трижды.

14 декабря

После завтрака ходили с И. А. ненадолго гулять наверх. Говорили о Муратове[1], которым И. А. после каждой новой статьи очень восхищается, об Ольге Жеребцовой у Алданова и Герцена. По-моему, у Герцена она хороша, но у Алданова видна совсем по-иному и вместе с эпохой попутно. Потом спросила, как И. А. писал «Деревню», с чего началось.

— Да так... захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в 4 дня. И на год бросил.

— А вторая часть?

— А это было уже через год. Простились мы с матерью — она была очень плоха, я был убит, и поехали мы в Москву почему-то в июне. Получались известия от брата, все более тяжелые. Я сел писать. И тут и получил известие о ее смерти. Ну, писал две недели и дописал...

18 декабря

На днях вечером сидели в кабинете И. А., и разговор зашел о Достоевском. И. А., который взялся перечитывать «Бесов», сказал:

— Ну, вот и опять в который раз решился перечитать, подошел с полной готовностью в душе: ну, как же мол это, весь свет восхищается, а я чего-то очевидно не доглядел... Ну, вот дошел до половины и опять то же самое! Чувствую, что меня дурачат, считают дураком... И нисколько не трогают! Бесконечные разговоры и каждую минуту «все в ожидании» и все между собой знакомы и вечно все собираются в одном месте и вечно одна и та же героиня... И это уже двести страниц, а никаких «бесов» нет... Нет, плохо! Раздражает!

— Что же ты хочешь сказать? — спросила В. Н.

— Хочу сказать, что, очевидно, ошибаюсь не я, а «мир», что мы имеем дело со случаем всеобщего массового гипноза. Но не только не смеют сказать, что король голый, но даже и себе не смеют сознаться в этом.

— Что же, вы хотите сказать, что Достоевский плохой писатель? — закричал З.

— Да, я хочу сказать, что Достоевский плохой писатель. И вы лучше послушайте меня. Я в этом деле кое-что понимаю...

— Да как же это так? Что он не любит описаний природы — так ему вовсе не до того, а что он так спешит, так это потому, что ему некогда было отделывать, вы же знаете, как он писал...

— А я утверждаю, что он иначе и не мог писать, и в свою меру отделывал так, что дальше уже нельзя... Вслушайтесь в то, что я говорю: все у него так закончено и отделано, что из этого кружева ни одного завитка не расплетешь... Иначе он и не мог писать.

З. вскакивает и начинает возмущенно опровергать. В. Н. говорит, что Достоевский объяснил ей многое и в самом И. А. и в жизни всего нашего дома. И. А. с необычайной силой стоит на своем и в доказательство приводит то, что сколько ни читал Достоевского, через год ничего не помнит.

Поднимается ужасный шум. Один Рощин не принимает в нем никакого участия и, опершись локтем на стол, рассматривает виньетку над каким-то романом в газете.

Спор, конечно, кончается ничем. Потом В. Н. и З. уходят наверх, а мы остаемся втроем.

— Ну, а вы какого мнения, капитан, о Достоевском? — спрашивает И. А. тем дурашливым тоном, который неизменно ведется между ним и Р.

[1] П. Муратов, искусствовед, переводчик, романист (ред.).

— А мне это без надобности... Пущай пишет...— в том же тоне баснт капитан.— Мне что? Пущай...

Мы смеемся.

20 декабря

Демидов прислал И. А. по поручению Милюкова статью журналиста Троцкого из Стокгольма о Нобелевских лауреатах. В конце этой статьи Троцкий пишет, что у лауреата этого года было два серьезных соперника: Мережковский и Бунин. Что «Жизнь Арсеньева» искали и не могли найти в переводе — она есть пока только на итальянском — и что самый вероятный кандидат на будущий год — Бунин, если только его выставят кандидатом до января будущего года.

И. А. читал это за завтраком вслух. Никто из нас этого не ждал, и поэтому все были как-то оглушены...

4 января 1931

Фондаминские приехали вчера, и вчера же вечером Илья Исидорович поднялся к нам.

Подали чай и необычно уселись в девять часов в столовой за чайным столом. И. И. пополнел, все так же весел, даже больше, чем обычно, что объясняется, я думаю, его успехами в Париже и тем, что он «освежился», сделав большое путешествие в Болгарию и Германию. Весь вечер рассказывал, а мы все жадно задавали ему вопросы. Прежде всего сказал, что шансы Бунина в Швеции очень велики и что в Париже к нему взрыв симпатии по этому поводу.

Потом говорил, что в Европе назревает война, что Германия и вообще все побежденные страны кипят как котел, что они полны злобой и жаждой воевать во что бы то ни стало, что Германия производит «очумелое, истерическое впечатление», что она делает все, чтобы убедить большевиков напасть на Польшу, обещая потом с своей стороны сделать то же самое; что Франция безумно боится войны — он был на каком-то важном заседании в Париже, где вход был строго по приглашениям и где выступал цвет Франции — что генералы дрожат и все границы укрепляются, хотя казалось бы воевать не с кем. В Берлине он провел вечер (свой самый приятный вечер там) у Сирина-Набокова. Он живет в двух комнатах с женой «очень хорошей, тонкой» и по некоторым мелочам живут они трогательно.

— А какой он в обращении? Любезно-нервен? Или нервно-любезен? — спросил И. А.

— Да... как вам сказать... Он благожелательный человек... Так приятен, хотя и производит такое впечатление, что в нем то же, что в его романах — он в них раскрывается до конца, дает всего себя, а что дальше? Вот за это, признаться, стало, глядя на него, страшно.

— Ну а внешность? Худ, как черт?

— Худ, как черт!

Всей гурьбой пошли его провожать...

Познакомился с Газдановым. Сказал о нем, что он произвел на него самое острое и шустрое, самоуверенное и дерзкое впечатление. Дал в «Современные записки» рассказ, который написан «совсем просто». Открыл в этом году истину, догадался, что надо писать «совсем просто».

15 января

Радостные известия из Швеции. Будто бы проф. Агрель твердо сказал, что все сделает, чтобы премию дали Бунину.

И. А. сказал мне это в большом волнении, после того как прочел в кабинете свое письмо Полякову-Литовцеву, приславшему ему письмо из Швеции. «Уж не знаю... боюсь сказать... ну, да не могу скрыть...»

Он поглощен этим, лицо у него взволнованное, он сидит без пиджака в одной белой с помочами фуфайке и, не глядя, стряхивая пепел с папиросы, пишет одно письмо за другим. Я ушла от него, попросив помнить только одно: что надо все-таки до времени сдерживать себя и не давать до конца увериться в успехе — все может еще перемениться. Потом пошла в сад, ушла наверх, долго ходила и сидела в каменной нише на верхней террасе, смотрела на гору, на долину, на оливки, казавшиеся от освещения железными.

Вот жизнь на пороге поворота. Все может вывернуть и понести куда-то. И как ни странно и ни тяжко иногда бывает — будет ли лучше? И как И. А. ни тяжела нужда, лишения — будет ли лучше тогда? Ведь сумма эта вовсе не сказочная, а на нее станет рассчитывать чуть ли не половина эмиграции. А дома? А В. Н.? А все мы, неуравновешенные, нервные? Он сейчас так рассеян, так отвлечен. А что будет с его здоровьем при неизбежных излишествах?

3 февраля

Все разошлись усталые после визита Адамовича, а я одна осталась дома с принесенной новой книгой «Современных записок». Прочла залпом «Воспоминания» Ал. Толстой. Ужасно стало тяжело! Жизнь так трудна. И вот и в этих записках, замечательно просто и смело написанных, видна эта мука и тяжесть целой семьи, такой неладной и несходной между собой.

С Адамовичем же было как всегда. Он как будто постарел за те 6 месяцев, что мы не видели его. «Чувствую, что старею, приходят последние деньки романтизма и молодости и хочется поскорей захватить что можно, а тут вот надо сидеть в Ницце. Жаль Парижа! А надо бывать и здесь!»

За завтраком говорили о Толстом, Достоевском, К. Леонтьеве и Ходасевиче, о прозе Пушкина. И. А. с распушенными после вчерашней мойки волосами, в новом костюме «дубового» цвета, был очень оживлен и любезен. Адамович говорил, что будто бы у Ходасевича в уме есть что-то общее с К. Леонтьевым, который ему в общем не очень нравится. И. А. все обрубал своим решительным: «замечательный человек!»

Заговорили о прозе Толстого и Пушкина.

«Проза Пушкина,— сказал И. А.,— суховата, аристократична рядом с прозой Толстого, как может быть аристократична проза Петрония, который все знал, все видел и, если и решил написать о пире, где подавались соловьиные язычки, то не унизится — вы понимаете, в каком смысле я говорю это — до изображения и описания этих соловьиных язычков, а просто скажет, что их подавали. А. Толстой был слишком чувствен для этого».

За завтраком Адамович пил только пиво, и то немного. Говорит, что пьянеет от первой же рюмки водки. Разговаривая, задумываясь, глядя перед собой остановившимися глазами, оттягивал рукой кожу от щеки.

О Ладинском говорил, что несмотря на все хвалебные рецензии о нем, он все недоволен. Сидит под телефоном в «Последних Новостях» вот так (он, показывая, плачевно подпирает голову рукой) и говорит: «Все равно Блоком не быть!»

21 февраля

[...] Вечером И. А. читал мне вслух «Косцов» и «Аглаю». Последнюю читал особенно хорошо и когда кончил, у меня лицо было мокро от слез. Как прекрасно написана эта вещь! И как он замечательно читал ее!

На мой вопрос он сказал, что много прочел, прежде чем писать ее.

— Вот, видят во мне только того, кто написал «Деревню»! — говорил, жалуясь, он:— А ведь и это я! И это во мне есть! Ведь я сам русский и во мне есть и то и это! А как это написано! Сколько тут разнообразных, редко употребляемых слов, и как соблюден пейзаж хотя бы северной (и иконописной) Руси: эти сосны, песок, ее желтый платок, длинность — я несколько раз упоминаю ее — сложения Аглаи, эта длиннорукость... Ее сестра — обычная, а сама

она уже вот какая, синеглазая, белоликая, тихая, длиннорукая,— это уже вырождение. А перечисление русских святых! А этот, что бабам повстречался, как выдуман! В котелке и с завязанными глазами! Ведь бес! Слишком много видел! «Утешил, что истлеют у нее только уста!» — ведь какое жестокое утешение, страшное! И вот никто этого не понял! Оттого, что «Деревня» — роман, все завопили! А в «Аглае» прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда все, что душа несла, выполняла — никем не понято, не оценено по-настоящему! И ведь сколько тут разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных! Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа — почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и «Песня о гоце». Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад.

И он прочел, опять изумительно, и «Песню о гоце».

28 февраля

Письмо от некоего Олейникова, женатого на сестре Нобеля, с знаменательной фразой о том, что он надеется на «русский обед» в будущем декабре, на котором сможет увидеть Ив. Бунина — нобелевского лауреата.

И. А. несколько взволновался. Он, как и мы все, не позволяет себе зарываться в мечты, которые могут не оправдаться. Но все же...

Заходили прощаться И. И. с Федотовым — последний сегодня уезжает.

Утром читала «Братьев Карамазовых». Только теперь по-настоящему понимаю Достоевского. Несет как Ниагара, утомляешься даже. Странно одно: както вдруг чересчур он мне стал ясен, понятна психология каждого героя, почти наверное знаю, что будет дальше, и это без враждебности говорю, а просто — знаю.

С И. А. о нем говорю сравнительно мало. Он начинает волноваться, както сказал:

— Я и имя это Алеша из-за него возненавидел! Никакого Алеши нет, как и Дмитрия, и Ивана, и Федора Карамазовых нет, а есть ABC...

Но в то же время это у него сложно. Достоевский ему неприятен, душе его чужд, но он признает его силу, сам часто говорит: конечно, замечательный русский писатель — сила!

О нем уж больше разгласили, что он не любит Достоевского, чем это есть на самом деле. Все это из-за страстной его натуры и увлечения выражением.

17 марта

Вчера прервали. И вчера же известие от Олейникова. У Эм. Нобеля кровоизлияние в мозг, упал в ванной. Пока жив, но «в течение 10—14 дней должно выясниться, сколько ему осталось доживать».

И. А. читал письмо за завтраком. С первых же строк весь покраснел и ударил кулаком по столу:

— Нет! Вот моя жизнь! Всегда так!

И, действительно, он не раз говорил, что за этот год что-нибудь непременно должно случиться, что помешает получению премии — или война, или еще какое-нибудь событие. Возможная смерть Нобеля, конечно, большой удар. Олейников очень утешает, пишет, что шансы на успех те же, но все-таки, конечно, это уже не то. Между прочим пишет, что Шмелева тоже выставили. И. А. это почти оскорбило. «Кем? Да ведь это смехотворно!»

В общем он так взволновался, что мы предложили ему идти тотчас после обеда к Фондаминским и с ними вместе идти гулять. Пошли. Мы с ним шли впереди. Он был очень взволнован, я тоже, но как-то нашла слова, которые его тронули. Он с жаром воскликнул:

— Да, да, правда! Надо как-то сказать себе: Да будет воля Твоя! Иначе ничего не сделаешь...

29 марта

Вчера вечером ходили с Л. к Степунам разговаривать по поводу Белого. Застали их дома одних, они только что приехали из Марселя, где пробыли сутки. Сели, начали разговаривать о полученном И. А. из Стокгольма обнадеживающем письме Олейникова и только потом Л. перешел к «Серебряному голубю».

Дома мы с В. Н. всячески убеждали его «не выговаривать» себя, а дать говорить Степуну, и он как будто соглашался. Но на месте нервность взяла свое и он понесся. Степун пытался вставлять фразы, но вначале не мог, преодолел его уже только потом.

Л. говорил все то, о чем мы говорили дома. Что Россия у Белого сусальная, лубочная, что в одной первой главе, в описании села Целебеева, перепутаны все признаки, что много безвкусия и т. д. В конце концов Степун, преодолевая Л., сказал:

— Видите ли, ведь прежде всего надо поставить вопрос: в каком плане мы будем рассматривать это произведение? Я, например, читал этого «Голубя» девятнадцать лет назад, но вот до сих пор сохранилось сильное ощущение. На некоторых местах я бледнел и чувствовал, как подступают слезы. А если через 19 лет так помнишь — это уже много!

— Да, а вот перечтите теперь! — то-то и есть, что бывают такие вещи, что прочтешь один раз и волнуешься, а прочтешь позднее и удивляешься, чему я волновался!

— А почему не повернуть вопрос в другую сторону? Почему не предположить, что тогда восприятие было правильное, а теперь приемник испортился? Радиостанция виновата!

Л. показал ему первую главу и стал говорить о спутанных признаках, о лжи в описаниях. Степун стал читать, согласился с одним, с другим, а затем сказал, перебивая сам себя:

— Да ведь это совсем не важно. Поймите, тут не натуралистическое искусство, а как бы некая инсценировка, условность, иллюзия. Тут Россия несколько приподнятая, сусальная. Вы скажете, что изба там не так или еще что-нибудь? Да это все неважно. Главное — что хотел сказать художник. А это как бы постановка тех предгрозовых лет, когда за картонной стеной, позади, зажжена уже свеча революции...

Потом он говорил, что Белый большая личность, что он отразил воздух своей эпохи — что должно быть непременно со всяким большим художником, что горсть людей, в которой жил Белый, жила интенсивней других.

— Что отразил Куприн? Горький?.. Ничего! А в Белом весь надлом тех дней.

Я сказала, что, не читавши книги, не могу судить о ней, но что фамилии кажутся мне претенциозными, безвкусными: Дарьяльский, Кудеяров. Что-то ложное, ходульное. Тут вдруг вмешалась Наташа, поджав руки и скрестив вытянутые ноги, сидевшая рядом, чуть склонив голову прислушивавшаяся к спору:

— А почему же? Почему это хуже Печорина, Онегина? Там реки и тут реки,— сказала она.

— Нет, это совсем другое. Тут есть что-то ложно-русское, оперно-ходульное, случайное... да и звук совсем не тот,— пыталась объяснить я.

Но видно было, что мы не убедим друг друга.

— Я люблю в искусстве только надлом,— сказал в конце концов Степун.— Я не люблю классицизма, Возрождения, Греции. Я не пойду брать с полки Гёте, если мне будет трудно в данный час. Я возьму кого-нибудь надломленного, пронзительного. Другое искусство мне не интересно. В Белом же, в его припудренном трагизме, я чую его боль, его надлом.

В это время вошел И. Ис. Вид у него был очень усталый — он был в Ницце у больного брата Амалии. Присел ко мне, и я ему вполголоса рассказала домашние новости. В это время Степун и Л. все спорили. До меня долетали уже повторения:

— Да я же говорю, что тут не подлинная Русь, а инсценировка. Так рассуждать, как вы, с точки зрения ученой археологии в искусстве нельзя. Мало ли что в Олонецкой или Псковской губернии... Да о чем, собственно, предмет разговора? — долетало до меня от Степуна.— Потом надо установить мерки...

— А я все-таки считаю, что все это уже устарело,— уже упрямо говорил Л.— И что мы, пережив войну, увидев смерть близко, поняли что-то, чего тогда не понимали. Жизнь уйдет от этого, и я уверен, что выкристаллизуется опять в какие-то ясные формы, в классицизм.

— А я этого не думаю. Жизнь прежде всего сама никуда не уходит. Ее делают. А теперь положение таково, что все идет к страшному усложнению. Ну, что ж. Не в первый раз. Миры уже гибли, дойдя до какой-то точки в своем развитии,— спокойно сказал Степун.

Потом заговорили о вкусе.

— Да ведь вкус меняется,— опять вмешалась в спор Наташа,— в ранней молодости кажется, что красивей какого-нибудь бантика-стрекачем ничего нет...

— Я об этом не говорю! — возражал Л.— Но ведь важен не бантик, а то, что за бантиком. И потом вспоминаешь не бантик, а то, что было связано с этим бантиком...

Вышли мы взволнованные. Шли по шоссе, горячо говоря. Ясно было, что тут мы ни до чего не договоримся. Дома стали рассказывать. Все сидели в спальне И. А., так как он провел день в постели. У него грипп. Л., рассказывая, говорил очень уверенно и горячо. И. А. хвалил его. А я вспомнила, как Степун твердил одно и то же, думая, что его не понимают, об инсценировке...

16 апреля

Вчера после обеда Ф. А. (Степун) и И. А. заспорили.

— Вы вот пишете всякие «Мысли о России»,— говорил И. А.,— а между тем совсем не знаете настоящей России, а все только ее «инсценировки» всяких Белых, Блоков и т. д., а это не годится.

Ф. А. начал говорить о том, что он приемлет и И. А. с его диапазоном, но ему нужен и Белый, и Блок, и его Россия, и его «хлыстовство» (разумея под этим всякое опьянение) и «плат узорный до бровей».

— Для меня, если я нахожу в Бунине нечто от А до Л, Блок дает мне от Л до Э. Для меня соединение этих двух разных ключей, как в музыке, есть обогащение. Если я приму одного Бунина — я обедню себя... Кроме того, Блок скажет мне что-то такое, чего не достает мне в вас. У вас, например, нет безумия, невнятицы, вы о безумии, о невнятице говорите внятно, разумно...

— Как! Как! А Иоанн Рыдалец, а Шаша, раздирающий собственную печенку, а Аверкий, умирающий в пустоте!..

— Вы об этих ваших персонажах говорите разумно. Для меня Вы и Блок как Моцарт и Бетховен. От каждого я получаю что-то иное... И то, что Вы не терпите рядом с собой другого, может быть, есть именно только доказательство вашей творческой мощи. Мы нашу справедливость искупаем известным творческим бессилием. А Вы по звездам стреляете — так что же Вам быть справедливым!

Потом И. А. доказывал, что Россия Блока с ее «кобылицами, лебедями, платами узорными» есть в конечном счете литература и пошлость.

— Не надо забывать, сколько тут идет от живописи, от всяких «Миров искусства», от того, что писали картины, где земли было вот столько (он показал на три четверти), а неба — одна щель и на нем какая-то лошадь и овин. А России настоящей они не знали, не видели, не чувствовали!

— А я думаю, что если вы — русский человек, то вы один из полюсов русской жизни,— стоял на своем Степун.

— Это была кучка интеллигентов,— не слушая, говорил И. А. — Россия жила помимо нее.

Потом Ф. А. читал — очень выразительно — Блока.

— Теперь я понимаю тайну их успеха,— сказал И. А.— Это эстрадные стихи. Я говорю не в бранном смысле, понимаете. Он достиг в этом большого искусства... И вообще, если я чувствую в произведении ауру художника, это меня уже болезненно ранит. Для того чтобы произведение было вполне хорошим произведением, я должен чувствовать в нем только его ауру — ауру произведения.

21 августа

Печатала под диктовку И. А. фельетон о принце Ольденбургском. Еще раз подумала о том, как тщательно он работает, как правильно ставит всюду знаки препинания, как выработан у него каждый кусок, каждая фраза. На это-то у меня почти постоянно и не хватает терпения.

Главное, что часто изумляло меня в И. А.,— что он бывает удивительно смиренен в своем ремесле. Возьмет маленький кусочек и выполняет его с почти педантической тщательностью. А потом оказывается, что собрание таких кусочков дает блестящий фельетон. Часто я сама дивлюсь скромности его требований, я в сравнении с ним нетерпелива, требовательна, хочу все чего-то огромного... а он напишет что-нибудь крохотное и радуется сам: как хорошо написал!

Это изумительная черта в таком гордом, нетерпимом часто человеке.

9 октября

И. А. сам принес и прочел нам найденную им во французской газете заметку о том, что Нобелевская премия в этом году назначается секретарю шведской Академии, поэту, умершему в апреле этого года. Расстройство его — для него это удар, т. к. он больше всех надеялся на премию,— выразилось только в том, что он пошел в город за газетами и немного возбужденнее обычного говорил: «Ведь тут дело даже не в деньгах,— говорил он,— а в том, что пропало дело всей моей жизни. Премия могла бы заставить мир оборотиться ко мне лицом, читать, перевести на все языки. Если же в этом году, когда за меня было 7 профессоров с разных концов мира, и сам Массарик, глава одного правительства вмешался в это — не дали премии — дело кончено!»

13 октября

С утра разбудил дождь. Продолжаю писать, хотя временами как во сне.

И. А. со времени получения известия о премии обложился своими «молодыми» сочинениями и сел за работу. Вычеркивает, исправляет, надписывает. Неудачи заставляют его крепче собираться. Это замечательная в нем черта, молодая.

В. Н. плохо поправляется. Малокровие ее не излечивается, да, правду сказать, и время очень трудное.

19 октября

И. А. говорит, что у него бывает теперь временами огромное физическое и душевное отчаяние. Причины не совсем ясны, но, по-видимому,— невозможность писать, нездоровье, боли в руке и в боку, горло. Ему надо было бы поехать в Париж, переменить место, но он говорит, что не может себе представить ночи в отеле. Одному страшно.

14 декабря

Вечером у меня в комнате И. А. говорил:

— Ну как это перевести «скиглит чайка»? А ведь как выражено!

— Да это просто звукоподражание,— с легким презрением сказал Л.

— Да, а вот как выражено! Это именно эти звуки (он показал голосом, как кричит чайка). А вот например: — «За байраком байрак,— в поли могила.— Из могилы встае — казак сивый, похилий». «Похилий» — как сказано! А пе-

ревести нельзя. Я пробовал переводить Шевченко. Не то! Так же и поляков. Самые близкие «смежные» языки труднее всего поддаются переводу. Происходит это оттого, что они еще слишком близки к природе, они еще в диком состоянии — откуда и их прелесть — и при переводе не входят в семью языков, культурно развившихся.

Дата неизвестна

После обеда И. А. читал нам в кабинете те небольшие кусочки, над которыми работал последние дни. Читал как всегда превосходно, оттеняя голосом все главное. Особенно понравился отрывок про петербургского студента.

После обеда мы с И. А. ушли в конец сада и сели на скамью. Всходила луна. Ночь была облачная, прохладная. Начали говорить о писании.

— Ведь из чего иногда создается то блестящее, что так восхищает? — говорил он.— Из какого жалкого, пустяшного оно большей частью выходит!

— А из чего создалась у вас «Чаша жизни»? — спрашиваю я, вспоминая только что прочитанные вслед за «Студентом» отрывки из нее.

— То что у каждой девушки бывает счастливое лето — это между прочим вспоминалась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее именье Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето... Эту аллею я взял потом в «Митину любовь», и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили барышни Туббе, и там же был арнстон и опять эта лезгинка... Отец Кир? Отец Кир... это от Леонида Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволосый, темнозубый... А кое-что в Селехове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность... От одного этого ощущения мне кажется и вышла «Чаша жизни». А юродивого я взял от Ивана Яковлевича Кирши.

— Кто это?

— Его вся Россия знала. Был такой в Москве. Лежал в больнице и дробил кирпичом стекло. И день и ночь, так что сторожа с ума сходили. И когда он спал, неизвестно! И вот валил туда валом народ, поклонницы заваливали его апельсинами, а он жевал их, выплевывал прямо в поклонницу,— в какую попадет, та считает себя особенно отмеченной и счастливой. Когда он умер, везли его через весь город, он долго стоял в кладбищенской церкви. Я себе очень хорошо представляю это: осень, листья в лужах, ледяная кладбищенская церковь, и он все стоит, и его не могут похоронить, потому что церковь осаждают пришедшие поклониться... И вот, так как жрал он много и был грузен и долго стоял, то быстро лопнул и текло из него так, что под гроб пришлось поставить тазы, и вот представьте себе! эти поклонницы, разные купчихи, кинулись давя друг друга, с тем, чтобы обмакнуть вату в эту сукровицу и унести к себе домой.

— Что за гадость!

— Да, да и было это всего 70 лет назад. Да вообще у нас в России такие вещи бывали... И дурак я, что не написал жития этого «святого». У меня и материалы все были.

— Да напишите, как рассказываете!

— Нет, это не то. Там стихи его были. Да и надоело мне это. Я в этом роде уже писал.

— А как разно сложилась жизнь ваша и Машина,— сказала я.— Вы объездили полмира, видели Египет, Италию, Палестину, Индию, стали знаменитым писателем, а она никогда никуда не выезжала из России, не была ни в одном большом городе, вышла замуж за помощника машиниста...

— Ужасно! Ужасно! И вот есть какое-то чувство виноватости перед ней. [...]

—Как это написать? Страшна, сложна моя жизнь. Ее не расскажешь,— грустно твердил он...

ПАРИЖ

15 апреля [1932]

Были вчера с визитом у Мережковских. Видела первый раз комнату Зинаиды Николаевны. Кровать за ширмами, что-то вроде комода, на котором подобие католического киота. Говорили все время об ужасном положении писателей. Мережковский пришел, сел на кровать, заговорил о Нобелевской премии, о необходимости разделить ее. Вечерний серый свет резко падал от окна на его лицо и оно, срезанное, выставленное из-за ширм, казалось страшным от темных теней и впадин.

2 июня

И. А. перечел Марка Аврелия. Вечером, лежа у себя в спальне, говорил:

—Как странно, повелитель мира — Цезарь был в то время властелином мира — сидя где-то в палатке на берегах Дуная, писал... и нам, читающим теперь это кажется написанным в наши дни. Писал он, конечно, для себя. У него было пониженное чувство жизни. Недаром все это так безнадежно. «Разложи танец, разложи совокупление...» но ведь как это разложить? Если разлагать — значит уже не хочется танцевать. А если разложить совокупление — оно уже не будет совокуплением, любовью, восхищеньем... а голым актом. Но иногда и у него проскальзывало чувство радости жизни — это там, где он говорит о трещинках на хлебе, о нахмуренном челе льва, о колосьях и пене на клыках кабана. Но век тогда был требовавший пониженности чувства жизни, и кроме того Цезарь был слишком высоко поставлен, а это заставляло смотреть на все так... (лицо его выразило высокомерное утомление, брезгливость). Но какая простота, благородство и как это возвышает! И вот уже он разбит в одном: не все исчезает. Слава не исчезает. Пример — он сам. И как его называли: «Бог благосклонный!..»

6 июня

После обеда с вином, водкой, пением под гитару вышла на террасу. Туманно светилось только несколько больших звезд над темными округлостями гор, темнота пахла цветами. Все было мирно, тихо. Я смотрела и думала, что меня впервые не давят никакие сожаления, желания, что я наконец почти свободна. С меня в такую минуту и этих спящих гор достаточно, умиление же над умершим прошлым меня хоть и трогает, но уже в сущности далеко. И. А. еще потом дома говорил:

—Я там сидел, смотрел, слушал и в то же время смотрел на портрет государя на стене. И думал, что он был царем этих людей и сам был, конечно, их уровня, что глаза закрывать! А за ними была целая рать этих диких мужиков, которые только ждали возможности. И ведь эти Х. простые люди. С ними легче жить, чем с другими, он улан из лучших, это видно... А все-таки прав Илюша. Из всех сословий в России, какие оно не имеет недостатки, жить и общаться можно только с интеллигентами. Другие не поймут! Они совсем из другого мира.

27 июня

Давно замечаю в И. А. такую черту: он просит дать что-нибудь почитать. Я выбираю ему какую-нибудь талантливую книгу и советую прочесть. Он берет ее и кладет к себе на стол у постели. Постепенно там нарастает горка таких книг. Он их не читает, а покупает себе где-нибудь на лотке какие-нибудь марсельские анекдоты, религиозные анекдоты 19 века, какое-нибудь плохо написан-

ное путешествие. Вчера застав его за перечитыванием купленного так «Дневника горничной» Мирбо; спросила почему он предпочитает такое чтение. Он сначала шутил, потом ответил:

— Видишь ли, мне не нужны мудрые или талантливые книги. Когда я беру что-то, что попало и начинаю читать, я роюсь себе впотьмах, и что-то смутно нужное мне ищу, пытаюсь вообразить какую-то французскую жизнь по какой-то одной черте... а когда мне дается уже готовая талантливая книга, где автор сует мне свою манеру видеть — это мне мешает...

Другими словами одна индивидуальность не хочет другой индивидуальности...

6 ноября

Дело к назначению премии приближается. Газеты по утрам начинают становиться жуткими. Французские утренние газеты ждем теперь с трепетом. Развертывает ее первый И. А. Воображаю себе его волнение. Уж скорей бы упал этот удар! В прошлом году это было сделано раньше чем ожидали.

Днем неосторожная (и может быть неуместная) предпоздравительная телеграмма из Берлина, взволновавшая весь дом. Вечером говорили о ней на прогулке. И. А. держится в этом положении, как он сам сказал, естественно. Излишней нервности нет — во время дела Горгулова он волновался также, а газет покупал больше. Но, конечно, все-таки беспокойно, особенно после внезапного упорного появления в печати имени Мережковского.

И все-таки он и сегодня весь день писал.

22 ноября

И. А. пишет по 3—4 печатных страницы в день. Пишет один раз рукой, перед обедом дает перепечатывать их В. Н., исправляет и дает переписывать уже на плотной бумаге с дырочками мне.

Вечером ходит со мной гулять и говорит о написанном. Пишет он буквально весь день, очень мало ест за завтраком, пьет чай и кофе весь день. Вот уже больше месяца, если не полтора, длится такой режим. Нечего говорить, что он поглощен своим писанием полностью. Все вокруг не существует. Но разговоры по вечерам бывают исключительно интересны. И никогда еще так ясна не становилась для меня вся его натура, как в этом его теперешнем писании и высказывании...

Сегодня во время обычного вечернего разговора я затронула тему меня уже давно интересующую: отчего он так поздно развился и отчего вообще русская литература так долго оставалась по преимуществу образной т. е. какой-то девственно-дикой, в то время как на Западе давно мыслили абстрактно. Я высказала мнение, что влияла, вероятно, природа и ее особенности. Он по обыкновению, как всегда, когда подвертывается что-нибудь нетронутое, интересное, оживился и стал развивать мою мысль, говоря, что происходило это, вероятно, оттого, что русский человек был окружен зрелищем вещей огромных, широких и вечных: степей, неба. На Западе все тесно, заключено, из этого невольно рождалось стремление в себя, внутрь.

— Как странно, что путешествуя, вы выбирали все места дикие, окраины мира,— сказала я.

— Да, вот дикие! Заметь, что меня влекли все некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать!

11 февраля 1933

Вчера после завтрака осталась у И. А. в кабинете, и он мне рассказал свой сон. Он видел во сне Лику, выдуманную им, оживленную и ставшую постепенно существовать.

— Вот доказательство того, как относительно то, что существует и не существует! — говорил он.— Ведь я ее выдумал. Постепенно, постепенно она начинала все больше существовать и вот сегодня во сне я видел ее, уже старую женщину, но с остатками какой-то былой кокетливости в одежде и испытал к ней все те чувства, которые должны были бы быть у меня к женщине, с которой 40 лет назад в юности у меня была связь. Мы были с ней в каком-то старинном кафе, может быть итальянском, сначала я обращался к ней на вы, а потом перешел на ты. Она сначала немного смущенно улыбалась... А в общем все это оставило у меня такое грустное и приятное впечатление, что я бы охотно увиделся с нею еще раз...

Слушая его и глядя на него я думала, что и правда относительно существование вещей, лиц и времени. Он так погружен сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом. Он сидит по 12 часов в день за своим столом и если не все время пишет, то все время живет где-то там... Глядя на него я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах — не знаю как назвать еще — словом о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром.

12 марта

Разговор Степуна с И. А. об изобразительном творчестве и «стихии мысли».

Степун: — Толстой... Толстой был изумителен, когда он писал образами, но едва он пытался мыслить — выходило наивно. Он мыслил «животом». Но вот попытался он написать отвлеченную статью «О Жизни».— получилось наивно. Потому что нельзя писать так, точно в первый раз услышал об этом, о том, о чем уже писали 10 тысяч лет назад... Он не понимал напр. что может быть «пиршество мысли». У Платона в диалогах бывает такой блеск, для которого у Толстого никогда не хватит крыльев. Он не имел этих крыльев.

И. А. утверждал: что образное мышление Толстого — это высшая мудрость. Но С. не соглашался и говорил, что Толстой не знал даже чего-то основного, что уже было например у Шекспира. Ему как-то внове или неведомо было, что «свобода есть зависимость» и что такое есть в философии свобода. И. А. говорил, что философия начинается с удивления, и что у Толстого это удивление изумительно передано. Приводил то место, где Оленин в лесу чувствует себя слившимся со всем миром, говорил о том, какие бездны тут заложены... Но С. не сдавался и утверждал, что в чем-то Толстой был скован своей нутряной силой и прикован к земле.

Говорили также о типах святителей на Руси. И. А. сказал, что у Х. незначительность черт. Степун возразил, что для русских святителей незначительность черт вполне приемлема. Они не личность. Они освобождение от личности. «Если личность — всегда виноват». «Ну, и святой тоже... всегда виноват!» с усмешкой сказал И. А.

19 мая

Вчера И. А. очень хорошо говорил у Фондаминских о необходимости напряжения.

«Можно прожить так свою жизнь. Но если ты хочешь чего-нибудь повыше — напрягись, напрягайся ежедневно так, чтобы вены вздувались. Только страшным напряжением можно чего-нибудь достигнуть. Ты живешь в четверть данных тебе сил».

15 ноября

И. А. уехал и мы немного опомнились только проводив его. Я и сейчас еще не в вполне нормальном состоянии, но мне хочется записать все эти пять с половиной дней по горячим следам.

В четверг 9-го был тяжелый день: ожидание. Все были с утра подавлены,

втайне нервны и тем более старались заняться каждый своим делом. Я с утра пошла в сад сажать луковицы нарциссов. И. А. сел за письменный стол, не выходил и как будто даже пристально писал (накануне он говорил мне, что под влиянием происходящего с какой-то «дерзостью отчаяния» стал писать дальше). День был нежный с солнцем сквозь белое, почти зимнее русское небо. Я смотрела в третьем часу на широко и кротко упавший с неба свет над Эстерелем и думала о том, что на другом конце света сейчас решается судьба Бунина и судьба всех нас. И у меня было уже не нормальное состояние, и это небо и этот день, и город внизу уже были не те, что обычно. Л. спросил, что делать в случае, если придет телеграмма из Стокгольма (мы решили пойти днем в синема, чтобы скорее прошло время и настало какое-нибудь решение), и сам же ответил, что придет за нами.

В синема И. А. был нервен и сначала даже плохо смотрел. В зале было холодно, он мерз. Первое отделение прошло, в антракте мы вышли на улицу, он ходил в бар напротив пить коньяк, чтобы согреться. Когда началось второе отделение, я несколько раз оглядывалась, но еще все-таки было рано тревожиться, т. к. было всего четыре часа. Тем более странно (странно тем, что уже мысленно вперед пережито и сбывалось), когда, оглянувшись на свет ручного фонарика, внезапно блеснувшего позади в темноте зала, я увидала у занавеса двери фигуру Л., указывавшего на нас билетерше. «Вот... пришел...» сказала я И. А., мгновенно забыв его имя. Все последующее происходило как-то тихо, но тем более ошеломительно. Л. подошел сзади в темноте, нагнулся и, целуя И. А., сказал: «Поздравляю Вас... звонок из Стокгольма...» И. А. некоторое время оставался сидеть неподвижно, потом стал расспрашивать. Мы тотчас вышли, пошли спешно домой. Л. рассказал, что в четыре часа был звонок по телефону, он подошел и разобрал: «Иван Бунин... Prix Nobel...». В. Н. так дрожала, что ничего не могла понять. Узнав, что самого Бунина нет дома, обещали позвонить через полчаса, и тут Л. побежал за нами. Дома нас встретила красная и до крайности взволнованная В. Н., рассказала, что уже опять звонили, поздравляли из Стокгольмской газеты и пытались интервьюировать ее. И. А. все переспрашивал, как бы боясь ошибиться. Потом начались почти непрестанные телефонные звонки из Стокгольма и разных газет. За огромностью расстояния никто ничего не понимал, и говорить и слушать и отвечать на интервью приходилось почти исключительно мне, так как я одна могла хоть что-нибудь улавливать из гудящей трубки. Около пяти часов принесли первую телеграмму от Шассэна. «Поздравляю с Нобелевской премией. Обезумел от радости. Шассэн». Потом телеграмму от Шведской Академии. Тут уж мы все поверили. Но это было только начало... Весь вечер не умолкали звонки из Парижа, Стокгольма, Ниццы и т. д. Уже все газеты знали и спешили получить интервью. В столовой сидел представитель ниццской шведской колонии кап. Брандт, приехавший поздравлять из Ниццы. За обедом мы выпили шампанского (и Жозеф с нами) И. А. был чрезвычайно нервен, на всех все время сердился, н все вообще бегали и кричали.

В десятом часу мы с И. А. вышли в город. В парке Монфлери, в темноте кто-то неинтеллигентным голосом навстречу: «Не знаете ли где здесь вилла Бельведер?» «Здесь». «Я ищу Бунина, кот. сегодня получил премию Нобеля». «Это я». Волшебное превращение. Изменение тона, поклоны, представленья. Корреспондент от Ниццской газеты. Но ничего не знает, говорит с грубым акцентом, спрашивает за что дали премию... не знает даже что Бунин писатель.

Интервью было дано тут же по дороге, он спустился с нами в Грасс. На бульваре нас поймали еще два журналиста, отыскивавшие Бельведер уже в течение двух часов и наконец обратившиеся к начальнику полиции, который был кстати тут же налицо (очень милый, скромный, интеллигентного вида человек). Нас повели в помещенье «Пти нисуа», принесли из кафе напитки и тут же началось спешное интервью. Потом была сделана первая фотография, на следующее утро появившаяся в Эклерёре, вместе с интервью, которое пришлось давать мне, т. к. И. А. был так взволнован, что не на все сразу мог отвечать.

Следующее утро — прекрасное, солнечное — началось со звонков, теле-

грамм и новых интервью. В. Н. пошла в город к парикмахеру, мы принимали всех одни. Влетели князь и Ася[1] в белом, с огромным букетом белых хризантем. Их оставили завтракать. «Как весело, как интересно! Это один из самых счастливых дней в моей жизни!» восклицала Ася. Князь тоже был необычайно возбужден, оба они наперерыв засыпали интервьюера-француза сведеньями о всех присутствующих. Потом нас всех вместе снимали за столом, заставленным бутылками. И. А. на этот раз был мил, растроган, очень ласков с журналистами и фотографами.

После завтрака зачем-то поехали на автомобиле в Ниццу и устали, конечно, страшно. В городе, куда я пошла на следующий день за покупками, было очень забавно встречать разных людей и слушать то смущенные, то любопытные, то удивленные поздравления. Носильщик подошел ко мне и величественно протянув руку, сказал с достоинством: «Je suis satisfais». Неприятные хозяева книжного магазина Ашетта встретили с чрезмерно любезными лицами и стали просматривать и отбирать газеты, где были портреты и статьи. На улице ко мне бросилась дама из другой книжной лавки, прежде не хотевшая кланяться И. А., т. к. он не покупал у нее книг, стала оживленно поздравлять и спрашивать, какие книги переведены на французский, т. к. все теперь спрашивают книги Бунина. «Это большая честь для него и для Грасса тоже...» Фотограф сказал мне, что швед, пришедший в первый день с ним на виллу Бельведер, дал ему адрес и он уже разослал все снимки, включая даже крохотный для паспорта.

Дома, когда я пришла, сидел какой-то важного вида пожилой корреспондент и мэр Грасса Рукье, накануне приславший сноп роскошных цветов, о которых И. А. с ужасом, поморщившись, сказал: «К чему эти цветы В этом есть что-то...» (он, конечно, хотел сказать «погребальное»). На следующий день мы с В. Н. ездили в Канны, купить себе кое-что из самого необходимого, одеты мы были последнее время более чем скромно. Все это время в доме не было денег. Только в понедельник пришли три тысячи из Парижа по телеграфу. И. А. решил ехать в Париж во вторник. Мы еще долго говорили накануне в его кабинете, он с карандашем считал. Выходило, что для поездки в Швецию надо 50 тысяч. Мы слушали, слушали и все хором сказали, что он должен ехать в Стокгольм один.

Во вторник мы его провожали. Весь день он собирался, как всегда сам укладывал вещи, никому не позволяя помочь себе, крича, разговаривая по телефону, просматривая приходящие телеграммы и письма. Обед был праздничный, и за столом говорили о том, кому из писателей и сколько надо будет дать из премии и насчитали сто с лишним тысяч...[2]. Вез нас на вокзал знакомый шофер. Приехали за 10 минут до отхода поезда. На этот раз И. А. ехал в первом классе, в спальном вагоне. Поезд ушел, мы оглянулись... и пришли в себя только через час.

16 ноября

Вчера день прошел относительно спокойно. В. Н. с утра уехала в Ниццу делать покупки. Погода была ясная, холодная. Почтальон принес опять гору писем, телеграмм и газет и второй том «Жизни Арсеньева», только что вышедший в Швеции. Мы долго разбирали все это в моей комнате. Среди писем было между прочим поздравление «императора» Кирилла, очень много просьб из разных стран и шведские газеты с портретами И. А. на первой странице.

В четыре часа первый раз звонил из Парижа И. А. Доехал благополучно, его встретили на вокзале, прямо повезли в ресторан Корнилова. Был завтрак, который стоил 1.000 фр., и Корнилов отказался взять деньги, сказав, что это для него честь. Остановился в отеле Мажестик. «У меня целые апартаменты в несколько комнат, очень спокойных, и плату, сказали, будут брать как за самый маленький номер, так как для отеля это реклама, что у них остановился но-

---

[1] Князь и княгиня Кугушевы.
[2] Что и было впоследствии сделано.

белевский лауреат... Сейчас еду в «Новости», где ждут французские интервьюеры. Позвоню еще в шесть...» Но не позвонил до половины седьмого, а нам с Л. пора было уже ехать на обед к Кугушевым.

У Кугушевых (В Н. приехала туда в новой шляпе, с коробками в руках, усталая и довольная) было просто и весело. Говорили, кричали, перебивали друг друга за столом. Ася рассказывала, что в первый же день после объявления премии к ним приехал поздравлять их с «Буниным» сосед с букетом, что другие соседи на них обиделись за то, что они не взяли их с собой в первый день, когда ехали к нам и т. д.

17 ноября

Страшный дождь с грозой и градом весь день вчера и сегодня. Мы все еще не очнулись до конца. Я вообще не могу освоиться с новым положением и буквально со страхом решаюсь покупать себе самое необходимое. (Вчера несмотря на дождь ездили с В. Н. в Канны и возвращение было фантастическое, с дальними огнями Грасса впереди, в темноте, за осыпанными крупными слезами окнами автобуса и чувством, что все это кончено и наша жизнь свернула куда-то...)

Вчера до ночи рылись в бумагах И. А., в его письмах, портретах, папках, отыскивая, по его просьбе, старые условия с издателями, и было в этом что-то почти жуткое для меня — в том что теперь можно рыться в этом, обычно так ревниво охраняемом и закрываемом на ключ от всех.

Сегодня опять был звонок от И. А. по телефону. Он сказал, что берет с собой в Швецию секретарем Я. Цвибака[1] и что предполагает пока жить в Мажестике. Его очень чествуют, газеты полны его портретами во всех возрастах, статьями о нем, описаниями его прибытия в Париж.

И. А. звонил опять. Говорил, что почести ему большие, но что он уже очень устал, по ночам не спит и что ему очень грустно одному. Он еще не одет для Стокгольма, но уже был портной, кот. будет шить ему фрак, пальто и т. д. Мы должны приехать в Париж приблизительно через неделю к большому банкету в его честь.

Его снимали уже для синема, он говорил перед микрофоном.

6 декабря
Стокгольм

Утро началось неприветливо, серо, с темноты и огней в еловых лесах. На последней станции перед Стокгольмом вскочил молоденький журналист, ехал с нами до Стокгольма, расспрашивал и записывал с чрезмерной молодой серьезностью, стараясь сохранить свое достоинство. На вокзале в Стокгольме встретила уже толпа, русская и шведская. Какой-то русский произнес речь, поднес «хлеб-соль» на серебряном блюде с вышитым полотенцем, которое кто-то тотчас же ловко подхватил. Несколько раз снимали, вспыхивал магний, а вокруг было еще как будто темно... Вышли из вокзала, у входа ждал аппарат синема, потом повезли по снежным улицам. Первое впечатление от Стокгольма очень приятное: набережная, вода, дворцы, чуть прибеленная снегом земля. Не холодно. Во всем есть полузабытое, русское, родное. Дом Нобеля глядит на канал и на тяжкую громаду дворца за ним. Квартира великолепная, картины, кресла, столы из красного дерева и всюду цветы... Нам отведен отдельный апартамент: три комнаты с ванной. Служит специально выписанная для этого из Финляндии русская горничная, молоденькая, смышленая, любопытная.

Перед закатом прошлись с хозяином дома, Олейниковым, по главной улице. Уже зажглись огни — здесь чуть не в три часа темнеет,— было холодней чем утром. После залитого светом Парижа Стокгольм кажется темным, несмотря на обилие фонарей. Зато канал в фонаре нашей комнаты, переливающийся

[1] Андрей Седых, писатель (ред.).

огнями, все время напоминает Петербург. Завтра здесь предполагается первый большой обед на сорок человек, на котором будет присутствовать вся семья Нобелей. Днем опять была интервьюерша, молодая, серьезная, скромно, но хорошо одетая. Здесь вообще приятна молодежь, она серьезна на вид, но воистину молода. Во Франции в сущности молодежь не молода. Чересчур древняя раса для молодости.

В газетах уже появились сделанные утром на вокзале снимки. Бледные расплывшиеся лица и «хлеб-соль» с длинным белым полотенцем, о котором расспрашивают все интервьюеры и потом записывают: «Древний русский обычай». Пишу за столом самого Нобеля. Передо мной его портрет и его круглая хрустальная чернильница.

10 декабря

День раздачи премий. Утром И. А. возили возлагать венок на могилу Нобеля. В газетах портреты нас всех на чае в русской колонии — было человек 150. Говорили речи, пели, снимали. Здешние русские говорят плохо по-русски, и вообще очень опшведились.

11 декабря

Самая важная церемония — раздачи премий, слава Богу, окончилась. В момент выхода на эстраду И. А. был страшно бледен, у него был какой-то трагически-торжественный вид, точно он шел на эшафот или к причастию. Его пепельно бледное лицо наряду с тремя молодыми (им по 30—35 лет) прочих лауреатов, обращало на себя внимание. Дойдя до кафедры, с которой члены Академии должны были читать свои доклады, он низко, с подчеркнутым достоинством поклонился.

Церемония выхода короля с семьей (до выхода на подиум лауреатов) была очень торжественна, совершилась под какую-то легкую музыку, спрятанную где-то за потолком. Зал был убран только шведскими, желтыми с голубым, флагами, что было сделано из-за Бунина, у которого нет флага. Когда герольды с подиума возвестили трубными звуками о выходе лауреатов, весь зал и с ним король с семьей, встал. Это кажется единственный случай в мире, когда король перед кем-нибудь встает.

Первые, физик и химик, получали премию весело, просто. За третьего, отсутствующего получил премию посол. Когда настала очередь Бунина, он встал и пошел со своего места медленно, торжественно, как на сцене. Его сняли во время передачи ему медали и портфеля, и сегодня во всех газетах прекрасная большая фотография этого момента.

Вечером был банкет в большом зале Гранд-Отеля, где посредине бил фонтан. Зал в старо-шведском стиле, убранный теми же желто-голубыми флагами. Посреди главный стол, за которым, среди членов королевской семьи, сидели лауреаты. (Голова В. Н. между двух канделябров, с тяжелым черно-блестящим ожерельем на шее, в центре стола.)

Сидеть за столом во время банкета было довольно мучительно. Я сидела за столом ближайшим к главному, по бокам были важные незнакомые лица, кроме того я волновалась за И. А.— ему предстояло в этом огромном чопорном зале, перед двором, говорить речь на чужом языке. Я несколько раз оглядывалась на него. Он сидел с принцессой Ингрид, большой, красивой, в голубом с собольей оторочкой платье.

Речи начались очень скоро. И. А. говорил однако очень поздно, после того как пронесли десерт (очень красивая церемония: вереница лакеев шла, высоко неся серебряные блюда, на которых в глыбах льда лежало что-то нежное и тяжелое, окруженное розово-паутинным, блестящим, сквозившим в свете канделябров). Я волновалась за него, но когда он взошел на кафедру и начал говорить перед радиоприемником, сразу успокоилась. Он говорил отлично, твердо, с французскими ударениями, с большим сознаньем собственного достоинства

и временами с какой-то упорной горечью. Говорили, что, благодаря плохой акустике, радиоприемнику и непривычке шведов к французскому языку, речь его была плохо слышна в зале, но внешнее впечатление было прекрасное. Слово «exilé»[1] вызвало некоторый трепет, но все обошлось благополучно.

Сегодня с утра в приемной трещат пишущие машинки. И. А. ездил в банк, получать чек. Погода все время солнечная, сухая, в общем прекрасная. Около полудня, каждый день мимо дворца проходят солдаты с музыкой.

Поездка в Дюрсхольм, за город на дачу к одной из Нобель. Прекрасная прогулка на автомобиле. Дома в шведском стиле в лесу, снег, замерзшие озера, на которых уже катаются на коньках молодежь и дети. Дом, стоящий на холме, весь состоящий из окон, за которыми сосны, бледное небо — почти ибсеновский пейзаж. Завтрак в нарядно-чистой столовой с раздвигающимися (как всюду здесь) дверями, потом чаепитие в уютном уголке гостиной под лампой с огромным раскрашенным акварелью абажуром. За окнами уже сумерки, новый, густо падающий снег, далекое озеро. Вышли, чтобы ехать на чай на какую-то другую дачу, автомобиль у ворот, шофер в большой косматой шапке, хозяйка осторожно переступает по снегу белыми с белой опушкой ботиками. Быстро стемнело, деревянные сквозные ворота перед незнакомым домом, а в доме — шведская корабельная чистота, огонь в камине, стол, уставленный бутербродами и сладостями, свеженькая белокурая дочь хозяйки в клетчатой блузе с большим бантом на груди, разливавшая нам чай...

На рынке утром: рыба, яблоки, цветы в стеклянных ящиках, похожих от этого на аквариумы, укутанные от холода в газеты и согреваемые керосиновыми лампами. Масса диких уток в незамерзших местах канала у мостов. Долго ходили по старому городу, похожему на гоголевский, как мне казалось, Петербург с желтыми зданиями и фонарями на стенах. Холод снега под ногами даже через ботики. Как мы от него отвыкли!

17 декабря

День отъезда из Стокгольма. Уезжаем в 10 вечера. Солнце, серебристо-голубой канал, с плывущим по нему льдом, похожим на воск, вылитый на воду во время гаданья, колокольный звон (воскресенье). В канале неподвижные пароходики, со стелющимися по ветру флагами, напротив — мрачная кирпично-серая громада дворца. Проходит молодежь в костюмах для катанья на коньках или лыжах, дамы в русских ботиках, мужчины в меховых шапках. Голубые трамваи, дома с колоннами, с вышками ренессанса, высокая темно-красная башня Статхюста с блестящими высоко в сером воздухе тремя золотыми коронами на шпиле.

21 января 1934
Париж

Странное чувство пустоты, конца. Шум двух последних месяцев совсем отшумел. И многое еще как будто неосознанное отшумело. Жизнь все-таки переломилась и надо опять начинать какое-то новое существование...

---

[1] Изгнанник (ред.).

Публикация А. Бабореко

Критика

С. Аверинцев

РАННИЙ МАНДЕЛЬШТАМ

Недоволен стою и тих
Я, создатель миров моих...

О. М.

Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма.

О. М.

Уже в раннем творчестве Мандельштама очень внятно заявляет о себе до упрямства последовательная художническая воля, обходящаяся без демонстративного вызова, но тем более сосредоточенно и бесповоротно отклоняющая все возможности, кроме избираемой.

На поверхности это предстает поначалу как некий негативизм, или, если выражаться более высоким слогом, «апофатизм».

Еще К. Брауном и за ним Н. А. Струве отмечалось преизобилие отрицательных эпитетов: «небогатый», «небывалый», «невидимый», «невыразимый», «невысокий», «неживой», «нежилой», «недовольный», «незвучный», «неизбежный», «немолчный», «ненарушаемый», «неожиданный», «неостывающий», «нерешительный», «неторопливый», «неузнаваемый», «неунывающий», «неутоленный», «неутолимый» и т. д.; сюда же — «бесшумный», «безостановочный» и проч. И какую силу приобретают эти слова внутри стиха!

От неизбежного
Твоя печаль
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей...

Стихотворение часто начинается отрицанием: «Ни о чем не нужно говорить, Ничему не следует учить»; «Она еще не родилась»; «Быть может, я тебе не нужен»; «Нет, не луна, а светлый циферблат»; «Я не поклонник радости предвзятой». Или отрицание, напротив, приходит в конце, как вывод из всего сказанного:

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада...

Или оно логически обосновывает некое «да», покоящееся на «нет», как на фундаменте:

...Но люблю эту бедную землю,
Оттого, что иной не видал.

Или оно просто наполняет сердцевину стихотворения:

Никто тебя не проведет
По зеленеющим долинам,
И рокотаньем соловьиным
Никто тебя не позовет,—

Когда, закутанный плащом,
Не согревающим, но милым...

И над техникой, и над образностью господствует принцип аскетической сдержанности: сразу бросается в глаза, чего здесь нет, от чего стихотворение **очищено**,— отсутствие многозначительнее присутствия.

Нет звонких, редких, изысканно-богатых или экспериментально-небрежных рифм. Мандельштам никогда не будет рифмовать «страстотерпный — неисчерпный», как Вячеслав Иванов, «палестр — де Местр», как Волошин, «дельта — кельта», как Бенедикт Лившиц, «беспокоиться — Троица», как Михаил Кузмин, «сковывающий—очаровывающий», как Брюсов, «баней — Албанией», как Маяковский, «лица—лопается», как Цветаева. У него преобладают рифмы «бедные», часто — глагольные или вообще грамматические, создающие ощущение простоты и прозрачности. Все сделано для того, чтобы рифма как таковая не становилась самостоятельным источником возбуждения, не застила собой чего-то иного.

В лексике ценится не столько богатство, сколько жесткий отбор. Мандельштам избегает слов, чересчур бросающихся в глаза: у него нет ни разгула изысканных архаизмов, как у Вячеслава Иванова, ни нагнетания вульгаризмов, как у Маяковского, ни обилия неологизмов, как у Цветаевой и особенно у Хлебникова, ни наплыва бытовых оборотов и словечек, как у Кузмина и Пастернака. Очень редки в ранних мандельштамовских стихах имена собственные. Потом их станет больше, появятся строки, целиком из них состоящие («Россия, Лета, Лорелея», «Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита»); но неизменным принципом останется исключительность, выделенность каждого имени собственного, а

потому как бы затрудненность его введения — «Легче камень поднять, чем имя твое повторить»,— глубоко коренящаяся в том, что можно было бы назвать поэтической верой Мандельштама. Любое имя как бы причастно у него библейскому статусу имени Божия, которое нельзя употреблять всуе. Установкой на субстанциальный характер акта именования исключено расточительное употребление «экзотических» имен для декоративных целей, как это было обычным у Брюсова или Волошина. Чисто практически это означает отказ еще от одной возможности сделать лексику пряной или пестрой. И здесь строгая прозрачность, предстающая внешне как скудость или скупость, предпочтена «колерам».

Этому соответствует образный строй. В ранних стихах Мандельштама нет ни громких звуков, ни яркого света: звук у него «осторожный и глухой», и даже полдень — «матовый». Нет чувства, на которое не ложилась бы тень противочувствия. Вдохновение ни на минуту не забывает о своей временности, прерывности: ритмический экстаз — «мгновенный», это «только случай, неожиданный Аквилон», который уйдет и «совсем не вернется» или «вернется совсем иной». Восторженность ограждена и уравновешена самоограничением, трезвым различением между своим домашним затвором и «эфирными лирами» нечеловеческой бездны космоса:

Есть целомудренные чары —
Высокий лад, глубокий мир,
Далеко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Недаром замечательный немецкоязычный поэт Пауль Целан, хорошо знавший стихи Мандельштама, много их переводивший, в собственном стихотворении связал дух мандельштамовской поэзии с идеей «конечного»: «Da hört ich dich, Endlichkeit, singen, Da sah ich dich, Mandelstam... Das Endliche sang, das Stete...» («Я слышал, как поешь ты, о конечное, я видел тебя, Мандельштам... Пело то, что конечно, то, что пребывает»). Подумаем о том, как расходились пути поэтов. Цветаева шла к тому, чтобы сделать «без-мерность» одновременно темой и принципом своего творчества. Путь Мандельштама к бесконечному — противоположный: через принятие всерьез конечного как конечного, через твердое полагание некоей онтологической границы.

Стускленный, «матовый» колорит ранней мандельштамовской поэзии не наделен никакой специфической многозначительностью во вкусе символизма или его эпигонов — это не «лиловые миры» Блока и еще того менее «некто в сером» из ненавистного Мандельштаму Леонида Андреева. Но дело здесь обстоит вдвойне непросто, и оба осложняющих фактора — черты нового сравнительно с символистской эпохой.

Во-первых, колорит этот решительно не поддается интерпретации в терминах, носящих оценочный характер, более того, делает любую попытку однозначной интерпретации «со знаком плюс» или «со знаком минус» просто абсурдной. Истолковать его только как выражение мудрости и целомудрия («...Есть целомудренные чары») — чересчур благостно; увидеть в нем только знак уныния, безлюбия, юношеской меланхолии («...О позволь мне быть также туманным») — уж слишком бедно. То есть на поверхности одно как будто сменяется другим — в одних стихотворениях речь идет о «высоком ладе», а в других — о «сумрачной жизни»; но внимательный читатель скоро заметит, что на глубине истинным предметом остается одна и та же отрешенность, которую было бы крайне неосторожно отождествить с тем или иным ее аспектом — утешительным или неутешительным. Притом отметим, что если тема «высокого лада» не имеет частого у символистов проповеднического, учительного звучания («Ничему не следует учить»), то тема «сумрачной жизни» не выливается в сарказмы, не приводит ни к обвинениям Бога и мира, ни к самообвинениям или, напротив, самооправданиям. Никаких порывов по примеру персонажа Достоевского «возвратить билет» Богу. Никаких поползновений объявить войну Солнцу, как в стихах Федора Сологуба, который до известной меры являлся для раннего Мандельштама образцом. В семнадцать лет поэт скажет, что «ничего не приемлет» от жизни, через два года поправит себя: «Твой мир болезненный и странный Я принимаю, пустота!» — и уж после никаких разговоров ни о «приятии», ни о «неприятии» мира, столь характерных для символистской и послесимволистской поры, нет как нет. Нет и попыток отделить себя самого от «сумрачной жизни», от болезненного и странного мира пустоты, укоризненно противопоставить себя «всему кругом», как сказано в заглавии одного стихотворения З. Гиппиус,— и поэт такой же, как всё и как все: самое его одиночество — не какой-то удел избранника, а попросту норма в мире, «где один к одному одинок». При этом экстатическое слияние со всем сущим как патетический жест или особо формулируемая тема — будь то на ноте Уитмена, подхваченной у нас Маяковским, будь то в духе программы соборности, теоретически сформулированной Вяч. Ивановым,— абсолютно исключено. Лишь на самом исходе своего пути Мандельштам скажет о себе: «Всех живущих прижизненный друг»,— но это будет честно оплаченный итог, вывод из всего сказанного, сделанного и выстраданного, а не исходная презумпция «радости предвзятой», от которой поэт отказался в са-

мом начале и навсегда. Факт собственной единоприродности с невнятицей «тусклого пятна» сырой и серой природы, с «мировой туманной болью», с жизнью разобщенных людей не внушает молодому Мандельштаму энтузиазма, он может только сказать этой безликой стихии: «О, позволь мне быть также туманным И тебя не любить мне позволь»,— но это не гнев, которого было предостаточно у той же Гиппиус и которым будут звенеть стихи зрелой Цветаевой; человеку не за что любить аморфную тусклость, которой так много в мире и в людях, но ее же он ощущает и внутри себя, так что тяжбу вести не с кем. Ситуация самого поэта перед лицом мира не описывается ни в радужных тонах, как у Бальмонта, но также порой, скажем, у Кузмина («...Новые дороги, всегда весенние, чаются...» и т. п.), ни в мрачных тонах, как отчасти у Блока («Молчите, проклятые книги...») и стольких других; поэт не лучше и не хуже других людей (в отличие от «литератора», обязанного быть «выше» общества, как Мандельштам заметит в статье 1913 г. «О собеседнике»), он относится к самому себе просто — какой есть. «Какая есть. Желаю вам другую»,— скажет через десятилетия Ахматова; но и в этих словах есть педалирование темы, у Мандельштама отсутствующее. Он даже не скажет о себе «какой есть», настолько это самоочевидно. Вибрация личного самоощущения, со всеми муками «разночинской» неловкости, со всеми эксцессами самоутверждения и стыда, обиды и неуверенности, которая была весьма свойственна личной психологии Мандельштама как человека и которая нашла впоследствии выражение в прозе, например, в «Египетской марке», с самого начала и довольно последовательно изгнана из мандельштамовских стихов. «Я забыл ненужное «Я».

Во-вторых, «матовые» тона, приглушенные звуки, отказ от мифологизации места поэта среди людей — все это странно соединяется с постоянной, равномерной торжественностью тона. Торжественность раннего Мандельштама, не нуждающаяся в пафосе, в восклицательных знаках и высоких материях, почти что вовсе безразличная к теме и предмету, в соединении с медлительным ритмом стиха вызывает ощущение рассеянного взгляда, смотрящего сквозь вещи. С точки зрения поэтики XIX в., также и в ее символистской переработке, эта беспредметная торжественность вызывает мысль о пародии; говорить выспренно о чем попало — самый избитый прием пародистов. Но у Мандельштама равномерной приподнятости отвечает столь же равномерная серьезность, изливающаяся на все предметы без различия; в некоторых стихотворениях 1913—1914 гг. («Старик», «Кинематограф», «Американка», «Мороженно! Солнце. Воздушный бисквит», отчасти «Аббат») серьезность эта смягчена или модифицирована выведенным на поверхность юмором («...И боги не ведают — что он возьмет: Алмазные сливки или вафлю с начинкой?») — недаром большая их часть появлялась в «Новом Сатириконе»; позднее подобные интонации уходят. Вообще говоря, из свидетельств современников, а также из шуточных стихотворений, не введенных поэтом в канонический корпус его сборников, мы знаем, что Мандельштам был наделен исключительно высокой степенью чувства смешного; как это чувство соотносится с его серьезностью? Здесь не место для подробной характеристики мандельштамовского юмора; ограничимся двумя отрицательными констатациями: во-первых, это не традиционный юмор, по конвенциональной схеме выделяющий «комические» предметы среди некомических; во-вторых, это и не специфическая ирония во вкусе немецких романтиков и особенно Гейне[1]. Получается парадокс: Блок, чья серьезность была несравнимо более наивной, подчас даже тяжеловесной, дезавуировал ее, вводя автопародийную иронию «Балаганчика»; напротив серьезность Мандельштама, которая, пожалуй, с блоковской точки зрения, и серьезной-то не была — недаром у Блока нашлось для Мандельштама лишь слово «артист»,— остается недезавуированной. По сути дела, взгляд Мандельштама, отрешенно покоящийся на мальчике перед мороженым, столь же серьезен, как тогда, когда переходит на какое-нибудь архитектурное чудо вроде Нотр-Дам или Адмиралтейства или на небеса и землю. Но если торжественность, «одичность» тона не мотивирована ни по старинке — выбором «высокого» предмета, ни на более новый, символистский манер — патетическим мифом о поэте и квазисакральным статусом поэзии, возникает законный вопрос: чем же она мотивирована? Раз ее предмет не качества вещей и не ранг вещей, очевидно, это самое бытие вещей. Стускленность колорита и служит тому, чтобы переадресовать интонационную важность от сущего — к самому бытию, «ничем не прикрашенному», как скажет Мандельштам в статье «Утро акмеизма». Нам легче понять такое движение поэтической мысли, чем современникам Мандельштама: между его временем и нашим — такое явление, как философия Хайдеггера, только и старавшегося о том, чтобы das Seiende сущее, не закрывало собою das Sein бытие. Но ведь Мандельштам-то писал: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя»,— еще в 10-е гг., то есть лет за двадцать до

[1] Заметим, что Мандельштам в течение всей своей жизни последовательно игнорировал Гейне, что на фоне рецепции Гейне в русской лирической традиции от Тютчева и Фета через Блока и Анненского вплоть до двадцатых годов выглядит контрастом. Тривиально рассуждая, можно было бы ожидать, что у Гейне и Мандельштама найдутся сближающие моменты — от еврейской судьбы и еврейской впечатлительности до схожей позиции в литературе (Гейне — постромантик, Мандельштам — постсимволист).

того, как Хайдеггер только начал приходить к своим темам; а тогда о нем не слыхивали даже немецкие философы, не говоря о русских поэтах. Интересно, конечно, что Мандельштам, толком почти и не читавший философов, за вычетом Владимира Соловьева, Бергсона и Флоренского [1], так близко подошел к важнейшей теме западной философии 30—50-х гг. Но в пределах поэзии как таковой применение торжественной интонации к «тусклым пятнам», вовсе не демонизируемым, как «пошлость таинственная» у Блока, не вводимым ни в какой мистериальный сюжет, а данным в тождестве себе,— это очень мощное разрушение поэтики символизма. Последняя не могла ужиться с перефункционированием ее же собственной «жреческой» установки, и это тем более, что такой сдвиг функций не уходит в приготовленные заранее каналы иронии или пародии, не дает — при адекватном восприятии — комической разрядки. Говорят, будто смех убивает; на самом деле убивает совсем иное — серьезность, с которой носитель инициативы поворачивается к старому спиной, чтобы начать, не оглядываясь, новый путь. Естественно, что современники некоторое время понимали особенность поэзии Мандельштама как утрировку той торжественности, к которой их приучил символизм (поздний отголосок этого первого впечатления можно встретить, например, в неглупой и задорной рецензии С. Боброва, «Печать и Революция», 1923, кн. 4). Это было одновременно и недоразумением, и разумением, превратным выражением истинного положения дел. Чувство меры, как его понимает самозамкнутое самосознание литературной эпохи,— это чувство, подсказывающее, между прочим, где надо остановиться, чтобы не нарушить прежнего статуса того или иного приема. Тривиальное нарушение чувства меры нарушает прежний статус, не давая нового. Но содержательная «утрировка» отменяет прежний статус, чтобы дать новый статус и новый смысл.

Необходимо добавить, что парадоксальное соединение «одиночности» и «стеклянного» колорита, будучи разрывом с инерцией символистской линии, одновременно может до известной меры рассматриваться как возврат на новом уровне к одному из истоков символизма — к наивно-важной, негромко-угловатой рассудительности гениального юноши Ивана Коневского, утонувшего двадцатитрехлетним в 1901 г. Мандельштам не забывал об этом: отголоски поэзии Коневского займут важное место в мандельштамовских стихах разного времени, а прямые ее упоминания — в прозе.

Осталось сделать три замечания, касающихся мира раннего Мандельштама и тех его свойств, которые были только что описаны.

Начнем с того, что стихи 1908—1910 гг. представляют собой едва ли не уникальное явление во всей истории мировой поэзии: очень трудно отыскать где-нибудь еще сочетание незрелой психологии юноши, чуть ли не подростка, с такой совершенной зрелостью интеллектуального наблюдения и поэтического описания именно этой психологии.

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом
встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

Никакой это не декаданс — все мальчики во все времена чувствовали, чувствуют и будут чувствовать нечто подобное. Боль адаптации к жизни взрослых, а главное — особенно остро ощущаемая прерывность душевной жизни, несбалансированные перепады между восторгом и унынием, между чувственностью и брезгливостью, между тягой к еще не обретенному «моему ты» (как Мандельштам будет называть свою жену) и странной, словно бы нечеловеческой холодностью, когда межличностные связи еще не налажены: все это для мальчика не болезнь, а норма, однако воспринимается как болезнь и потому замалчивается. Скрытая застенчивость мальчика, а затем и ностальгическая сентиментальность воспоминаний взрослого о событиях в ранних годах в своем сотрудничестве создают условную, приукрашенно-бодрую картину отрочества и юности, усваиваемую и закрепляемую обыденным сознанием. Притом обычно у мальчика, даже если он поэт в будущем, покамест нет еще слов, чтобы с достаточной точностью и силой описать психологию своего возраста. Но недостаток словесного умения не единственная помеха. Даже в редких случаях необычайно ранней реализации поэтического дарования механизмы, называемые у психологов компенсаторными, обычно направляют пробудившуюся силу слова на то, чтобы маскировать пугающие зияния и туманы собственной душевной жизни либо готовой образностью наследуемой культуры, что по большей части можно видеть даже у раннего Пушкина, либо, что более обычно, безудержным романтизированием своего «я» (юный Лермонтов, юный Блок). Более реалистический подход к психологии подростка у Рэмбо окрашен в слишком черные тона — опять-таки романтические,— слишком демонизирован, чтобы дойти до подлинной объективации. Короче говоря, обычно один из самых необходимых признаков юношеской души, все равно, у самых обычных людей или у самых больших поэтов,— это неспособность наблюдать себя самое без идеализации и самоочернения, без сарказмов и самооправданий, и адекватно дать себя в слове; приобретая способность объективации, душа как раз и перестает быть юношеской. Здесь Мандельштам — редчайшее исключение, обусловленное не только силой таланта, но особенностью становления его человеческой и поэтической личности. Произошел какой-то сдвиг сроков: хотя в нем очень долго держался «мальчик» — по-отрочески скрытный, по-отрочески общительный, поражавший современников импульсивностью поведения и вызывавший у них улыбку детской страстью к сладостям, наряду с этим он же необычно рано созрел как «муж», способный смотреть на себя, «мальчика», со стороны и описывать душу этого мальчика точно и здраво, в стихах, по-своему вполне совершенных. Не будем повторять общих мест — дело не в том, что поэт вообще чаще всего бывает, с одной стороны, «наделен каким-то вечным детством», как скажет Ахматова о Пастернаке, а с другой стороны, взрослее взрослых, ибо смотрит на вещи неожиданно смело и проницательно. Нас интересует не «поэт вообще», а неповторимый случай Мандельштама, который даже в плане биографическом не с чем сравнить. Но куда больше занимает нас конструктивное значение, определенное столь трезво трактуемой теме перепадов юношеской психологии в общем смысловом контексте ранних мандельштамовских стихов. Контексте, если угодно, полемическом.

Как все мы знаем, традиционной лирике в общем свойственно игнорировать прерывность душевной жизни человека, работая с фикцией беспримесных эмоциональных состояний, якобы наполняющих собою все психофизическое бытие личности и всю вечность лирического мгновения. Фикция эта сохраняла все свои права и тогда, когда эмоциональное состояние описывалось как противоречивое (еще у Катулла — «ненавижу и люблю»); просто самодержавный статус доминанты передавался противоречию. Драма и роман давно отошли от такой практики: Пушкин хвалил Шекспира за то, что у последнего — в противоположность Мольеру — поведение персонажа несводимо к доминанте. С лирическими жанрами дело обстояло сложнее. Сначала упомянутую фикцию поддерживала откровенная условность риторических правил (скажем, меланхолический Батюшков принужден был являть себя жизнелюбивым и влюбчивым в стихах из анакреонтического рода — «Эвоэ! и неги глас»); романтизм потеснил правила, но поставил на место игровой условности, по-своему честной, спонтанность страсти. Подумать только — заданную, требуемую, принудительную спонтанность, спонтанность как императив! Старая система в течение эпох сохраняла пристойную дистанцию между лирикой и психологией; великое притязание романтической и послеромантической культуры — сломать барьер и непосредственно ввести в лирику психологию. Но психология эта оказывалась в очень важном пункте неточной. Господствовавший в XIX в. тип лиризма менее верен психологии, чем древние библейские псалмы с их немотивированными и оттого особенно убедительными переходами-перепадами от экзальтации к прострации и обратно или чем оды Горация, где «маятник лирического движения», как блестяще показал М. Л. Гаспаров, колеблется между двумя состояниями, а под конец замирает в равноудаленной от них точке. Над лиризмом XIX в. господствует представление о длящемся эмоциональном порыве, так сказать, с правильными контурами, с красивой линией подъема или нисхождения, без риска сбоев. Упоминавшаяся выше ирония в духе Гейне сама по себе не только не разрушала эту лирическую псевдопсихологию, но, напротив, помогала консервировать ее, давая внутрилитературное разрешение всем несоответствиям между ней и конкретным человеческим опытом. И с этой точки зрения психология юноши, какова она есть на самом деле, со всеми пустотами и пробелами, со всеми фантомами эмоций, остающихся в возможности, ибо не получивших для себя предмета,— особенно резкий пример тех черт общечеловеческой психологии, которую лиризм XIX в. не сумел освоить. Ввести юношескую психологию как тему — значило разорвать замкнутый круг.

Проблема, о которой мы говорим, была обострена практикой русских неоромантических течений — символизма и отчасти футуризма. И тому, и другому, как известно, противопоставил себя акмеизм, впервые декларативно провозглашенный Гумилевым и Городецким в начале 1912 г. Здесь не место останавливаться на деятельности «Цеха поэтов», выяснять нюансы, отделявшие акмеизм как таковой от родственного ему «кларизма» Михаила Кузмина, или, скажем, удивляться, что Мандельштам оказался в одной литературной группировке с Городецким, еще недавно неоязыческим мифотворцем в арьергарде Вяч. Иванова. «Древний хаос потревожим. Мы ведь можем, можем, можем!» — восклицал Городецкий, и нет, кажется, ничего более далекого от внутренней музыки раннего Мандельштама, чем этот бодрый напор, да еще с метафизической претензией. Но дело не в таких частностях: формулировки литературных манифестов, персональный состав группировок — всегда смесь смысла и бессмыслицы, то есть случайности, что не снимает с нас задачи искать за случайностями смысл. Для самого

[1] И, конечно, Чаадаева, Герцена, Леонтьева и Розанова — но те «абстрантным бытием» не занимались.

Мандельштама было очень важно, что он определял себя в качестве акмеиста. Необходимо понять, что это означало в перспективе его поэтического пути.

Не стоит соблазняться расхожим представлением, подсказываемым самими акмеистическими манифестами, будто суть акмеизма — в «вещности», понимаемой как чувственная пластическая наглядность и конкретность реалий. Применительно к Мандельштаму такое представление явно не работает. Когда он хочет передать вещь не то что зрительно, а на ощупь, он достигает цели одним эпитетом («А в эластичном сумраке кареты...»), но выразительность деталей уравновешена их скупостью, их сознательной и последовательной разреженностью, а конкретное увидено настолько издали, проходящим сквозь него взглядом, что становится абстрактнее всех абстракций. В этом отношении Мандельштам — антипод Пастернака. Если мы вспомним аристотелевское деление признаков вещи на сущностные и случайные («субстанциальные» и «акцидентальные»), то поэзия Пастернака — убежденное уравнивание случайного с сущностным и постольку апофеоз конкретности; у него «чем случайней, тем вернее», и даже Бог — «всесильный Бог деталей», а поэзия — «лето, с местом в третьем классе»; напротив, поэзия Мандельштама идет путем поступательного очищения субстанции от случайных признаков, продолжая в этом отношении импульс символизма, хотя сильно его модифицируя. Пастернак живет среди вещей своего века, беря их совершенно всерьез — чего стоят заоконные «стаканчики купороса», за которыми «ничего не бывало и нет»! — он братается с вещами, упраздняет дистанцию между бытом и бытием, коль скоро «на свете ни праха нет без пятнышка родства»; не просто обиход, но, что особенно трудно для поэзии, интеллигентский, например, консерваторский обиход, до «ковровой дорожки» и даже «московских светил» включительно, без всякого препятствия становится у него частью лирической темы. Если бы «вещность» действительно была критерием акмеистичности, Пастернак, никогда ничего общего с акмеизмом не имевший, оказался бы акмеистичнее даже Ахматовой, не говоря уже о Мандельштаме[1]. Воздух у него прямо-таки густ от вещности — а у Мандельштама прозрачен, по-своему не меньше, чем, например, у Вячеслава Иванова[2] (или, на другой манер, у поздней Цветаевой, в определенных отношениях мандельштамовского антипода). На вещи своего века Мандельштам смотрит, как только что сказано, с огромной дистанции; это для него как будто озадачивающие курьезы, чья конкретность до конца растворена в интеллектуальной эмоции удивления, настолько равномерного, что кажущегося спокойным. То же удивление обращено на его собственную личность, на себя как субъект биографии: «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» Взгляд сосредоточен не на вещности вещи, а, как мы отмечали, на ее бытии — и еще на том, что у философа Гуссерля (которого Мандельштам, по-видимому, не знал) называется «интенциональностью»: на природе самого познавательного отношения к вещи. И при этом поэт обходится, в отличие от Андрея Белого, без философского жаргона; в отличие от символистов вообще — от выведения философского плана на поверхность; в отличие от Цветаевой — от превращения своей чуждости вещам в специально заявленную тему. Для него это не тема, а ровный фон для всех тем. Необходимо перечувствовать в ранних стихах Мандельштама то грустный, то позабавленный, но всегда отчужденный взгляд на реалии богемного или буржуазного быта («Золотой» — второстепенное по качеству, но очень характерное по интонации стихотворение),— хотя бы для того, чтобы не поддаваться тривиально «советскому» или тривиально «антисоветскому» истолкованию такого же подхода к приметам «эпохи Москвошвея» в его поздних стихах. Вещи менялись, и самочувствие поэта в разные периоды его жизни тоже менялось, но прослеживаемая на глубине структура отношения к вещи оставалась неизменной от начала до конца.

---

[1] Конечно, у Ахматовой чувственная пластика и бытовая деталь действительно имеют первостепенную важность. Но у нее, как и у раннего Кузмина, все это сведено к назначению театральной декорации, на фоне которой демонстрирует свое инсценируемое бытие лирическое «я». Оно оттеняется вещью, а не сливается с ней, как у Пастернака.

[2] Вспомним слова В. Пяста о Вяч. Иванове, проясняющие проблему, немаловажную и для понимания Мандельштама. «Читатель, приступающий к этому поэту, чувствует себя как-то удивительно странно. Где то, что он привык видеть и слышать в литературе, как и в жизни? Где все окружающие его изо дня в день предметы? Он их привык встречать на каждом шагу, и, право, без присутствия их, хотя бы молчаливого, скрытого в **заднем плане** стихотворения,— в начале обойтись не может. Скажет Пушкин: «Я помню чудное мгновенье» — и во всем стихотворении не упомянет ни одной вещи из наличной, окружающей это **мгновение** обстановки; но никому и в голову не придет спросить себя, **где** это происходило. Отнюдь не потому, чтобы это было для нас **не важно**, но потому, что где-то между строчек эта обстановка **вошла** в это стихотворение... Ничего подобного не найдет он у Вячеслава Иванова... Стихи этой книги «видны насквозь»... в них самих нет заграждающего зрения заднего фона» (Книга о русских поэтах последнего десятилетия. Под ред. М. Гофмана. СПБ, 1909, с. 265—266).

Александр Агеев

ПРЕВРАТНОСТИ ДИАЛОГА

Само существование литературы обусловлено вечным диалогом писателя и читателя. Договор, их связывающий, нерасторжим. Но это не значит, что всякий литературный факт — результат неукоснительного выполнения одних и тех же статей и параграфов раз и навсегда утвержденного кодекса. Каждое подлинное произведение есть подтверждение незыблемости договора и в то же время — его новая редакция, новая форма диалога.

Рискну предположить, что среди многих его форм самая предпочтительная, самая плодотворная, но и самая опасная — диалог-конфликт. Писатель сполна отдает свой долг читателю тогда, когда говорит ему что-то новое. А настоящая новость — это такая новость, на которую всякий нормальный человек реагирует однозначно: «Этого не может быть!»

Важно, чтобы это были не последние его слова, после которых диалог прерывается.

Сегодня у писателя, как никогда прежде, есть и возможность, и потребность говорить новое и по-новому. Кажется, что нового нетерпеливо ждет от него и читатель. Все это значит, что ситуация конфликта станет и уже на глазах становится типовой, и вопрос о том, насколько обе стороны готовы к диалогу в меняющихся условиях,— вопрос отнюдь не праздный.

Вряд ли в одной статье можно на него ответить. Хотя бы по той простой причине, что социология чтения в нашей стране только еще начинается, и мы имеем о читателе пока очень смутное представление. Но все-таки предварительный разговор о диалоге возможен, здесь помогает нам сама природа искусства. Во всякое мало-мальски художественное произведение автором вложен образ предполагаемого читателя. И каждое произведение, кроме сюжета, положенного ему «по штату», имеет еще один сюжет, подчас не менее увлекательный. Это взаимоотношения образа автора и образа читателя. Вычленить этот сюжет, осмыслить характер уже разгоревшихся или только намечающихся конфликтов, лежащих в его основе,— значит в какой-то степени выяснить, каковы качество и энергия диалога.

Трудно переоценить важность этой задачи, если учесть, что содержанием его стали острейшие проблемы прошлого, настоящего и будущего нашего общества, если учесть, что и в нем, в этом диалоге — не только на съездах и митингах — рождается новая духовная атмосфера. Какою она сформируется, насколько прочно и широко утвердится — от этого многое в нашей будущей жизни зависит.

С такими мыслями и попробуем подойти к сегодняшнему дню нашей прозы.

ШКОЛА ЮМОРА

Одна из самых заметных публикаций минувшего года — «Душа патриота, или Различные послания Ферфичкину» Евгения Попова («Волга», 1989, № 2). Вот уж где автор не церемонится со своим читателем! С первых же шагов в этом необычном художественном пространстве мы теряем всякую ориентировку, пытаясь уследить за бессмысленной вроде бы суетой пародийных подмен, превращений, раздвоений Евгения Анатольевича Попова, уверяющего нас, что он не имеет отношения к тому человеку, который «как бы пишет», а впрочем, уже и не пишет «художественные произведения» и которого тоже зовут, вернее, он утверждает, что его зовут Евгений Анатольевич Попов. Мы не успеваем рассердиться или заинтересоваться таким феноменом, как нам заявляют, что это вообще «неважно». А что важно? «Важен адресат посланий — Ферфичкин.

Кто он такой — непонятно, где живет, чем занимается — тоже, сколько ему лет — неизвестно». Ферфичкин, Ферфичкин... Что-то знакомое будто слышится в этой фамилии, но нет, не вспоминается...

Наверное, у части читателей здесь происходит «полный отпад» от текста, но другие читатели понимают, что затеяна некая игра и они к ней готовы, только вот не мешало бы договориться о правилах. Хотя бы жанр определить, что ли. Сейчас ведь писатели на путеводные эти ниточки — жанровые определения курсивом под жирно набранным заглавием — отнюдь не скупятся. Просто буйство изобретательности: «роман-притча», «роман-сказка», «роман-анекдот», «роман-завещание», «бригадная повесть». А когда-то было знаменитое аксеновское, универсальное: «поиски жанра»,— на что критик Л. Аннинский отозвался: «Жанр-то найдется...»

Но автор вовсе не озабочен нашими удобствами. Он хочет играть по своим правилам.

«Ты что теперь пишешь, Женя? Да так, пишу вот, валяю тут, значит, койчего...» Различные послания Ферфичкину. И вообще «что ты думаешь по этому поводу — мне все равно, Ферфичкин, но только, а вдруг это НОВАЯ какая-нибудь ВОЛНА? Или НОВЫЙ какой РОМАН, а? Да знаю, что не «волна», знаю, что не «роман»...»

На любое наше предположение найдется опровержение в тексте, любая попытка типологизировать и классифицировать строптиво осмеивается, оказывается за рамками поведения, принятого и приличного в данном художественном пространстве... Куда же это мы попали, Ферфичкин? Опереться не на что, всякая фраза подмигивает и переворачивается, едва успеваешь в нее вчитаться, намерения Е. А. Попова (которого из двух?) неясны.

А попали мы в школу юмора.

«Вы находитесь сейчас в школе юмора, вы должны научиться смеяться». Нам предлагают вступить в некий «фиктивный мир, войдя в него, как то принято, путем маленького фиктивного самоубийства». Цитирую я роман Г. Гессе «Степной волк», написанный еще в 20-е годы, но это, как вы уже успели привыкнуть, неважно. Попов, который всегда себе на уме, тоже постоянно кого-то цитирует, нимало не заботясь о кавычках и популярности своих источников, что опять-таки неважно.

Важно другое (снова цитирую Гессе): «Всякий высокий юмор начинается с того, что перестаешь принимать всерьез собственную персону». Чтобы провести нас за собой в школу юмора, Евгений Анатольевич Попов самоотверженно, ради высокого примера, совершает на первой же странице символический акт «маленького фиктивного самоубийства», смиренно предлагает нам не принимать всерьез не только его персону, но и всю эту «саморазмножающуюся ерунду», которую он пишет. Насчет наших с вами персон он дипломатично помалкивает, но и крайнему дураку ясно, что не последовать авторскому примеру означает выказать некую, что ли, невоспитанность. Очень скоро вы понимаете, как это неимоверно трудно — не просто позубоскалить над собой, не трогая, что называется, «святынь», но именно отрешиться от серьезности самого смысла вашего пребывания на этом таинственном, а в сущности, нелепо устроенном свете. Вас то и дело передергивает, перекашивает, ваши самые заветно-благородные помыслы поминутно пародируются, да еще автор, прекрасно видящий ваши трудности, подсвистывает: «Так вот и сочиняю я для тебя, Ферфичкин, всю эту саморазмножающуюся ерунду, машинально сочиняю, а сам смекаю — хватит ли у меня честности и мужества (наглости и цинизма), чтобы описать следующую, разрушающую лиризм повествования деталь бытия? Конечно же, хватит, Ферфичкин!» «Мало-мало развязный я, да, начальник? Не се па, мон шер?»

Это случайное, казалось бы, словечко — «начальник»,— оно очень точно, потому что в этом «фиктивном мире» вы продолжаете какое-то время пребывать как бы при галстуке и телефоне, путая искусство и жизнь, решительно разведенные в самом начале.

Глядя в кривоватенькое зеркальце, подставленное вам автором, вы замечаете, что надуты пафосом, архаичным, как дирижабль, что вы даже это, в сущности, такое милое, такое житейское дело — чтение февральского номера журнала «Волга» превращаете в некий акт, полный глубочайшего смысла и значения, припадаете, так сказать, к источнику...

Понятие «авангард», к которому привычно относят творчество Евгения Попова, каким-то странным образом связалось в нашем полном замаскированных стереотипов сознании с понятием «элитарность». Дескать, чтобы подобную литературу читать, надо что-то такое приобрести, вырастить лоб до семи пядей, экзистенциализм с эксгибиционизмом не путать, онтологию и антологию различать.

Парадокс прозы Е. Попова в том состоит, что она открывается читателю, готовому не столько обретать, сколько терять. Если вы с криком «грабят!» не убежали еще на первых страницах, она поможет вам от многого освободиться, и в самую первую очередь — от пафоса. Оглянитесь: наша с вами жизнь насыщена пафосом до такой неприличной степени, что в иных своих сферах превращается в какую-то дурную литературу. Кое от чего мы знаем, конечно, противоядие — только ленивый не высмеивает сейчас проникнутые уцененным пафосом транспаранты на наших улицах, бурнопламенные речи, произносимые по бумажке, невообразимое количество чугуна и стали, приходящееся на душу каждо-

го из нас, и многое, многое другое. Однако весь этот абсурд, вся эта «саморазмножающаяся ерунда» заставляет нас порою впадать в раздражение и негодование, то есть опять же в пафос,— и так по кругу, потому что пафос, утвержденный некогда державной нормой жизни, проник в психологию.

О, пафос — очень хитрая штука! Когда действительность и деятельность были мнимы, он — сам сущая мнимость — милосердно застилал нам глаза, дабы мы не теряли к себе должного уважения. Не было труда — зато был заботливо вздуваемый пафос труда; не было истории — зато культивировался пафос приобщения к «преданию»; стыдно было перед предками — тем с бо́льшим пафосом они отыскивались, тем бо́льшим значением наделялись их обыденные лица на старинных фотографиях. Был пафос протеста, пафос противостояния, пафос «кукиша в кармане» — да мало ли чем отмахивались мы от реальности, с помощью чего охраняли свое право жить мнимой жизнью. Это был пафос свободного выбора роли в абсурдной пьесе, написанной и поставленной без всякого нашего участия.

Евгений Попов очень хорошо знает, что на пафосе нас и ловят, он совершенно безжалостен, освобождая нас от этих привычных одежд. Даже давно-давно привычных, ставших, как нам кажется, неотъемлемой частью чуть ли не культуры. Делается это на пространстве всего повествования, причем порой очень простенько, в пределах одной-единственной фразы. Вот так, например: «Река, гипотетически принятая мной за Тихий Дон имени Шолохова, действительно, оказалась Доном (тихим, он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО оказался тихим, как тиха, например, речка Кача, что течет на моей родине в блатном районе сибирского города К. мимо мясокомбината через Татарскую слободку)». Не знаю, как вам, а мне стало легче и свободнее, когда на моих глазах реально существующая река Дон потекла себе мимо романа ее имени, как речка Кача, в реальном существовании которой вы даже не усомнитесь, раз уж она течет через Татарскую слободку, да еще мимо мясокомбината.

Главная же тяжба в «Душе патриота...» ведется, конечно же, с ИСТОРИЕЙ. Не с историей, в которой все мы так или иначе пребываем, мучаемся и радуемся, бездельничаем и трудимся, а именно с ИСТОРИЕЙ, с пышным спектаклем, часто — фарсом, не имеющим к нашей жизни и к жизни вообще ни малейшего отношения. Однако как лестно отдаться державной и державой старательно поддерживаемой иллюзии, что ты, маленький человек, «высоких зрелищ зритель», необходимый свидетель ИСТОРИИ. Какое облако пафоса вспухает! «И блажной восторг историчности холодил душу патриота...» — смеется Попов, и вы непременно вспоминаете еще в школе вдолбленное, толстовское: «скрытая теплота патриотизма»...

Сейчас, когда все мы переполнены историей, очень даже не вредно отделить восторженный «холод патриотизма» от его «теплоты», очень не вредно прислушаться к Е. Попову, который терпеливо водит нас по ноябрьской Москве 1982 года, приближаясь к «географическому эпицентру мировой истории», рассказывая на ходу различные *истории* из жизни своей и своих приятелей. И они своим объемом ехидно поглощают плоскость совершающегося в «географическом эпицентре». Совершенно же замечательная, дьявольская сцена — это чаепитие у телевизора (вот — плоскость ИСТОРИИ на плоскости экрана) в день похорон ТОГО, КТО БЫЛ. Грешным делом подумалось — не Достоевского ли вспомнил здесь Попов: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?» И тут ленивая память наконец-то выдает вам, где слышали вы эту фамилию — Ферфичкин. Да-да, именно там, в «Записках из подполья». Там он проходная фигура, но как этот знак освещает вдруг интонацию всей повести Попова! Исповедь современного «подпольного человека»? Если хотите, да, но в обращенном, перевернутом, травестированном виде. Все здесь другое — и подполье, и «подпольный человек», и Ферфичкин.

«Ну ладно,— скажет читатель,— а какая все-таки сверхзадача всего этого балаганчика? Неужто у автора никакого своего — хоть маленького, редуцированного всей иронией, пародией и травестией пафоса так-таки и нету?» Ну почему же.

Когда вам терять уже совершенно нечего, когда спародирован даже любимый вами, как всяким порядочным читателем, Ю. В. Трифонов («Время и место», «Старик»), когда вы остались уже почти что в исподнем и от ветра «эпохи» вам по-настоящему холодно и тоскливо, вы начинаете различать, что́ говорится здесь «надвое», а что́ всерьез, в самом настоящем своем, прямом смысле. Вы начинаете понимать: важно то, что неважно.

Важно, например, чай пить. Лучше с вареньем, неплохо с кизиловым, но и с медом недурно. Важно не забыть покушать щец, узнав об историческом событии. Важно хлеба купить — «беленького и черненького», даже и в тот самый день. Важно гриппом не заболеть. «Худо осенью! Не замечаешь, что летние силы уходят, как вода в песок, отчего к Новому году обязательно заболеешь гриппом. А тогда — что тебе елка, что тебе свечи, пирог, веселые рылы в масках, если ты сморкаешься в платок и кашляешь, как в больнице. Нет, берегись, товарищ, заранее!» Важно бутылки сдать и ватерклозет вычистить...

И только-то? — спросит разочарованный читатель. А вы полагаете, что ИСТОРИЯ, самоупоенно перетекающая из ритуала в ритуал, оставила вам что-нибудь еще? Что-нибудь такое, не боящееся пародийной подмены? Вы так всерьез

полагаете? Ну, тогда из школы юмора вы вышли в парадном галстуке, фокус с «фиктивным самоубийством» не удался и вам по-прежнему очень хочется себя уважать, хотя бы и за намерение «изучить всю культуру» или за то, что вы обожаете бульвары бульварного кольца, «возникшие на месте разобранной стены Белого города в конце 18 — начале 19 веков...».

Над «частной жизнью» можно сколько угодно иронизировать, ее можно очень даже изобретательно высмеивать и пародировать, и Е. Попов это прилежно делает на протяжении своих «посланий». Однако выясняется, что она, даже спародированная, остается самой собой, что она совершенно непотопляема в этом смысле и торчит в болоте патетических абстракций как вполне надежная кочка. С нее можно куда-то шагнуть, на ней можно продержаться. Если вам не нравится кочка («кочка зрения», небось, вспоминается?), хорошо, тогда пусть — кухня. На наших глазах этот символ «мещанского» быта побывал символом духовной жизни в «застойную» эпоху. «Я — никто, каковым и желаю оставаться, на родине, в уюте, за шторами или на кухне, где газ горит для тепла, потому что в окошко дует и топят отвратительно. И хотя нефункциональное горение кухонного газа строжайше запрещено правилами экономии («экономика должна быть экономной» — помните лозунг ТОГО, КТО БЫЛ? — **А. А.**), но куда же денешься, если дует, никуда ты не денешься от этого, фигурально выражаясь, ветра эпохи...»

«Душа патриота...», вероятно, будет определена в литературном процессе по ведомству сатиры. И какие-то внешние признаки сатиры в ней, безусловно, есть. Боюсь только, что и сатира, как всякий пафос, здесь очень тонко, изнутри, отпародирована. По-моему же, это настоящий высокий юмор. В чем разница? В сатирическом произведении читатель надежно укрыт за спиной автора, с пафосом «разгребающего грязь» жизни. Между ним и жизнью щит негодования. Сатира — отчуждение, отбрасывание от себя всего, что вам не нравится. Вам, конечно, горько наблюдать отражаемые безобразия, но эта горечь не совсем ваше личное чувство, в вас часто холодно вибрирует «душа патриота» А Евгений Попов, научив вас в «школе юмора» не принимать всерьез собственную персону, парадоксальным образом заставляет волноваться «душу человека». Одного. Отдельно взятого. Лично уязвленного.

ПОТЕРЯННЫЙ И ВОЗВРАЩЕННЫЙ РАЙ

Вообще нужно отметить, что наша литература в последние два-три года заметно «повеселела». Ирония, юмор, фантастический гротеск, сатира занимают в ней все более значительное место, а главное — расширяется сфера жизни, втягивающаяся понемногу в иронико-гротескное переосмысление. Все более и более серьезные вещи начинают отражаться в кривом зеркале пародии. Назову лишь два произведения, ставшие достоянием читателя в прошлом году, и вы поймете, о каких по-настоящему серьезных проблемах речь. Это «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимира Войновича («Юность», 1988, № 12, 1989, №№ 1,2) и «Демонтаж» Анатолия Злобина («Нева», 1989, №№ 5—7). К ним могут быть добавлены и другие произведения последнего времени — «Неформашки» Сергея Абрамова, «Черный человек, или Я бедный, бедный Сосо Джугашвили» Виктора Коркия, «Невозвращенец» Александра Кабакова и т. д. Конечно, они разные, эти книги, и созданы они в разное время. Объединяет их лишь то, что смех направлен в них на явления, почитавшиеся прежде чуть ли не священными. Эти книги нарушают «табу», поэтому совершенно естественно, что их появление вызывает яростное, оскорбленное неприятие части консервативно настроенных читателей. Но это, так сказать, запланированный, исторически обусловленный и неизбежный конфликт. Он и разрешится (или не разрешится) только историей, только беспощадным ходом времени.

Гораздо сложнее тот конфликт, который эта проза несет в самой себе.

Ничего не имея против фарса, пародии, гротеска как жанров и приемов, не видя никаких препятствий для их неизбежной и даже желательной экспансии на все сферы поддающейся изображению жизни, я все-таки испытываю, читая некоторые из этих произведений, двойственное чувство.

С одной стороны, смех, звучащий все громче и увереннее, обнадеживает. Больше смеемся — значит, меньше боимся, значит, все смелее выталкиваем, вытесняем из своих подсознательных тайников стереотипы бездумной веры и подчинения, все решительнее и бесповоротнее освобождаемся от власти прошлого.

С другой стороны, сильнодействующие средства часто имеют весьма неприятные побочные эффекты. И в связи со смехом над бывшими «святынями», над людьми и положениями кровавой эпохи возникает ряд «трудных» вопросов.

Например: не рано ли смеемся? Не слишком ли скоро ужас сменился смехом? Не истерика ли это после пережитого страха? И пережит ли страх? Не

хитрим ли мы, стараясь хотя бы с помощью смеха вернуть потерянный рай, рационализировать, сделать понятными и обозримыми разумом явления, лежащие за пределами возможностей сознания? Не подходим ли мы с мерками гуманного XIX века, когда цвела просветительская сатира, к нашему веку, который кровавой волной перехлестнул все мыслимые пределы? Представить себе несколько миллионов трупов абсолютно невозможно; смеяться, силясь представить их, невозможно тоже. Но, скажем, человек, отдавший приказ, в результате которого и появилось непредставимое число трупов, вполне представим, и классическая сатира оставила нам довольно приемов, чтобы поставить его в любую пародийную ситуацию, нарисовать на него любую карикатуру (как замечательно рисовали когда-то Гитлера Кукрыниксы или Бор. Ефимов!), посмеяться над ним и этим смехом защитить себя не только от страха перед ним, но и от зрелища миллионов трупов. Я, конечно, утрирую этот механизм, упрощаю его, не в одном человеке дело, но вопрос в силе: не примиряет ли такой смех — парадоксально — с тем, над чем смеемся? Не уловка ли это самообороняющегося рассудка? Конечно, «не дай мне Бог сойти с ума», но и веселящийся на свежих могилах тоже не производит впечатления здравомыслящего.

И еще один аспект проблемы, еще один вопрос. Не гордыня ли звучит в нашем смехе, не попытка ли обозначить ушедшее как ушедшее навсегда, если уж мы так смело над ним смеемся?

Вопрос, конечно же, не в том, можно ли вообще делать людей и события недавней истории предметом пародийного, сатирического переосмысления. И можно, и нужно. Вопрос в другом — действительно ли уже пора смеяться, и если пора, то как это делать, не рискуя оказаться дураком на похоронах.

Пожалуй, самый органичный, самый естественный путь нашел Фазиль Искандер. В «сталинских» главах «Сандро из Чегема» он смеется вместе с народом. Это не слишком веселый смех, да, но и ничего истерического, «бесовского» в нем тоже нет.

Еще одна не вызывающая сомнений форма смеха — анекдот, рождавшийся в народной среде даже в самые кровавые времена, бытовавший в ней, несмотря на жесточайшие репрессии. «Развертка» анекдота в роман во многом обусловила успех «Чонкина» Владимира Войновича.

Но не исчерпан ли уже этот путь в связи с прискорбной, но неотменимой данностью — распадом самого народного сознания? Если внимательно присмотреться, то и Фазиль Искандер в «Кроликах и удавах» смеется уж совсем другим, гораздо менее жизнеутверждающим смехом, нежели в «Сандро», и «Чонкин» отдает кое-где стилизацией, реконструкцией исчезающего. Писатель неизбежно оказывается один на один с историей. Что делать ему, на что опираться?

Можно, как я уже говорил, опереться на классические традиции. И это делает, например, Анатолий Злобин в романе «Демонтаж». На ваших глазах разворачивается талантливо сколоченный трагифарс, ставится лихая оперетта с хорошо акцентированным социально-педагогическим смыслом. В романе много по-настоящему ярких сцен, в нем щедро и изобретательно цитируются бессмертные схемы плутовского и авантюрного романов, материал же, из которого он строится, самый злободневный, хотя писалась книга в 1964—1981 годах. И все-таки роман на глазах разваливается, все-таки автор идет в нем на невольную, но явную подмену, на благонамеренный обман читателя. Чтобы доказать это, достаточно обратиться лишь к одному персонажу, впрочем, одному из центральных — генералу госбезопасности Льву Шкунаеву. Он ближайший соратник «Лавруши», удержавшийся на плаву и в новые времена, он ловкий интриган, удачливый царедворец, наглый вор и неутомимый развратник. По иронии судьбы именно ему достается жребий пристрелить своего бывшего патрона, именно он занят демонтажем циклопической статуи «товарища Самина» рядом с «Саминградом», на берегу печально знаменитого канала. Но разве это главное? Прежде всего он палач, хладнокровный убийца.

Что же получается в романе? Во-первых, Злобин совершает грубую композиционную ошибку. Еще Юрий Тынянов в давние идиллические 20-е годы не советовал кинорежиссерам делать отрицательного героя центральным — симпатии публики окажутся неизбежно на его стороне, это композиционный закон. Уже этот невольный просчет ведет к тому, что герой наделяется неким отрицательным обаянием. И вот ведь еще в чем дело: сатира на вора и бабника возможна, а сатира на убийцу — нет. Попробуйте — ничего не получится. А поскольку Шкунаев изображен в романе ярко-сатирически, поскольку все пороки человеческие идут здесь в ход (человеческие — отметьте это слово), то остается в стороне тот факт, что он прежде всего палач и убийца, а потом уже — вор и великий комбинатор. Нелюдь вопреки воле и намерениям автора очеловечивается.

Евгений Попов в своей повести пародировал историю, уже и в реальности превратившуюся в пародию и фарс, идущую на холостом ходу. Анатолий Злобин подставляет кривое зеркало совсем другой истории — она еще дымится свежей кровью. Правда — надо отдать автору должное,— он ввел в роман абсолютно «серьезную» линию, предназначенную, видимо, для напоминания о той бездне, на краю которой разыгрывается оперетка. Это линия инженера Федоровского, бывшего зека, который демонтирует теперь статую товарища Самина. Но эта линия и сюжетно, и композиционно,

и даже стилистически выпадает из целого, и закономерно выпадает. Попробуйте скрестить «Золотого теленка» с «Одним днем Ивана Денисовича»...

Впрочем, и о «Чонкине», и о романе А. Злобина уже заговорила критика. Я бы хотел обратить внимание читателя на весьма загадочное произведение, которое, по незначительности своего объема, может выпасть из поля зрения. Это фантастический рассказ Вячеслава Рыбакова «Давние потери» (Звезда, 1989, № 10).

Читателю придется изрядно поломать голову, решая, что же хотел сказать автор. Я сначала подумал даже, что этот рассказ — дерзкая мистификация и в нем все не всерьез,— включая дату написания. Судите сами — датирован рассказ январем 1984 года, однако действие отнесено к концу 80-х и реалии в нем — именно конца 80-х. В числе жертв терроризма упоминается шведский премьер Улоф Пальме, убитый, если память нам не изменяет, в 1986 году, и Индира Ганди, убитая в 1984-м, но уж никак не в январе. Рок-группа «Алиса», упомянутая в рассказе, вряд ли была столь популярна в 1984 году и т. д. И кое-что — не только фамилия автора — наталкивает на шальную догадку: уж не пародия ли это на «Детей Арбата»? Может быть. Но это все-таки не главное.

Главное то, что Сталин в этом рассказе — Сталин наоборот. Не то интересно, что он чудесным образом дожил до конца 80-х годов — вместе со своими сапогами, френчем, трубкой, косолапостью, вместе со своими секретарями и соратниками, манерой работать по ночам и манерой вколачивать в слушателей свои постулаты. На то и фантастика, и это еще малое чудо. Большое чудо в другом, в том, что н и ч е г о н е б ы л о. Где-то на рубеже 20—30-х годов Иосиф Виссарионович осознал свои ошибки, круто повернул и стал именно тем, кем столько лет изображала его официальная пропаганда,—мудрым, добрым, дальновидным, демократичным патриархом, подлинным отцом народа, пожинающим теперь, в конце 80-х, плоды своей мудрости. Конечно, не было никакого 37-го, и «Коля» (Бухарин) дает Кобе на один день заветный номер журнала «Ленинград» со свежей подборкой Мандельштама. На один день — потому что внучке Николая Ивановича сразу же задали в школе сочинение по этим стихам. Лангемак, Королев и Тухачевский работают над какой-то космической новинкой, а Вавилов возле существующего Аральского моря вырастил нечто невероятное, с помощью чего можно накормить все человечество. Конечно, не было и войны — союз Коминтерна, Социнтерна и демократических правительств задушил ее на корню, и банде Гитлера ничего не осталось, как разложиться в условиях мира. И так далее... В кафе «Марс» на улице Горького играет «Алиса» и поят кофе с коньяком, и завтра товарищ Сталин собирается сходить туда со стенографисткой Ирой Гольдбурт (не поступила девочка в институт, пришлось идти в Кремль стенографисткой), у которой на молодой попке сверкает наклейка «Г. Геринг верке»... Нет, просто невозможно остановиться, перечисляя чудесные подробности: Слава, то есть Вячеслав Михайлович Молотов, улыбается, и что-то с его машиной не в порядке, не сразу она заводится, а съездить на станцию техобслуживания некогда бедняге, столько работы. Словом, все прекрасно, все вызывает законную патриотическую гордость, одно плохо — террористы шалят, неофашисты поднимают голову, вот и в Москве они попытались взорвать Кузнецкий мост (именно мост, высокий мост над глубокой рекой), однако народ не дремлет — дежурят на мосту рабочие вкупе с бородатыми интеллектуалами, попивают опять же кофеек...

Что бы все это значило? Уж не сталинист ли замаскировавшийся проник вдруг на страницы либеральной «Звезды»? Не вечное ли это «Сталин с нами»? А если все это пародия, почему автор так невозмутимо серьезен, почему вам так п р и я т н о, сознайтесь, читать про все эти невообразимые чудеса? И хочется — очень хочется — прочитать, как Сталин слушает в кафе «Марс» знаменитую рок-группу и мудро улыбается в усы, и заталкивает в трубку желтым пальцем «Герцеговину флор», сдерживая свой благородный стариковский консерватизм (слишком, пожалуй, громко кричит эта «Алиса»), чтобы не обидеть, не дай бог, восхищенную Иру.

Что происходит, читатель, почему мы так быстро оттаиваем, ведь на столе рядом со «Звездой» — «Новый мир» с «Архипелагом»? А то происходит, что нам возвращают утраченный рай и мы неосознанно делаем благодарное движение навстречу. Но рай возвращен на мгновение, и для того лишь возвращен, чтобы мы осознали, как еще глубоко в нас сидит идиллический образ не только Иосифа Виссарионовича, но и власти вообще.

Это тоже смех, но это действительно какой-то н о в ы й смех, смех со сжатыми зубами, смех по-особому действенный. И здесь, конечно, нужен читатель, готовый к достаточно глубокому самопроникновению, потому что Вячеслав Рыбаков, по существу, отказывается быть его проводником, оставляя в тексте лишь едва заметные знаки своего присутствия.

ПРОЗА «БЕДНАЯ» И ПРОЗА «ЖЕСТОКАЯ»

«Бедная» проза (А. Курчаткин, многие вещи В. Маканина, А. Афанасьева, Р. Киреева, других «сорока-» и «тридцатилетних») и проза «жестокая» (она у всех сейчас на слуху — С. Каледин, Л. Габышев, Г. Головин и др.) тоже область повышенной конфликтности.

Я недаром соединил их союзом «и». Вглядываясь в современную литературную ситуацию, понимаешь, как несправедливо порой распределяет судьба свои лавры. Судите сами. «Бедная» проза еще в 70-е годы вышла на затяжной конфликт с читателем и критикой, терпела бесконечные поношения за приземленность сюжетов, за кажущуюся мелкость характеров и проблем, за нарочито аскетический, заведомо ограниченный выбор художественных средств, за дьявольское терпение автора, который не торопился не то что наказать примерно негодяя и подлеца, возвысив праведника и страдальца, но и просто хоть как-то проявить свое отношение к изображаемому. Терпела «бедная» проза поношения и долбила в одну точку, показывая нам, как неладно мы живем, как бедна она и тесна — наша жизнь. И дождалась наконец отклика. Началась эйфория коллективного прозрения. Словно в один миг все перевернулось, ворота, в которые стучали своим тяжелым бревном упрямые прозаики, распахнулись сами, и вот уже бойкие публицисты в «полемике журнальной» запросто используют добытое многолетним неблагодарным трудом, и это действительно, оказывается, «давно уж ведомое всем».

«Жестокая» проза, до самых недавних времен вынужденная скрываться в подполье, освобожденная подпольем от цензуры и самоцензуры, зарядившаяся в нем упругой социальной энергией, встретила по выходе из него горячую поддержку критики и неподдельный интерес читателей. Многое определил ореол «гонимости», но главным фактором успеха стало, конечно, само время появления «жестокой» прозы на свет. В переломный момент своей жизни общество ощутило потребность познать себя во всей неприкрашенной обнаженности, честно заглянув и в те закоулки, которыми прежде брезговало. «Жестокая» проза с ее обостренной социальностью, с ее цепким исследовательским рефлексом, с ее пристрастием к сюжетному драматизму, обнажающему недвумысленную позицию автора, не могла не прийтись этому времени ко двору.

Но лавры-то надо бы разделить по справедливости, потому что концептуальное ядро «жестокой» прозы, без всякого сомнения, составил переосмысленный опыт прозы «бедной». Она не заглядывала в интимный мир кладбищ, не интересовалась технологией самой древней профессии, старалась не сажать своих персонажей в колонии разных режимов. Держалась она середины, равнинного течения жизни, но героя-то, расплывчатого, «никакого» человека, которого судьба по своей надобности отформует в конторщика и в могильщика, в милиционера и сутенера, в праведника и негодяя, она определила верно. Он и был подлинным героем нашего времени.

Может быть, потому и роптал читатель против «бедной» прозы во времена «застоя» гораздо громче, нежели сейчас ропщет против прозы «жестокой», что в героях первой приходилось со стыдом и отвращением видеть собственные черты, а герои второй уже так далеко ушли от неопределенной нормы по дорожке случайной судьбы, что можно было про них сказать с облегчением, отчуждаясь — «они». Маргиналы, бичи, бомжи, шлюхи. «Они».

Однако бог с ним, с литературным успехом. Тем более что ситуация в литературе меняется сейчас быстро, с появлением почти каждого очередного номера журнала. Вот и конец прошлого года дал два выразительных повествования — по одному с каждой стороны. Анатолий Курчаткин опубликовал в «Октябре» (№ 9) повесть «Веснянка», а Геннадий Головин в «Юности» (№№ 9, 10) — повесть «Чужая сторона».

Замечательны эти повести тем, что «бедная» проза заметно двинулась здесь в сторону «жестокой», а «жестокая» явно шагнула навстречу «бедной».

Анатолий Курчаткин заявил вектор изменений уже в самом жанровом определении своей книги. «Житие» — гласит подзаголовок, и он нас не обманывает, как часто бывает. Жизнь героя, Петра Горяева (фамилия, кажется, говорящая?), стихийного и наивного праведника, не слишком-то много требующего от жизни, выстроена в повести в жесткую линию. Нет ничего лишнего, только тесная, неумолимая колея.

От потери к потере ведет автор своего героя, от одного унижения к другому. Вот каким начинает Петр Горяев свой крестный путь: «с восторгом и упоением мечталось совершить в жизни что-то большое, прекрасное, нужное всем, каждому человеку в отдельности и всему человечеству вместе, хотелось добраться до каких-то таких высот в деле, которым будешь заниматься в жизни, что тебе откроется с них в своем таинственном внутреннем устройстве весь мир». И мир начал открываться...

С первых же страниц начинает сгущаться атмосфера беды, несчастья, гибели. Курчаткин подробно, последовательно и отрешенно показывает, как точечет его героя жизнь, как методично она загоняет его в щель между жерновами (этот

образ несколько раз промелькнет в повести), как легко и обыкновенно его предают лучший друг и возлюбленная, как цинично и равнодушно его используют встречающиеся на жизненном пути женщины и мужчины, как быстро лишним, беспюлезным, если не вредным, оказывается в этой жизни главный его капитал — умение безотказно, самозабвенно, страстно работать, природная порядочность и бескорыстие. Ни просвета не брезжит в этой тьме, зато динамика уничтожения живой души героя так ошеломительна, что читатель, проникшийся с первых страниц горячей симпатией к Петру Горяеву, отказывается верить, что такое возможно. Можно подумать, о библейском Иове рассказывает писатель, а не о советском инженере. Все кажется, что на следующей странице тучи рассеются, добродетель вознаградится. Ожидание справедливости, ее обязательного утверждения (не этому ли веками учила литература?) постоянно держит читателя в напряжении, но судьба всякий раз обманывает героя, автор — читателя. Вот женится Петр на симпатичной девочке Лене, и кажется, она награда ему за прежние страдания и унижения. Но очень скоро Лена бросает ему в лицо характерную реплику: «Какая я дура была, какая глупенькая! Серьезный всегда такой... загадочный! Я думала, он главным инженером станет, не меньше, я буду идти, а у меня за спиной будут шептаться: жена главного инженера, жена главного инженера... а он даже старшим инженером не может стать... пентюх какой-то!» Вот, оказывается, какая пошлость таилась за «стрекозиными» глазами влюбленной девочки...

Свет все-таки появляется в повести, но это издевательский, обманный свет, он жестко и беспристрастно освещает зрелище поля проигранной битвы. Жизнь вошла в спокойное русло, но только потому, что герой сдался под напором судьбы, пошел навстречу унижению. Только одно ему осталось — оплакивать растоптанную жизнь да надеяться, что судьба сына будет иной. Но будет ли она иной? Финал повести — возвращение к ее началу. Теперь не Петра Горяева зовет откуда-то из пустоты таинственный голос, «веснянка», а его сына. И не о том ли плачет герой в финале, что и сыну пришла пора готовиться к той же колее, к тому же скрежету жерновов, равнодушно перетирающих маленькую человеческую жизнь?

Читатель оставляет «Веснянку» со стесненным сердцем, но и с убеждением, что так не бывает, а если и бывает, что на человека сваливается сразу столько несчастий, то крайне редко.

Все верно, не бывает. Но на то и «житие» — можно ответить за автора. Правда, разворачивается оно «неправильно», не в согласии с традициями жанра. Ведь не восхождение в нем, а нисхождение?

Читатель далеко не сразу осознает, что искусно обманут. За несчастья в немыслимой концентрации ему выданы знакомые каждому бытовые, житейские проблемы — ну, возлюбленная измекила с лучшим другом, обошли должностью за наивную строптивость, безденежье одолело, и пришлось-таки идти на поклон к властолюбивому и ухватистому тестю... Помилуйте, кто же обошел все зто, кто ие пригубил из этой общей чаши? У Иова библейского, помиится, все было отнято — и дети, и жена, и имущество, и здоровье...

В том-то и дело, что автору, чтобы доказать нам, что унижение — обычное, повседневное, незамечаемое — великое несчастье, потребовался особый герой, особая, почти праведническая по нынешним временам мера его отношения к себе самому. Чтобы мы почувствовали, какую жестокую, унизительную, несправедливую жизнь мы построили, чтобы мы услышали, как визжат жернова этой жизни, перетирая нас всех, нужно было, чтобы между ними попал камешек — Петр, чтобы его сопротивление механической силе вызвало ее ответный, сокрушительный напор. В этом смысле «Веснянка» — действительно «житие» с присущим жанру вполне определенным, концентрированно эмоциональным дидактическим посылом.

Если у Курчаткина эта дидактика запрятана глубоко в саму ткань художественного текста, в неумолимо правильную, линейную композицию, то Геннадий Головин открыто дидактичен в своей «жестокой» повести «Чужая сторона».

«Чужая сторона» — это наша с вами сторона, наша с вами жизнь, которую кто-то умудрился устроить так, что мы оказались в ней чужими — ей и друг другу, чужими и лишними.

Иван Чашкин, главный герой повести, по-своему тоже персонаж житийный, восходящий от незнания к знанию, от слепоты к прозрению. Но его крестный путь автор, верный традициям «жестокой» прозы, укладывает не в сорок лет, как А. Курчаткин, а в три дня. При этом интересно, что Чашкин — герой, знакомый нам преимущественно по прозе «бедной», разве что на социальной лестнице он стоит пониже привычных героев Курчаткина или Киреева. Из равнинного течения тусклой, «никакой» жизни без особых радостей и бед Головин своего героя буквально выдергивает — беспощадно и ошеломительно для него — телеграммой о болезни матери, потом вестью о смерти, необходимостью лететь за тысячи верст на похороны. Для Чашкина, который уже пятнадцать лет не выбирался никуда из своего убогого поселка, это само по себе страшно. Но Головину этого мало, он многократно усиливает драматизм путешествия, совместив смерть матери Ивана со смертью Брежнева, по причине которой Москва «закрыта», а все пути-дороги в нашей «чужой стороне» лежат, как известно, через столицу. Окольная же дорога стоит герою жизни. Все мыслимые и немыслимые беды обрушивает

на него автор: его обкрадывают, выбрасывают из поезда, жестоко избивают, забирают в милицию и так далее.

У Чашкина, свыкшегося за полсотни «никак» прожитых лет с убогостью окружающего, изрядно отупевшего от равнодушного исполнения жизненной рутины, начинают открываться глаза. Природно он скроен, как и лучшие герои «бедной» прозы, из добротного, надежного материала, в нем живет естественное чувство нравственной нормы, усыпленное, но не вытесненное утешительиой иллюзией, что где-то же идет, непременно должна идти правильная, красивая жизнь, где-то «чужая сторона» обращена к человеку своим добрым, родственным, материнским ликом. И главное его открытие, главное потрясение — то, что вся страна оказывается тем же грязным, убогим, никому не нужным поселком при жалкой «фабричонке», где Иван равнодушно, изо дня в день «макает» заготовки то в одну, то в другую «химию»...

Скажем сразу: Иван, такой, каким он задуман в повести — униженный полустолетием бессмысленной, серой жизни, равнодушный к себе самому, к миру и его устройству, жалкий в обоих смыслах этого емкого слова,— вряд ли способен был своим умом дойти до тех *мыслей*, которые он думает, совершая свое скорбное путешествие по родной, по «чужой стороне». Сердцем бы — да, ощутил, потрясся бы всей бездной униженности и бесправности, в которую ввергнут вместе со страной и соотечественниками, ио рассудком? Вряд ли. Но автору мало эмоционального отклика, он не совсем уверен в читателе, и он ломает логику образа, волевым усилием вмешивается в его самостановление. Он превращает Чашкина в своего рода наивного Кандида, резонера философской повести, дающего всему увиденному и пережитому точные, выверенные социальные оценки и характеристики, поскольку именно социальное больше всего волнует здесь Головина. Взглядом автора, конечно же, просвечены насквозь «хозяева жизни», авторский голос обвиняет их в том, что они сделали родную сторону чужой для миллионов Иванов Чашкиных. С помощью автора герой доходит и до мысли о собственной своей вине, о собственном своем соучастии в этом преступлении: «И в зту ночь Чашкин, достаточно уже изъязвленный обидами, оскорблениями и унижениями, впервые — украдкой! — подумал о том, что, может быть, не вовсе правильно прожил он полста своих лет. Неинтересно ему было, кто и как им вертит. От нелюбопытства? Да! Но ведь и от лени же. Но ведь и от трусости». Конечно, это не Чашкин цитирует Пушкина — «мы ленивы и нелюбопытны», это автор. Это усилиями автора герой все-таки доведен до цели, до «безмерно печального черно-белого пестренького поля», за которым кладбище, это волей автора герой — выносливый, многотерпеливый Чашкин — гибиет на последних шагах крестного пути, захлебываясь кровью.

Да, дидактикой отдает повесть Геннадия Головина, и, может быть, лишенная «философских отступлений», подозрительно стройных размышлений героя, она была бы гораздо более органичной, естественной, динамичной, «жестокой». Но автор думает о читателе, он нацелен на читателя, он хочет его убедить в том, в чем ценою жизни убедился его герой. Это ему важнее органичности и достоверности, и зто делает дидактику повести по-особому страстной, по-особому гражданственной.

Головии безжалостно ввергает читателя в конфликт, но он же и помогает читателю выйти из конфликта обогащенным. Может быть, здесь сказывается определенная недооценка возможностей партнера по диалогу, но это одна из эффективно работающих его моделей.

* * *

Вот всего лишь несколько «проб грунта», всего лишь несколько примеров конфликта писателя со своим читателем. Можно с уверенностью предсказать, что дальше их будет еще больше, этих конфликтных ситуаций, ибо устремленность литературы к новому мироотношению, напор нового материала непременно побудят ее ломать устоявшиеся, привычные формы диалога.

Умный читатель охотно пойдет за ней, поверит ей. Но что делать с другим читателем, с тем, который развращен десятилетиями официального господства псевдолитературы, унылым комфортом многотомных «эпопей», бедными схемами отечественных «вестернов», «истернов» и «готических романов»? Можно сколько угодно праздновать появление на русском языке давно впитанного мировой культурой «Улисса», можно спорить о «Лолите» и «Даре», но ведь совершенно ясно, что миллионы и миллионы до сих пор судят о прочитанном по прописям, изготовленным еще теоретиками классицизма и лишь подновленным пестунами «соцреализма» и всякими «объясняющими господами» при нем.

Должен ли писатель считаться с этим? Должна ли литература, перед которой открылась свободная даль, поджидать не поспевающего за ней читателя? Когда-то Алексакдр Блок написал гордые слова: «Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов...» Прекрасная декларация суверенитета художника. Хоть сейчас подпишусь под ней. Но только лишь потому подпишусь, что помню другие слова Блока, такие же беспощадные: «Не стыдно ли гордо отмалчиваться на «дурацкие» вопросы?.. Это — всякий лавочник умеет...»

«У нас любят повторять: «Писатель всегда в долгу перед народом...» Это неправда»,— раздраженно говорит Т. Толстая, и ее раздражение можно понять. Благородная категория «долг писателя»,

составлявшая сердцевину нравственного кодекса великой русской литературы, была расчетливо и цинично использована, чтобы привязать писателя к государственному механизму, сделать его «чтецом и декламатором» высочайше утвержденных идей. Теперь он хочет — и имеет на то полное право — эмансипироваться от всех навязанных ему долгов. Он имеет право адресовать читателя, находящегося на уровне «дурацких» вопросов, к «народным рассказам» Льва Толстого, в Минпрос, к журналу «Знание — сила» и спокойно, в неторопливой беседе с читателем-единомышленником заняться выработкой «нового зрения». Трагедии никакой не произойдет. Число читателей будет неуклонно расти. От ста тысяч «понимающих» родится, предположим, двести тысяч им подобных, а от ста миллионов «олухов» родится двести миллионов потребителей все более и более развесистых «эпопей». Охотники их писать всегда найдутся. А потом «агрессивное большинство» будет все более и более азартно «захлопывать» слишком мудрено изъясняющихся ораторов, а в редакции газет пойдут возмущенные письма: «Я романа имярека не читал, но требую...» Свято место пусто не бывает.

Упаси бог — я не предлагаю Андрею Битову или Анатолию Киму заняться производством нравоучительных мелодрам. Специальная словесность «для народа» в любом виде — дело совершенно бессмысленное, находящееся за пределами литературы. Логика ее развития исключает искусственное «опрощение».

И я вовсе не хочу снять ответственность за диалог с читателя, который пока еще, к сожалению, в огромной массе напоминает Ивана Чашкина, ленивого и нелюбопытного. Он виновен, конечно, и наказан уже тем, что обделен. Но что-то не радует эта справедливость. Так уж сложилось исторически, что литература представительствует у нас за многие блистательно отсутствующие общественные институты — мораль, философию, религию, чуть ли не политэкономию и право, и до облегчения этой ноши пока далеко, хотя и есть уже сдвиги. В таких уникальных условиях грех высокомерничать и апеллировать к вечности, важна каждая «обращенная» душа. Никто, к сожалению, не вырастит для литературы читателя, какого бы она хотела иметь, кроме нее самой. Поэтому так важна в творческом темпераменте русского писателя своеобразная «педагогическая» составляющая. Речь не об унылой и наивной назидательности, речь о желании и умении втянуть читателя в разговор, который ему, возможно, не слишком приятен. Речь об активном авторе, провоцирующем читателя на активное же сопереживание, немедленный отклик.

г. Иваново

За что?

Если в жизни изначально «хватало всякого, больше трудного и плохого», если она «большей частью дразнила счастьем, а вдоволь наделила работой, тревогами и — бедой», то неудивительно, что слово «счастье» в новой повести Василя Быкова едва ли не из самых редких. Однажды оно и вовсе появляется в противоестественном соседстве со словом «смерть». Оказывается, завидная участь выпадает отнюдь не каждому — намаявшись за отпущенный тебе век, «после смерти остаться со своими в родной земле». Для неприкаянного, гонимого Хведора Ровбы это было бы «счастьем, о котором он мог только мечтать»...

Иное дело — «жизнь», «судьба», «доля» — слова наиболее частые в повести с непременно сопровождающими, уточняющими эпитетами. Жизнь — «нелепая, каторжная», «с дьявольской выдумкой» обрушивает удар за ударом. Судьба распроклятая, злосчастная, через край полна «нелепыми вывертами». Что же до доли, то какая может быть доля у человека, если деревня, откуда он родом, где вырос, честно жил и на совесть трудился, но все одно был оттуда поразбойному выдворен, насильно вышвырнут «в бесприютный, неведомый свет», называется не как-нибудь, а Недолище? Явно из того же ряда «смежных деревень» — в «Подтянутой губернии, уезде Терпигореве, Пустопорожней волости», что и «Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово,— Неурожайка тож». С той, однако, существенной оговоркой, что **недолищем** в пору действия повести была — «с южных гор до северных морей» — вся страна.

Сюжетно повесть выстроена так, что многое оставлено в ней «за кадром». Приходится лишь догадываться, чего стоило Хведору Ровбе возвращение к родному пепелищу, куда он «дошел, добежал, дотянулся за три месяца невероятного пути, мук и терпенья». И чем грозил ему этот третий, отчаянный побег домой после двух неудачных — с гибельных лесоповалов и торфяников. Как удачно, видать, сработала фальшивая справка на чужое имя, но какой новой бедой могла обернуться. Все это и многое другое, воображаемое, додуманное и домысленное, оставлено за пределами повествования. Непосредственно же в фокусе его воспроизведены всего три, почти по часам расписанных дня, которые непритульный изгой провел вблизи деревни, кружа окрест по лесам да болотам. Но и этих считанных дней и часов, последних в жизни Хведора Ровбы, предсмертных часов достаточно для того, чтобы ужаснуться неправым раскладом добра и зла, когда для человека уже нет на свете ничего страшнее другого человека. И не где-нибудь за тридевять земель, в тридесятом царстве-государстве, а у отчего порога, где все «свои, знакомые, деревенские». Но в том и драма, что «встречи со своими он теперь опасался больше всего».

И, как покажет трагический финал, был прав в опасениях. Не одни пограничники с близлежащей заставы (до сентября 1939 года советско-польская граница проходила в двух-трех десятках километров от Минска) и не только ретивые активисты из района, партийцы да комсомольцы, но и односельчане, соседи «собрались ловить беглеца»...

Сходная ситуация охоты на человека, гона, преследования развернута в «партизанской» повести Василя Быкова «Волчья стая». Но там обкладывали лес и загоняли людей в болотные трясины каратели, подавлявшие народное сопротивление фашизму. В новой повести варварскую расправу над «забитым, малограмотным белорусом» вершит деревенский люд, ожесточившийся, но свой, и бесправной жертвой карательного произвола становится земляк, сосед, виновный единственно в том, что «проклятая судьба уготовила ему в такое время родиться крестьянином».

Воистину, как с горькой надсадой обронено Александром Твардовским в поэме «По праву памяти», «...суть не в малом перегибе, когда — Великий перелом». Осуществлялось планомерное истребление крестьянства путем как чудовищных репрессий, так и спровоцирован-

---

Василь Быков. Облава. Повесть. Авторизованный перевод с белорусского Валентина Тараса. Новый мир, № 1, 1990.

ного, организованного голода: в масштабах того и другого расхожий сегодня термин «раскрестьянивание страны» звучит благонамеренным эвфемизмом. Шла тотальная война с народом, в которой побеждал — и это пора признать открыто — сталинизм. Вот почему облава на Хведора Ровбу воспринимается не просто и не только кульминацией драматического сюжета. Это образная мета времени, символический знак общенационального бедствия, метафорическое обобщение судьбы человеческой, которая укрупнена, поднята до народной.

Вот одна из впечатляющих сцен повести — постыдный разбой, чинимый над семьей Хведора Ровбы. Куда как легко и просто «разуть дитя», снять с ребенка перед дальней дорогой — а ведь «не в теплые же края едут — на север, в стужу и морозы!» — ладные валенки, попавшие на «хищные очи уполномоченного» по выселению раскулаченных. Но всех босых в них не обуть: грабительский промысел, благословляемый именем народной власти, направлен против обреченного на заклание народа и лишь усугубляет его и без того нищенское существование. На присвоенном чужом добре не обрести собственного достатка, как и всеобщее счастье не возвести на зыбучем песке несчастья даже одного человека. Что же говорить тогда о жертвах, исчисляемых восьмизначными цифрами? Казалось бы, перед их обезображенным ликом не до слезинки замученного ребенка. Какая там слезинка, если пролиты реки слез, океаны крови?

Но искусство на то и искусство, чтобы драма одной человеческой судьбы была в силах перетянуть на себя чашу истории. Будь то судьба малолетней дочери Ровбы, на скорую руку погребенной посреди северного безлюдья на обрывистом берегу таежной реки, или сломанная, искореженная, перемолотая жерновами сталинской коллективизации жизнь ее отца-бедолаги.

«За что все это навалилось на меня? Разве я так грешен перед людьми или Богом? Разве я кого убил, ограбил или обесчестил кого?» — то и дело вопрошает Хведор Ровба, и отчаянный вопрос его становится рефреном повествования. «Это проклятое *за что* раскаленным гвоздем сидело у него в голове. Тысячу раз спрашивал себя, когда ехали в смрадных вагонах на север, когда их гнали обозом по замерзшей реке, когда мучился на лесоповале в тайге,— спрашивал у жены, у людей, знакомых и незнакомых, спрашивал у начальников — *за что*? Ему толковали о власти, о классовой борьбе и коллективизации. Но никто не смог объяснить так, чтобы стало понятно: за что у него отняли землю, которую ему дала власть, лишили нажитого им имущества и сослали на каторгу?»

Откуда было знать герою повести, что роковым клеймом лишенца, твердообложенца, спецпоселенца метилась не его одного — всего крестьянства судьба? Советская власть хоронила свои первые замельные декреты, до неузнаваемости извращенные политикой сначала военного коммунизма, затем коллективизации, вконец выхолощенные административно-командной системой сталинизма. Ей и держать ответ за антинародные злодеяния, преступления против человечности.

Не только в сфере экономической, хозяйственной, производственной, которая, как зорко примечает рачительный глаз Хведора Ровбы, пришла в запустение и упадок, словно его разграбленный, заброшенный — «сплошь пустырь и разор» — хутор. Не дружной артельной работой, тем паче не бодрыми шлягерами из фильмов Ивана Пырьева встречает колхозное поле, а уныло согбенными спинами босых деревенских баб. Ими верховодит «голенастый мужик, должно быть учетчик, в то время как трое других гнали плугами борозды, то и дело зло покрикивая на лошадей. Лошади — видно было отсюда — едва двигались от усталости, мотая низко опущенными головами. Это были худые, заморенные крестьянские лошади, которых в их деревне когда-то можно было увидеть разве что у самых никудышных хозяев...» Один из них, не к ночи помянутых, «горластый активист», по всему судя, вышел в начальство, и «это даже смешно... Тот самый Змитер, который за жизнь не научился сплесть лапти...»

Не на руку ли таким ленивцам и бездельникам, но зато шустрым, хватким горлопанам яростная анафема зажиточному фермерству? На нее не скупятся ныне иные «деревенщики» — публицисты, экономисты и даже политики, в пылу ревностной защиты крестьянской общины ностальгически возлюбившие вдруг нищие колхозы запоздалой, но страстной любовью. Молочные реки и кисельные берега, успокаивают, утешают они, не наш национальный идеал. Чем туже затянешь пояс, тем большим прослывешь патриотом. Лучше всем и каждому жить одинаково плохо, чем поразному хорошо. Логика, лишенная человеколюбия, гуманизма!..

Столь же невосполнимы потери в сфере духовной, лишившейся вековечных опор в крестьянской нравственности, трудовой морали. К ним, этим опорам, расшатанным и порушенным, тщетно взывает Хведор Ровба своими «за что?», и на сей раз безответными. «В самом деле, почему он неприкаянно валялся здесь, в двух верстах от места, где впервые увидел свет, где прожил взрослую свою жизнь, где родились его дети? Почему он стал презренным для всех чужаком, ненавистным изгоем, кто в том повинен? Он сам или кто другой? А может, никто? Но как же тогда все это стало возможно? Сколько он ни думал о том, как и с чего началось, вразумительного ответа найти не мог. Наверно, потому, что началось все незаметно, нелепо и неожиданно, а обернулось именно тем, чем обернулось».

Противоестественным ходом, ненормальным укладом жизни, распадом вековечных ее связей и скреп. «Не по-людски и не по-божески» живет коллективизированная деревня, и у односельчан теперь «всегда отыщется повод, зависть или злоба» для оправдания жестокосердия. И нет места доброте, которая испокон веку «там, где справедливость и правда. А где классовая борьба, непримиримость, где всякий, кто выше, что хочешь сделает с тем, кто ниже,— какая там доброта? Должно быть, вместе со временем и доброта канула в вечность, на смену ей пришло что-то другое — жестокое и беспощадное». Нет поэтому ни былой открытости и доброжелательности взаимоотношений, ни взаимопомощи, взаимовыручки в беде — люди, особенно молодежь, «сплошь комсомольцы», воспитаны (и на комплексе Павлика Морозова в том числе!) «в ненависти и подозрении к любому чужому и незнакомому. А к такому знакомому, как он (Хведор Ровба. — **В. О.**),— тем более». Не осталось добрососедского сочувствия и сострадания друг другу, бескорыстия, сопереживания общих печалей и радостей. Да что соседи — «распадались семьи, рушились кровные человеческие связи. Братья становились чужими». Такое отчуждение человека было столь всеобще и всепроникающе, что порой казалось, будто и не сыскать на земле существа лютее. Хведору Ровбе предстоит сполна изведать это на себе, когда, вконец обессиленный, не будет знать, куда бежать, где спасаться.

«Люди, за что же вы так? — звучал в нем отчаянный вопль.— Что я вам сделал плохого? За молотилку? Так какое от нее зло? Она же вам пособляла. Или я много взял для себя? Я же все отдал вам — берите! Только за что же меня так? Одумайтесь, люди!..»

Никто, однако, и не думал одумываться — его гнали, как гонят волка на охоте. А он все ждал, что кто-нибудь остановится, крикнет: «Постойте, братцы! Что же мы делаем?!»

Никто не остановился, не сказал, и его гнали дальше».

И был среди загонщиков-ловчих родной сын, которого Хведор Ровба спустя семь ссыльных лет узнал по голосу. Верный себе, своей всегдашней готовности страдать и терпеливо сносить страдание, отец тут же готов если не совсем простить отступника, то хотя бы подыскать смягчающие сыновью вину обстоятельства: «Бедный Миколка, что он переживает теперь, думал Хведор. Наверно, не по своей воле — заставили»...

Новое заострение и без того предельно драматизированного сюжета? Если бы... Тут к месту снова вспомнить «По праву памяти», где нелюдское «отринь отца и мать отринь» выступает родовой метой сталинистской морали. Не по принуждению — по собственному разумению действовал молодой Ровба. Никто не подбивал его охотиться на беглеца-отца, от которого он заблаговременно отрекся, хотя компрометирующую фамилию не успел сменить. Он поступал так по доброй воле и, скорее всего, с сознанием безупречной правоты. Ибо, выбившись по возвращении с армейской службы в партийное руководство района, твердо усвоил, в какой превеликий «ущерб любви к отцу народов» грозит вылиться «любая прочная любовь».

Как и несчастный Сущеня (повесть «В тумане»), Хведор Ровба предпочел добровольную смерть (сбылась-таки мечта «умереть дома»!) тяжкому бремени земного бытия, на которое неизбежно был обречен в случае поимки. Ненавистная «кулацкая морда», он стал для забитых, одурманенных односельчан вроде нехристя, которого будто бы для их же блага «выгнали из деревни, выбраковали, словно запаршивевшего подсвинка, чтобы не портил стадо».

«Стадо» не захотело, чтобы Хведору Ровбе «дано было жить тихо». Зато наперекор ему он «хоть тихо умер». На то была его воля, наконец-то высвобожденная, не укрощенная смирением, в силках которого он и в жутких условиях поселения покорно «терпел голод, унижение, отчаяние. Немало лет все его усилия были направлены только на одно — перетерпеть... Пожалуй, не было на свете такой каторги, которую бы он не научился претерпевать молча».

Надо ли разъяснять, как удобно и выгодно было тоталитарному режиму такое народное терпение? Не иначе как в похвалу «вождь и учитель» произнес победный кремлевский тост, отождествив терпение, а вернее, долготерпение со смирением и покорностью, безропотностью и послушанием, и назвав его одной из трех (не двух и не четырех, а строго трех — излюбленная арифметика семинариста) черт русского национального характера. Как тут не повторить вслед за Борисом Слуцким:

Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть,

не заметить попутно, что по-прежнему приводить застольное слово самозванца-генералиссимуса как свидетельство русского патриотизма, якобы породившее «лютую ненависть к Сталину всех русофобов», унизительно именно для национального достоинства, национального чувства русских. Как и других народов страны. Ибо страдательная философия, смиренная мораль терпения обернулись для судьбы человеческой и народной неисчислимыми бедствиями, невосполнимыми потерями. Таков один из социальных и нравственных уроков истории, которые извлекает и утверждает Василь Быков в повести «Облава».

Если не считать ранней прозы писателя, это его пока что единственная повесть не о войне. Но ее по-своему предвосхищали частые обращения к 30-м го-

дам в прежних повестях. С одним из них в повести «Знак беды» преемственно связана и повесть «Облава».

Так под пером Василя Быкова происходит своего рода сращение и двух глубинных пластов народной истории, и двух тематических ветвей современной прозы — «военной» и «деревенской». Что обещает это соединение, даст ли деревенской прозе необходимое «второе дыхание», покажет будущее. Но уже сейчас ясно, что плодотворные усилия писателя возвращают этой прозе ослабленный было историзм художественной мысли, оттесненное социально-аналитическое начало реализма. Вполне может статься, что это предвестье новой волны «деревенской прозы». Какой по счету, если, ограничившись послевоенными десятилетиями, вести его от «Районных будней» Валентина Овечкина?

Первой!

Потому что все, что одухотворено талантом, его незаемной мыслью и нестесненным чувством, в литературе всегда впервые...

В. Оскоцкий

Долюшка женская

Кажется, я начал понимать, что такое культ личности, террор, тоталитарный режим, словом, бедствия, которые мы пережили. Появились всего лишь наметки, но я уверен: стою на верном пути. Уверенность свою выражаю в бесчисленных статьях и рецензиях, в ответах на анкеты, рассылаемые ныне журналами пишущей братии. Единая мысль дробится, как-то она не слышна. Но тешу себя надеждой, что услышат когда-нибудь и не окажется необоснованной моя угрюмая радость: понял!

Воспоминания узников, лагерников вторглись в общественный обиход. Вероятно, они уже становятся самостоятельным жанром, автономно входящим в состав мемуарной литературы. Согласимся: одно дело — спокойные, развернутые воспоминания литературных и политических деятелей XIX столетия, будь то писатель Иван Панаев или министр Сергей Витте, граф, приближенный царя. Другое дело — «Четвертая Вологда» Варлама Шаламова или те мемуарные элементы, которые входят в его рассказы о Колыме, в «Архипелаг...» Александра Солженицына. Разница здесь не только в интонации, в манере письма. Разница глубже: в образной системе, в эстетической подоплеке повествования. И для литературоведа-филолога здесь — необъятное поприще: исследуй и обобщай. Анализируй поэтику новых, невиданных мемуаров, а за ней уже как бы сама собой придет и поэтика общественной жизни, ибо существует и таковая.

Есть экология. А есть, позволю себе каламбур, «зэкология»: наука об узниках, «зэках». О заключенных. Об особенности их мышления, прямо-таки бьющей в глаза: подлинность, эмпирия жизни тотчас же возводится к тысячелетнему религиозному мифу. Всего прежде: к образу ада (ни Панаев, ни Витте, ни декабристы или народовольцы, претерпевшие узничество, в нем не нуждались). Инфернализация пережитого была начата Солженицыным, и роман его назван был с откровенной ориентацией на миф, на бессмертного Данте: «В круге первом». И — началось: уже не знаю, читали ли «Ад» в переводе хотя бы. Вероятно, не все читали. Но все знают, что в аде девять кругов, и все это варьируют, хотя те, кто побывал в последнем, в девятом круге, молчат: убиенны они. Но оставшимся в живых восьми предыдущих кругов достаточно для создания диковинной поэтики многолетних сошествий во ад.

«Крутой маршрут» Евгении Гинзбург — драгоценнейший документ для анализа инфернальной эстетики культа личности. А специфика очевидна: это — воспоминания женщины. Голос женщины-«зэка». А следовательно, голос матери, ибо каждая женщина, окажись она даже обойденной судьбой, все равно остается матерью. По призванию. По душевному складу. А у Гинзбург — мать без каких бы то ни было оговорок: муж, два сына, Алексей и Василий, в дальнейшем именуемый «Васькой», потому что именно так именует его мать родная, и не мне ей перечить.

Итак, мать. Мать, проделавшая огромный духовный путь: от почти слепой ортодоксии большевика-просветителя 20-х и начала 30-х годов к дорого доставшемуся прозрению, длинный-длинный маршрут в «вагонзаке» на Дальний Восток. Колыма, лагеря, послелагерная маета, в конце — дарованная в виде милости свобода. Двадцать с хвостиком лет в аду. И об аде — исключительно существенное свидетельство: хроника жизни ма-те-ри.

Долюшка женская... Тут Некрасов, конечно же, вспоминается, тем более что маршрут, по которому ехала Гинзбург, совпадал с маршрутом воспетых им жен декабристов, русских женщин-аристократок. Сопоставляя условия, в которых передвигались по России они, с условиями, в которых вояжировала Гинзбург с ее подругами, можно только горестно похохатывать. «Эх, царь-батюшка, не знал ты, что такое тюрьма!» — говорил мне известный кинорежиссер Михаил, Миша Калик: после полугода, проведенных им в камере смертников, ему милостиво дали «четвертак», двадцатипятилетний срок каторги. А когда он освободился, понесло его в городе на Неве на экскурсию в Петропавловку, в крепость: и он слушал там заученные объяснения милых девушек-экскурсоводов: «Здесь томился такой-то... А здесь томился такой-то...» Тут-то и не выдержал Калик, вздохнул по поводу простодушия царя-батюшки. Остается повторить его: не знавал, не ведал царь-батюшка и о том, как же именно должны ездить по его неоглядным владениям женщины. Жены, матери, сестры «преступников», а позднее и сами «преступницы», террористки, положим (настоящие террористки). Но суть дела Некрасовым все-таки схвачена гениально: он проник в святая святых материнского, женского горя. Горе это в конце концов не в условиях быта едущих на каторгу женщин; быт величина переменная, а основа — в раз-лу-ке. В разлучении с близкими: с мужем, с отцом. Всего прежде же — с ребеночком. С сыном. А победа — в преодолении этой разлуки.

Разлука в классической русской литературе и в устном народном творчестве — ситуация из устойчивейших. Тон, в котором запечатлевалась она, преимущественно элегичен, особенно там, где речь шла о матери и о сыне, сыночке: «Тарас Бульба» Гоголя, «Казачья колыбельная...» Лермонтова. Удивительно, но в господствующей части литературы социалистического реализма ухитрились говорить о разлуке матери с сыном в каких-то залихватских, разудалых тонах, и первенствовал здесь, конечно же, Демьян Бедный: «Как родная мать меня провожала...» Сын уходит в армию, но это новая армия, и вразумляет он свою темную родительницу, мать солдатскую. Получается какой-то «Некрасов наоборот»: вместо горя Орины, солдатской матери,— перепляс под гармошку; глядь, да и дойдет до еще не охваченной историческим материализмом крестьянки, какое ей выпало счастье.

Хроника Евгении Гинзбург — документ, пополняющий слагающуюся ныне коллекцию ужасов: ужас, предваряющий арест, маета по приемным партийных комиссий; ужас ареста, ужас каторжного труда. Но главнейший ужас — в разлуке. С мужем. А прежде всего — с сыновьями: со старшим — навеки, потому что не стало старшего; а с младшеньким, с Васькой,— на д?лгие годы.

И вот тут-то — о несомненно существовавшей эстетике тоталитарного устроения общественной жизни. Устроение это, по моему убеждению, невозможно понять как явление, ограниченное исключительно сферой политики, экономики; словом, невозможно описать его только в терминах исторического материализма — как раз той методологии, которая содействовала его становлению. Исторический материализм здесь должен предстать частным случаем более универсальных начал; придет время включить тоталитаризм в духовную историю нашей Родины, еще и не начатую. Тоталитаризм был задуман и осуществлен как великое богохульство. И Евгения Гинзбург об этом явно догадывается: «Зло с большой буквы, почти мистическое в своей необъяснимости, кривило передо мной свою морду. Не то сон, не то явь». Явь, конечно. Но явь совершенно особенная.

Никогда еще так много не говорилось о единстве, о всякого рода сплочениях: «монолитное единство», «стальными рядами», «наш многомиллионный народ, сплоченный невиданной дружбой». Никогда в то же время не было учинено столь явно выраженной системы разлук, отторжений, разъятий. Всего прежде удары обрушились на семью. Отсекалась глава, голова семьи: от сына отторгался отец. И отца не просто «забирали», уничтожали. Сыну было предписано отпасть от отца морально: оплевать отца, в идеале — донести на него (вариация: ученику надлежало оплевать своего учителя, и отсюда — особое сладострастие разгрома научных школ). Отъединяя детей от отцов, как бы рвали и узы, соединившие Сына, пришедшего в мир две тысячи лет тому назад, с Отцом его. Сокрушая, поганя земное, имели в виду и небесное. «И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение» (От Марка, I, II). «Я те покажу сына возлюбленного,— ржал, корчась в спазмах хохота, тотальный террор.— Я те покажу глас с небес!..» И били по самой и-де-е, по образу двуединства отца и сына. А отъятие сына от матери? Первым, кто задумал подобную акцию, и задумал ее именно как уничтожение некоей веры, непонятной ему и ненужной, был бессмертный царь Ирод.

«Не слушай ты этого ирода!» — говорит у Гинзбург одна подруга другой, имея в виду очередного садиста-следователя. «Ирод» — не просто кличка, означающая всякого детоубийцу. «Ирод» — термин, имеющий в виду детоубийцу-идеолога, основоположника всякого вероуничтожающего террора; и Евгения Гинзбург, мне кажется, приближается именно к такому пониманию дальновидного политического деятеля еще предхристианской поры (он упоминается ею не раз). Ирод, впрочем, чего-то не рассчитал. По преданию, ангел сошел с небес, дал знать Вечной Матери, что надо бежать в Египет. Как, когда и в каком обличье нам явится ангел, нам разуметь не дано: ангел — это же не юноша с шелестящими крылышками; это функция, роль, в которой может выступать и самый незрачный из смертных. К Евгении Гинзбург ангел явился в лице ее мудрой свекрови, крестьянки из-под Рязани: и советовала, и упрашивала забрать Ваську, бежать в деревню, переждать там лихую годину. Сквозь луга и озера Рязан-

Евгения Гинзбург. Крутой маршрут. Хроника времен культа личности. Даугава, №№ 7—12, 1988; №№ 1—6, 1989.

щины явственно просматривался легендарный Египет, а сквозь сочную русскую речь свекрови — глас ангельский слышался. Не вняла ему, однако, маловерка из казанского партактива: вера в партию оказалась сильнее; она мчалась из Казани в Москву, обивала пороги ЦК и, что называется, качала права в партколлегии. Не спасло: некто Бейлин, скорпион-обличитель, добился-таки своего. Вскоре — арест. И — схождение в подвал казанской тюрьмы: «Сколько ступеней вниз? Сто? Тысяча? — не помню. Помню только, что каждая ступенька отдавалась спазмами в сердце, хотя в сознании вдруг мелькнула почти шутливая мысль: вот так, наверное, чувствуют себя грешники, которые при жизни много раз, не вдумываясь, употребляли слово «ад», а теперь, после смерти, должны воочию этот ад увидеть».

И увидела ад. Ад, простершийся от столицы до Колымы. И предание о сошествии во ад повторяется снова, снова: о, вечная тема словесности! Тема раннехристианских апокрифов, перешедших в русскую литературу; тема, без которой немыслим ни великий Достоевский, ни прославленный своей гражданственностью Некрасов; одна только Матрена в «Кому на Руси...» — воплощение апокрифа в крестьянском его варианте: лечь под розги ради того, чтобы не тронули сына. После — «Мать» Горького, по-своему гениальная попытка создать образ революционной богоматери, не утратившей сына, но обретшей его. Но пока он развития не получил; Евгения Гинзбург запечатлевает не соединение матери с сыном, а, напротив, разъединение их (то же, но в другом варианте, было в жизни Анны Ахматовой).

В мемуары Гинзбург вплетается и сказка о Змее Горыныче. Там и пушкинский «Евгений Онегин» звучит, лишний раз свидетельствуя о буквально всепроникающем воздействии этого ободряющего романа: он читается наизусть в ритме поезда, неспешно влекущего на каторгу толпу оскорбленных, измученных женщин. Стало быть, «свободный роман» Александра Пушкина вторгается в искусственно создававшийся государственный эпос: «Многомиллионный народ... невиданное сплочение...» и т. п. И Татьяна Ларина в вагонзаке отправляется на Колыму. Что ж, логично: я давно уже предполагал, что в ней скрытно заложено Пушкиным удивительное начало — сочетание девы и матери, образ-диво, образ-знамение.

Но над всем, а вернее сказать, подо всем — трансформация бытовых злоключений в эпизоды великого мифа, великою верой созданного. Ее рушили. Планомерно, продуманно. А она жила, и шли к ней да шли, иногда прямо в точности повторяя хождения Богородицы по мукам. И не мадригальных комплиментов заради, а на строгом языке научной гипотезы скажем: на путях хранения или обретения веры лидировали женщины. Разных наций в разных сочетаниях. Разных возрастов. Разных политических убеждений. Среди них была Евгения Гинзбург. О них-то и рассказала.

По какому-то странному полиграфическому капризу в номерах «Даугавы» главки «Крутого маршрута» то и дело перемежаются прямо вовсе к ним не относящимися цветными вклейками: то «мозаика на часовне Покровского кладбища в Риге» художника Климова, и на ней — изображение Матери-Девы (1988, № 8); то «Икона Богородицы Знамение» (1989, № 4). И такое сопряжение, оно что же, случайность? Может быть; но учит же нас истмат, что случайность есть форма проявления необходимости...

В. Турбин

«...По кромке, по черте, по рубежу...»

О Кирилле Ковальджи не говорят на всех литературных перекрестках. Критика уделяла внимание его творчеству, но имя это оставалось, как мне кажется, где-то на периферии громких литературных споров. А между тем К. Ковальджи — один из плодотворно работающих литераторов. Замечены читателями и его проза, статьи о современной поэзии, нередко острые и полемичные. Имя писателя связано и с появлением в печати многих поэтов «новой волны», хотя по своему характеру и по стилистике их стихи, казалось бы, весьма далеки от того, как пишет он сам. Много сил К. Ковальджи отдает руководству поэтической студией в журнале «Юность», где он работает. Многие ли именитые могут похвастаться нынче таким вниманием к литературной смене?..

К. Ковальджи имеет своего читателя, который не теряет его из виду, и не только потому, что стихи искренни, но и потому, что, как правило, не знаешь, с чем встретишься в новой книге поэта. Не прост духовный мир К. Ковальджи, не монотонны содержание и поэтика стихов. Казалось, совсем недавно стихи его воспринимались как достаточно традиционные и по мелодике, и по рифмовке. И вот он уже экспериментирует, приобщает читателя к более редким стихотворным формам — верлибру, сонету, поэтической миниатюре.

Хочется сказать еще об одной особенности поэзии К. Ковальджи. Бывают стихотворцы — любители монологов, разговоров перед зеркалом с самим собой. К. Ковальджи, у которого немало, казалось бы, чисто дневниковых стихов-заметок, представляется мне в первую очередь поэтом именно диалога. Недаром в его стихах нередки интонации полемики, спора, в том числе и с самим собою, со своими тут же, рядом напечатанными строчками. Он умеет заставить по-новому взглянуть на то, что принято считать уже устоявшимся, привычным, а то и просто незначительным. Вот и в новой книге «Звенья и зерна», уверен, не пройдут мимо читателя стихотворные версии самоубийства Маяковского и Цветаевой, молниеносное — в шесть строчек — оспаривание известных строк Николая Ушакова о пользе продолжительности поэтического молчания и Александра Аронова о том, как важно всегда «остановиться, оглянуться»...

Говоря о лучших стихах К. Ковальджи, его можно по праву назвать мастером поэтического лаконизма. Вот одно из таких немногословных стихотворений:

Я своими руками хочу развести
друг от друга подальше
саблю и горло,
пулю и сердце,
топор и тополь,
пламя и знамя,
любовь и кровь, —
постойте, не смейте
притягиваться
и рифмоваться!

За этими десятью строками свободного стиха стоит, как мне кажется, многое из пережитого каждым из нас.

Поэзия К. Ковальджи привлекает внимание неодноплановостью, остротой мысли. Вместе с поэтом наблюдаешь, как мелькают веселые пчелы, но «медлением меда творенье», а цветы в саду расцветают, когда не торопишь их взглядом. Задумываешься над обращением к Византии, которая усердно «пестовала прописи святые», но после которой не осталcя «ни один ученый и пророк». Над строками о звезде, потерявшей планету, для которой она светила и без которой свет ее никому не нужен; о том, как «благополучно» завершилось нападение волков на баранов, искавших спасения у своего пастуха и его пса: закат — и на фоне его этот пастух в овчинном тулупе, жующий баранину, и собака, гложущая баранью кость...

Одна из главных мыслей новой книги К. Ковальджи — на мой взгляд, напоминание о том, что все мы живем не просто в своей квартире, а во Времени, в Природе, во Вселенной, где все, живое и неживое, взаимосвязано. Недаром, «когда сжимается Солнце — сжимается сердце», а городской голубь, бродящий по бордюру тротуара, так напоминает человека, который ходит — «...по лезвию, по кромке, по черте, по рубежу» своей непрочной планеты.

«Звенья и зерна» — книга многосюжетная. Нередко образ одного стихотворения повторяется, развиваясь, в соседних. Как это произошло в «Диалоге», где поэт снова, как в «Городском голубе», идет по краешку планеты, но уже ...играя на флейте. И, может быть, в этой игре над пропастью — его спасение.

Разделы с более или менее крупными стихами удачно перемежаются четырьмя подборками «Зёрна», составленными из миниатюр. К сожалению, с полновесными «зернами» соседствуют и такие, которые едва ли дадут плодоносные всходы. Рядом с эффективной, оправданной смыслом игрой слов («Надгробий странное соседство: оставил всяк по мере сил наследие или наследство, а кто-то просто наследил») встречается и такая, которая не идет далее легковесной хохмы. Среди интересных, образных миниатюр есть банальные по мысли, к тому же порой и не воспринимающиеся вовсе как стихи («Слово сильней меня»). Когда читаешь, например, строки об «имени» и «отчестве» одиночества, не можешь не вспомнить известные строки М. Светлова, построенные на том же образе. Отбор «зерен» был, очевидно, недостаточно строгим, что особенно досадно, ибо короткие стихи у Ковальджи бывают обычно ярки и выразительны. Порой поэтическую мысль, уже воплощенную в одном из его «зерен», обнаруживаешь, увы, и в основе другого, более длинного стихотворения, мало что добавляющего к этой миниатюре. Менее всего удачны у К. Ковальджи стихи, где логика, рассудочность берут верх над образом, непосредственностью чувств. К сожалению, одним из таких растянутых, констатирующих известные истины стихотворений («Встреча с кометой») открывается книга.

Завершается новый сборник «Звенья и зерна» несколькими стихотворениями, написанными под впечатлением самых свежих споров об острых проблемах сегодняшнего дня. И я, давний читатель поэзии К. Ковальджи, рад тому, что могу принять участие в диалоге.

Виктор Гиленко

Кирилл Ковальджи. Звенья и зерна. Стихи. М., Советский писатель. 1989.

Реквием по профессионалам

Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные.

Апостол Павел (I-е послание коринфянам, 11, 19).

У нас есть «сельские труженики», но не осталось Крестьян. У нас есть пролетариат, но почти не осталось Рабочих. У нас масса дипломированных специалистов, но почти не осталось Инженеров.

Падение профессионализма в промышленности — процесс медленный, в масштабе двух-трех лет часто даже неразличимый. Постепенно сокращаются учебные программы, постепенно снижаются квалификационные требования. Но проходит двадцать—тридцать лет, и вдруг выясняется, что на заводе, где когда-то изготовили уникальную машину, ее сейчас нельзя даже отремонтировать — некому. А инженеры из отраслей, в которых мы когда-то с трудом, но все-таки могли конкурировать на мировом рынке, растерянно, с видом дикарей бродят по международным выставкам, проходящим в Союзе...

В ходе предвоенной индустриализации остро встал вопрос об отношении рабочих к своему труду. В 1934 году, выступая на «съезде победителей», Серго Орджоникидзе сказал: «Наша страна — единственная страна в мире, где имеется 7-часовой рабочий день. <...> Но работают ли наши рабочие на наших заводах 7 часов? Нет, работают даже не 5 часов, а если кое-где и работают 5—5,5 часа, то начинают хвастать: вот мы работаем 5 часов, а на других работают 4 часа».

В отличие от зарубежных менеджеров, постоянно искавших новые пути совершенствования социальных отношений в промышленности и формирования активного отношения рабочих к процессу производства (продажа акций рабочим, пожизненный найм и т. д.), наши идеологи не отличались особой фантазией. Если отбросить социальную демагогию, ритуально сопровождающую любые рассуждения о рабочем классе, то останется всего два основных метода.

Первый — эксплуатация и всяческий подогрев общественного энтузиазма — метод, эффективный для решения краткосрочных, экстремальных задач, требующих больших объемов неквалифицированного труда, но совершенно непригодный в долговременном плане.

Второй — жесткое принуждение, включение в борьбу за «наведение порядка» в промышленности государственного репрессивного аппарата. Этот метод применялся у нас наиболее последовательно, начиная с попыток создания трудовых армий в 1919 году. Его апофеозом стал указ 1940 года, предусматривавший уголовную ответственность за прогул и самовольный уход с работы. Нельзя сказать, что репрессивный метод был совершенно неэффективным. Если забыть о миллионах исковерканных людских судеб (а кто теперь помнит о рабах, строивших пирамиду Хеопса, или о французах, павших на поле брани во славу императора Наполеона), то можно констатировать, что этот метод позволил перед войной создать сравнительно мощную промышленность, а после войны быстро восстановить разрушенное. Что же касается прекраснодушных рассуждений о том, что тех же и даже лучших результатов можно было достичь другими, более гуманными средствами, так ведь История не знает слова «если».

После либерализации, вызванной XX съездом, сразу же выяснилось, что аппарат управления промышленностью, в большинстве своем хорошо знавший технические вопросы и искренне болевший за «Дело», никакими методами регулиро-

вания социальных процессов, кроме демагогии и внеэкономического принуждения, попросту не владеет. Естественно, что по мере демократизации общественной жизни эти процессы постепенно выходили из-под контроля и к началу периода «глубокого удовлетворения» стали окончательно неуправляемыми. Попытки провести экономическую реформу были подавлены, репрессивные методы (по крайней мере в промышленности) исключены — осталась одна демагогия.

Здесь, пожалуй, кроется причина роста сталинистских настроений в промышленности в 60—70-е годы. При виде постепенной деградации производства люди, отдавшие ему всю свою сознательную жизнь и никаких методов, кроме принудительных, не знавшие, начали тосковать по сильной власти. Этот социальный феномен был обнаружен очень давно и с успехом использовался на практике. Почти две с половиной тысячи лет назад китайский теоретик тоталитарных методов управления Шан Ян писал: «Если управлять людьми как добродетельными, они будут любить своих близких; если же управлять людьми как порочными, они полюбят эти порядки».

Показательно, что уже в самое недавнее время, когда потребовались срочные меры по реанимации промышленности, в первую очередь были использованы чисто силовые приемы: сначала издан указ об увеличении с одного до двух месяцев максимального срока отработки при увольнении с работы, затем введена Государственная приемка продукции и т. д.

Одно из наиболее ярких проявлений промышленного регресса — падение культуры производства, вызванное утратой престижа цеховой работы и дисквалификацией института мастеров и кадровых рабочих. Этот процесс зашел столь далеко, что получил отражение даже на фольклорном уровне. Я еще застал времена, когда перед началом сборки экспериментального станка бригадир сборщиков традиционно подшучивал над конструктором: «Как собирать будем? По чертежу? Или чтобы работало?» Тогда молодых конструкторов посылали на сборку учиться. Потом терминология изменилась. Лет десять назад я впервые услышал: «Ну, пару станков мы уже соскирдовали».

Деградация культуры производства в машиностроении стала ощущаться уже в середине 60-х годов. Помимо других социальных факторов, здесь сказалось и то, что в 50-е годы из-за оттока молодежи на целину, всевозможные комсомольские стройки и в институты резко сократился круг лиц, из которых традиционно формировалась рабочая элита. Спустя несколько лет нехватка квалифицированной рабочей силы проявилась, с одной стороны, в постепенном снижении качества продукции, а с другой — в полном соответствии с законами дефицита — в росте заработной платы промышленных рабочих. Плохая работа стала оплачиваться лучше, чем раньше оплачивалась хорошая, и это со свойственной нашим идеологическим работникам жизнерадостностью рассматривалось как показатель повышения уровня жизни рабочего класса.

Снижение культуры производства стимулировалось постоянными требованиями директивных органов о наращивании объемов выпуска продукции. Поскольку от управленческого аппарата заводов требовался в первую очередь план и во вторую очередь — тоже план, вопросы качества автоматически передвинулись на пятое или даже десятое место. Тот в общем-то тонкий слой опытных мастеров и кадровых рабочих, который обеспечивал соблюдение технологической дисциплины и формировал «гамбургский счет» среди рабочих, был частично развращен, частично растворен в безликой массе «работяг», а частично просто выдавлен из производства. Достаточно вспомнить проведенную в начале 70-х годов кампанию по замене так называемых «практиков», т. е. опытных производственников, занимавших инженерные должности без диплома о высшем образовании, дипломированными, но неопытными инженерами. Смею утверждать, что мы до сих пор пожинаем плоды этой кампании, выбившей из обоймы золотой фонд мастеров и начальников участков.

Смена критериев, помноженная на прогрессирующий общественный цинизм, привела к возникновению своеобразной круговой поруки между рабочими и цеховой администрацией. Первые не очень жаловались на неритмичное обеспечение

работой и прочие организационные неурядицы, а вторые доплатными нарядами и другой «химией» выводили высокие заработки. Рабочие наиболее дефицитных профессий, формально числясь сдельщиками, фактически получали заранее оговоренные оклады. Остальные выкручивались, кто как может. Один профсоюзный функционер рассказывал мне, что среди рабочих массовым стало явление, когда бюллетень по уходу за больным ребенком в начале месяца всеми правдами и неправдами старался получить отец. Для рабочих-сдельщиков это было очень выгодно — свой обычный заработок они выколачивали в последние недели месяца во время авралов. В промышленных городах возникла даже специфическая люмпен-аристократия — прослойка средне-, а чаще низкоквалифицированных рабочих, мигрировавших между предприятиями, нигде толком не работавших, но зато очень хорошо усвоивших, что они — «класс-гегемон».

Не лучше обстоит дело и в инженерном корпусе. В 30-е годы традиционный для машиностроения пиетет по отношению к инженерам вытравлялся у нас всеми возможными способами, начиная с культивирования подозрительно-презрительного отношения рабочих к «спецам» и кончая воспитанием у инженеров (как, впрочем, у всей интеллигенции) комплекса социальной неполноценности. Война, потребовавшая, кроме массового героизма, еще и создания принципиально новых конструкций и технологий, казалось бы, расставила все по своим местам, однако в последующий период авторитет инженеров снова начал падать, правда, уже по другим причинам. Дольше всего он сохранялся в стратегических отраслях машиностроения, где немногие выжившие Зубры, привыкшие в прямом смысле головой отвечать за технический уровень и качество оборонной техники и пользовавшиеся огромной властью над производством, по инерции еще поддерживали культ конструктора и непреложность требований технологической дисциплины.

Начавшаяся в 50-е годы массированная подготовка инженеров (выпуск вузов с 1940 года по 1970-й вырос приблизительно в 5 раз) уже к середине 60-х годов привела к затовариванию. Дело в том, что необходимый для развития промышленности объем собственно инженерного труда (если вкладывать в эти слова исходный, творческий смысл, кстати говоря, сохранившийся до сих пор за рубежом) сравнительно невелик. Основную долю составляет рутинная техническая работа, не требующая высокой квалификации и традиционно выполнявшаяся средним техническим персоналом. Именно эта исполнительская работа и стала уделом «лишних» инженеров. Пять-шесть лет такой работы не только ведут к профессиональной дисквалификации, но и убивают у большинства молодых специалистов активное творческое начало. С течением времени некоторые из них могут дослужиться до права на самостоятельную разработку, но мало в ком сохраняется способность к риску, тот самый в хорошем смысле кураж, который позволяет говорить «Я» вместо «Мы» и брать на себя ответственность за нестандартные решения. В результате наша техника приобрела эпигонский, провинциальный характер, а ссылки на зарубежные аналоги («буржуи так делают») стали едва ли не самым весомым аргументом при обосновании перспективности той или иной конструкции. Многие наши машиностроительные журналы, вроде бы претендующие на публикацию оригинальных исследовательских работ, даже не указывают даты поступления статей в редакцию, как бы заранее смирившись с тем, что их авторы ничего приоритетного придумать не могут.

Безнадежность ситуации усугубляется тем, что, как бы в подтверждение лысенковского тезиса об отсутствии внутривидовой борьбы, естественная творческая конкуренция между инженерами практически исключена: заработная плата рядовых инженеров зависит в основном от стажа работы, а продвижение на высокие ступени служебной иерархии регулируется не профессиональными критериями, а общественно-политической активностью соискателей. Немудрено, что наиболее честолюбивая часть молодых инженеров стремится, минуя производство или используя его как удобный трамплин, пополнить ряды околопромышленной бюрократии.

Идеологическим прикрытием процесса инфляции инженерного труда стала неведомо кем выдуманная легенда о том, что время гениальных одиночек безвозвратно прошло и в эпоху научно-технической революции все решают большие коллективы. Эта «муравьиная» философия вкупе с вульгарным преподаванием общественных дисциплин и ежедневным двоемыслием средств массовой информации выработала у многих инженеров устойчивое, превратившееся в своеобразную позу безразличие к мировоззренческим вопросам, причем не только к общим, но и к касающимся непосредственно их области деятельности. «Мы технари — нам это ни к чему». Сформировалась даже особая прослойка, стыдливо именуемая «технической интеллигенцией», поскольку просто к интеллигенции ее нельзя отнести даже с очень большой натяжкой.

Нехватка рабочих и перепроизводство инженеров привели к ситуации, когда инженерный труд оплачивается существенно ниже труда не только высоко-, но даже и среднеквалифицированных рабочих, а молодой специалист после трех лет работы зарабатывает меньше, чем толковый выпускник ПТУ после одного года. Можно возмущаться «несправедливостью» такого положения, но оно объективно отражает конъюнктуру, сложившуюся на рынке труда, и поэтому любые попытки его директивного изменения заведомо обречены на неудачу.

Парадокс в другом. Несмотря на нищенскую оплату труда инженеров, конкурс в технические вузы если и падает, то главным образом из-за оттока молодежи в гуманитарные вузы и в сферу обслуживания, а отнюдь не из-за роста популярности рабочих профессий. (Любопытно, что в ГДР, где рабочие также оплачиваются лучше инженеров, картина обратная. Там сейчас многие специалисты озабочены намечающейся феминизацией инженерного корпуса, поскольку юноши выбирают в основном рабочие профессии.) Массовой миграции инженеров в рабочие также не происходит, хотя формальные ограничения к этому постепенно снимаются. Здесь очень наглядно проявляется кастовость нашего общества, отсутствие социальной мобильности. Многие отчаявшиеся инженеры уходят из промышленности в службу быта, а в последнее время — в кооперативы. И хотя здесь они в большинстве случаев заняты не только инженерным трудом, но социальная престижность этих сфер деятельности все-таки выше, чем престижность работы промышленного рабочего.

Одной из первопричин этого явления оказалось введенное, по-видимому, с самыми благими намерениями и под эгидой защиты интересов рабочего класса экономическое отчуждение рабочих от конечных результатов труда. До сих пор согласно коллективным договорам премии рабочих обычно зависят только от их личной выработки (или выработки бригады), в то время как премии инженерно-технического персонала—от выполнения плана заводом в целом. Если еще учесть, что понятие высококвалифицированной работы очень слабо согласуется с господствующей на большинстве наших машиностроительных предприятий сдельно-премиальной оплатой труда, то становится понятным, почему ни рабочие себя, ни тем более инженеры рабочих в большинстве случаев не воспринимают как полноправных участников производства.

Несмотря на весь словесный гуманизм, наша промышленность практически всегда исповедовала, пользуясь выражением Е. Замятина, «машинобожие». В этом смысле показательно, что начавшееся в середине 70-х годов внедрение станков с числовым программным управлением было поддержано руководством многих предприятий, в том числе и как потенциальное средство борьбы с «рабочей аристократией». В то время был популярен миф о том, что эти станки в самом ближайшем будущем позволят резко сократить потребность в высококвалифицированных рабочих и на производстве будут преобладать инженеры. На практике же вместо одной аристократии возникла другая, пока немногочисленная, но, с точки зрения административного руководства, гораздо более неудобная. Авторитет классического промышленного рабочего в значительной мере держится на колоссальном опыте и навыках ручного труда, а авторитет операторов, наладчиков и ремонтников современного оборудования основывается в первую очередь на интеллектуальных данных. Следует также признать, что по реальному уровню квалификации эти рабочие часто не уступают работающим с ними инженерам,

в том числе и в вопросах, традиционно считавшихся инженерными, например, в подготовке программ для станков.

У наиболее творчески (или конъюнктурно) мыслящих инженеров остался еще один выход — наука. Традиционное уважение к науке и ученым создало в нашей стране уникальную для наемного труда ситуацию, когда единственная, как правило, выполненная в молодости работа обеспечивает пожизненное материальное благополучие ученого, независимо от того, продолжает он научные штудии или нет. Понятно, что желающих нашлось очень много. Для молодых и не очень молодых инженеров защита диссертации стала практически единственной возможностью резко изменить свой социальный статус, перейти в другую касту. И если в естественных науках, имевших давние академические традиции и сформировавшиеся научные школы, еще хоть как-то удавалось поддерживать приемлемый уровень научных исследований, то в технических науках, особенно молодых, возникших в последние 20—30 лет, поток псевдонаучных разработок приобрел лавинообразный характер.

Дело в том, что в условиях тотального планирования жизненно необходимый для прикладных наук механизм обратной связи с промышленностью был наглухо заблокирован: прорывные научно-технические и инженерные разработки оказывались не только не нужными, но зачастую и вредными с точки зрения интересов конкретных предприятий. Их внедрение в лучшем случае ухудшало отчетные показатели, а в худшем требовало переструктуризации и перепрофилирования заводов и целых отраслей, планы развития которых были согласованы и утверждены вплоть до второго пришествия.

В результате значительный и постоянно растущий (в подготовке научных кадров также господствовал план) отряд ученых оказался выключенным из общественно полезной деятельности. Однако любое человеческое сообщество устроено таким образом, что в отсутствие реальных ценностей обязательно возникают ценности мнимые. В воспоминаниях И. Эренбурга рассказывается, как в послереволюционные годы в Киеве на черном рынке торговали долларами. Доллары были нескольких типов, но дороже всего у спекулянтов ценились те, которые «с быками». В точности такая же история произошла у нас с техническими науками, причем в роли «быков» выступало внешнее наукообразие, обязательная математическая аранжировка любых, даже самых банальных инженерных решений.

Основным признаком, отличающим «большую науку» от рядовых инженерных разработок, стала дикарски наивная фетишизация математического аппарата, а чаще всего — просто малограмотное использование математической символики и «красивых» терминов, которые в конкретных текстах звучали, как латинские цитаты в устах деда Щукаря. Справедливости ради надо сказать, что опасность подмены инженерного здравого смысла слепым математическим расчетом возникла довольно давно. Флота генерал-лейтенант академик А. Н. Крылов, сам блестящий математик, в своих воспоминаниях приводит слова Гексли о том, что «математика, подобно жернову, перемалывает лишь то, что под него засыпают», и от себя добавляет, что инженер прежде всего должен обращать внимание на состав засыпки. Показательно, что А. Н. Крылов, став в 1907 году главным инспектором кораблестроения, настоял на снятии с работы одного высокопоставленного инженера за систематическое проведение расчетов с точностью большей, чем требовалось для практических целей.

Особенно расширилось поле для околонаучных спекуляций в связи с развитием вычислительной техники. Во-первых, уже сам факт использования ЭВМ для проведения расчетов считается показателем работы на острие научно-технического прогресса. Во-вторых, полученные с помощью ЭВМ результаты приобретают как бы дополнительную солидность и рассматриваются как эталон беспристрастности («это не я, это машина посчитала»). Стало модным прикладывать к кандидатским и даже докторским диссертациям распечатки программ для ЭВМ, показывающие, что диссертанты тоже причастны к тайнам «файлов» и «листингов».

Опасность всей этой мышиной возни — отнюдь не в появлении еще нескольких десятков тысяч нахлебников, живущих за счет государства. На общем фоне

нашей бюрократии это величина пренебрежимо малая. Опасность — в растлении научной молодежи, в искусственном выведении все новых генераций технических мичуринцев, слабо представляющих себе реальные законы развития промышленности.

Сейчас снова входит в моду заканчивать критические статьи на оптимистической ноте. Пусть с многочисленными оговорками, но в целом на оптимистической. Думаю, это разумно: общественный мазохизм, если только им и ограничиваться, неконструктивен.

Есть ли выход из создавшегося положения? Есть. Вполне естественный, но в силу стереотипов, сложившихся в обществе, очень болезненный. Дело в том, что наши кадровые нехватки-излишки имеют ту же природу, что и нехватки-излишки тракторов и комбайнов. Много, но не то. Или не так используются. Отсюда возникают парадоксы.

У нас вроде бы не хватает рабочей силы. Но стоит какому-нибудь небольшому заводу перейти на аренду, как оказывается, что рабочих достаточно. Более того, общая их численность обычно падает.

У нас избыток инженеров. Но конструкторские бюро испытывают нехватку ведущих конструкторов. Ведущих не только по должности, но по способностям и по призванию. В то же время инженерные кооперативы наглядно показывают, что разработки лучшего качества можно делать меньшими силами и в более короткие сроки.

Причина этих парадоксов не только и не столько в увеличении интенсивности и объемов труда — такой путь дает ощутимые результаты лишь в случаях, когда труд неквалифицированный и, пролив больше пота, можно выкопать яму глубже. Квалифицированный специалист отличается не тем, что работает больше, а тем, что работает иначе и, выполняя работу качественней, затрачивает гораздо меньше непосредственного труда и времени, чем непрофессионал. Если машиностроительные заводы действительно получат самостоятельность, включая право на аренду и право выкупа в коллективную собственность, и будут поставлены в условия рыночной конкуренции, то есть надежда, что для тех объемов производства средств производства, которые в действительности, а не по экстенсивным планам нужны нашему обществу, на первое время специалистов хватит.

Здесь, правда, имеется несколько важных «но». Есть четкая закономерность: чем выше квалификация, тем в меньшем коллективе она может эффективно реализоваться (обратное, кстати говоря, неверно — примером служит сельское хозяйство). На наших машиностроительных заводах-монстрах квалифицированный труд просто растворяется в общей массе, не оказывая почти никакого влияния на качество конечной продукции.

Изменить положение сложно. Беда в том, что эти заводы в их нынешнем виде с трудом поддаются переструктуризации и разукрупнению. Пропагандируемый в последнее время внутризаводской хозрасчет, безусловно, полезен, но является паллиативом, поскольку продукция отдельных цехов, как правило, не имеет рыночной стоимости и в отрыве от конечной продукции предприятия никому не нужна. Поскольку завод получает деньги только за конечную продукцию, внутризаводской хозрасчет позволяет разумно распределить прибыль, если она есть. Если же вместо прибыли возникает убыток, то ответственность все равно остается общей.

Нам предстоит труднейшая работа по созданию новой промышленной инфраструктуры — системы мелких и средних предприятий, способных (и экономически вынужденных) оперативно реагировать на любые изменения конъюнктуры вплоть до колебаний очень изменчивой технической моды. Основная опасность здесь — попытки объявить какое-либо одно организационное решение панацеей и твердой рукой внедрять его на всех предприятиях (как совсем недавно пытались путем всеобщего перехода на двухсменную работу решить проблему эффективного использования оборудования). Промышленности вариантность нужна не меньше, чем искусству или сельскому хозяйству.

Вторая проблема — занятость. Иногда слышатся глухие упреки в адрес эко-

номистов — те якобы предлагают ввести безработицу. Но безработица — не летнее время, ее нельзя ввести или отменить правительственным декретом, ее можно только более или менее искусно закамуфлировать. Если на рабочее место, где может справиться один человек, поставить двоих и каждому платить половину заработной платы, то в результате оба разучатся (или так и не научатся) работать и вдвоем будут производить меньше одного, но безработных формально не будет. Более того, таким путем можно создать иллюзию катастрофической нехватки рабочей силы и заклеить все заборы объявлениями: «Требуются... требуются... требуются...» Однако при нынешнем состоянии нашего рынка товаров и услуг массовая безработица в промышленно развитых районах страны — нонсенс, нелепица, которая может возникнуть только в результате некомпетентности либо деструктивных действий органов управления. Другое дело, что в мобильном, развивающемся обществе право на труд вовсе не означает право всю жизнь работать по единожды избранной специальности.

Сокращение производства оборонной техники и средств производства приведет (и уже приводит) к высвобождению значительного числа работающих, больших производственных мощностей и фондов. Ими можно распорядиться по-разному. Можно, сохраняя организационную структуру предприятий, попытаться перепрофилировать их на выпуск товаров народного потребления, медицинского оборудования и оборудования для легкой и пищевой промышленности. Если такая переориентация хоть как-то связана с прошлой деятельностью предприятия, опыт может оказаться успешным. Однако в принципе этот путь вызывает сомнения: нельзя требовать, чтобы шахматный гроссмейстер переквалифицировался в скрипача-виртуоза только на том основании, что и там, и там надо хорошо играть. Тем более что опыт подобной переквалификации у нас уже есть. Все машиностроительные заводы, в том числе оборонные, обязаны выпускать товары народного потребления. Они их и выпускают. Во многих случаях себе в убыток и далеко не всегда приемлемого качества.

Возможно, следует пересмотреть объемы конверсии, заменив «барщину оброком»: если часть военной и смежной гражданской продукции удастся продавать за рубеж, это принесет больше пользы, чем перепрофилирование заводов на выпуск кроватей с панцирными сетками. Такие примеры, к сожалению, уже есть. Остальные предприятия, как правило, не обладающие высокоразвитой технологией, целесообразно полностью или частями передать в аренду с правом арендаторов самостоятельно выбирать объекты производства. А поедавшиеся этими предприятиями фонды направить в столь давно декларированную оптовую торговлю. Если это сделать, боюсь, что на пустом ныне оптовом рынке возникнет затоваривание.

Третья важнейшая проблема — подготовка кадров. О сложности этой проблемы в современном машиностроении дает представление такой факт. Японская фирма, построившая в Великобритании ультрасовременный станкостроительный завод, несмотря на усиленную подготовку местных кадров, была вынуждена импортировать значительную часть персонала (в том числе рабочих) из Японии. Вдумайтесь. Речь идет о Великобритании — одной из наиболее промышленно развитых стран мира.

Многие из тех, кому я рассказывал эту историю, воспринимали ее как абстрактный анекдот. Такая реакция понятна: привычная нам система отбора и подготовки кадров для промышленности строится на посылке, что при наличии доброй воли обучаемого научить можно кого угодно и чему угодно, причем в самые сжатые сроки. В области образования (не только «всеобщего среднего», но и профессионально-технического, включая высшее) уравнительные тенденции нашего общества проявились наиболее последовательно. Слова «элита» и «элитный» сохранили свой положительный смысл лишь в сельском хозяйстве — применительно к семенному зерну и быкам-производителям. Во всех остальных случаях они приобрели несколько двусмысленный, «несоциалистический» оттенок. Положение необходимо радикальным образом менять, от изживших себя методов подготовки специалистов надо избавляться как можно скорее. Дело это не такое про-

стое, потому-то рабочие и инженеры высших квалификаций всегда были, есть и будут в дефиците: в Детройте, в Токио и в городе Сасово Рязанской области.

Любая элита, будь то физики-теоретики или слесари-инструментальщики, воспитывается на устной легенде, на непосредственном контакте Учителя и Ученика. Гениальные самоучки — это всегда исключения. Основным в обучении является отнюдь не овладение какой-то суммой конкретных знаний и навыков, а воспитание культуры профессионального мышления, профессиональной интуиции и как следствие профессиональной этики. Именно поэтому столь опасны разрывы в цепочке преемственности. Для утраты традиций достаточно одного поколения, а для их возобновления требуется несколько поколений профессионалов.

Сейчас важно правильно выбрать текущие цели развития нашей промышленности — мы долго ориентировались на слишком далекие маяки и в результате садились на ближайшую мель. На первый взгляд, очень благородно и дальновидно выглядят попытки за счет концентрации технических и финансовых усилий, а также импорта самых современных технологий одним рывком вывести какие-то отрасли на уровень, как у нас любят выражаться, «лучших мировых образцов». Однако на практике такие амбициозные проекты не дают и не могут дать желаемого результата. Причины те же: отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей снабжение созданных или закупленных производств качественными материалами и комплектующими изделиями, отсутствие персонала, способного в короткие сроки освоить и должным образом эксплуатировать суперновую технику.

По-видимому, на ближайшие годы нужно ставить более скромные цели, направив все усилия на создание нормальных социальных и экономических взаимоотношений в промышленности. Задача не столько в разработке новых законов, сколько в коренной ломке общественной психологии и в первую очередь намертво вбитых в сознание стереотипов уравнительного коммунизма. Социально-психологические механизмы очень инерционны, поэтому на быстрые успехи рассчитывать не приходится. Однако иначе ни кадровый, ни структурный вопросы решить не удастся.

Понятно, что всем хочется побыстрее. Но не следует пытаться насильственно спрямить естественные зигзаги развития. Вспомним, что прямая — единственная линия, имеющая в каждой своей точке точку перегиба.

Матвей Блехерман, механик

г. Москва

Наталья Иванова

Советую прочитать

«Тихий Дон», загадки мнимые и реальные. Вопросы литературы, № 8, 1989.

«Основной недостаток нашего шолоховедения,— констатирует сегодня критика,— ...состоит, безусловно, в том, что оно в своей наиболее популярной форме, осевшей в учебники и в университетские курсы, носит многие неприятные свойства патоки». Поместив на своих страницах три статьи по «шолоховскому вопросу» (Роя Медведева, Германа Ермолаева и Сергея Семанова), редакция журнала наконец официально нарушила одно из последних, но самых мощных табу истории нашей литературы. Несколько лет назад А. Солженицын издал книгу некоего литературоведа Д. «Стремя «Тихого Дона», а Р. Медведев еще в 1974—1975 годах написал исследование «Загадки творческой биографии Михаила Шолохова». Этот факт показался властям недопустимым «посягательством на авторитет государства, а не только самого Шолохова», и у автора был проведен обыск.

Реконструируя образ автора романа, его биографию, его взгляды на казачество, на революцию и народ, анализируя его политические симпатии, выраженные в обрисовке характеров, а также позднюю правку текста, Р. Медведев доказывает, что «в целом личность 23-летнего М. А. Шолохова весьма разительно не соответствует тому «слепку личности автора», который можно было бы сделать по роману». Очевидно то предпочтение, которое Р. Медведев оказывает Ф. Крюкову как возможному автору «Тихого Дона». Г. Ермолаев отвергает фигуру Ф. Крюкова на основании сопоставления даты его смерти и доказательного использования белоэмигрантских источников во второй книге романа, а также на том, что «Крюков, образованный и опытный автор, не мог бы написать вещь, испещренную сотнями погрешностей против литературного русского языка». Категорически возражая Р. Медведеву в его суждениях о личности Шолохова, С. Семанов, не выдвигая новых концепций, ратует за углубление биографической и текстологической работы «шолоховедов».

В журнале «22» (Москва — Иерусалим) напечатаны две работы Зеева Бар-Селла «Тихий Дон» против Шолохова (№№ 60, 63). Исследования продолжаются—загадки пока остаются.

Улдис Тиранс. Буратино и коммунизм. Даугава, № 10, 1989.

Были ли вы, читатель, на выставке плаката «Угар сталинского романтизма» в Риге летом прошлого года? Попасть туда смогли немногие. Тем важнее познакомиться с нею хотя бы по статье в латвийской «Даугаве», статье, снабженной большим иллюстративным материалом. «Через нарисованное окошко... можно полюбоваться маленьким коммунизмом, который как-то был обещан, за который вот мы сегодня немножко недоели, а вчера другие — немножко недожили. Это окошко в страну Я-другой-такой-не-знаю — плакаты пика эпохи сталинского держиморддия».

Деревянный человечек из сказки А. Толстого, напоминает У. Тиранс, проткнул своим любопытным носом нарисованный очаг в каморке папы Карло. Так и мы сегодня убеждаемся в том, что на самом деле находилось за веселеньким плакатом с изображенной похлебкой, вкусно дымящейся на очаге.

Меня спросят: а зачем нам сегодня эти поделки?

Лживое «искусство» сталинской эпохи, «искусство» стиля вампир нуждается в нашем осмыслении. Плакаты с надписями типа «Трудись с упорством боевым, чтоб стал колхоз передовым! За честный труд награда ждет: достаток, слава и почет!» с изображением ликующего, счастливого народа, поднимающего взоры и цветы к отчеканенному профилю «отца всех народов» (1946, 1948, 1950 годы — время голода, массовых депортаций, репрессий), свидетельствуют о том, как формировалось то самое утопическое сознание, тот страшный разрыв с реальностью, та ментальность, от которой мы не можем до конца избавиться и по сей день. Необходимо полное, цельное представление о масштабах духовного ущерба, нанесенного «искусством» тоталитарной эпохи. Нужна не только выставка живописи, ваяния, плаката, тоталитарного «искусства» в целом, включая кинематограф и литературу, но и международная конференция по тоталитарному «искусству» — с участием немецких, итальянских, испанских критиков, культурологов, философов, социологов.

Лидия Чуковская. «Пусть сгинет немота...» Открытые письма 1966 и 1968 годов. Гнев народа. Горизонт, №№ 3, 5, 1989.

В 1988 году читатель смог прочесть созданную полвека назад повесть Л. Чуковской «Софья Петровна» — одно из первых антитоталитарных произведений в нашей прозе. В прошлом году читатели журнала «Нева» познакомились с первой книгой знаменитых «Записок об Анне Ахматовой». Лидия Чуковская не только прозаик и мемуарист, но прежде всего человек огромного гражданского мужества. Помню, как на Первых Пастернаковских чтениях, в мае 1988 года, зал встал, когда вошла Чуковская, давшая в свое время приют преследуемому Солженицыну, а еще ранее выступившая по поводу тех, кто раздувал кампанию против Синявского и Даниэля. Наконец напечатаны открытые письма В. Корнилова и Л. Чуковской в редакцию «Известий» (в связи с публикацией в газете от 13 января 1966 г. статьи Дм. Еремина «Перевертыши»), письмо Л. Чуковской «Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона»» (1966 г.), статья «Не казнь, но мысль, но слово. К 15-летию со дня смерти Сталина» (февраль 1968 г.) и эссе «Гнев народа» (7 сентября 1973 г.).

Публицистику Лидии Чуковской, продолжающую свободолюбивые традиции русской мысли, на мой взгляд, необходимо включить в школьную программу как обязательное чтение по истории — без нее неясна подлинная картина времени, которое мы продолжаем называть «застойным».

Статьи и письма Л. Чуковской — живое свидетельство активного духовного сопротивления авторитарной системе. «Пусть из гибели невинных вырастет не новая казнь, а ясная мысль,— писала Л. Чуковская еще в феврале 1968 года.— ...Я хочу, чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни, цветущего деятельностью человека в холодный труп. Чтобы ей был вынесен приговор. Во весь голос». Этот призыв актуален и сегодня. «Великий почет был в ту пору оказан слову: за него убивали». Но «убийство правдивого слова» продолжалось и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы.

Между создателями духовных ценностей и теми, для кого эти ценности создавались, воздвигалась «звуконепроницаемая стена»; с 1969 года, пишет Л. Чуковская, она выросла и укрепилась — «стена, наглухо отделяющая «простой народ» от его пророков и мучеников». Л. Чуковская в 1973 году защищала от государственной клеветы имена правозащитников — и прежде всего академика Сахарова. «...Я вижу и слышу Андрея Дмитриевича Сахарова, четыре часа, под проливным дождем, упорно стоящего перед закрытыми дверьми открытого суда, где подбирают уголовные статьи для наказания за мысль, и с кроткой настойчивостью повторяющего в лицо охраннику одни и те же слова: — Я — академик Сахаров... Член Комитета Прав Человека... Я прошу допустить меня в зал...»

Г. Ч. Гусейнов. Ложь как состояние сознания. Вопросы философии, № 11, 1989.

Что же могло родиться, какие побеги взрасти на выжженной почве после убийства правдивого слова? Ложь как состояние общественного сознания. О грандиозном социолингвистическом эксперименте, поставленном в нашей стране, о его тяжких последствиях — «врожденной языковой инвалидности нового порядка» — размышляет культуролог Гасан Гусейнов.

Сравнив «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» 1896 г. и «Советский энциклопедический словарь» 1979 г., автор статьи обнаружил, что слово «ложь» в советском словнике, в отличие от дореволюционного, просто-напросто отсутствует. Не только изымались слова — извращался и их смысл. «Изъятие смысла из слов, выражающих основополагающие ценности, сопровождало глубочайшую перестройку сознания... Предательство переименовывалось в эксперименте в высшую форму верности, а доносительство — в высшую форму честности». Познавание в общественных науках вытеснялось «идеологическими танками, имеющими невинную кличку «ярлыков».

Г. Гусейнов анализирует словесный фетишизм как одно из следствий и — одновременно — методов террора, исследует то, чем ответил на социолингвистический эксперимент язык: «отказом от опустошенных верхних и оживлением нижних (речевая разнузданность, мат и пр.— Н. И.) горизонтов языка. Следствием этой общей приторможенности или, если угодно, подмороженности языкового опыта, оказывается ошеломляющее падение качества... литературы», то есть мощное вторжение псевдолитературы.

Можно ли остановить распад? Вот разные попытки. Первая — насыщение языка диалектизмами, осуществляемое «национальной партией в литературе». Вторая — нащупывание языкового дна, дабы, оттолкнувшись от него, очистить сознание (авангард). И, наконец, языковый аскетизм документа, избранный сегодня как третий путь многими писателями. Способна ли свобода слова остановить процесс разрушения языка? На этот вопрос у автора статьи пока нет ответа. А у меня пока еще и нет уверенности в полной свободе слова: на дворе время гласности...

Михаил Гаспаров. Прошлое для будущего. Наше наследие, № 6, 1989.

Интереснейшие материалы этого номера журнала, выходящего с недавних пор и уже заслужившего читательскую благодарность, не перечислишь. Но особенно хотелось бы мне отметить небольшие по объему, но насыщенные мыслью статьи авторитетных деятелей нашей культуры, открывающие почти каждый номер: С. С. Аверинцева, Д. С. Лихачева, Вяч. Вс. Иванова... И в шестой книжке — статью М. Гаспарова. Он отмечает парадокс нынешней ситуации: «культ «нашего наследия» становится составной частью современной массовой культуры». На Тыняновских чтениях в Резекне автор был свидетелем того, сколь мгновенно были расхватаны гостями, «элитой научных сил», книги В. Пикуля... Но, внутренне улыбнувшись, Гаспаров резюмирует: «массовая культура — это все-таки лучше, чем массовое бескультурье». Какова же будет культура завтрашнего дня? «Самыми несомненными ее особенностями окажутся две: она будет эклектична и плюралистична»,— отвечает автор. (Об эклектике как основополагающей черте современной культурной ситуации размышлял на страницах «НН» ранее С. С. Аверинцев.) Хочется верить в то, что культура будущего возродит понятие «вкус», нынче почти утраченное.

М. Гаспаров делит историю культуры на отрезки распространения «вширь» (XVIII век, середина и вторая половина XIX века, 20-е годы) и распространения «вглубь» (на-

чало XIX века, начало XX века). Сейчас, полагает ученый, «мы на пороге новой полосы распространения культуры вглубь»: на периферии еще не завершилось поверхностное освоение культуры, а в центре идут новые искания. Спор между массовым освоением наследия и авангардом, таким образом, проистекает из исторических особенностей переживаемого нами периода.

Позволю себе замечание по отношению к другому материалу того же номера — публикации Эммы Герштейн «Новое о Мандельштаме». В редакционной врезке справедливо говорится о ценности этих мемуаров одной из старейшин нашего литературоведения. Э. Герштейн написала воспоминания о последнем десятилетии (конец 20-х — конец 30-х) трагической жизни поэта. Странным в этой публикации мне представляется только одно, но немаловажное обстоятельство — нецивилизованное отсутствие ссылки на первое издание мемуаров Э. Герштейн «Новое о Мандельштаме» на русском языке: Париж, издательство «Атенеум», 1987 год.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **С. С. АВЕРИНЦЕВ, Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ** (зам. гл. редактора), **Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, Е. А. КАЦЕВА** (отв. секретарь), **В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. Я. ЛАКШИН, В. С. МАКАНИН, В. Г. НОВОХАТКО, В. Д. ОСКОЦКИЙ, В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. И. ЧУПРИНИН** (первый зам. гл. редактора).

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный редактор — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-56-67, для справок — 921-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 02.02.90. Подписано к печати 02.03.90. А 03040. Формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—354 979 экз.). Заказ № 1873. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.